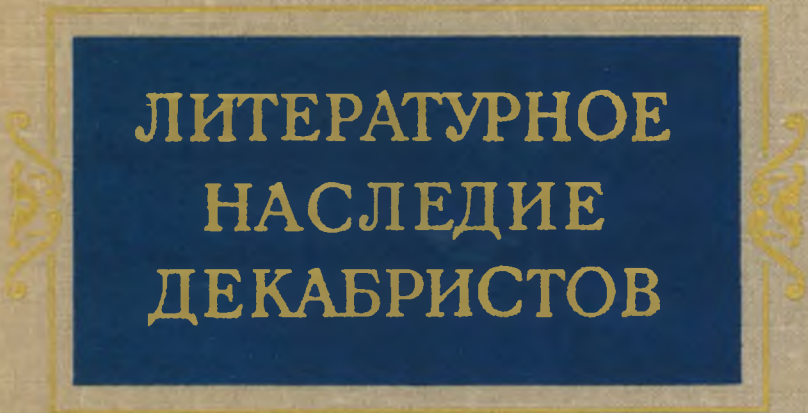


ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДЕКАБРИСТОВ



ЛИТЕРАТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ
ДЕКАБРИСТОВ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДЕКАБРИСТОВ

Ответственные редакторы:
В. Г. БАЗАНОВ, В. Ф. ВАЦУРО



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Ленинградское отделение
ЛЕНИНГРАД · 1975

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Предисловие	3
-----------------------	---

С т а т ь и

Г. П. Макогоненко. О романтическом герое декабристской поэзии	6
Ю. М. Логман. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)	25
В. П. Степанов. Убийство Павла I и «вольная» поэзия	75
П. Д. Кочеткова. Ораторская проза декабристов и традиции русской литературы XVIII века (А. Н. Радищев)	100
А. Е. Ходоров. Украинские сюжеты поэзии К. Ф. Рыльева	121
И. З. Серман. Александр Корнилович как историк и писатель	142
А. Л. Вайнштейн, В. П. Павлова. Декабристы и салон Лаваль	165
Т. Г. Цявловская. Отклики на судьбы декабристов в творчестве Пушкина	195
А. В. Архипова. Дворянская революционность в восприятии Ф. М. Достоевского	219

С о о б щ е н и я и м а т е р и а л ы

И. С. Калантырская. П. И. Колошип и «Священная артель»	247
Л. Н. Лузянина. Эпиграмма на Карамзина	260
В. Э. Вацуро. «Священный союз народов»	265
А. Гласе. Критический журнал «Комета» В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского	280
А. В. Архипова. «Баргузинская сказка» В. К. Кюхельбекера	285
Б. Н. Капелюш. Неизвестный текст А. А. Бестужева	290
Я. Л. Левкович. К цензурной истории сочинений А. А. Бестужева	294
С. А. Фомичев. К истории текста «Горя от ума»	301
Н. Я. Эйдельман. «О преемнике Александра»	313
Р. В. Иезутова. К истории ссылки Ф. Н. Глинки (1826—1834). (По архивным материалам)	323
В. С. Киселев-Сергенин. Цензурно-полицейский террор в литературе после 14 декабря 1825 г. по мемуарам М. А. Дмитриева	346
З. И. Власова. Декабристы в неизданных мемуарах А. И. Штукенберга	354
Л. М. Аринштейн. Английская поэма о декабристах	370
А. Н. Иезутов. К истории эпитафии ленинской газеты «Искра»	382
Указатель имен	390

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Литературное наследие декабристов», выпускаемая ныне Институтом русской литературы (Пушкинским домом) к 150-летию восстания 14 декабря 1825 г., представляет собою сборник статей и публикаций, подготовленных учеными Ленинграда, Москвы и периферийных исследовательских центров. По сложившейся традиции, в первом его разделе помещены статьи — как теоретического, так и конкретно-исторического характера; второй раздел занимают публикации и сообщения. Не связанный жестким тематическим единством и отражающий разнообразие исследовательских интересов и индивидуальностей настоящий сборник в то же время не может не отражать и некоторые общие аспекты темы и подхода к ней, частью паметившиеся лишь в последнее время. К их числу принадлежит, например, проблема формирования эстетики и социальной проблематики русского «гражданского романтизма» 1820-х годов и его связи с традицией русского и европейского просветительства. Конкретные формы этой связи, равно как и фазы эволюции просветительской традиции, еще далеко не во всем ясны. Статья Г. П. Макогоненко, посвященная эволюции романтического героя в декабристской поэзии, ставит этот вопрос в теоретической и общеэстетической плоскости; работы о радищевской традиции в ораторской прозе декабристов (Н. Д. Кочеткова), об антигитанической теме в вольной поэзии начала XIX в., локализовавшейся вокруг царубийства 11 марта 1801 г. как около стержневого центра (В. П. Степанов), наконец, об изменении просветительского исторического мышления под воздействием романтической историографии (статья И. З. Сермана о Корниловиче-историке) — с разных сторон подходят к теме «декабристы и Просвещение», выработывая частные пути подхода к общей проблеме. Качест-

венное своеобразие декабристского «гражданского романтизма», удельный вес в нем «романтического» и «просветительского» начала — эти проблемы возникают и в статьях и публикациях, касающихся трактовки декабристами национально-исторической темы (работа А. Е. Ходорова об украинских сюжетах поэзии Рылеева, публикация текста Кюхельбекера, характеризующего его фольклористические интересы, А. В. Архиповой).

Вторая группа работ ставит проблему декабристской среды — т. е. широкого круга идеологических, литературных и социально-бытовых явлений, составляющих почву и атмосферу, где возникали и распространялись общественные и эстетические идеи декабризма. Хорошо известно, что в 1820-е годы эти идеи оказывают влияние на широкий круг литераторов, творчество которых отразило общественный подъем этих лет и обозначается нами условно как «литература декабристской периферии». При этом связь оказывается двусторонней: общественная и эстетическая мысль декабристов-литераторов в свою очередь формируется под воздействием «не-декабристов» — не только Пушкина или Грибоедова, но и Вяземского, Д. Давыдова и даже идеологически чуждого им Карамзина. Исследование этих двусторонних воздействий — задача первостепенной важности для изучающего собственно литературу декабризма; она возникает в целом ряде работ последних десятилетий — то как проблема дифференциации либерального движения и дворянской революционности, то как вопрос об эволюции тех или иных социальных и эстетических идей. Эта проблема — «декабристы и русское общество 1820-х годов» — имеет и социально-бытовой и биографический аспект; в настоящем сборнике она ставится в статье Ю. М. Лотмана, анализирующей бытовое поведение декабриста как культурно-типологическое явление, и в ряде работ более частных, широко привлекающих бытовые документы времени (статья А. Л. Вайнштейн и В. П. Павловой о декабристах в салоне Лавалей; И. С. Калантырской — о «Священной артели» и т. д.).

Последняя группа работ, представленных в сборнике, касается идейных судеб декабризма как в ближайшее подекабрьское десятилетие, так и на новых этапах развития революционного движения — вплоть до третьей, социалистической его фазы. Как и в других случаях, составители сборника не преследуют здесь целей полного освещения сложнейшей проблемы; не стремятся они и к единому углу зрения, естественному в коллективной

монографии, но неуместному в сборнике статей. Отклики на судьбы движения и отдельных его участников в лирике Пушкина (статья Т. Г. Цявловской), в дневнике М. А. Дмитриева (публикация В. С. Киселева-Сергенина); осмысление дворянской революционности Достоевским (статья А. В. Архиповой); наконец, вопрос о рукописных источниках по истории и литературе декабризма, попавших в поле зрения В. И. Ленина и отразившихся в знаменитом эпитафье «Искры» (статья А. Н. Иезуитова), — таковы основные темы статей заключительного раздела, к которым естественно примыкает небольшое исследование об использовании фактов истории декабризма в раннесоциалистической английской поэзии (Л. М. Аринштейн).

Мы обозначили лишь основные черты тематики и проблематики работ, ныне представляемых вниманию читателя. К этому следует добавить, что одной из задач сборника было посильное расширение фактической базы изучения декабризма. Архивные разыскания, предпринятые участниками сборника, позволили выявить ряд новых, иногда вовсе неизвестных мемуарных, эпистолярных, научных и художественных текстов — воспоминания Штукенберга о Н. А. Бестужева и А. И. Якубовиче, весьма интересный политический трактат, вышедший из южного окружения Пушкина, политическое стихотворение В. Туманского — и осветить некоторые не затронутые изучением эпизоды биографии и литературной деятельности А. Бестужева, Кюхельбекера, Ф. Глинки и др. (см. статьи и публикации В. Э. Вацура, Э. И. Власовой, А. Гласе, Р. В. Иезуитовой, Б. Н. Капелюш, Я. Л. Левкович, Н. Я. Эйдельмана и др.).

Документы публикуются в соответствии с общими правилами, принятыми в изданиях АН СССР для текстов новой русской литературы; из числа вариантов приводятся лишь имеющие значение для интерпретации текста. Архивохранилища обозначаются сокращенно: ГИМ ОПИ (Отдел письменных источников Гос. Исторического музея, Москва); ГБЛ (Гос. Библиотека им. В. И. Ленина, Москва); ИРЛИ (Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, Ленинград); ЦГВИА (Центральный гос. военно-исторический архив, Москва); ЦГИА (Центральный гос. исторический архив, Ленинград); ЦГАОРСС (Центральный гос. архив Октябрьской революции и социалистического строительства, Москва); ЦГАЛИ (Центральный гос. архив литературы и искусства, Москва).

Статьи

Г. П. МАКОГОНЕНКО

О РОМАНТИЧЕСКОМ ГЕРОЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ПОЭЗИИ

I

Всемирно-исторические события Отечественной войны 1812 г. явились рубежом в политической и национальной жизни России. Они оказали огромное влияние на развитие русской литературы: именно после войны центральными проблемами, остро осознававшимися писателями разных направлений и противоположных идейных взглядов, стали историческая судьба России, ее будущность, самобытность народа. Практически возникшая проблема изображения русского характера была одновременно и проблемой выработки идеала человека. Понимался он, естественно, не одинаково и утверждался в литературе в ожесточенной борьбе.

Решающее влияние на формирование идеала человека оказало развитие идеологии дворянской революционности. «Декабризм» — это важнейшая и знаменательная эпоха передового движения умов России, это тип сознания, весьма благородный тип психики, настроений и идей лучших людей России тех лет. Важную роль в этом движении играл Пушкин.

С конца 1814 г. в Россию из заграничных походов стала возвращаться русская армия. В столице появились новые люди — молодые офицеры, участники сражений с Наполеоном, победители и спасители отечества, исполненные чувства достоинства патриоты. Перенесенные тяготы и лишения, сознание выполненного долга, понимание неисчислимых бедствий, выпавших на долю народа, — весь богатый опыт войны поднимал их к высокой нравственной жизни. Добытая в тяжелых боях победа наполняла сердце каждого участника войны отвагой и силой. Привыкшие жить интересами родины, отдавать свою жизнь отечеству, они и теперь, в дни мира, были объединены общими мыслями и заботами о будущем спасенного ими отечества, о судьбе народа, лучшие сыны которого — доблестные солдаты — сражались под их командованием, проявляя чудеса храбрости и выносливости, благородства и патриотизма.

Нравственная жизнь дворянского общества столицы приобрела небывалый характер. Произошел раскол в дворянстве. Об этом «большом расколе» на «правоверных» — «сторонников древних обычаев, деспотического правления и фанатизма» и «еретиков» — «защитников иноземных нравов и пионеров либеральных идей» писали многие современники.¹

Духовный склад таких «еретиков» описал Герцен: «Гвардейские и армейские офицеры, храбро подставлявшие грудь под неприятельские пули, были уже не так покорны, не так стоворчивы, как прежде. В обществе стали часто проявляться рыцарские чувства чести и личного достоинства, неведомые до тех пор русской аристократии плебейского происхождения, вознесенной над народом милостью государей. В то же время дурное управление, продажность чиновников, полицейский гнет стали вызывать всеобщий ропот». «Люди энергичные и серьезные» «задумали создать большое тайное общество. Это общество должно было заниматься политическим воспитанием молодого поколения, распространять идеи свободы. . .»²

II

Французская революция 1789 г. отчетливо обозначила начало новой эпохи в жизни европейских народов — уничтожение феодально-крепостнического строя и утверждение буржуазного общества. Ленин так характеризовал этот этап истории человечества: «... эпоха, с великой французской революции до франко-прусской войны, есть эпоха подъема буржуазии, ее полной победы. Это — восходящая линия буржуазии, эпоха буржуазно-демократических движений вообще, буржуазно-национальных в частности, эпоха быстрой ломки переживших себя феодально-абсолютистских учреждений».³

Россия также оказалась подготовленной к развертыванию борьбы с отжившими феодально-абсолютистскими учреждениями — с крепостным правом и самодержавием. Освободительное движение в России, связанное с декабристами, относится к эпохе буржуазной революционности и великих преобразований социального мира. Отсюда закономерность интереса передовой России к освободительной мысли западных стран, и в частности к французскому Просвещению, изучение конституций новых буржуазных государств, возрастающее внимание к литературе и философии Англии, Франции и Германии.

¹ См., например: У дь б ы ш е в А. Письма к другу в Германии. — В кн.: Декабристы и их время. Т. I. М., 1928.

² Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах (в дальнейшем: Герцен). Т. VII. М., 1956, с. 194—195.

³ Ленин В. И. Соч., т. 26, с. 143.

Но общие задачи времени решались в разных странах индивидуально, своеобразие национальных и социальных условий накладывало свою печать на весь ход событий. Наибольшим своеобразием отличалось русское освободительное движение, обусловленное «громкими особенностями»⁴ социального и общественного развития России. Во всех странах активной силой антифеодальной борьбы была буржуазия. В России не было революционной буржуазии, она не возглавляла народные массы, она настойчиво добивалась сделки с самодержавием. Борцами с крепостным правом и самодержавием стали лучшие люди из дворян.

Эпоха подъема буржуазии, ее полной победы стала эпохой господства буржуазной идеологии, ее всепроникающего влияния на духовную жизнь европейского общества. Дворянский период освободительного движения уберег русскую мысль, русскую культуру, русскую литературу от непосредственного и прямого воздействия буржуазных идеалов. Тем самым были predeterminedены национально-индивидуальные решения многих не только общих, но и конкретных вопросов борьбы за социальное преобразование общества. Закономерны потому были и споры с теми идеалами и идеями, которые приходили в Россию из Западной Европы, — споры, демонстрирующие быстро растущую самостоятельность русской мысли, формировавшейся в горниле революционной борьбы.

Дворянские революционеры были страшно далеки от народа. В этом их историческая драма. Действуя одиноко, они отважно брали на себя историческую миссию спасения отечества. Идея спасения родилась в огне Отечественной войны. Россия была в опасности, и ее спас поднявшийся на вооруженную борьбу народ. После победы, когда герои-ратники вернулись домой, с еще большей ясностью проявилось бедственное положение бесправных, нищих крепостных, превращенных в «тяглый скот», отданных самодержавием в вечное владение помещикам. Дворянские революционеры восторженно приветствовали патристическую активность народа во время войны. Социальная активность крепостных всегда их пугала — лучшие люди из дворянства принадлежали к помещичьему классу. Понимая гибельность крепостного права, они и решились принять на себя бремя революционной борьбы с существующим режимом. Характерно, что первое тайное общество декабристов называлось Союзом Спасения.

Спасение требовало «святого самопожертвования», героизма, готовности отдать жизнь за счастье и свободу других. Нравственные проблемы стали определяющими. Велением времени было воспитание высоких идеалов и чувств. В слове «высокое» и осуществлялась кристаллизация декабристского идеала человека. Высокое — это способность преодолевать стремление к частному

⁴ Там же, т. 3, с. 7.

эгоистичному существованию, личному благополучию, довольству, обеспеченности, с одной стороны, и с другой — готовность жить интересами всеобщими, жертвовать своей жизнью во имя отчизны, во имя людей, и прежде всего во имя бедствующего народа, во имя идеалов свободы. И только в этой деятельной, героической жизни, в борьбе с произволом, деспотизмом и неволей и осуществлялась самореализация личности в пору освободительного движения.

Исследователь декабристской литературы В. Г. Базанов убедительно показал, что представление об особом гражданском и общественном назначении литературы, ее обязанности воспитывать высокие чувства и мысли сложилось под влиянием идеологии дворянской революционности, нашедшей, в частности, свое выражение в «Зеленой книге». «Программные выражения законоположения Союза Благоденствия» «поэтами-декабристами, Пушкиным и Грибоедовым были переведены на язык поэзии, перелиты в поэтические лозунги». И далее исследователь приводит ряд поэтических формул с характерным для этого направления употреблением слова «высокое»: «Высоких дум кипящую отвагу» (Рылеев), «Страстей высоких юный жрец» (Раевский), «Святые таинства высокого искусства» (Кюхельбекер), «К искусствам творческим, высоким и прекрасным» (Грибоедов), «И дум высокое стремленье» (Пушкин).⁵

Подводя итог трагическим событиям 14 декабря 1825 г., Герцен писал о дворянских революционерах: «Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель...».⁶ Герцен не преувеличивал: в 1825 г. в «Полярной звезде» Рылеев напечатал «Исповедь Наливайки», потрясшую читателей своим пророческим предвидением:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа —
Судьба меня уж обрекла,
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю...

Те же чувства выразил Рылеев М. Бестужеву, когда впервые прочел ему эти стихи: «Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей гибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России».⁷

⁵ Базанов В. Очерки декабристской литературы. Публицистика. Проза. Критика. М., 1953, с. 218.

⁶ Герцен, т. XII, М., 1957, с. 171.

⁷ Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 7.

Настроения и убеждения эти формировались сразу после окончания Отечественной войны. Патриотизм обретал новые черты, сливаясь с гражданственностью, становился выражением подлинно вольнолюбивых идеалов. В стихотворении (распространявшемся в списках) одного из членов «Священной артели» «К артельным друзьям» говорится о «высоких чувствах», о том, что «в душе горит добра огонь священный». Здесь выражены сознание долга патриота и его жажда деятельности во имя свободы России. При этом поражает сходство этого стихотворения со знаменитым пушкинским посланием к Чаадаеву. Автор стихотворения «К артельным друзьям» писал:

Но час пробьет: услышим мы
Отечества призыванье!
Тогда появится из тьмы
Душ пламенных желанье:
Сплетенные рука с рукой,
На путь мы ступим жизни
И пылкой полетим душой
Ко счастью отчизны.⁸

У Пушкина:

Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
.....
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Оба стихотворения запечатали те чувства, те желания, те прекрасные порывы души, которые были свойственны молодому поколению, вступавшему на путь борьбы за «святую вольность». Их близость доказывает распространенность новых идеалов и новой морали, свидетельствует о необыкновенной чуткости юного Пушкина к сокровенным процессам духовной жизни России.

III

Идея личности — свободной, независимой и гордой — была общей для русской и новой западноевропейской литературы. Оттого таким успехом пользовался Байрон и на Западе, и в России. Но русский идеал человека вступал в противоречие с тем пониманием ценности личности, которое вырабатывалось в странах победившей или побеждавшей буржуазии под влиянием ее идеологии. Так возникали в русской литературе споры с идеями западноевропейской литературы, в ходе которых раскрывалась гибельность для человека философия индивидуализма. В преодолении идеалов буржуазного индивидуализма и проявля-

⁸ Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. I. М., 1955, с. 129.

лось прежде всего своеобразие передовой русской литературы — ее антибуржуазность.

Вот характерный пример: 13 июня 1821 г. в Вольном обществе любителей российской словесности Н. Гнедич произнес речь о назначении поэта. Одним из поводов к ее произнесению была защита ссыльного Пушкина от нападков реакционеров и ретроградов. Важнейшей особенностью этой речи была ее документальность: она не декларировала абстрактные правила поведения писателя, но обобщала живой опыт русской литературы (в частности, Радищева, Фонвизина, Державина) и ее нового юного вождя — Пушкина. Опираясь на деятельность вольнолюбивого и гонимого самовластием поэта, Гнедич и формулировал типично русскую мысль о назначении и общественной роли писателя: «Да будет перо в руках писателя то, что скипетр в руках царя: тверд, благороден, величествен». Исполнение гражданского долга требовало мужества: «Чтобы владеть с честью пером, должно иметь более мужества, нежели владеть мечом». Не поддаваясь чуждым влияниям, русский писатель не подражает иностранным образцам, но выражает чувство русского человека, подвигнутого своей любовью к отечеству к высокой деятельности на благо общее. Потому оратор отвергал идеал человека немецкого или английского романтизма. Имея в виду Байрона, Гнедич подчеркивал индивидуалистический характер его философии. «Отделяясь, как холодную стеною, от общества себе подобных, человек видит себя — зрелище унылое! — одного в мире и мир для одного себя».⁹

Отдаление от жизни и интересов других людей порождало презрение к человеку, его умаление, обуславливало жизнь для себя. Сосредоточенность личности на самой себе вела к эгоизму, выжигавшему все благородное и высокое из ее сердца, ожесточавшему душу. Вот почему русским писателям, по мысли Гнедича, необходимо было найти, открыть пути к подлинному величию: «Нужнее черезмерить величие человека, нежели унижать его». Путь, который открывали Отечественная война и освободительное движение, — это «святое пожертвование самим собою для блага людей».¹⁰

В выполнении задачи «черезмерить величие человека» важную роль должно было сыграть обращение к русской национальной традиции, к примерам прошлого и совсем недавнего времени. Оттого интерес к русской истории будет характерным и важнейшим моментом развития литературы первого тридцатилетия. При разных идейных и эстетических убеждениях писателей,

⁹ Характерно, что позже Пушкин в том же духе будет спорить с Байроном: «Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах (в дальнейшем: Пушкин). Т. VII. М.—Л., 1949, с. 62).

¹⁰ Декабристы и их время. М.—Л., 1951, с. 133—134.

обращавшихся к историческим сюжетам и историческим героям, должна быть отмечена как закономерность эта остро осознаваемая необходимость проверять и подкреплять формирующиеся русские идеалы и русскую мысль национальной традицией. История России — государства и народа — привлекалась для понимания, уяснения и объяснения современности и будущего. Из громадного числа исторических сочинений всех жанров — прозаических и поэтических — должны быть выделены как этапные для русской литературы: карамзинская «История государства Российского», являющаяся крупной вехой на пути формирования историзма русской мысли; декабристские произведения на материале истории, с их романтической концепцией прошлого России и национального характера; пушкинские — от «Бориса Годунова» до «Капитанской дочки», — знаменовавшие торжество историзма и углубление принципов социального объяснения человека.

Спасение России и ее бедствующего народа требовало освящения предстоящего подвига национальной традицией. История, по убеждению декабристов, могла подтвердить ту их идею, что уничтожение рабства и самодержавия есть возвращение к исконно национальным формам социальной жизни и государственного управления, которые были насильственно уничтожены господствующим сословием в своих корыстных целях. Это с одной стороны. С другой — история призвана была воодушевить на героические подвиги современников примерами героев прошлого. Так, после Отечественной войны с особой остротой была поставлена проблема уяснения русского национального характера, «духа народа».

В 1816 г. будущий декабрист Муравьев в «Рассуждении о жизнеописаниях Суворова» сетует, что отсутствие интереса к русской истории у писателей заставляет современников «пользоваться примерами других народов, как будто бы мы скудны были своими... Россия имела Румянцевых, Суворовых, Каменских, Кутузовых, но дела их никем надлежащим образом не описаны». Собираясь писать жизнеописание Суворова, «первого из вождей», он ставит вопрос — в чем корни истинного героизма патриота, сына отечества? И отвечает: «Существует одна только преграда завоевателям — дух народа».¹¹

В том же году Федор Глинка в статье «О необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года» указывал, что потому рухнули завоевательные планы Наполеона, что он обманулся «в уме и духе народа». «История» должна была помочь понять «дух народа», вдохновлять на подвиги, воспитывать чувство преданности и любви к родине. «Тебе, русский историк! предлежит священный подвиг сей: ты должен оживотворить для потомства тех, которые пострадали смертью за отечество!» «Так!

¹¹ Сын отечества, 1816, № 6, с. 224; № 16, с. 129.

вы не умерли, мужи, падшие на полях *задоисских*; не исчезла память ваша, витязи, окропившие кровию своею пустыни *Оркские*! Великие тени ваши не сгуют о забвении: вы живете в сердцах истинных Россиян». Великие тени жили в сердцах героев Отечественной войны — национальный характер проявил себя в великих и самоотверженных деяниях во имя спасаемого отечества. История Отечественной войны должна была воодушевлять новых героев, которых ждет Россия на попрание борьбы за свободу. «Историк! <...> исполни последнюю волю героев бывших и тогда История твоя родит *героев времен будущих*».¹²

Не столько историки, сколько писатели исполнили это веление времени. История вдохновила Ф. Глинку, А. Бестужева, Рылеева, — они создали произведения на исторические сюжеты. Особой популярностью пользовались «Думы» Рылеева, общественный и литературный смысл которых определил декабрист А. Бестужев: «Рылеев, сочинитель дум или гимнов исторических, пробил новую тропу в русском стихотворстве, избрав целью возбуждать доблесть сограждан подвигами предков».¹³

Формирование идеологии дворянской революционности и революционное движение против царизма, подготовка декабристами буржуазной революции без буржуазии и с неприятием буржуазной идеологии явилось поистине эпохальным событием русской национальной жизни. При всей классовой ограниченности декабристов, узости круга революционеров, их далекости от народа начатая ими революционная борьба с крепостным правом и самодержавием объективно отвечала насущным интересам и многомиллионного крестьянства, и всей нации в целом. Декабристский этап освободительной борьбы исторически оказался первым этапом русской революции: «Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен».¹⁴

Ленин постоянно подчеркивал преемственность между тремя периодами русской революции. Закономерностью была быстрая демократизация освободительного движения, которое завершилось «бурей» — движением самих масс, движением многомиллионного крестьянства, поднятого на борьбу единственным до конца революционным классом — пролетариатом.

Трагизм декабристского движения не только в том, что дворянские революционеры были страшно далеки от народа, но и в том, что в ту эпоху крестьянство не оказалось способным к массовым выступлениям.

Великая историческая миссия, выпавшая на долю «лучших людей из дворян», — помочь разбудить народ — была выполнена

¹² Там же, № 4, с. 159.

¹³ Бестужев А. А. Взгляд на старую и новую словесность в России. — В кн.: Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.—Л., 1960, с. 23.

¹⁴ Ленин В. И. Соч., т. 24, с. 261.

и дворянскими революционерами, и писателями, связанными с освободительным движением. Закономерно поэтому, что в пору начавшейся «бури», на третьем этапе русской революции, Ленин еще и еще раз подчеркивая преемственность, назвал свою газету «Искрой», дав ей в качестве эпиграфа строку из стихотворения А. Одоевского — «Из искры возгорится пламя». Эпиграф же сопровождал историческим примечанием: «Ответ декабристов Пушкину».

Национальный и социальный факторы, каждый из которых определялся конкретно-историческими обстоятельствами данной эпохи, в своем взаимодействии оказывали могучее влияние на литературу. Перед ней были выдвинуты принципиально новые задачи и вопросы, решать которые она могла, только прочно стоя на национальной почве, осознавая и продолжая традиции.

IV

Глубокие связи русской литературы с западноевропейской в начале XIX в., общность эстетических исканий и открытий с необыкновенной отчетливостью проявились в почти одновременном становлении романтизма. Тут как бы действовал единый закон стадияльного развития. И в то же время русский романтизм в целом — со всеми противоположными и часто враждебными друг другу течениями, — являясь частью общеевропейского направления, выражал себя в национальной, русской форме, утверждал свое бытие в системе мировых литератур как определенный национальный историей феномен.

Исследователи русского романтизма это поняли уже давно. Сошлюсь на мнение Г. А. Гуковского, который, пожалуй, раньше других сформулировал свои выводы: «Дело в том, что романтизм на Западе явился откликом на буржуазную революцию во Франции, на крушение тех надежд, которые возлагались на нее многими, чаявшими безболезненного воцарения на земле мира, счастья, свободы, полного общественного благополучия. Россия не пережила в то время буржуазной революции даже в отраженном виде». Передовая русская дворянская интеллигенция, втянутая уже в XVIII в. в общеевропейское движение идей и социально-политических течений, после завершения французской революции «переживала в 1800—1820-х годах свой революционный подъем; она еще только двигалась к своей попытке революции (декабристской). Отсюда — особые черты русского романтизма, более оптимистического, активного, наступательного, чем западный. Отсюда и то, что в русском романтизме мы не наблюдаем в 1800—1820-е годы безнадежного трагизма „мировой скорби“; не наблюдается в нем и тех решительно реакционных, до конца упадочнических реставрационных тенденций, той политической программной идеализации средневековья, которые определяют

некоторые из проявлений западного романтизма — и немецкого, и даже английского и французского». ¹⁵ Отсюда и решительное расхождение в понимании идеала человека у декабристов и Пушкина — и у западных романтиков: первым чужд буржуазный индивидуализм, органически присущий вторым, потому «безнадежный эгоизм» байроновских героев осуждается и отвергается и Гнедичем, и Кюхельбекером, и прежде всего Пушкиным.

Это общее наблюдение можно уточнить и конкретизировать. Остановлюсь на декабристском романтизме (на материале творчества Пушкина и Рылеева) и, в частности, на жанре романтической поэмы. Именно этот жанр помог Байрону создать образ нового романтического героя — протестанта, мятежника, титаническую личность, находящуюся во вражде с окружающим ее обществом. Огромной была притягательная сила могучих духом байроновских героев. «Властителем дум» века называл Байрона Пушкин. Знакомство с его поэмами послужило толчком к созданию Пушкиным своих романтических поэм. Байронизм пушкинских поэм был очевиден и для современников, и для последующей критики и историко-литературной науки. Начиная с Белинского и до наших дней справедливо пишут не только о зависимости южных поэм от Байрона, но и об их художественном своеобразии, оригинальности и самобытности. ¹⁶

Пушкин стремился уже с первой своей поэмы — «Кавказского пленника» — запечатлеть образ своего современника, русского молодого человека начала XIX в. В первой же поэме, в образе Пленника, как признавался сам поэт, он «хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19 века». ¹⁷ Действительно, типическими чертами передовой молодежи, еще не связавшей себя с тайным обществом и начинавшимся освободительным движением, было недовольство, равнодушие, охлажденность души. Недовольство обществом, в котором приходилось жить, его законами и обычаями, своей бездеятельной жизнью. Равнодушие к жизни — такой, как она складывалась день за днем: пирушки, балы, театры, любовные увлечения, служба в департаменте. Скука и охлажденность, охлажденность ко всем тем благам и радостям беспечного существования, которые предоставлял высший класс своим детям.

Таковы были видимые приметы нравственного облика молодого поколения дворян, вступивших в жизнь после Отечественной войны. Видел их и Пушкин. Попав в ссылку, он и написал

¹⁵ Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965 (в дальнейшем: Гуковский), с. 21—22.

¹⁶ См.: Жирмунский В. Байрон и Пушкин. Л., 1924, с. 140—175; Гуковский, с. 322—331.

¹⁷ Пушкин, т. X. М.—Л., 1949, с. 49.

поэму и сделал ее героем «отступника света», увлеченного «призраком свободы», убежавшего из «неволи душных городов» в мир величавой природы, свободных и диких горцев. Но при воплощении замысла обнаружились непреодолимые трудности. Его современник, герой того времени, как видел и понимал его Пушкин, оказался принужденным действовать в рамках заранее заданной литературной формы. Романтическая поэма определяла путь самореализации героя. Вслед за Байроном протест «отступника света» нашел выражение в бегстве из общества «порочных людей» к непросвещенному и потому не развращенному цивилизацией народу. Нравственная исключительность героя проявлялась лишь в сфере чувств (обязательный в такой поэме любовный сюжет). Пушкин ощущал это противоречие. Стараясь свободно относиться к байроновским поэмам, он лишил своего героя титанизма, озлобленности и, пытаясь преодолеть субъективизм романтического метода, добивался удивительных побед в создании объективных картин природы Кавказа, а в последующих поэмах — Крыма и Бессарабии. И все же «Кавказский пленник» не удовлетворил поэта, не удовлетворил прежде всего характер героя — его субъективность, его одиочество, его бегство от людей, его сосредоточенность на себе.

В этой неудовлетворенности уже проявлялось бессознательное ощущение противоречивости метода романтизма. Начавшееся в России освободительное движение создавало условия для восприятия романтизма с его культом свободной личности. Но реальные деятели этого движения, патриоты, недавние участники Отечественной войны, готовившиеся к самоотверженной борьбе с царизмом и чертавшие силы и вдохновение в героической истории России, так были не похожи на романтических героев, появлявшихся в литературе. Все реальное, конкретное исчезало, таяло, размывалось, и оставалось общее — некая свободная, мятежная личность, лишенная не только индивидуальности, но и национальной конкретности. Создавая Пленника, Пушкин думал о своих реальных «товарищах и братьях», а со страниц поэмы представлял абстрактный романтический герой.

Это противоречие романтизма точно вскрыл Г. А. Гуковский: «Конкретность метода романтизма специфична; это — конкретность индивидуальной души; но, снимая объективные определения характера, социальные, исторические, романтизм тяготеет к снятию реального разнообразия характеров, душ. Отсюда глубокое противоречие романтического метода; герой романтика — единичный человек, но он в то же время всякий любой человек в потенции, он — то единичное, что есть в глубине души всех людей. Отсюда явная повторяемость черт романтических героев, каждый из которых ощущает себя трагически одиноким, оторванным от мира — и в то же время каждый из которых похож на каждого другого. Это и было восприятие мира как хаоса, воздушного океана, где блуждают без руля и без ветрил, под-

чиняясь лишь своим внутренним импульсам, отъединенные души одиноких людей».¹⁸

Творческое недовольство характером пленника было и выражением нарастающего понимания противоречий романтизма. Важным моментом этого процесса и явилась последняя романтическая поэма Пушкина «Цыганы». Она во многом связана с «Кавказским пленником». Но ее главное отличие — большее приближение к форме восточной поэмы Байрона. В «Цыганах» Пушкин сознательно воссоздавал существенные черты этой модели. Отсюда дуплановость этой поэмы: один воспроизводил форму поэм Байрона, в которой раскрывался с наибольшей полнотой романтический герой в его обобщенном виде; другой запечатлел пушкинское открытие трагизма романтического сознания и прежде всего трагизма и безысходности романтического индивидуализма. Смысл «Цыган» в органическом единстве этих двух планов, в споре Пушкина с Байроном.

С поэмами Байрона Пушкин познакомился в Крыму в 1820 г. Две из них — «Гяур» и «Корсар» — впервые раскрывали образ романтического героя, выражали типические черты его философии. Одинакова предыстория героев: сначала они «жили в миру» и даже были счастливы. Потом начался конфликт с окружающими людьми, который в конце концов героев «с людьми и небом в бой вовлек». Дело не в их природной склонности ко злу. Орудием зла они делались в результате «разочарования» в людях, в их идеалах, в их способности делать добро. Отсюда горький и безграничный скепсис, неверие. Имя первого героя Байрона — Гяур, что по-арабски значит не верящий в бога. Романтические герои Байрона — гяуры, не верующие ни в бога, ни в людей. Это неверие и рождало злобную ненависть к человеку, к обществу. О Конраде сказано:

Не верил он, что лучше люди есть
И что отраднo им добро принести.
Оттолкнут, оклеветан с юных дней,
Безумно несправедлив он людей.

Ненависть и побуждала к бегству от людских сообществ, определяла «деятельность» героя — месть.

Священный гнев звучал в нем как призыв,
Отмстить немногим, миру отомстив.

Гнев, ярость, злобное бессилие терзают душу одинокой личности — бунтаря. Противоречие страстей не находит исхода и утоления в мести немногим, и свободная личность превращается в их раба. Главной страстью, в которой и реализовалась вся могучая сила одинокой натуры, была страсть любовная. Любовный сюжет потому и являлся обязательным, формирующим все

¹⁸ Гукoвский, с. 45.

действие романтической поэмы. Любовь оказывалась путем самоутверждения личности, она определяла и идеалы, и характер героя. Какой же предстает в поэмах любовь романтического героя?

В первой же поэме Байрона был раскрыт ее грозный, жестокий лик. Гяур признается:

Мне мерзок щебет про союз
Сердец, про сладость нежных уз;
Но если взор воспламенен,
И спазмой губ удержан стон,
И мозг в огне со всех сторон,
И гнев зовет, и мстит кинжал,
Коль это все любовь — я знал
Ее! Моя любовь была
Такой и так же больно жгла.

Гневный монолог Гяура — все тот же бунт против лживой, пошлой, лицемерной морали «людей», от которых он убегает и которых ненавидит. Все так. Но Пушкин уже видел и другое в чувствах и делах романтического героя — то, что все отчетливее проявлялось в философии жизни этого героя. Нет, не любовь одушевляла Гяура, но страсть. Грозная, испепеляющая, судорожная, она затемняла разум и в бешеном неистовстве обнажала животное начало человеческой природы. Это даже подчеркивалось в поэме уподоблениями:

Да, коршун я; как он, меж скал
Мой путь я кровью означал.

Одиноким, загнанным своей ненавистью к людям в темный и глухой мир страсти, он вынужден признаться:

Зверья презренный нами род
Нам верности пример дает.

Любовь-страсть окончательно отрывает героя от общества, условием ее существования оказывается ненависть к людям. Конрад признается своей возлюбленной:

... Я вдвойне палим:
Любовь к тебе есть ненависть к другим,
Связь эту разорви, и, полюбя
Других людей — я разлюблю тебя.

Герои Байрона — мрачные, гордые, бесконечно одинокие, ненавидящие всех людей, находящиеся в состоянии «войны со всеми», видящие свое призвание в мести «немногим», кто попался на их пути, чтобы тем самым отомстить человечеству. Романтический герой — гениальное обобщение горестной судьбы личности, принужденной жить в трагическую эпоху, наступившую с победой буржуазного правопорядка. Буржуазное общество разобщило людей, обрекало каждого человека на

постоянную, бескомпромиссную, жестокую и беспощадную борьбу со всеми.

Выражая глухо вырвавшийся протест против бесчеловечного буржуазного существования, Байрон наделил своих героев мятежностью, бунтарской силой. Он вдохнул в романтизм новую жизнь, доведя апофеоз личности, свойственный романтизму, до наивысшего предела. Его герои жили в напряженной атмосфере страстей и нравственных конфликтов, но при всей отвлеченности и абстрактности их бунта романтическая поэзия Байрона явилась великим знаменем времени: она защищала человека и объявляла войну буржуазному обществу.

Поэзия Байрона выростала на английской почве и была обусловлена своими — и национальными, и социальными — условиями жизни, своими традициями. Идеи личности, ее свободы и независимости, вдохновлявшие Байрона, были порождены тем обществом, с которым воевал поэт. В этом и было непреодолимое противоречие нового социального правопорядка. Исторически так и было: шедшая к власти буржуазия на своем знамени гордо начертала идеалы свободного человека и равенства людей. Уничтожение феодальной зависимости действительно освобождало человека. Но этот свободный человек оказывался заражен эгоизмом, отделявшим его от жизни всеобщей, загонявшим в мир частных интересов и страстей. Именно эгоизм буржуазия выдвинула как необходимую форму самоутверждения человека. Так индивидуализм обусловил философию романтизма, он стал оружием борьбы с ненавистным буржуазным обществом, он, казалось, единственно мог спасти в этом мире личность.

Отсюда бегство из общества, бегство в одиночество, бунт, исполненный безнадежности и отчаяния. Чувства и страсти, раздиравшие могучую натуру романтического героя, искали выхода. Этим выходом стали месть и любовь. Ненависть ко всем людям искажала человеческую природу, эгоизм превращал человека в палача, любовь становилась грозной и темной страстью, которая несла новые страдания и еще больше ожесточала душу. Романтизм, неистово защищая человека отравленным оружием, губил, развращал его, навязывая ему идеал эгоистического существования.

V

Уже на юге Пушкину раскрылось это противоречие романтизма, стала ясной бесчеловечность эгоизма, чуждость философии индивидуализма реальной практике тех русских деятелей, которые, идя на святой подвиг спасения России, жертвовали своей жизнью во имя счастья и свободы народа. В 1821 г. он точно определил эту философию, сказав о Наполеоне: «Ты человечество презрел». Презрение к человечеству, выражая существо буржуазного понимания человека, любимыми средствами добивающегося

своего благополучия, резко и категорически противоречило русскому идеалу человека, как он сложился в прошлом, как он проявился в недавних событиях Отечественной войны и как сейчас, в канун грозной бури, он формировал нравственный облик молодого поколения, создававшего тайные общества борьбы за свободу отечества.

Преодолевая романтизм, Пушкин решительно отвергал философию индивидуализма. Вместо романтической поэмы он начал писать свободный роман «Евгений Онегин», герои которого раскрывались как русские характеры. Созданная поэтом форма романа способствовала этому раскрытию. При этом опять неизбежным был спор с Байроном, в ходе которого утверждала себя русская мысль, русский идеал человека.¹⁹ В третьей главе «Онегина», написанной в феврале—марте 1824 г. в Одессе, Пушкин писал:

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен нам в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль Вечный жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар.
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

Именно с этих позиций и создавались «Цыганы» (поэма начата в январе, окончена в октябре 1824 г.). Сохраненная здесь модель романтической поэмы раскрывает замысел поэта — дать бой романтизму на его же плацдарме. Алеко — русский романтический герой. Он в еще большей степени, чем Пленник, «друг свободы» — и потому герой своего времени. Но противоречие романтизма, приводившее к повторяемости облика романтического героя, позволило Пушкину подчеркнуть в Алеко общеромантические черты. Отсюда его «братство по духу» с байроновскими характерами. Он такой же «беглец», ему «душно» в обществе, где «любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей, главы пред идолами клонят и просят денег и цепей», он раб страстей («Но боже! как играли страсти его послушною душой»), он типичный глур — не верующий ни в людей, ни в добро, ни в любовь («Я не верю ничему»).

¹⁹ Заслуживает внимания и постоянное сближение Пушкиным Байрона и Наполеона. В 1824 г. в стихотворении «К морю» он называет обоих «гениям» «властителями наших дум». Через четыре года он скажет еще определеннее: «...сближение себя с Наполеоном нравилось его (Байрона, — Г. М.) самолюбию» (Пушкин, т. VII, с. 69).

В то же время любовь — единственное прибежище этого одинокого беглеца: «Одно мое желанье с тобой делить любовь, досуг», — признается он Земфире. Но любовь эта извращена эгоизмом. Выслушав рассказ старого цыгана о том, как в молодости от него ушла с другим жена Мариула, Алеко гневно осуждает старика за то, что он «коварной кинжала в сердце не вонзил», и тут же гордо раскрывает свое кредо:

Я не таков. Нет, я не спора
От прав моих не откажусь!
Или хоть мщеньем наслажусь.

Это не случайная обмолвка. Пушкин сознательно заставляет Алеко повторять слова Гяура, который, рассказывая о любимой им черкешенке, убитой за измену мужем, признавался:

Я так же бы убил, как он,
Будь я изменой оскорблен.

Алеко, будучи рабом страсти, убивает изменившую ему Земфире и молодого цыгана; выступая мстителем по отпощепию к ближним, он мстит тем самым всему человечеству.

Именно романтический ореол Алеко определил успех поэмы Пушкина. Но пафос ее в другом. Пушкин открыл русскому читателю трагизм романтической философии человека, бессмысленность самоценной индивидуальной свободы, гибельность для личности эгоизма, превращавшего ее в палача. Бегство, показывая Пушкин, это фикция. Алеко бежит из общества, но то, что он ненавидит в нем, он уносит с собой. Его свобода — злая сила, она несет другим людям несчастья, страдания и смерть. Устами старого цыгана Пушкин объясняет, почему это происходит: «Ты для себя лишь хочешь воли». Знаменательно, что истина эта высказана человеком из народа.

Философия индивидуализма была чужда русскому национальному пониманию идеала человека, складывавшемуся на ипсой социальной почве, не подвергавшемуся воздействию буржуазной идеологии. Борьба Пушкина с индивидуализмом — это его величайшая заслуга перед русской литературой, он уберегал ее от буржуазного влияния, помогая развитию национальной самобытности. Полностью это удалось осуществить уже не с романтических, а с реалистических позиций. Реализм Пушкина с его историзмом и народностью создавал новые и более широкие возможности раскрытия не только современного русского мира, но и русского характера.

Личная позиция Пушкина была в то же время обусловлена теми закономерностями формирования национальной самобытности русской литературы нового времени, которые с такой силой проявляли себя после Отечественной войны и в годы развертывавшегося освободительного движения. Яркий пример того — гражданский, декабристский романтизм. Пушкин стал реалистом.

Рылеев остался романтиком и вождем гражданского романтизма. Но этот романтизм, несмотря на субъективизм метода, также оказался чуждым эгоизму. Взаимодействие социального и национального факторов обусловило философию русского романтического героя.

Практическая цель движения — ниспровержение самодержавия и крепостного права — определила нравственный кодекс и декабристов, и героев Рылеева. Они выступали борцами с самовластьем, борцами за свободу отечества и счастье других людей. Проблема местного колорита, важная в романтизме, у декабристов-романтиков наполнилась особым содержанием: они понимали характер человека как личностное проявление национального характера. Известно, что антиисторизм и субъективизм декабристов не позволил им раскрыть этот характер конкретно-исторически, что их представление о нации-народе было метафизическим. Но важно другое — признавая национальное своеобразие за всеми народами, декабристы, опираясь на историю, подчеркивали в русском характере воинскую доблесть и, проецируя свои убеждения в историю, выделяли вольнолюбие как главную черту этого характера.

Отсюда не только интерес к героическим страницам русской истории и прославленным русским героям, но и стремление воспитать молодое поколение на героических примерах прошлого. Именно потому героями рылеевских дум и поэм стали исторические деятели. Субъективизм не позволял создать объективные характеры этих деятелей, и историчность таких героев проявлялась только в именах. Но тот же субъективизм позволял с необыкновенной экспрессией и полнотой выразить их политические и нравственные убеждения: они говорили, думали и чувствовали, как думал и чувствовал сам поэт. И Рылеев не видел в этом отступления от правды, — такова была концепция русского национального характера, которому всегда присущи вольнолюбие, отвага, самоотверженность.

Романтическим героям Рылеева, когда бы они ни жили, свойственны общие, неизменные убеждения, потому что они олицетворяют национальный характер. В этих заданных концепцией обстоятельствах героями могли оказаться Курбский и Войнаровский, так как они выступали против самовластья Грозного и Петра и, проявив мужество, оказались жертвами деспотизма, а значит в них ярко проявились черты русского характера.

Так кардинально изменился на русской почве романтический герой. Оставаясь сильной, могучей, одинокой личностью, он не убегал от людей, не провозглашал своей ненависти к ним и жажды мщения, не оказывался рабом страстей. Его мятежность проявлялась в борьбе с самовластьем за свободу отчизны. Войнаровский признавался, что долго он жил, наслаждаясь счастьем и дружбой, и «от души людей любил». Но пробил час «борьбы свободы с самовластьем» — и он вступил в ряды борцов:

Готов все жертвы я принести, —
Воскликнул я, — стране родимой;
Отдам детей с женой любимой,
Себе одну оставлю честь.

Даже после поражения, находясь в Сибири, Войнаровский не считает возможным самовольно прекратить выпавшие на его долю страдания — не может умереть, потому что жизнь его отдана народу, родине.

Но жизнь и смерть я презираю...
Мне надо жить; еще во мне
Горит любовь к родной стране, —
Еще, быть может, друг народа
Спасет несчастных земляков,
И, достойные отцов,
Воскреснет прежняя свобода!..

Тот же строй чувств, те же идеалы вдохновляют Наливайко. Он долго страдал, томился думой, прежде чем вступить на стезю борьбы за свободу своего угнетенного народа.

Но вековые оскорбления
Тиранам родины прощать
И стыд обиды оставлять
Без справедливого отмщенья —
Не в силах я: один лишь раб
Так может быть и подл и слаб.
Могу ли равнодушно видеть
Порабощенье земляков?

Как истинный романтический герой Наливайко предан свободе, ценит ее превыше всего («Еще от самой колыбели к свободе страсть зажглась во мне»). Но эта страсть — высокая, воодушевленная любовью к людям и ненавистью к тиранам, она движет им, поднимает на смертный бой с врагами родины и народа, рождает силы необъятные и светлую готовность умереть за отчизну и свободу:

Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

Высокость дум и чувств, активная, доходящая до жертвенности любовь к народу (а не вообще к людям), проявлявшая себя в отважной борьбе за свободу, свободу не для себя, а для своих «земляков» и для родины, — вот что определяло нравственный кодекс декабристского романтического героя. Рылеевские герои лишены мрачности, разочарованности и отчаянного злодейства байроновских героев. Они не были рабами испепеляющих и роковых страстей: декабризм с его культом самоотверженного спасения народа и отечества позволил поэтам-романтикам раскрыть в человеческой природе высокую духовность. Это и было

ярким проявлением национального своеобразия русского гражданского романтизма. Русская литература не только осваивала художественный опыт Европы, но и оспаривала идеал человека, искаженный индивидуализмом, выдвигая свое понимание ценности человека.

В 1830 г., в Болдине, заканчивая роман «Евгений Онегин», Пушкин считал необходимым с высот исторического опыта оценить декабристское движение. Так появились первые строфы восьмой главы. Осторожно, скупно, лаконично рассказывал поэт о себе, о своих «товарищах и братьях», о времени до того, «как грянул гром», и после, когда «вдруг изменилось все кругом». Время это — подготовка и крушение дворянской революции. О той же эпохе определеннее было сказано в уничтоженной десятой главе, но стремление Пушкина сберечь от жандармских глаз заветное не должно мешать нашему пониманию замысла в целом. Оценка прошлого с позиций историзма после 14 декабря 1825 г. являлась жизненной необходимостью. Запечатленная в «Евгении Онегине», она оказалась объективным моментом развития русского самосознания.

Революция, подготовленная декабристами, не привела к победе, к счастью и свободе; одни ее участники попали на эшафот, другие — в каторжные норы Сибири. Но декабризм воспитал настоящих, чуждых индивидуализму людей. Рожденные в среде палачества и раблепия, они отважно выступили против деспотизма самодержавия и крепостного права. Декабристский идеал человека выковывался в трудной борьбе, исполненной героического и самоотверженного желания хоть гибелью своей послужить народу.

История позволила Пушкину сделать важный вывод: готовность жертвовать собой во имя высокой цели, осуществление которой не дано увидеть, духовно преображает человека. Он оказывается способным преодолевать покорность, доводы здравого и трезвого рассудка, страх; он обретает нравственную свободу в рабской стране. Исторический и нравственный опыт декабристов помог Пушкину в 1830-х годах определить свой идеал человека.

Ю. М. ЛОТМАН

ДЕКАБРИСТ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

(Бытовое поведение как историко-психологическая категория)

Исторические закономерности реализуются не автоматически. В сложном и противоречивом движении истории скрепляются и противоборствуют процессы, в которых человек является пассивным агентом, и те, в которых его активность проявляется в самой прямой и непосредственной форме. Для понимания этих последних (их иногда определяют как субъективный аспект исторического процесса) необходимо изучение не только общественно-исторических предпосылок той или иной ситуации, но и специфики самого деятеля — человека. Если мы изучаем историю с точки зрения деятельности людей, нам невозможно обойтись без изучения психологических предпосылок их поведения. Однако и психологический аспект имеет несколько уровней. Несомненно, что некоторые черты поведения людей, их реакций на внешние ситуации свойственны человеку как таковому. Такой уровень интересует психолога, который если и обращается к историческому материалу, то лишь затем, чтобы найти в нем иллюстрации психологических законов как таковых.

Однако на основе этого общепсихологического пласта и под воздействием исключительно сложных социально-исторических процессов складываются специфические формы исторического и социального поведения, эпохальные и социальные типы реакций, представления о правильных и неправильных, разрешенных и недозволенных, ценных и не имеющих ценности поступках. Возникают такие регуляторы поведения, как стыд, страх, честь. К сознанию человека подключаются сложные этические, религиозные, эстетические, бытовые и другие семиотические нормы, на фоне которых складывается психология группового поведения.

Однако группового поведения как такового не существует в реальности. Подобно тому, как нормы языка реализуются и одновременно неизбежно нарушаются в тысячах индивидуальных говорений, групповое поведение складывается из выполнений и нарушений его в системе индивидуального поведения

многочисленных членов коллектива. Но и «неправильное», нарушающее нормы данной общественной группы поведение отнюдь не случайно. Нарушения общепринятых норм поведения — чудачества, самые «безобразия» человека до- и послепетровский эпохи, дворянина и купца, крестьянина и монаха — резко различались (при том, что, конечно, имелись и общие для всех «национальные» разновидности нарушений нормы). Более того, норма и ее нарушения не противопоставлены как мертвые данности. Они постоянно переходят друг в друга. Возникают правила для нарушений, правил и аномалии, необходимые для нормы. Реальное поведение человека будет колебаться между этими полюсами. При этом различные типы культуры будут диктовать субъективную ориентированность на норму (высоко оценивается «правильное» поведение, жизнь «по обычаю», «как у людей», «по уставу» и пр.) или же ее нарушение (стремление к оригинальности, необычности, чудачеству, юродству, обесцениванию формы амбивалентным соединением крайностей).

Поведение людей всегда многообразно. Этого не следует забывать. Красивые абстракции типа «романтическое поведение», «психологический тип русского молодого дворянина начала XIX в.» и т. п. всегда будут принадлежать к конструкциям очень высокой степени отвлеченности, — не говоря уже о том, что всякая нормализация психосоциальных стереотипов подразумевает наличие вариантов по возрасту («детское», «юношеское» и пр.: «смешон и ветреный старик, смешон и юноша степенный»), полу и проч.

Психика каждого человека представляет собой столь сложную, многоуровневую структуру, со столь многообразными частными упорядоченностями, что возникновение двух одинаковых индивидов практически исключается.

Однако, учитывая богатство индивидуальных психологических вариантов и разнообразие возможных поведений, не следует забывать, что практически для общества существуют совсем не все поступки индивида, а лишь те, которым в данной системе культуры приписывается некоторое общественное значение. Таким образом, общество, осмысливая поведение отдельной личности, упрощает и типизирует его в соответствии со своими социальными кодами. Одновременно личность как бы доорганизовывает себя, усваивая себе этот взгляд общества, и становится «типичнее» не только для наблюдателя, но и с позиции самого субъекта.

Таким образом, при анализе структуры поведения людей той или иной исторической эпохи нам придется, строя те или иные конструкции, постоянно иметь в виду их связь с многочисленными вариантами, сложное диалектическое переплетение закономерного и случайного, без чего механизмы общественной психологии не могут быть поняты.

Однако существовало ли особое бытовое поведение декабриста, отличающее его не только от реакционеров и «гасильников»,

но и от массы современных ему либеральных и образованных дворян? Изучение материалов эпохи позволяет ответить на этот вопрос положительно. Мы это и сами ощущаем непосредственным чутьем культурных преемников предшествующего исторического развития. Так, еще не вдаваясь в чтение комментариев, мы ощущаем Чацкого как декабриста. Однако Чацкий ведь не показан нам на заседании «секретнейшего союза» — мы видим его в бытовом окружении, в московском барском доме. Несколько фраз в монологах Чацкого, характеризующих его как врага рабства и невежества, конечно существенны для нашего толкования, но не менее важна его манера держать себя и говорить. Именно *по поведению* Чацкого в доме Фамусовых, по его отказу от определенного типа бытового поведения:

У покровителей зевать на потолок,
Явиться помолчать, пошаркать, пообедать,
Подставить стул, подать платок...

— он безошибочно определяется Фамусовым как «опасный человек». Многочисленные документы отражают различные стороны бытового поведения дворянского революционера и позволяют говорить о декабристе не только как о носителе той или иной политической программы, но и как об определенном культурно-историческом и психологическом типе.

При этом не следует забывать, что каждый человек в своем поведении реализует не одну какую-либо программу действия, а постоянно осуществляет выбор, актуализируя какую-либо одну стратегию из обширного набора возможностей. Каждый отдельный декабрист в своем реальном бытовом поведении отнюдь не всегда вел себя как декабрист — он мог действовать как дворянин, офицер (уже: гвардеец, гусар, штабной теоретик), аристократ, мужчина, русский, европеец, молодой человек и проч., и проч.

Однако в этом сложном наборе возможностей существовало и некоторое специальное поведение, особый тип речей, действий и реакций, присущий именно члену тайного общества. Природа этого особого поведения нас и будет интересовать ближайшим образом. Поведение это не будет нами описываться в тех его проявлениях, которые совпадали с общими контурами облика русского просвещенного дворянина начала XIX столетия. Мы постараемся указать лишь на ту специфику, которую положили декабризм на жизненное поведение тех, кого мы называем дворянскими революционерами.

Конечно, каждый из декабристов был живым человеком и в определенном смысле вел себя неповторимым образом: Рылеев в быту не похож на Пестеля, Орлов — на Н. Тургенева или Чаадаева. Такое соображение не может, однако, быть основанием для сомнений в правомерности постановки нашей задачи. Ведь то, что поведение людей индивидуально, не отменяет законности

изучения таких проблем, как «психология подростка» (или любого другого возраста), «психология женщины» (или мужчины) и — в конечном счете — «психология человека». Необходимо дополнить взгляд на историю как поле проявления разнообразных социальных, общеисторических закономерностей рассмотрением истории как результата *деятельности людей*. Без изучения историко-психологических механизмов человеческих поступков мы неизбежно будем оставаться во власти весьма схематичных представлений. Кроме того, именно то, что исторические закономерности реализуют себя не прямо, а через посредство психологических механизмов человека, само по себе есть важнейший механизм истории, поскольку избавляет ее от фатальной предсказуемости процессов, без чего весь исторический процесс был бы полностью избыточен.

* * *

Декабристы были в первую очередь людьми действия. В этом сказались и их общественно-политическая установка на практическое изменение политического бытия России, и личный опыт большинства из них как боевых офицеров, выросших в эпоху общеевропейских войн и ценивших смелость, энергию, предприимчивость, твердость, упорство не меньше, чем умение составить тот или иной программный документ или провести теоретический диспут. Политические доктрины интересовали их, как правило (конечно, были и исключения — например, Н. Тургенев), не сами по себе, а как критерии для оценки и выбора определенных путей действия. Ориентация именно на деятельность ощущается в намерении Энциклопедию написать, а потом к Революции приступить.¹ Даже те из членов тайных обществ, которые были наиболее привычны к штабной работе, подчеркивали, что «порядок и формы» нужны для «успешнейшего действия» (слова С. Грубецкого).²

В этом смысле представляется вполне оправданным то, что мы, не имея возможности в рамках данной работы остановиться на всем комплексе проблем, возникающих в связи с историко-психологической характеристикой декабризма, выделим для рассмотрения лишь один аспект — *поведение* декабриста, его поступки, а не внутренний мир эмоций.

При этом необходимо ввести еще одну оговорку: декабристы были дворянскими революционерами, поведение их было поведением русских дворян и соответствовало в существенных своих сторонах нормам, сложившимся между эпохой Петра I и Отечественной войной 1812 г. Даже отрицая сословные формы пове-

¹ Восстание декабристов. Т. IV. М.—Л., 1927, с. 179.

² Там же. Т. I. М.—Л., 1925, с. 23.

дения, борясь с ними, опровергая их в теоретических трактатах, они оказывались органически с ними связаны в собственной бытовой практике.

Понять и описать поведение декабриста, не вписывая его в более широкую проблему — поведение русского дворянина 1810—1820-х годов, — невозможно. И тем не менее мы заранее отказываемся от такого непомерного расширения задачи: все, что было общим в деятельной жизни декабриста и любого русского дворянина его эпохи, мы из рассмотрения исключаем.

* * *

Значение декабристов в истории русской общественной жизни не исчерпывается теми сторонами их деятельности, которые до сих пор в наибольшей мере привлекали внимание исследователей: выработкой общественно-политических программ и концепций, размышлениями в области тактики революционной борьбы, участием в литературной борьбе, художественным и критическим творчеством. К перечисленным (и многим другим, рассматривавшимся в обширной научной литературе) вопросам следует добавить один, до сих пор остававшийся в тени: декабристы проявили значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека, резко отличного по своему поведению от всего, что знала предшествующая история. В этом смысле они выступили как подлинные новаторы. Это специфическое поведение значительной группы молодых людей, находившихся по своим талантам, характерам, происхождению, личным и семейным связям, служебным перспективам (большинство декабристов не занимало — да и не могло занимать по своему возрасту — высоких государственных постов, но значительная часть из них принадлежала к кругу, который открывал дорогу к таким постам в будущем) в центре общественного внимания, оказало значительное воздействие на целое поколение русских людей, явившись своеобразной школой гражданственности. Идеино-политическое движение дворянской революционности породило и специфические черты человеческого характера, особый тип поведения. Охарактеризовать некоторые из его основных показателей — цель настоящей работы.

* * *

Трудно назвать эпоху русской жизни, в которую устная речь — разговоры, дружеские речи, беседы, проповеди, гневные филиппики — играла бы такую роль. От момента зарождения движения, которое Пушкин метко определил как «дружеские споры» «между Лафитом и Кликю», до трагических выступлений перед Следственным комитетом декабристы поражают своей «разговорчивостью», стремлением к словесному закреплению

своих чувств и мыслей. Пушкин имел основание так охарактеризовать собрание Союза Благоденствия:

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи...

Это давало возможность — с позиций более поздних норм и представлений — обвинять декабристов во фразерстве и замене дел словами. Не только «нигилисты»-шестидесятники, но и ближайшие современники, порой во многом разделявшие идеи декабристов, склонны были высказываться в этом духе. Чацкий с позиций декабризма, как показала М. В. Нечкина, упрекает Репетилова в пустословии и фразерстве. Но он и сам не уберется от такого упрека со стороны Пушкина: «Все, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело...».³

Вяземский, в 1826 г. оспаривая правомерность обвинения декабристов в цареубийстве, будет подчеркивать, что цареубийство есть действие, поступок. Со стороны же заговорщиков не было сделано, по его мнению, никаких попыток перейти от слов к делу. Он определяет их поведение как «убийственную болтовню» («bavardage atroce») ⁴ и решительно оспаривает возможность осуждать за слова как за реализованные деяния. Наряду с юридической защитой жертв неправоудия в его словах есть и указания на то, что «болтовня», по его мнению, в действиях заговорщиков перевешивала «дело». Свидетельства этого рода можно было бы умножить.

Было бы, однако, решительным заблуждением — следствием переноса на эпоху декабристов норм, почерпнутых из других исторических периодов, — видеть в особом значении «витийства резкого» лишь слабую сторону декабризма и судить их тем судом, которым Чернышевский судил героев Тургенева. Свою задачу мы видим не в лишенном большого смысла «осуждении» или «оправдании» деятелей, имена которых принадлежат истории, а в попытке объяснения указанной особенности.

Современники выделяли не только «разговорчивость» декабристов — они подчеркивали также резкость и прямоту их суждений, безапелляционность приговоров, «неприличную», с точки зрения светских норм, тенденцию называть вещи своими именами, избегая эвфемистических условностей светских формулировок, их постоянное стремление высказывать без обиняков свое мнение, не признавая утвержденного обычаем ритуала и

³ Письмо к А. Бестужеву до конца января 1825 г. — В кн.: Пушкин. Полн. собр. соч. (в дальнейшем: Пушкин). Т. 13. [М.—Л.], 1937, с. 138.

⁴ Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов. — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 1960, вып. 98, с. 134.

иерархии светского речевого поведения. Такой резкостью и шарочитым игнорированием «речевого приличия» прославился Николай Тургенев. Подчеркнутая несветскость и «бестактность» речевого поведения определялась в близких к декабристам кругах как «спартанское» или «римское» поведение и противопоставлялась отрицательно оцениваемому «французскому».

Темы, которые в светской беседе были запретными или вводились эвфемистически (например, вопросы помещичьей власти, служебного протекционизма и проч.), становились предметом прямого обсуждения. Дело в том, что поведение образованного, европеизированного дворянского общества александровской эпохи было принципиально двойственным. В сфере идей и «идеологической речи» усвоены были нормы европейской культуры, выросшей на почве просветительства XVIII в. Сфера практического поведения, связанная с обычаем, бытом, реальными условиями помещичьего хозяйства, реальными обстоятельствами службы, выпадала из области «идеологического» осмысления, с точки зрения которого она «как бы не существовала». Естественно, в речевой деятельности она связывалась с устной, разговорной стихией, минимально отражаясь в текстах высокой культурной ценности. Таким образом создавалась иерархия поведений, построенная по принципу нарастания культурной ценности (что совпадало с ростом семиотичности). При этом выделялся низший — чисто практический — пласт, который с позиции теоретизирующего сознания «как бы не существовал».

Именно такая плюралистичность поведения, возможность выбора стилей поведения в зависимости от ситуации, двойственность, заключающаяся в разграничении практического и идеологического, характеризовала русского *передового* человека начала XIX в. И она же отличала его от дворянского революционера (вопрос этот весьма существен, поскольку нетрудно отделить тип поведения Скотинина от облика Рылеева, но значительно содержательнее противопоставить Рылеева Дельвигу или Николая Тургенева — его брата Александру).

Декабрист своим поведением отменял иерархичность и стилевое многообразие поступка. Прежде всего отменялось различие между устной и письменной речью: высокая упорядоченность, политическая терминологичность, синтаксическая завершенность письменной речи переносилась в устное употребление. Фамусов имел основание сказать, что Чацкий «говорит как пишет». В данном случае это не только поговорка: речь Чацкого резко отличается от слов других персонажей именно своей книжностью. Он говорит как пишет, поскольку видит мир в его идеологических, а не бытовых проявлениях.

Одновременно чисто практическое поведение делалось объектом не только осмысления в терминах и понятиях идейно-философского ряда, но и приобретало знаковый характер, переходя из разряда нецениваемых действий в группу поступков, осмы-

сляемых как «благородные» и «возвышенные» или «гнусные», «хамские» (по терминологии Н. Тургенева) и «подлые».⁵

Приведем один исключительно выразительный пример. Пушкин записал характерный разговор: «Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. „Я женат“, — отвечал Рылеев. „Так что же, — сказал Дельвиг, — разве ты не можешь отобедать в ресторации потому только, что у тебя дома есть кухня?“».⁶

Зафиксированный Пушкиным разговор Дельвига и Рылеева интересен не столько для реконструкции реально-биографических черт их поведения (и тот и другой были живыми людьми, действия которых могли регулироваться многочисленными факторами и давать на уровне бытовых поступков бесчисленное множество вариантов), сколько для понимания их отношения к самому принципу поведения. Перед нами — столкновение «игрового» и «серьезного» отношения к жизни. Рылеев — человек серьезного поведения. Не только на уровне высоких идеологических построений, но и в быту такой подход подразумевает для каждой значимой ситуации некоторую единственную норму правильных действий. Дельвиг, как и арзамасцы или члены «Зеленой лампы», реализует игровое поведение, амбивалентное по сути: в реальную жизнь переносит ситуацию игры, позволяющая считать в определенных позициях допустимой условную замену «правильного» поведения противоположным.

Декабристы культивировали серьезность как норму поведения. Завалишин характерно подчеркивал, что он «был всегда серьезным» и даже в детстве «никогда не играл».⁷ Столь же отрицательным было отношение декабристов к культуре словесной игры как форме речевого поведения. В процитированном обмене репликами собеседники, по сути, говорят на разных языках: Дельвиг совсем не предлагает всерьез воспринимать его слова как декларацию моральных принципов — его интересует острота высказывания, *mot.* Рылеев же не может наслаждаться парадоксом там, где обсуждаются этические истины, каждое его высказывание — программа.

С предельной четкостью антитезу игры и гражданственности выразил Милонов в послании Жуковскому, показав, в какой мере эта грань, пролежавшая внутри лагеря прогрессивной молодой литературы, была осознана.

...останемся мы каждый при своем —
С галиматеею ты, а я с парнасским жалом;

⁵ «Хам» в политическом лексиконе Н. Тургенева обозначало «реакционер», «крепостник», «враг просвещения». См., например, высказывания вроде: «Тьма и хамство везде и всем овладели» — в письме брату Сергею от 10 мая 1817 г. из Петербурга (Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.—Л., 1936, с. 222).

⁶ Пушкин, т. 12. [М.—Л.], 1949, с. 159.

⁷ Записки декабриста Д. И. Завалишина. СПб., 1908 (в дальнейшем: Завалишин), с. 10.

Зовись ты Шиллером, зовусь я Ювеналом;
Потомство судит нас, а не твои друзья,
А Блудов, кажется, меж нами не судья.⁸

Тут дана полная парадигма противопоставлений: галиматья (словесная игра, самоцельная шутка) — сатира, высокая, гражданственная и серьезная; Шиллер (здесь — автор баллад, переводимых Жуковским; ср. в статье Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии...» презрительный отзыв о Шиллере как авторе баллад и образце Жуковского — «недозревший Шиллер»),⁹ чье имя связывается с фантазией балладных сюжетов, — Ювенал, воспринимаемый как поэт-гражданин; суд литературной элиты, мнение замкнутого кружка (о том, какое раздражение вызывала обычная для карамзинистов ссылка на мнение «знаменитых друзей» вне их лагеря, откровенно писал Н. Полевой)¹⁰ — мнение потомства. Для того чтобы представить во всей полноте смысл начертанной Милоновым антитезы, достаточно указать, что она очень близка к критике Жуковского Пушкиным в начале 1820-х годов, включая и выпад против Блудова (см. письмо Жуковскому, датированное 20-ми числами апреля 1825 г.).

Визит «к девкам», с позиции Дельвига, входит в сферу бытового поведения, которое никак не соотносится с идеологическим. Возможность быть одним в поэзии и другим в жизни не воспринимается им как двойственность и не бросает тени на характер в целом. Поведение Рылеева в принципе едино, и для него такой поступок был бы равносильен теоретическому признанию права человека на аморальность. То, что для Дельвига вообще не имеет значения (не является знаком), для Рылеева было бы носителем идеологического содержания. Так разница между свободолобцем Дельвигом и революционером Рылеевым рельефно проявляется не только на уровне идей или теоретических концепций, но и в природе их бытового поведения. Карамзинизм утвердил многообразие поведений, их смену как норму поэтического отношения к жизни. Карамзин писал:

Чувствительной душе не сродно ль изменяться?
Она мягка как воск, как зеркало ясна...
... Нельзя ей для тебя *единою* казаться.¹¹

Напротив того — для романтизма поэтическим было единство поведения, независимость поступков от обстоятельств.

⁸ Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971 («Б-ка поэта», Большая серия), с. 537.

⁹ В. Кюхельбекер. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие. (Цит. по: Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика. Составил Вл. Орлов. М.—Л., 1951, с. 552).

¹⁰ «Слова: знаменитые друзья или просто знаменитые на условном тогдашнем языке имело особенное значение» (Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934, с. 153).

¹¹ Карамзин П. М. Полн. собр. стих. М.—Л., 1966, с. 242—243.

«Один, — он был везде, холодный, неизменный...», — писал Лермонтов о Наполеоне.¹² «Будь самим собою», — писал А. Бестужев Пушкину.¹³ Священник Мысловский, характеризуя поведение Пестеля на следствии, записал: «Везде и всегда был равен себе самому. Ничто не колебало твердости его».¹⁴

Впрочем, романтический идеал единства поведения не противоречил классицистическому представлению о героизме, совпадая к тому же с принципом «единства действия». Карамзинский «протеизм» был в этом отношении ближе к реалистической «многоплановости». Пушкин, противопоставляя одноплановость поведения героев Мольера жизненной многогранности созданий Шекспира, писал в известном наброске: «Лица, созданные Шекспиром, не суть как у Мольера типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры».¹⁵

При этом, если при переходе от жизненных наблюдений к создаваемому им поэтическому тексту художник классицизма или романтизма сознательно отбирал какой-либо один план, поскольку считал его единственно достойным литературного отображения, то при обратном переходе — от читательского восприятия текста к читательскому поведению — происходит трансформация: читатель, воспринимая текст как программу своего бытового поведения, предполагает, что определенные стороны житейской деятельности в идеале должны вообще отсутствовать. Умолчание в тексте воспринимается как требование исключить определенные виды деятельности из реального поведения. Так, например, отказ от жанра любовной элегии в поэзии мог восприниматься как требование отказа от любви в жизни. Следует подчеркнуть общую «литературность» поведения романтиков, стремление *все* поступки рассматривать как знаковые.

Это, с одной стороны, приводит к увеличению роли *жеста* в бытовом поведении. Жест — это действие или поступок, имеющий не только и не столько практическую направленность, сколько отнесенность к некоторому значению. Жест — всегда знак и символ. Поэтому *всякое* действие на сцене, включая и имитирующее полную освобожденность от сценической телеологии, есть жест; значение его — замысел автора.

С этой точки зрения бытовое поведение декабриста представилось бы современному наблюдателю театральным, рассчитанным на зрителя. При этом следует ясно понимать, что «театральность» поведения ни в коей мере не означает его неискренности или каких-либо негативных характеристик. Это лишь

¹² Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти томах. Т. II. М.—Л., 1954, с. 183.

¹³ Пушкин, т. 13, с. 142.

¹⁴ Из записной книжки П. Н. Мысловского. — В кн.: Жуковский сборник. Вып. 4. М., 1905 (в дальнейшем: Мысловский), с. 39.

¹⁵ Пушкин, т. 12, с. 159.

указание на то, что поведение получает некоторый сверхбытовой смысл, становится предметом внимания, причем оцениваются не сами поступки, а символический их смысл.

С другой стороны, в бытовом поведении декабриста меняются местами привычные соотношения слова и поступка.

В обычном речевом поведении той эпохи отношение поступков и речей строилось по следующей схеме:

выражение —→ содержание
слово —→ поступок

Слово, обозначая поступок, обладает тенденцией к разнообразным сдвигам эвфемистического, перифразического или метафорического характера. Так, рождается, с одной стороны, бытовой язык света с его «обошлась при помощи посового платка» на нижней социальной границе и французскими обозначениями для «русских» действий на верхней. Связь — генетическая и типологическая — этого языка с карамзинизмом отчетливо улавливалась современниками, предъявлявшими и литературному языку карамзинистов, и светской речи одно и то же обвинение в жеманстве. Тенденция ослаблять, «разбалтывать» связь между словом и тем, что оно обозначает, характерная для светского языка, вызвала устойчивое для Л. Н. Толстого разоблачение лицемерия речей людей света.

С другой стороны, на том же принципе словесного «облагораживания» низкой деятельности строилась подъяческая речь с ее «барашком в бумажке», означающим взятку, и эвфемистическим «надо доложить» в значении «следует увеличить сумму», специфическими значениями глаголов «давать» и «брать». Ср. хор чиновников в «Ябеде» Капниста:

Бери, большой тут пет науки;
Бери, что только можно взять.
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать?¹⁶

Вяземский, комментируя эти стихи, писал: «Тут дальнейших объяснений не требуется: известно о каком бранье речь идет. Глагол *пить* также само собой равняется глаголу *пьянствовать* <...> Другой начальник говорил, что когда приходится ему подписывать формулярные списки и вносить в определенные графы слово *достоин* и *способен*, часто б хотелось бы прибавить: „Способен ко всякой гадости, достоин всякого презрения“». ¹⁷

На этой основе происходило порой перерастание практического языка канцелярий в тайный язык, напоминающий жреческий язык для посвященных. От посетителя требовалось не только выполнение некоторых действий (дача взятки), по и

¹⁶ Капнист В. В. Собр. соч. в 2-х томах. Т. 1. М.—Л., 1960, с. 358.

¹⁷ Вяземский П. Старая записная книжка. Л., 1929, с. 105.

умение разгадать загадки, по принципу которых строилась речь чиновников. На этом построен, например, разговор Варравина и Муромского в «Деле» Сухово-Кобылина. Ср. образец такого же приказного языка у Чехова:

« — Дай-ка нам, братец, полдиковинки и двадцать четыре неприятности.

Половой немного погодя подал на подносе полбутылки водки и несколько тарелок с разнообразными закусками. — Вот что, любезный, — сказал ему Початкин, — дай-ка ты нам порцию главного мастера клеветы и злословия с картофельным пюре». ¹⁸

Языковое поведение декабриста было резко специфическим. Мы уже отмечали, что характерной чертой его было стремление к словесному наименованию того, что, реализуясь в области бытового поведения, табуировалось в языке. Однако номинация эта имела специфический характер и не сопровождалась реабилитацией низкой, вульгарной или даже просто бытовой лексики. Сознанию декабриста была свойственна резкая поляризация моральных и политических оценок: любой поступок оказывался в поле «хамства», «подлости», «тиранства» или «либеральности», «прорвещения», «героизма». Нейтральных или незначимых поступков не было, возможность их существования не подразумевалась.

Поступки, находившиеся вне словесного обозначения, с одной стороны, и обозначавшиеся эвфемистически и метафорически — с другой, получают однозначные словесные этикетки. Набор таких обозначений относительно невелик и совпадает с этико-политическим лексиконом декабризма. В результате, во-первых, бытовое поведение перестает быть только бытовым: оно получает высокий этико-политический смысл. Во-вторых, обычные соотношения планов выражения и содержания применительно к поведению — меняются: не слово обозначает поступок, а поступок обозначает слово:

выражение —→ содержание
поступок —————→ слово

При этом важно подчеркнуть, что содержанием становится не мысль, оценка поступка, а именно слово, причем именно слово, гласно сказанное: декабрист не удовлетворяется тем, чтобы про себя, в уме своем, отрицательно оценить любое проявление «века минувшего». Он гласно и публично называет вещи своими именами, «гремит» на балу и в обществе, поскольку именно в таком назывании видит освобождение человека и начало преобразования общества. Поэтому прямолинейность, известная наивность, способность попадать в смешные, со светской точки зрения, положения так же совместима с поведением декабриста, как и резкость, гордость и даже высокомерие. Но оно абсолютно

¹⁸ Чехов А. П. Собр. соч. в 12-ти томах. Т. 7. М., 1962, с. 506.

исключает уклончивость, игру оценками, способность «попадать в тон» не только в духе Молчалина, но и в стиле Петра Степановича Верховенского.

Может показаться, что эта характеристика применима не к декабристу вообще, а лишь периода Союза Благоденствия, когда «витийство на балах» входило в установку общества. Известно, что в ходе дальнейшей тактической эволюции тайных обществ акцент был перенесен на конспирацию. Новая тактика заменила светского пропагандиста заговорщиком.

Однако следует отметить, что изменение в области тактики борьбы не привело к коренному сдвигу в стиле поведения: становясь заговорщиком и конспиратором, декабрист не начинал вести себя в салоне «как все». Никакие конспиративные цели не могли его заставить принять поведение Молчалина. Выражая оценку уже не пламенной тирадой, а презрительным словом или гримасой, он оставался в бытовом поведении «карбонарием». Поскольку бытовое поведение не могло быть предметом для прямых политических обвинений, его не прятали, а наоборот — подчеркивали, превращая в некоторый опознавательный знак.

Д. И. Завалишин, прибыв в Петербург из кругосветного плаванья в 1824 г., повел себя так (причем именно в сфере бытового поведения: он отказался воспользоваться рекомендательным письмом к Аракчееву), что последний сказал Батенькову: «Так это-то Завалишин! Ну, послушай же, Гаврило Степанович, что я тебе скажу: он должно быть или величайший гордец, весь в батюшку, или либерал».¹⁹ Здесь характерно уже то, что, по представлению Аракчеева, «гордец» и «либерал» должны себя вести одинаково. Любопытно и другое: своим поведением Завалишин, еще не успев вступить на политическое поприще, себя демаскировал. Однако никому из его друзей-декабристов не пришло в голову обвинять его в этом, хотя они были уже не восторженными пропагандистами эпохи Союза Благоденствия, а конспираторами, готовившимися к решительным выступлениям. Напротив того, если бы Завалишин, проявив умение маскировки, отправился на поклон к Аракчееву, поведение его, вероятнее всего, вызвало бы осуждение, а сам он возбудил бы к себе недоверие. Характерно, что близость Батенькова к Аракчееву вызывала неодобрение в кругах заговорщиков.

Показателен и такой пример. Катенин в 1824 г. не одобряет характер Чацкого именно за те черты «пропагандиста на балу», в которых М. В. Нечкина справедливо увидела отражение тактических приемов Союза Благоденствия: «Этот Чацкий — главное лицо. Автор вывел его *son amogé* и, по мнению автора, в Чацком все достоинства и нет порока, но, по мнению моему, он говорит много, бранит все и проповедует нехоти».²⁰ Однако всего за не-

¹⁹ Завалишин, с. 86.

²⁰ Письма П. А. Катенина к П. И. Бахтину. (Материалы для истории русской литературы 20-х и 30-х годов XIX века). СПб., 1914, с. 77.

сколько месяцев до этого высказывания (у нас нет никаких оснований считать, что за этот период в его воззрениях имела место какая-либо эволюция) Катенин, убеждая своего друга Бахтина выступать в литературной полемике открыто, без псевдонимов, с исключительной прямоотой сформулировал требование не только словами, но и всем поведением открыто демонстрировать свои убеждения: «Обязанность теперь стоять за себя и за правое дело, говорить истину не заикаясь, смело хвалить хорошее и обличать дурное, не только в книгах, но и в поступках, повторять сказанное им, повторять непременно, чтобы плуты не могли притворяться, будто не слышали, заставить их сбросить личину, выйти на поединок и, как выйдут, забить их до полусмерти».²¹

Нужды нет, что под «правым делом» Катенин понимал пропаганду своей литературной программы и собственных заслуг перед словесностью. Для того, чтобы личностное содержание можно было облекать в *такие* слова, сами эти выражения должны были уже сделаться, в своем общем содержании, паролем поколения.

То, что именно бытовое поведение в целом ряде случаев позволяло молодым либералам отличить «своего» от «гасильника», характерно именно для дворянской культуры, создавшей чрезвычайно сложную и разветвленную систему знаков поведения. Однако в этом же проявились и специфические черты, отличающие декабриста как дворянского *революционера*. Характерно, что бытовое поведение сделалось одним из критериев отбора кандидатов в общество. Именно на этой основе возникало специфическое для декабристов рыцарство, которое, с одной стороны, определило нравственное обаяние декабристской традиции в русской культуре, а с другой — сослужило им плохую службу в трагических условиях следствия и неожиданно обернулось нестойкостью: они не были психологически подготовлены к тому, чтобы действовать в условиях узаконенной подлости.

* * *

Иерархия значимых элементов поведения складывается из последовательности: жест — поступок — поведенческий текст. Последний следует понимать как законченную цепь осмысленных поступков, заключенную между намерением и результатом. В реальном поведении людей — сложном и управляемом многочисленными факторами — поведенческие тексты могут оставаться незаключенными, переходить в новые, переплетаться с параллельными. Но на уровне идеального осмысления человеком своего поведения они всегда образуют законченные и осмысленные сюжеты. Иначе целенаправленная деятельность человека была бы

²¹ Там же. с. 31. (Курсив мой, -- Ю. Л.).

невозможна. Таким образом, каждому тексту поведения на уровне поступков соответствует определенная программа поведения на уровне намерений. Отношения между этими категориями могут принимать весьма сложный характер, в конечной степени зависящий и от типа данной культуры. Они могут сближаться — в случае, когда действительность и ее осмысление стремятся «говорить общим языком», — или сознательно (или бессознательно) расходиться. Ко второму случаю следует отнести и романтический «разрыв мечты и существенности» (Гоголь): расхождение «текстов поведения» и снов (программ поведения) художника Пискарева из «Невского проспекта» и дополнение жалкого поведения заманчивыми программами, выдаваемыми за реальность, — вранье Хлестакова или воспоминания генерала Иволгина. Трагическим вариантом этого случая будут мемуары Д. И. Завалишина. Напомним, что князь Мышкин не обличил генерала и не высмеял его, как Гоголь своего героя, а серьезно принял его воспоминания как «*поступки, совершенные в намерении*»; оценивая упоенное вранье генерала о его влиянии на Наполеона, он говорит: «Вы сделали прекрасно <...> среди злых мыслей вы навели его на доброе чувство». ²² Мемуары Завалишина заслуживают именно такого отношения.

Каждодневное поведение декабриста не может быть понято без рассмотрения не только жестов и поступков, но и отдельных и законченных единиц более высокого порядка — поведенческих текстов.

Подобно тому, как жест и поступок дворянского революционера получали для него и окружающих смысл, поскольку имели своим значением *слово*, любая цепь поступков становилась текстом (приобретала значение), если ее можно было прояснить связью с определенным литературным сюжетом. Гибель Цезаря, подвиг Катона, проповедь и поза обличающего пророка, Тиртей, Оссиан или Баян, поющие перед воинами накануне битвы (последний сюжет был создан Нарезным), Гектор, уходящий на бой и прощающийся с Андромахой, — таковы были сюжеты, которые придавали смысл той или иной цепочке бытовых поступков.

Такой подход подразумевал «укрупнение» всего поведения, распределение между реальными знакомыми типовых литературных масок, идеализацию места и пространства действия (реальное пространство осмыслялось через литературное). Так, Петербург в послании Пушкина к Ф. Глинке — Афины, сам Глинка — Аристид. Это не только результат трансформации жизненной ситуации в стихах Пушкина в литературную, активно происходит и противоположный процесс: в жизненной ситуации становится значимым (и, следовательно, заметным для участников) то, что может быть отнесено к литературному сюжету. Так, Ка-

²² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 8. Л., 1973, с. 417. (Курсив мой, — Ю. Л.).

тенин аттестует себя приятелю своему Н. И. Бахтину в 1821 г. как сосланного «недалеко от Сибири».²³ Этот географический абсурд (Костромская губерния, куда был сослан Катенин, ближе не только к Москве, но и к Петербургу, чем к Сибири, это ясно и Катенину, и его корреспонденту) объясняется тем, что Сибирь уже вошла к этому времени в литературные сюжеты и в устную мифологию русской культуры как место ссылки, она ассоциировалась в этой связи с десятками исторических имен (в Сибирь приводит Рылеев своего Войнаровского, а Пушкин — самого себя в «Воображаемом разговоре с Александром I»). Кострома же в этом отношении ни с чем не ассоциируется. Следовательно, подобно тому, как Афины означают Петербург, Кострома означает Сибирь, т. е. ссылку.

Отношение различных типов искусства к поведению человека строится по-разному. Если оправданием реалистического сюжета служит утверждение, что именно так ведут себя люди в действительности, а классицизм полагал, что таким образом люди должны себя вести в идеальном мире, то романтизм предписывал читателю поведение, в том числе и бытовое. При кажущемся сходстве второго и третьего принципов, разница между ними весьма существенна: идеальное поведение героя классицизма реализуется в идеальном же пространстве литературного текста. Попытаться перенести его в жизнь может лишь исключительный человек, возвысившийся до идеала. Для большинства же читателей и зрителей поведение литературных персонажей — возвышенный идеал, долженствующий облагородить их практическое поведение, но отнюдь не воплотиться в нем.

Романтическое поведение в этом отношении более доступно, поскольку включает в себя не только литературные добродетели, но и литературные пороки (например, эгоизм, преувеличенная демонстрация которого входила в норму «бытового байронизма»:

Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм).

Уже то, что литературным героем романтизма был современник, существенно облегчало подход к тексту как программе реального будущего поведения читателя. Герои Байрона и Пушкина-романтика, Марлинского и Лермонтова порождали целую фалангу подражателей из числа молодых офицеров и чиновников, которые перенимали жесты, мимику, манеру поведения литературных персонажей. Если реалистическое произведение подражает действительности, то в случае с романтизмом сама действительность спешила подражать литературе. Для реализма характерно, что определенный тип поведения рождается в жизни, а потом проникает на страницы литературных текстов (умением подметить в самой жизни зарождение новых норм сознания и поведе-

²³ Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, с. 22.

ния славился, например, Тургенев). В романтическом произведении новый тип человеческого поведения зарождается на страницах текста и оттуда переносится в жизнь.

Поведение декабриста было отмечено печатью романтизма: поступки и поведенческие тексты определялись сюжетами литературных произведений, типовыми литературными ситуациями вроде «прощание Гектора и Андромахи», «клятва Горациев» и проч. или же именами, суггестировавшими в себе сюжеты. В этом смысле восклицание Пушкина: «Вот Кесарь — где же Брут?» — легко расшифровывалось как программа будущего поступка.

Характерно, что только обращение к некоторым литературным образцам позволяет нам в ряде случаев расшифровать загадочные с иной точки зрения поступки людей той эпохи. Так, например, современников, а затем и историков неоднократно ставил в тупик поступок П. Я. Чаадаева, вышедшего в отставку в самом разгаре служебных успехов после свидания с царем в Троппау в 1820 г. Как известно, Чаадаев был адъютантом командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта Васильчикова. После «семеновской истории» он вызвался отвезти Александру I, находившемуся на конгрессе в Троппау, донесение о бунте в гвардии. Современники увидели в этом желание выдвинуться за счет несчастья товарищей и бывших однополчан (в 1812 г. Чаадаев служил в Семеновском полку).

Если такой поступок со стороны известного своим благородством Чаадаева показался необъяснимым, то неожиданный выход его в отставку вскоре после свидания с императором вообще поставил всех в тупик. Сам Чаадаев в письме к своей тетке А. М. Щербатовой от 2 января 1821 г. так объяснял свой поступок: «На этот раз, дорогая тетушка, пишу вам, чтобы сообщить положительным образом, что я подал в отставку <...> Моя просьба вызвала среди некоторых настоящую сенсацию. Сначала не хотели верить, что я прошу о ней серьезно, затем пришлось поверить, но до сих пор никак не могут понять, как я мог решиться на это в ту минуту, когда я должен был получать то, чего, казалось, я желал, чего так желает весь свет и что получить молодому человеку в моем чине считается самым лестным <...> Дело в том, что я действительно должен был быть назначен флигель-адъютантом по возвращении Императора, по крайней мере по словам Васильчикова. Я нашел более забавным пренебречь этой милостью, чем получить ее. Меня забавляло выказывать мое презрение людям, которые всех презирают».²⁴

А. Лебедев считает, что этим письмом Чаадаев стремился «успокоить тетушку»,²⁵ якобы весьма заинтересованную в при-

²⁴ Сочинения и письма П. Я. Чаадаева. Т. 1. М., 1913, с. 3—4. (Оригинал по-французски).

²⁵ Лебедев А. Чаадаев. М., 1965 (в дальнейшем: Лебедев), с. 54.

дворных успехах племянника. Это представляется весьма сомнительным: ²⁶ родной сестре известного фрондера кн. М. Щербатова не нужно было объяснять смысл аристократического презрения к придворному карьеризму. Если бы Чаадаев вышел в отставку и поселился в Москве большим бариним, фрондирующим членом Английского клуба, поведение его не казалось бы современникам загадочным, а тетушке — предосудительным. Но в том-то и дело, что его заинтересованность в службе была известна, что он явно домогался личного свидания с государем, форсируя свою карьеру, шел на конфликт с общественным мнением и вызывал зависть и злобу тех соотарицей по службе, которых он «обходил» вопреки старшинству. (Следует помнить, что порядок служебных повышений по старшинству службы был не писаным, но исключительно строго соблюдавшимся законом продвижения по лестнице чинов. Обходить его противоречило кодексу товарищества и воспринималось в офицерской среде как нарушение правил чести). Именно соединение явной заинтересованности в карьере — быстрой и обращающей на себя внимание — с добровольной отставкой *перед* тем, как усилия должны были блистательно увенчаться, составляет загадку поступка Чаадаева.²⁷

Ю. Н. Тынянов считает, что во время свидания в Троппау Чаадаев пытался объяснить императору связь «семеновской истории» с крепостным правом и склонить Александра на путь реформ. Идеи Чаадаева, по мнению Тынянова, не встретили сочувствия у царя, и это повлекло разрыв. «Неприятность встречи с царем и доклада ему была слишком очевидна». Далее Тынянов называет эту встречу «катастрофой».²⁸ К этой гипотезе присоединяется и А. Лебедев.²⁹

²⁶ Очень интересная книга А. Лебедева, к сожалению, не свободна от произвольного толкования документов и известной модернизации.

²⁷ Племянник Чаадаева М. Жихарев позже вспоминал: «Васильчиков с донесением к государю отправил <...> Чаадаева, несмотря на то, что Чаадаев был младший адъютант и что ехать следовало бы старшему». И далее: «По возвращении (Чаадаева, — Ю. Л.) в Петербург, чуть ли не по всему гвардейскому корпусу последовал против него всеобщий, мгновенный взрыв неудовольствия, для чего он принял на себя поездку в Троппау и донесение государю о „Семеновской истории“. Ему, говорили, не только не следовало ехать, не только не следовало на поездку набиваться, но должно было ее всячески от себя отклонять». И далее: «Что вместо того, чтобы от поездки отказываться, он ее искал и добивался, для меня также не подлежит сомнению. В этом несчастном случае он уступил прирожденной слабости непомерного тщеславия; я не думаю, чтобы при отъезде его из Петербурга перед его воображением блистали флигель-адъютантские вензеля на эполетах столько, сколько сверкало очарование близкого отношения, короткого разговора, тесного сближения с императором» ([Жихарев М.] К биографии П. Я. Чаадаева. — Вестник Европы, 1871, № 7, с. 203). Жихареву, конечно, был недоступен внутренний мир Чаадаева, но многое он знал лучше других современников, и слова его заслуживают внимания.

²⁸ Тынянов Ю. Н. Сюжет «Горя от ума». — В кн.: Литературное наследство. Т. 47—48. М., 1946, с. 168—171.

²⁹ Лебедев, с. 68—69.

Догадка Тынянова, хотя и убедительнее всех других предлаженных до сих пор объяснений, имеет уязвимое звено: ведь разрыв между императором и Чаадаевым последовал не сразу после встречи и доклада в Троппау. Напротив того, значительное повышение по службе, которое должно было стать следствием свидания, равно как и то, что после повышения Чаадаев оказался бы в свите императора, т. е. был бы к нему приближен, свидетельствует о том, что разговор императора и Чаадаева не был причиной разрыва и взаимного охлаждения. Доклад Чаадаева в Троппау трудно истолковать как служебную катастрофу. «Падение» Чаадаева, видимо, началось позже: царь, вероятно, был неприятно изумлен неожиданным прошением об отставке, а затем раздражение его было дополнено упомянутым выше письмом Чаадаева к тетушке, перехваченным на почте. Хотя слова Чаадаева об его презрении к людям, которые всех презирают, метили в начальника Чаадаева, Васильчикова, император мог их принять на свой счет. Да и весь тон письма ему, вероятно, показался недопустимым. Видимо, это и были те «весьма» для Чаадаева «невыгодные» сведения о нем, о которых писал кн. Волконский Васильчикову 4 февраля 1821 г. и в результате которых Александр I распорядился отставить Чаадаева без производства в следующий чин. Тогда же император «изволил отзыватьсь о сем офицере весьма с невыгодной стороны», как позже доносил вел. кн. Константин Павлович Николаю I.

Таким образом, нельзя рассматривать отставку как результат конфликта с императором, поскольку самый конфликт был результатом отставки.

Думается, что сопоставление с некоторыми литературными сюжетами способно прояснить загадочное поведение Чаадаева.

А. И. Герцен посвятил свою статью «Император Александр I и В. Н. Каразин» Н. А. Серно-Соловьевичу — «последнему нашему Маркизу Позе». Поза, таким образом, был для Герцена определенным типом и русской жизни. Думается, что сопоставление с шиллеровским сюжетом может многое прояснить в загадочном эпизоде биографии Чаадаева. Прежде всего, вне всяких сомнений знакомство Чаадаева с трагедией Шиллера: Карамзин, посетив в 1789 г. Берлин, смотрел на сцене «Дона Карлоса» и дал о нем краткий, но весьма сочувственный отзыв в «Письмах русского путешественника», выделив именно роль маркиза Позы. В Московском университете, куда Чаадаев вступил в 1808 г., в начале XIX в. царил настоящий культ Шиллера.³⁰ Через пла-

³⁰ См.: Harder M.-B. Schiller in Rußland (Materialien zu einer Wirkungsgeschichte. 1789—1814). Berlin—Zürich, 1968 (в дальнейшем: Harder); Lotman Ju. M. Neue Materialien über die Anfänge der Beschäftigung mit Schiller in der russischen Literatur. — Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Nr 5/6, 1958/59; Lotman Ю. М. Андрей Сергеевич Кайсаров и ли-

менное поклонение Шиллеру прошли и университетский профессор Чаадаева А. Ф. Мерзляков, и его близкий друг Н. Тургенев. Другой друг Чаадаева — Грибоедов — в наброске трагедии «Родамист и Зенобия» вольно процитировал знаменитый монолог Маркиза Позы. Говоря об участии республиканца «в самовластной империи», он писал: «Опасен правительству и сам себе бремя, ибо много века гражданин».³¹

Выделенные курсивом слова — перефразировка автохарактеристики Позы: «Я гражданин грядущего века» («Дон Карлос», III действие, явл. 9).

Предположение, что Чаадаев своим поведением хотел разыграть вариант «русского маркиза Позы» (как в беседах с Пушкиным он примерял роль «русского Брута» и «русского Перикла»), проясняет «загадочные» стороны его поведения. Прежде всего оно позволяет оспорить утверждение А. Лебедева о расчете Чаадаева в 1820 г. на правительственный либерализм: «Надежды на „добрые намерения“ царя вообще были, как известно, весьма сильны среди декабристов и продекабристски настроенного русского дворянства той поры».³² Здесь известная неточность: говорить о наличии какого-то постоянного отношения декабристов к Александру I, не опираясь на точные даты и конкретные высказывания, весьма опасно. Известно, что к 1820 г. обещаниям царя практически не верил уже никто. Но важнее другое: по весьма убедительному предположению М. А. Цявловского,³³ поддержанному другими авторитетными исследователями, Чаадаев в беседах с Пушкиным до своей поездки в Тропшау обсуждал проекты тираноубийства, а это трудно увязывается с утверждением, что вера в «добрые намерения» царя побудила его скакать на конгресс.

Филипп у Шиллера — не царь-либерал. Это тиран. Именно к деспоту, а не к «добродетели на престоле» обращается со своей проповедью шиллеровский Поза. Подозрительный двуличный тиран опирается на кровавого Альбу, который мог вызывать в памяти Аракчеева.³⁴ Но именно тиран нуждается в друге, ибо он бес-

тературно-общественная борьба его времени. — Уч. зап. Тартуского ун-та, 1958, вып. 63.

³¹ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. Т. I. СПб., 1911, с. 256.

³² Правда, тут же говорится, что Чаадаев «вряд ли уж слишком падался на добрые намерения императора». В этом случае автор видит цель разговора в том, чтобы «окончательно и бесповоротно прояснить истинные намерения и планы Александра I» (Лебедев, с. 67—69). Последнее совсем непонятно: почему именно разговор с Чаадаевым должен был внести такую ясность, когда она не была достигнута десятками бесед царя с разными лицами и многочисленными его заявлениями.

³³ Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962 (в дальнейшем: Цявловский), с. 28—58.

³⁴ Образ Альбы, обгаренного кровью Фландрии, получал особый смысл после кровавого подавления чугуевского бунта. О чугуевском бунте см.: Цявловский, с. 33 и след.

конечно одинок. Первые слова Позы Филиппу — слова о его одиночестве. Именно они потрясают шиллеровского деспота.

Современникам — по крайней мере тем, кто мог, как Чаадаев, беседовать с Карамзиным, — было известно, как страдал Александр Павлович от одиночества в том вакууме, который создавали вокруг него система политического самодержавия и его собственная подозрительность. Современники знали и то, что, подобно шиллеровскому Филиппу, Александр I глубоко презирал людей и остро страдал от этого презрения. Александр не стеснялся восклицать вслух: «Люди мерзавцы! <...> О, подлецы! Вот кто окружает нас, несчастных государей!»³⁵

Чаадаев прекрасно рассчитал время: выбрав минуту, когда царь не мог не испытывать сильнейшего потрясения,³⁶ он явился к нему возвестить о страданиях русского народа, так же как Поза — о бедствиях Фландрии. Если представить себе Александра, потрясенного бунтом в первом гвардейском полку, восклицавшим словами Филиппа:

Теперь мне нужен человек. О, боже,
Ты много дал мне, подари теперь
Мне человека!³⁷

— то слова: «Сир, дайте нам свободу мысли!» — сами приходили на язык. Можно себе представить, что Чаадаев по пути в Троппау не раз вспоминал мочолог Позы.

Но свободолюбивая проповедь Позы могла увлечь Филиппа лишь в одном случае — король должен был быть уверен в личном бескорыстии своего друга. Не случайно маркиз Поза отказывается от всяких наград и не хочет служить королю. Всякая награда превратит его из бескорыстного друга истины в наемника самовластия.

Добиться аудиенции и изложить царю свое кредо было лишь половиной дела — теперь следовало доказать личное бескорыстие, отказавшись от заслуженных наград. Слова Позы: «Ich kann nicht Fürstendiener sein» — становились для Чаадаева буквальнoй программой. Следуя им, он отказался от флигель-адъютантства. Таким образом, между стремлением к беседе с императором и требованием отставки не было противоречий — это звенья одного замысла.

³⁵ Шиллер Н. К. Император Александр Первый, его жизнь и царствование. Т. III. СПб., 1897, с. 48.

³⁶ Вяземский в эти дни писал: «Не могу при том без ужаса и уныния думать об одиночестве государя в такую важную минуту. Кто отзовется на голос его? Раздраженное самолюбие, бедственный советник, или ничтожные холопы, еще бедственнее и того» (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 1960, вып. 98, с. 78).

³⁷ Шиллер Ф. Собр. соч. в 7-ми томах. Т. II. М., 1955, с. 35. (Перевод В. Левика).

Как же отнесся к этому Александр I? Прежде всего — поплы ли он смысл поведения Чаадаева? Для ответа на этот вопрос уместно вспомнить эпизод, может быть и легендарный, но в этом случае весьма характерный, сохраненный для нас Герценом:

«В первые годы царствования Александра I <...> у императора Александра I бывали литературные вечера <...> В один из этих вечеров чтение длилось долго; читали новую трагедию Шиллера.

Чтец кончил и остановился.

Государь молчал, потупя взгляд. Может, он думал о своей судьбе, которая так близко прошла к судьбе Дон-Карлоса, может о судьбе своего Филиппа. Несколько минут продолжалась совершенная тишина; первый прервал ее князь Александр Николаевич Голицын; наклоня голову к уху графа Виктора Павловича Кочубея, он сказал ему вполслова, но так, чтобы все слышали:

— У нас есть свой Маркиз Поза!».³⁸

Голицын имел в виду В. Н. Каразина. Однако нас в этом отрывке интересует не только свидетельство интереса Александра I к трагедии Шиллера, но и другое: по мнению Герцена, Голицын, называя Каразина Позой, закидывал хитрую петлю придворной интриги, имеющей целью «свалить» соперника, — он знал, что император не потерпит никакого претендента на роль руководителя.

Александр I был деспот, но не шиллеровского толка: добрый от природы, джентльмен по воспитанию, он был русским самодержцем — следовательно, человеком, который не мог поступиться ничем из своих реальных прерогатив. Он остро нуждался в друге, причем в друге абсолютно бескорыстном (известно, что даже тень подозрения в «личных видах» переводила для Александра очередного фаворита из разряда друзей в презираемую им категорию царедворцев). Шиллеровского тирана пленило бескорыстие, соединенное с благородством мнений и личной независимостью. Друг Александра должен был соединить бескорыстие с бесконечной личной преданностью, равной раболепию. Известно, что от Аракчеева император снес и несогласие принять орден, и дерзкое возвращение орденовских знаков, которые Александр при особом рескрипте повелел своему другу на себя возложить. Демонстрируя неподкупное раболепие, Аракчеев отказался выполнить царскую волю, а в ответ на настоятельные просьбы императора согласился принять лишь портрет царя — не награду императора, а подарок друга.

Однако стоило искренней любви к императору соединиться с независимостью мнений (важен был не их политический харак-

³⁸ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. XVI. М., 1959, с. 38—39. — Чтение, видимо, имело место в 1803 г., когда Шиллер через Вольфогена направил «Дон Карлоса» в Петербург к Марии Федоровне. 27 сентября 1803 г. Вольфоген подтвердил получение. См.: Charlotte von Schiller und ihre Freunde. Bd. 2. Stuttgart, 1862, S. 125; Harder, S. 15—16.

тер, а именно независимость), как дружбе наступал конец. Такова история охлаждения Александра к политически консервативному, лично его любящему и абсолютно бескорыстному, никогда для себя ничего не просившему Карамзину.³⁹ Тем более Александр не мог потерпеть жеста независимости от Чаадаева, сближение с которым только что началось. Тот жест, который окончательно привлек сердце Филиппа к маркизу Позе, столь же бесповоротно оттолкнул царя от Чаадаева. Чаадаеву не было суждено сделаться русским Позой, так же как и русским Брутом или Периклесом.

На этом примере мы видим, как реальное поведение человека декабристского круга выступает перед нами в виде некоторого зашифрованного текста, а литературный сюжет — как код, позволяющий проникнуть в скрытый его смысл.

Приведем еще один пример. Известен подвиг жен декабристов и его истинное историческое значение для духовной истории русского общества. Однако непосредственная искренность содержания поступка ни в малой степени не противоречит закономерности выражения, подобно тому, как фраза самого пламенного призыва все же подчиняется тем же грамматическим правилам, которые предписаны любому выражению на данном языке. Поступок декабристок был актом протеста и вызовом. Но в сфере выражения он неизбежно опирался на определенный психологический стереотип. Поведение тоже имеет свои нормы и правила, — конечно, при учете того, что чем сложнее семиотическая система,

³⁹ Пример Карамзина в этом отношении особенно примечателен. Охлаждение к нему царя началось с подачи в 1811 г. в Твери «Записки о древней и новой России». Второй, еще более острый эпизод произошел в 1819 г., когда Карамзин прочел царю «Мнение русского гражданина». Позже он записал слова, которые он при этом сказал Александру: «Государь, в Вас слишком много самолюбия <...> Я не боюсь ничего. Мы все равны перед Богом. То, что я сказал Вам, я сказал бы и Вашему отцу <...> Государь, я презираю либералистов на день, мне дорога лишь та свобода, которую никакой тиран не сможет у меня отнять <...> Я более не прошу Вашего благоволения. Быть может, я говорю Вам в последний раз» (Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина. Ч. I. СПб., 1862, с. 9. Оригинал по-французски). В данном случае критика раздавалась с позиций более консервативных, чем те, на которых стоял царь. Это делает особенно очевидным то, что не прогрессивность или реакционность высказываемых идей, а именно независимость мнения была непавистна императору. В этих условиях деятельность любого русского претендента на роль маркиза Позы была заранее обречена на провал. После смерти Александра Карамзин в записке, адресованной потомству, слова подчеркнув свою любовь к покойному («Я любил его искренно и нежно, иногда негодовал, досадовал на монарха и все любил человека»), должен был признать полный провал миссии советника при престоле: «Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им, большею частью, и не следовало, так что ныне, вместе с Россиею оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца, ибо милость и доверенность остались бесплодны для любезного Отечества» (там же, с. 11—12).

тем более комплексными становятся в ее пределах отношения урегулированности и свободы. Существовали ли в русском дворянском обществе *до подвига декабристов* какие-либо поведенческие предпосылки, которые могли бы придать их жертвенному порыву какую-либо форму сложившегося уже поведения? Такие формы были.

Прежде всего, надо отметить, что следование за ссылаемыми мужьями в Сибирь существовало как вполне традиционная норма поведения в нравах русского простонародья: этапные партии сопровождалась обозами, которые везли семьи сосланных в добровольное изгнание. Это рассматривалось не как подвиг и даже не в качестве индивидуально выбранного поведения — это была норма. Более того, в допетровском быту та же норма действовала и для семьи ссылаемого боярина (если относительно его жены и детей не имелось специальных карательных распоряжений). В этом смысле именно простонародное (или исконно русское, допетровское) поведение осуществила свояченица Радищева, Елизавета Васильевна Рубановская, отправившись за ним в Сибирь. Насколько она мало думала о том, что совершает подвиг, свидетельствует, что с собою она взяла именно младших детей Радищева, а не старших, которым надо было завершать образования. Да и вообще отношение к ее поступку было иным, чем в 1826 г.: никто ее не думал ни задерживать, ни отговаривать, а современники, кажется, и не заметили этой великой жертвы — весь эпизод остался в пределах семейных отношений Радищева и не получил общественного звучания. (Родители Радищева были даже скандализованы тем, что Елизавета Васильевна, не будучи обвенчана с Радищевым, отправилась за ним в Сибирь, а там, презрев близкое родство, стала его супругой; слепой отец Радищева на этом основании отказал вернувшемуся из Сибири писателю в благословении, хотя сама Елизавета Васильевна к этому времени уже скончалась, не вынеся тягот ссылки. Совершенный ею высокий подвиг не встретил понимания и оценки у современников).

Была еще одна готовая норма поведения, которая могла подсказать декабристам их решение. В большинстве своем они были женами офицеров. В русской же армии XVIII—начала XIX в. держался старый и уже запрещенный для солдат, но практикуемый офицерами — главным образом старшими по чину и возрасту — обычай возить с собою в армейском обозе свои семьи. Так, при Аустерлице в штабе Кутузова, в частности, находилась его дочь Елизавета Михайловна Тизенгаузен (в будущем — Е. М. Хитрово), жена любимого адъютанта Кутузова, Фердинанда Тизенгаузена («Феди» в письмах Кутузова). После сражения, когда совершился обмен телами павших, она положила мертвого мужа на телегу и одна — армия направилась по другим дорогам, на восток, — повезла его в Ревель, чтобы похоронить в кафедральном соборе. Ей был тогда 21 год. Генерал Н. Н. Ра-

евский также возил свою семью в походы. Позже, отрицая в разговоре с Батюшковым участие своих сыновей в битве под Дашковой, он сказал: «Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пуля ему прострелила панталоны».⁴⁰ Таким образом, самый факт следования жены за мужем в ссылку или опасный и тягостный поход не был чем-то неслыханно новым в жизни русской дворянки. Однако для того, чтобы поступок этого рода приобрел характер *политического подвига*, оказалось необходимым еще одно условие. Напомним цитату из «Записок» типичного, по характеристике П. Е. Щеголева, декабриста⁴¹ Н. В. Басаргина: «Помню, что однажды я читал как-то жене моей только что тогда вышедшую поэму Рыльева „Войнаровский“ и при этом невольно задумался о своей будущности. — О чем ты думаешь? — спросила меня она. — „Может быть, и меня ожидает ссылка“, — сказал я. — Ну, что же, я тоже приеду утешить тебя, разделить твою участь. Ведь это не может разлучить нас, так об чем же думать?».⁴² Басаргиной (урожд. княжне Мещерской) не довелось делом подтвердить свои слова: она неожиданно скончалась в августе 1825 г., не дожив до ареста мужа.

Дело, однако, не в личной судьбе Басаргиной, а в том, что именно поэзия Рыльева поставила подвиг женщины, следующей за мужем в ссылку, в один ряд с другими проявлениями гражданской добродетели. В думе «Наталья Долгорукова» и поэме «Войнаровский» был создан стереотип поведения женщины-героини:

Забыла я родной свой град,
 Богатство, почести и знатность,
 Чтоб с ним делить в Сибири хлад
 И испытать судьбы превратность.⁴³

(«Наталья Долгорукова»)

Вдруг вижу: женщина идет,
 Дахой убогою прикрыта,
 И связку дров едва несет,
 Работой и тоской убита.
 Я к ней, и что же? ... Узнаю
 В несчастной сей, в мороз и вьюгу,
 Козачку юную мою,
 Мою прекрасную подругу! ..
 Узнав об участи моей,
 Она из родины своей
 Пришла искать меня в изгнание.
 О странник! Тяжко было ей
 Не разделять со мной страданье.⁴⁴

(«Войнаровский»)

⁴⁰ Батюшков К. Н. Сочинения. [М.—Л.], 1934, с. 373.

⁴¹ Басаргин Н. В. Записки. Пг., 1917, с. XI.

⁴² Там же, с. 35.

⁴³ Рылеев К. Ф. Полн. собр. стих. Л., 1971, с. 168.

⁴⁴ Там же, с. 214.

Биография Натальи Долгоруковой стала предметом литературной обработки до думы Рылеева в повести С. Глинки «Образец любви и верности супружеской, или Бедствия и добродетели Наталии Борисовны Долгоруковой, дочери фельдмаршала Б. П. Шереметьева» (1815). Однако для С. Глинки этот сюжет — пример супружеской верности, противостоящий поведению «модных жен». Рылеев поставил ее в ряд «жизнеописаний великих мужей России». ⁴⁵ Этим он создал совершенно новый код для дешифровки поведения женщины. Именно литература, наряду с религиозными нормами, вошедшими в национально-этическое сознание русской женщины, дала русской дворянке начала XIX в. программу поведения, сознательно осмысляемого как героическое. Одновременно и автор «дум» видит в них программу деятельности, образцы героического поведения, которые должны непосредственно влиять на поступки его читателей.

Можно полагать, что именно дума «Наталия Долгорукова» оказала непосредственное воздействие на Марию Волконскую. И современники, начиная с отца ее, Н. Н. Раевского, и исследователи отмечали, что она не могла испытывать глубоких личных чувств к мужу, которого совершенно не знала до свадьбы и с которым провела лишь три месяца из года, протекшего между свадьбой и арестом. Отец с горечью повторял признания Марии Николаевны, «что муж бывает ей несносен», добавляя, что он не стал бы противиться ее поездке в Сибирь, если был бы уверен, что «сердце жены влечет ее к мужу». ⁴⁶

Однако эти ставившие в тупик родных и некоторых из исследователей обстоятельства для самой Марии Николаевны лишь усугубляли героизм, а следовательно — и необходимость поездки в Сибирь. Она ведь помнила, что между свадьбой Н. Б. Шереметьевой, вышедшей за кн. И. А. Долгорукова, и его арестом прошло три дня. Затем последовала жизнь-подвиг. По словам Рылеева, муж ей «был дан, как призрак, на мгновенье». Отец Волконской, Н. Н. Раевский, точно почувствовал, что не любовь, а сознательное стремление совершить подвиг двигало его дочерью. «Она не чувству своему последовала, поехала к мужу, а влиянию волконских баб, которые похвалами ее геройству уверили ее, что она героиня». ⁴⁷

Н. Н. Раевский ошибался лишь в одном: «волконские бабы» здесь не были ни в чем виноваты. Мать С. Волконского — статс-дама Мария Федоровна — проявила холодность к невестке и полное безразличие к судьбе сына: «Моя свекровь расспрашивала меня о сыне и между прочим сказала, что она не может решиться навестить его, так как это свидание ее убило бы, и на другой же

⁴⁵ Базанов В. Ученая республика. М.—Л., 1964, с. 267.

⁴⁶ Гершензон М. О. История молодой России. М.—Пг., 1923 (в дальнейшем: Гершензон), с. 70.

⁴⁷ Гершензон, с. 70.

день уехала с императрицей-матерью в Москву, где уже пачинались приготовления к коронации». ⁴⁸ С сестрой мужа, княжной Софьей Волконской, она вообще не встретилась. «Виновата» была русская литература, создавшая представление о женском эквиваленте героического поведения гражданина, и моральные нормы декабристского круга, требовавшие прямого перенесения поведения литературных героев в жизнь.

Характерна в этом отношении полная растерянность декабристов в условиях следствия — в трагической обстановке поведения без свидетелей, которым можно было бы, рассчитывая на понимание, адресовать героические поступки, без литературных образцов, поскольку гибель без монологов, в военно-бюрократическом вакууме, не была еще предметом искусства той поры. В этих условиях резко выступали другие, прежде отодвигавшиеся, но прекрасно известные всем декабристам нормы и стереотипы поведения: долг офицера перед старшими по званию и чину, обязанности присяги, честь дворянина. Они врывались в поведение революционера и заставляли метаться при совершении реальных поступков от одной из этих норм к другой. Не каждый мог, как Пестель, принять собеседником потомство и вести с ним диалог, не обращая внимания на подслушивающий этот разговор следственный комитет и тем самым безжалостно губя себя и своих друзей.

Показательно, что тема глухого суда без свидетелей, тактики борьбы со следствием резко выдвинулась в литературе *после* 1826 г. — от «Родамиста и Зенобии» Грибоедова до Полежаева, Лермонтова. Шутливое свидетельство в поэме Некрасова «Суд» тем не менее ярко показывает, что в поэме Жуковского «Суд в подземелье» читатели 1830-х годов вычитывали не судьбу монахи — жертвы инквизиции, а нечто иное, примеряя на себя ситуацию «суда в подземелье».

* * *

Охарактеризованное выше мощное воздействие слова на поведение, знаковых систем на быт особенно ярко проявилось в тех сторонах каждодневной жизни, которые по своей природе наиболее удалены от общественного семиозиса. Одной из таких сфер является отдых.

По своей социальной и психофизиологической функции отдых должен строиться как прямая противоположность обычному строю жизни. Только в этом случае он сможет выполнить функцию психофизиологического переключения и разрядки. В обществе со сложной системой социальной семиотики отдых будет неизбежно ориентирован на непосредственность, природность, внезаковость. Так, в цивилизациях городского типа отдых не-

⁴⁸ Записки кн. Марии Николаевны Волконской. Изд. 2-е. СПб., 1914, с. 57.

изменно включает в себя выезд «на лоно природы». Для русского дворянина XIX в., а во второй половине его — и чиновника, строгая урегулированность жизни нормами светского приличия, иерархией чинов, сословной или бюрократической, определяет то, что отдых начинает ассоциироваться с приобщением к миру кулис или табора. В куческой среде строгой «чинности» обычного бытия противостоял не признающий преград «загул». Обязательность смены социальной маски проявлялась, в частности, в том, что если в каждодневной жизни данный член коллектива принадлежал к забытым и униженным, то «гуляя» он должен был играть роль человека, которому «сам черт не брат», если же в обычном быте он наделен, в пределах данного коллектива, высоким авторитетом, то роль его в зеркальном мире праздника будет часто включать в себя игру в униженного.

Обычным признаком праздника является его четкая отграниченность от остального, «непраздничного» мира, отграниченность в пространстве — праздник часто требует другого места (более торжественного: парадная зала, храм; или менее торжественного: пикник, труппы) и особо выделенного времени (календарные праздники, вечернее и почное время, в которое в будни полагается спать).

Праздник в дворянском быту начала XIX в. был в достаточной мере сложным и гетерогенным явлением. С одной стороны, особенно в провинции и деревне, он был еще тесно связан с крестьянским календарным ритуалом; с другой — молодая, насчитывающая не более ста лет, послепетровская дворянская культура еще не страдала закоснелой ритуализацией обычного, непраздничного быта. Порой, напротив, сказывалась его недостаточная упорядоченность. Это приводило к тому, что бал (как для армии парад) порой становился не местом понижения уровня ритуализации, а напротив, резко повышал ее меру. Отдых заключался не в снятии ограничений на поведение, а в замене разнообразной неритуализованной деятельности резко ограниченным числом типов чисто формального и превращенного в ритуал поведения: танцы, вист, «порядок стройный олигархических бесед» (Пушкин).

Иное дело — среда военной молодежи. Начиная с Павла I в войсках (в особенности в гвардии) установился тот жестокий режим обезличивающей дисциплины, вершиной и наиболее полным проявлением которого был вахтпарад. Современник декабристов Т. фон Бок писал в послании Александру I: «Парад есть торжество ничтожества, — и всякий воин, перед которым пришлось потупить взор в день сражения, становится манекеном на параде, в то время как император кажется божеством, которое одно только думает и управляет».⁴⁹

⁴⁹ Предтеченский А. В. Записка Т. Е. Бока. — В кн.: Декабристы и их время. М.—Л., 1951, с. 198.

Там, где повседневность была представлена муштрой и парадом, отдых, естественно, принимал формы кутежа или оргии. В этом смысле последние были вполне закономерны, составляя часть «нормального» поведения военной молодежи. Можно сказать, что для определенного возраста и в определенных пределах оно являлось обязательной составной частью «хорошего» поведения офицера (разумеется, включая и количественные и качественные различия не только для антитезы «гвардия — армия», но и по родам войск и даже полкам, создавая в их пределах некоторую обязательную традицию).

Однако в начале XIX в. на этом фоне начал выделяться некоторый особый тип разгульного поведения, который уже воспринимался не в качестве нормы армейского досуга, а как вариант вольномыслия. Элемент вольности проявлялся здесь в своеобразном бытовом романтизме, заключавшемся в стремлении отменить *всякие* ограничения, в безудержности поступка. Типовая модель такого поведения строилась как победа над некоторым корифеем данного типа разгула. Смысл поступка был в том, чтобы совершить неслыханное, превзойти того, кого еще никто не мог победить. Пушкин с большой точностью охарактеризовал этот тип поведения в монологе Сильвио: «Я служил в*** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буйном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Б<урцова>, воспетого Д<енисом> Д<авыдовы>м».⁵⁰ Выражение «перепил» характеризует тот элемент соревнования и страсти первенствования, который составлял характерную черту модного в конце 1810-х годов «буйства», стоящего уже на грани перехода в «бытовое вольнодумство».

Приведем характерный пример. В посвященной Лунину литературе неизменно приводится эпизод, рассказанный Н. А. Белоголовым со слов И. Д. Якушкина: «Лунин был гвардейским офицером и стоял летом со своим полком около Петергофа; лето жаркое, и офицеры, и солдаты в свободное время с великим наслаждением освежались купанием в заливе; начальствующий генерал-немец неожиданно приказом запретил под строгим наказанием купаться впредь на том основании, что купанья эти происходят вблизи проезжей дороги и тем оскорбляют приличие; тогда Лунин, зная, когда генерал будет проезжать по дороге, за несколько минут перед этим залез в воду в полной форме, в кивере, мундире и ботфортах, так что генерал еще издали мог увидеть странное зрелище барахтающегося в воде офицера, а когда поровнялся, Лунин быстро вскочил на ноги, тут же в воде вытянулся и почтительно отдал ему честь. Озадаченный генерал подозвал офицера к себе, узнал в нем Лунина, любимца великих князей и одного из блестящих гвардейцев, и с удивле-

⁵⁰ Пушкин, т. 8, кн. I. [М.—Л.], 1948, с. 69.

ннем спросил: „Что вы это тут делаете?“ — Купаюсь, — ответил Лунин, — а чтобы не нарушить предписание вашего превосходительства, стараюсь делать это в самой приличной форме». ⁵¹

Н. А. Белоголовый совершенно справедливо истолковал это как проявление «необузданности <...> протестов». Однако смысл поступка Лунина остается не до конца ясным, пока мы его не сопоставим с другим свидетельством, не привлечшим внимания историков. В мемуарах зубовского карлика Ивана Якубовского содержится рассказ о побочном сыне Валериана Зубова, юнкере уланского гвардейского полка Корочарове: «Что с ним тут случилось! Они стояли в Стрельбе, пошли несколько офицеров купаться, и он с ними, по великий князь Константин Павлович, их шеф, пошел гулять по взморью и пришел к ним, где они купались. Вот они испугались, бросились в воду из лодки, но Корочаров один вытянулся прямо, как мать родила, и закричал: „Здравия желаю, Ваше высочество!“ С тех пор великий князь так его полюбил: „Храбрый будет офицер“». ⁵² Хронологически оба эпизода совпадают.

История восстанавливается, следовательно, в таком виде: юнкер из гвардейских уланов, не растерявшись, совершил лихой поступок, видимо вызвавший одновременно восхищение в гвардии и распоряжение, запрещающее купаться. Лунин, как «первый буян по армии», должен был превзойти поступок Корочарова (не последнюю роль, видимо, играло желание поддержать честь кавалергардов, «переплюнув» уланов). Ценность разгульного поступка состоит в том, чтобы *перейти черту*, которой еще никто не переходил. Л. Н. Толстой точно уловил именно эту сторону, описывая кутежи Пьера и Долохова.

Другим признаком перерождения предусмотренного разгула в оппозиционный явился стремление видеть в нем не отдых, дополняющий службу, а ее антитезу. Мир разгула становился самостоятельной сферой, погружение в которую *исключало службу*. В этом смысле он начинал ассоциироваться, с одной стороны, с миром приватной жизни, а с другой — с поэзией, еще в XVIII в. завоевавшими место антиподов службы.

Продолжением этого процесса явилось установление связи между разгулом, прежде целиком относившимся к сфере чисто практического бытового поведения, и теоретико-идеологическими представлениями. Это повлекло, с одной стороны, превращение разгула, буйства в разновидность социально значимого поведения, а с другой — его ритуализацию, сближающую порой дру-

⁵¹ Белоголовый П. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1898 (в дальнейшем: Белоголовый), с. 70.

⁵² Карлик фаворита, история жизни Ивана Андреевича Якубовского, карлика светлейшего князя Платона Александровича Зубова, писанная им самим. München, 1968, с. 68. — Корочаров в чине ротмистра, имея три креста и будучи представлен к Георгию, был смертельно ранен при взятии Парижа во время лихой атаки на польских уланов.

жескую попойку с трагической литургией или пародийным заседанием масонской ложи.

При оценке страсти, порыва человека к счастью и к радости, попытке найти этим чувствам определенное место в системе идей и представлений мыслитель начала XIX в. оказывался перед необходимостью выбора одной из двух концепций, каждая из которых при этом воспринималась в ту пору как связанная с определенными направлениями прогрессивной мысли.

Традиция, идущая от философов XVIII столетия, исходила из того, что право на счастье заложено в природе человека, а общее благо всех подразумевает максимальное благо отдельной личности. С этих позиций человек, стремящийся к счастью, осуществлял предписания Природы и Морали. Всякий призыв к самоотречению от счастья воспринимался как учение, выгодное деспотизму. Напротив того, в свойственной материалистам XVIII в. этике гедонизма одновременно видели и проявление свободолюбия. Страсть воспринималась как эквивалент порыва к вольности. Только человек, полный страстей, жаждущий счастья, готовый к любви и радости, не может быть рабом. С этой позиции у свободолюбивого идеала могли быть два равноценных проявления: гражданин, полный ненависти к деспотизму, или страстная женщина, исполненная жажды счастья. Именно эти два образа свободолюбия поставил Пушкин рядом в стихотворении 1817 г.:

... в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина — не с холодной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой? ⁵³

С этих позиций приобщение к свободолюбию мыслилось именно как праздник, а пир и даже оргия приобретали черты реализации идеала вольности.

Однако могла быть и другая разновидность свободолюбивой морали. Она опиралась на тот сложный конгломерат передовых этических представлений, который был связан с пересмотром философского наследия материалистов XVIII в. и включал в себя весьма противоречивые источники — от Руссо в истолковании Робеспьера до Шиллера. Это был идеал политического стоицизма, римской добродетели, героического аскетизма. Любовь и счастье были изгнаны из этого мира как чувства унижающие, эгоистические и недостойные гражданина. Здесь идеалом была не «женщина — не с холодной красотой, но с пламенной, пленительной, живой», а тети сурового Брута и Марфы-посадницы («Катона своей республики», по словам Карамзина). Богиня любви здесь изгонялась ради музыки «либеральности»:

⁵³ Пушкин, т. 2. кн. I. [М.—Л.], 1947, с. 43.

Беги, сокройся от одея,
Цитеры слабая царяца!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?⁵⁴

В свете этих концепций разгульное поведение получало прямо противоположное значение. Общим было лишь то, что в обоих случаях оно рассматривалось как *имеющее значение*. Из области рутинного поведения оно переносилось в сферу знаковой деятельности. Разница эта существенна: область рутинного поведения отличается тем, что индивид не выбирает его себе, а получает от общества, эпохи или своей психофизиологической конституции как нечто, не имеющее альтернативы. Знаковое поведение — всегда результат выбора и, следовательно, включает свободную активность субъекта поведения, выбор им языка своего отношения к обществу (в этом случае интересны примеры, когда незнаковое поведение делается знаковым для постороннего наблюдателя, например для иностранца, поскольку он невольно добавляет к нему свою способность вести себя в этих ситуациях иначе).

Вопрос, который нас сейчас интересует, имеет непосредственное отношение к оценке таких существенных явлений в русской общественной жизни 1810-х годов, как «Зеленая лампа», «Арзамас», «Общество громкого смеха».

Наиболее показательна в этом отношении история изучения «Зеленой лампы».

Слухи относительно оргий, якобы совершавшихся в «Зеленой лампе», которые циркулировали среди младшего поколения современников Пушкина, знавшего обстановку 1810-х — начала 1820-х годов лишь понаслышке, проникли в раннюю биографическую литературу и обусловили традицию, восходящую к работам П. И. Бартепева и П. В. Анпенкова, согласно которой «Зеленая лампа» — аполитичное общество, место оргий. П. Е. Щеголев в статье, написанной в 1907 г., резко полемизируя с этой традицией, поставил вопрос о связи общества с Союзом Благочестия.⁵⁵ Публикация Б. Л. Модзалевским части архива «Зеленой лампы» подтвердила эту догадку документально,⁵⁶ что позволило ряду исследователей⁵⁷ доказать эту гипотезу. Именно в таком виде эта проблема и была изложена в итоговом труде М. В. Нечкиной.⁵⁸ Наконец, с предельной полнотой и обычной для

⁵⁴ Там же, с. 45.

⁵⁵ См.: Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. СПб., 1912 (глава «Зеленая лампа»); см. также: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.—Л., 1931.

⁵⁶ Модзалевский Б. Л. К истории «Зеленой лампы». — В кн.: Декабристы и их время. Т. I. М., 1928.

⁵⁷ См.: Рылеев К. Ф. Полн. собр. стих. Л., 1934 (комментарий); Базанов В. Г. Вольное общество любителей российской словесности. Петро-заводск, 1949.

⁵⁸ Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. I. М., 1955, с. 239—246.

Б. В. Томашевского критичностью эта точка зрения на «Зеленую лампу» была изложена в его книге «Пушкин», где данный раздел занимает более 40 страниц текста. Нет никаких оснований подвергать эти положения пересмотру.

Но именно полнота и подробность, с которой был изложен взгляд на «Зеленую лампу» как побочную управу Союза Благоденствия, обнаруживает известную односторонность такого подхода. Оставим в стороне легенды и сплетни — положим перед собой цикл стихотворений Пушкина и его письма, обращенные к членам общества. Мы сразу же увидим в них нечто единое, объединяющее их к тому же со стихами Я. Толстого, которого Б. В. Томашевский с основанием считает «присяжным поэтом „Зеленой лампы“». ⁵⁹ Эта специфика состоит в соединении очевидного и недвусмысленного свободолюбия с культом радости, чувственной любви, кощунством и некоторым бравадирующим либертинажем. Не случайно в этих текстах так часто читатель встречает ряды точек, само присутствие которых невозможно в произведениях, обращенных к Н. Тургеневу, Чаадаеву или Ф. Глинке. Б. В. Томашевский цитирует отрывок из послания Пушкина Ф. Ф. Юрьеву и сопоставляет его с рылеевским посвящением к «Войнаровскому»: «Слово „надежда“ имело гражданское осмысление. Пушкин писал одному из участников „Зеленой лампы“ Ф. Ф. Юрьеву:

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и виша!
Для нас, союзники младые,
Надежды лампа зажжена.

Значение слова „надежда“ в гражданском понимании явствует из посвящения к „Войнаровскому“ Рылеева:

И вновь в небесной вышине
Звезда надежды засияла». ⁶⁰

Однако, подчеркивая образное родство этих текстов, нельзя же забывать, что у Пушкина после процитированных стихов следовало совершенно невозможное для Рылеева, но очень характерное для всего рассматриваемого цикла:

Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и бордель,
Где с громким смехом сладострастье
Ведет нас пьяных на постель. ⁶¹

Если считать, что вся сущность «Зеленой лампы» выражается в ее роли побочной управы «Союза Благоденствия», то как свя-

⁵⁹ Томашевский Б. Пушкин. Кн. 1 (1813—1824). М.—Л., 1956 (в дальнейшем: Томашевский), с. 212.

⁶⁰ Там же, с. 197.

⁶¹ Пушкин, т. 2, кн. 1, с. 95.

зять такие — совсем не единичные! — стихи с указанием «Зеленой книги», что «распространение правил нравственности и добродетели есть самая цель Союза», а членам вменяется в обязанность «во всех речах превозносить добродетель, унижать пороки и показывать презрение к слабости»? Вспомним брезгливое отношение Н. Тургенева к «пирам» как занятию, достойному «хамов»: «В Москве пучина наслаждений чувственной жизни. Едят, пьют, спят, играют в карты — все сие на счет обремененных работами крестьян»⁶² (запись датируется 1821 г. — годом публикации «Пиров» Баратынского).

Первые исследователи «Зеленой лампы», подчеркивая ее «оргический» характер, отказывали ей в каком-либо политическом значении. Современные исследователи, вскрыв глубину реальных политических интересов членов общества, просто отбросили всякую разницу между «Зеленой лампой» и нравственной атмосферой Союза Благоденствия. М. В. Нечкина совершенно обошла молчанием эту сторону вопроса. Б. В. Томашевский нашел выход в том, чтобы разделить серьезные и полностью соответствующие духу Союза Благоденствия заседания «Зеленой лампы» и не лишние вольности вечера в доме Никиты Всеволожского. «Пора отличать вечера Всеволожского от заседаний „Зеленой лампы“», — писал он.⁶³ Правда, строкой ниже исследователь значительно смягчает свое утверждение, добавляя, что «для Пушкина, конечно, вечера в доме Всеволожского представлялись такими же неделимыми, как неделимы были заседания „Арзамаса“ и традиционные ужины с гусем». Остается неясным, почему требуется различать то, что для Пушкина было неделимо, и следует ли в этом случае и в «Арзамасе» разделять «серьезные» заседания и «шутливые» ужины? Вряд ли эта задача представляется выполнимой.

«Зеленая лампа» бесспорно была свободолобивым литературным объединением, а не сборищем развратников. Ломать вокруг этого вопроса копыя сейчас уже нет никакой необходимости.⁶⁴

⁶² Дневники Н. Тургенева. Т. III. — В кн.: Архив братьев Тургеневых. Вып. 5. Пг., 1921, с. 259.

⁶³ Томашевский, с. 206.

⁶⁴ Кстати, нельзя согласиться ни с П. В. Анненковым, писавшим, что следствие по делу декабристов обнаружило «певинный, т. е. оргический характер „Зеленой лампы“» (Анненков П. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 63), ни с Б. В. Томашевским, высказавшим предположение, что «слухи об оргиях, возможно, пускались с целью пресечь... любопытство и направить внимание по ложному пути» (Томашевский, с. 206). Полиция в начале века преследовала безнравственность не менее активно, чем свободомыслие. Анненков невольно переносил в Александровскую эпоху нравы «мрачного семилетия». Что же касается утверждения Б. В. Томашевского, что «заседания конспиративного общества не могли происходить в дни еженедельных званных вечеров хозяина», что, по мнению исследователя, — аргумент в пользу разделения «вечеров» и «заседаний», то нельзя не вспомнить «тайные собрания // По четвергам. Секретнейший

Не менее очевидно, что Союз Благоденствия стремился оказывать на нее влияние (участие в ней Ф. Глинки и С. Трубецкого не оставляет на этот счет никаких сомнений). Но означает ли это, что она была простым филиалом Союза и между этими организациями не обнаруживается разницы?

Разница заключалась не в идеалах и программных установках, а в типе поведения.

Масопы называли заседания ложки «работами». Для члена Союза Благоденствия его деятельность как участника общества также была «работой» или — еще торжественнее — служением. Пущин так и сказал Пушкину: «Не я один поступил в это новое служение отечеству».⁶⁵ Доминирующее настроение политического заговорщика — серьезное и торжественное. Для члена «Зеленой лампы» свободолюбие окрашено в тона веселья, а реализация идеалов вольности — превращение жизни в непрекращающийся праздник. Точно отметил, характеризуя Пушкина той поры, Л. Гроссман: «Политическую борьбу он воспринимал не как отречение и жертву, а как радость и праздник».⁶⁶

Однако праздник этот связан с тем, что жизнь, бьющая через край, издается над запретами. Лихость (ср.: «рыцари лихие») отделяет идеалы «Зеленой лампы» от гармонического гедонизма Батюшкова (и умеренной веселости арзамасцев), приближая к «гусаршине» Д. Давыдова и студенческому разгулу Языкова.

Нарушение карамзинского культа «пристойности» проявляется в речевом поведении участников общества. Дело, конечно, не в употреблении неудобных для печати слов — в этом случае «Лампа» не отличалась бы от любой армейской пирушки. Убеждение исследователей, полагающих, что выпившая или даже просто разгоряченная молодежь — молодые офицеры и поэты — придерживалась в холостой беседе лексики Словаря Академии Российской, и в связи с этим доказывающих, что пресловутые приветствия калмыка должны были лишь отмечать недостаточную изысканность острот, — имеет несколько комический характер; оно порождено характерным для современной исторической мысли гипнозом письменных источников: документ приравнивается к действительности, а язык документа — к языку жизни. Дело в *смешении* языка высокой политической и философской мысли, уточненной поэтической образности с площадной лексикой. Это создает особый, резко фамильярный стиль, характерный для писем Пушкина к членам «Зеленой лампы». Этот язык, богатый неожиданными совмещениями и стилистическими соседствами, становился своеобразным паролем, по которому узнавали «своего». Наличие языкового пароля, резко выраженного кружкового жар-

союз...» Репетилова. Конспирация 1819—1820 гг. весьма далеко отстояла от того, что вкладывалось в это понятие уже к 1824 г.

⁶⁵ Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. [М.], 1956. с. 81.

⁶⁶ Гроссман Леонид. Пушкин. М., 1958, с. 143.

гона — характерная черта и «Лампы», и «Арзамаса». Именно наличие «своего» языка выделил Пушкин, мысленно переносясь из изгнания в «Зеленую лампу»:

Вновь слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...⁶⁷

Речевому поведению должно было соответствовать и бытовое, основанное на том же смешении. Еще в 1817 г., адресуясь к Каверину (гусарская атмосфера подготавливала атмосферу «Лампы»), Пушкин писал, что

... можно дружно жить
С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,
Что резвых шалостей под легким покрывалом
И ум возвышенный и сердце можно скрыть.⁶⁸

Напомним, что как раз против такого смешения резко выступал моралист и проповедник Чацкий (об отношении декабристов к картам — см. дальше):

Когда в делах — я от веселий прячусь,
Когда дурачиться — дурачусь,
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников, я не из их числа.

Фамильярность, возведенная в культ, приводила к своеобразной ритуализации быта. Только это была ритуализация «наизнанку», напоминая шутовские ритуалы карнавала. Отсюда характерные кощунственные замены: «Девственница» Вольтера — «святая Библия Харит». Свидание с «Ляисой» может быть и названо прямо, с подчеркнутым игнорированием светских языковых табу:

Когда ж вновь сядем вчетвером
С б... , вином и чубуками, —⁶⁹

— и переведено на язык кощунственного ритуала:

Проводит набожную ночь
С молодой монашкой Цитеры.⁷⁰

Это можно сопоставить с карнавализацией масонского ритуала в «Арзамасе». Антиритуальность шутовского ритуала в обоих случаях очевидна. Но если «либералист» веселился не так, как Молчалин, то досуг русского «карбонария» не походил на забавы первого.

Бытовое поведение не менее резко, чем формальное вступление в тайное общество, отгораживало дворянского революционера

⁶⁷ Пушкин, т. 2, кн. 1, с. 264.

⁶⁸ Там же, т. 1. [М.—Л.], 1937, с. 238.

⁶⁹ Там же, т. 2, кн. 1, с. 77.

⁷⁰ Там же, с. 87.

не только от людей «века минувшего», но и от широкого круга фрондеров, вольнодумцев и «либералистов». То, что такая подчеркнутость особого поведения («Этих в вас особенностей бездна», — говорит Софья Чацкому) по сути дела противоречила идее конспирации, не смущало молодых заговорщиков. Показательно, что не декабрист Н. Тургенев, а его осторожный старший брат должен был уговаривать бурно тянущегося к декабристским нормам и идеалам младшего из братьев, Сергея Ивановича, не обнаруживать своих воззрений в каждодневном быту. Николай же Иванович учил брата противоположному: «Мы не затем принимаем либеральные правила, чтобы правиться хамам. Они нас любить не могут. Мы же их всегда презирать будем».⁷¹

Связанный с этим «грозный взгляд и резкий тон», по словам Софии о Чацком, мало располагал к беззаботной шутке, не сбивающейся на обличительную сатиру. Декабристы не были шутниками. Вступая в общества карнавализованного веселья молодых либералистов, они, стремясь направить их по пути «высоких» и «серьезных» занятий, разрушали самую основу этих организаций. Трудно представить себе, что делал Ф. Глинка на заседаниях «Зеленой лампы» и уже тем более на ужинах Всеволожского. Однако мы прекрасно знаем, какой оборот приняли события в «Арзамасе» с приходом в него декабристов. Выступления Н. Тургенева и тем более М. Орлова были «пламенными» и «дельными», но их трудно назвать исполненными беззаботного остроумия. Орлов сам это прекрасно понимал: «Рука, обыкшая носить тяжкий булатный меч брани, возможет ли владеть легким оружием Аполлона, и прилично ли гласу, огрубелому от произношения громкой и протязной команды, говорить божественным языком вдохновенности или тонким наречием насмешки?».⁷²

Выступления декабристов в «Обществе громкого смеха» также были далеки от юмора. Вот как рисуется один из них по мемуарам М. А. Дмитриева: «На второе заседание Шаховской пригласил двух посетителей (не членов) — Фонвизина и Муравьева <...> Гости во время заседания закурили трубки, потом вышли в соседнюю комнату и почему-то шептались, а затем, возвратясь оттуда, стали говорить, что труды такого рода слишком серьезные и прочие, и начали давать советы. Шаховский покраснел, члены обиделись».⁷³ «Громкого смеха» не получилось.

Отменяя господствующее в дворянском обществе деление бытовой жизни на области службы и отдыха, «либералисты» хотели бы превратить всю жизнь в праздник, заговорщики — в «служение».

⁷¹ Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.—Л., 1936 (в дальнейшем: Н. Тургенев), с. 208.

⁷² Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933, с. 206.

⁷³ Грумм-Гржимайло А. Г., Сорокин В. В. «Общество громкого смеха». К истории «Вольных обществ» Союза Благоденствия. — В кн.: Декабристы в Москве. М., 1963, с. 148.

Все виды светских развлечений — танцы, карты, волокитство — встречают с их стороны суровое осуждение как знаки душевной пустоты. Так, М. И. Муравьев-Апостол в письме к Якушкину недвусмысленно связывал страсть к картам и общий упадок общественного духа в условиях реакции: «После войны 1814 года страсть к игре, так мне казалось, исчезла среди молодежи. Чему же приписать возвращение к столь презренному занятию?» — спрашивал он,⁷⁴ явно не допуская симбиоза «карт» и «Платона».

Как «пошлое» занятие, карты приравниваются танцам. С вечеров, на которых собирается «сок умной молодежи», изгоняется и то, и другое. На вечерах у И. П. Липранди не было «карт и танцев».⁷⁵ Грибоедов, желая подчеркнуть пропасть между Чацким и его окружением, завершил монолог героя ремаркой: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам». Очень характерно письмо Николая Тургенева брату Сергею. Н. Тургенев удивляется тому, что во Франции, стране, живущей напряженной политической жизнью, можно тратить время на танцы: «Ты, я слышу, танцуешь. Графу Головину дочь его писала, что с тобою танцевала. И так я с некоторым удивлением узнал, что теперь во Франции еще и танцуют! Une écossaise constitutionnelle, indépendante, ou une contredanse monarchique ou une danse contremonarchique?»⁷⁶

О том, что речь идет не о простом отсутствии интереса к танцам, а о выборе типа поведения, для которого отказ от танцев — лишь *знак*, свидетельствует то, что «серьезные» молодые люди 1818—1819 гг. (а под влиянием поведения декабристов «серьезность» входит в моду, захватывая более широкий ареал, чем непосредственный круг членов тайных обществ) ездят на балы, *чтобы там не танцевать*. Хрестоматийно известны слова из пушкинского «Романа в письмах»: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость

⁷⁴ Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. Пг., 1922, с. 85.

⁷⁵ Русский архив, 1866, кн. 7, стлб. 1255.

⁷⁶ Н. Тургенев, с. 280. *Перевод*: Экосез конституционный, независимый, или контрданс монархический, или танец (дапс) контрмонархический? (*франц.*). Крайне интересное свидетельство отрицательного отношения к танцам, как занятию, несовместимому с «римскими добродетелями», с одной стороны, и одновременно веры в то, что бытовое поведение должно строиться на основании текстов, описывающих «героическое» поведение, с другой, дают воспоминания В. Олесиной, рисующие эпизод из детства Никиты Муравьева: «На детском вечере у Державиных Екатерина Федоровна (мать Н. Муравьева, — Ю. Л.) заметила, что Никитушка не танцует, подошла его уговаривать. Он тихонько ее спросил: „Maman, est-ce qu'Aristide et Caton ont dansé?“ (Мама, разве Аристид и Катон танцевали?). Мать на это ему отвечала: „Il faut supposer qu'oui, á votre age“ (Можно предположить, что в твоём возрасте — да). Он тотчас встал и пошел танцевать» (Декабристы. Летописи государственного литературного музея. Кн. III. М., 1938, с. 484).

правил и политическая эконопия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг (офицер, памеревающий танцевать, отстегивал шпагу и отдавал ее швейцару еще до того, как входил в бальную залу, — Ю. Л.) — нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами». ⁷⁷ Ср. реплику княгини-бабушки в «Горе от ума»: «Танцовщики ужасно стали редки».

Идеалу «пиров» демонстративно были противопоставлены спартанские по духу и подчеркнута русские по составу блюд «русские завтраки» у Рылеева, «которые были постоянно около второго или третьего часа пополудни и на которые обыкновенно собиравались многие литераторы и члены нашего Общества. Завтрак неизменно состоял: из графина очищенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба. Да не покажется Вам странным такая спартанская обстановка завтрака». Она «гармонировала со всегдашнею наклонностью Рылеева — налагать печать руссизма на свою жизнь». ⁷⁸ М. Бестужев далек от иронии, описывая нам литераторов, которые, «ходя взад и вперед с сигарами, закусывая пластовой капустой», ⁷⁹ критикуют туманный романтизм Жуковского. Однако это сочетание, в котором сигара относится лишь к автоматизму привычки и свидетельствует о глубокой европеизации реального быта, а капуста представляет собой идеологически весомый знак, характерно. М. Бестужев не видит здесь противоречия, поскольку сигара расположена на другом уровне, чем капуста, она заметна лишь постороннему наблюдателю — т. е. нам.

Молодому человеку, делящему время между балами и дружескими попойками, противопоставляется анахорет, проводящий время в кабинете. Кабинетные занятия захватывают даже военную молодежь, которая теперь скорее напоминает молодых ученых, чем армейскую вольницу. Н. Муравьев, Пестель, Якушкин, Завалишин, Батеньков и десятки других молодых людей их круга учатся, слушают private лекции, выписывают книги и журналы, чуждаются дамского общества:

... модный круг совсем теперь не в моде.
Мы, знаешь, милая, все нынче на свободе.
Не ездим в общества, не знаем наших дам.
Мы их оставили на жертву [старикам],
Любезным баловням осьмнадцатого века.

(Пушкин)

Профессоры!! — у них учился наш родня,
И вышел! хоть сейчас в аптеку, в подмастерья,
От женщин бегают...

(Грибоедов)

⁷⁷ Пушкин, т. 8, кн. 1, с. 55.

⁷⁸ Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 53.

⁷⁹ Там же, с. 54.

Д. И. Завалишин, который 16-ти лет был определен преподавателем астрономии и высшей математики в Морской корпус, только что блестяще им законченный, а 18-ти отправился в ученое кругосветное путешествие, жаловался, что в Петербурге «вечные гости, вечные карты и суета светской жизни <...> бывало не имею ни минуты свободной для своих дельных и любимых ученых занятий».⁸⁰

Разночинец-интеллигент на рубеже XVIII — начала XIX в., сознавая пропасть между теорией и реальностью, мог занять уклончивую позицию:

... Пози личину в свете,
А философ будь, запершись в кабинете.⁸¹

Отшельничество декабриста сопровождалось недвусмысленным и открытым выражением презрения к обычному времяпровождению дворянина. Специальный пункт «Зеленой книги» предписывал: «Не расточать попусту время в мнимых удовольствиях большого света, но досуги от исполнения обязанностей посвящать полезным занятиям или беседам людей благомыслящих».⁸² Становится возможным тип гусара-мудреца, отшельника и ученого — Чаадаева:

... увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель.

(Пушкин)

Времяпровождение Пушкина и Чаадаева состоит в том, что они вместе *читают* («... с Кавериним гулял,⁸³ Бранил Россию с Молоствовым, С моим Чедаевым читал»). Пушкин дает чрезвычайно точную гамму проявлений оппозиционных настроений в формах бытового поведения: пиры — «вольные разговоры» — чтения. Это не только вызывало подозрения правительства, но и

⁸⁰ Завалишин, с. 39.

⁸¹ Словцов П. А. Послание к М. М. Сперанскому. — В кн.: Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971, с. 209.

⁸² Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1908, с. 567.

⁸³ Для семантики слова «гулять» показательно то место из дневника В. Ф. Раевского, в котором зафиксирован разговор с великим князем Константином Павловичем. В ответ на просьбу Раевского разрешить ему гулять Константин сказал: «Нет, майор, этого решительно невозможно! Когда оправдаетесь, довольно будет времени погулять». Однако далее выяснилось, что собеседники друг друга не поняли: «Да! Да! — подхватил цесаревич. — Вы хотите прогуливаться на воздухе для здоровья, а я думал погулять, т. е. попировать. Это другое дело» (Литературное наследство. Т. 60, кн. 1. М., 1956, с. 100—101). Константин считает разгул нормой военного поведения (не случайно Пушкин называл его «романтиком»), недопустимым лишь для арестанта. Для «спартамца» же Раевского глагол «гулять» может означать лишь прогулку.

раздражало тех, для кого разгул и независимость оставались синонимами:

Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова!⁸⁴

Однако было бы крайне ошибочно представлять себе члена тайных обществ как одиночку-домоседа. Приведенные выше характеристики означают лишь отказ от старых форм единения людей в быту. Более того, мысль о «совокупных усилиях» делается ведущей идеей декабристов и пронизывает не только их теоретические представления, но и бытовое поведение. В ряде случаев она предшествует идее политического заговора и психологически облегчает вступление на путь конспирации. Д. И. Завалишин вспоминал: «Когда я был в корпусе воспитанником (в корпусе Завалишин пробыл 1816—1819 гг.; в Северное общество вступил в 1824 г., — Ю. Л.), я не только наблюдал внимательно все недостатки, беспорядки и злоупотребления, но и предлагал их всегда на обсуждение дельным из моих товарищей, чтобы соединенными силами разъяснить причины их и обдумать средства к устраниению их».⁸⁵

Кульм братства, основанного на единстве духовных идеалов, экзальтация дружбы были в высшей мере свойственны декабристу, часто за счет других связей. Пламенный в дружбе Рылеев, по беспристрастному воспоминанию его наемного служителя из крепостных Агапа Иванова, «казался холоден к семье, не любил, чтоб его отрывали от занятий».⁸⁶

Слова Пушкина о декабристах — «Братья, друзья, товарищи» — исключительно точно характеризуют иерархию интимности в отношениях между людьми декабристского лагеря. И если круг «братьев» имел тенденцию сужаться до конспиративного, то на другом полюсе стояли «товарищи» — понятие, легко расширяющееся до «молодежи», «людей просвещенных». Однако и это предельно широкое понятие входило для декабристов в еще более широкое культурное «мы», а не «они». «Из нас, из молодых людей», — говорит Чацкий. «Места старших начальников (по флоту, — Ю. Л.) были заняты тогда людьми ничтожными (особенно из англичан) или нечестными, что особенно резко выказывалось при сравнении с даровитостью, образованием и безусловной честностью нашего поколения», — писал Завалишин.⁸⁷

Необходимо учитывать, что не только мир политики проникал в ткань личных человеческих отношений, для декабристов была характерна и противоположная тенденция: бытовые, семейные,

⁸⁴ Д а в ы д о в Денис. Соч. М., 1962, с. 102.

⁸⁵ З а в а л и ш и н, с. 41.

⁸⁶ Рассказы о Рылееве рассыльного «Полярной звезды». — В кн.: Литературное наследство. Т. 59. М., 1954, с. 254.

⁸⁷ З а в а л и ш и н, с. 39. (Курсив мой, — Ю. Л.).

человеческие связи пронизывали толщу политических организаций. Если для последующих этапов общественного движения будут типичны разрывы дружбы, любви, многолетних привязанностей по соображениям идеологии и политики, то для декабристов характерно, что сама политическая организация облекается в формы непосредственно человеческой близости, дружбы, привязанности к человеку, а не только к его убеждениям. То, что все участники политической жизни были включены в какие-либо прочные внеполитические связи — были родственниками, однополчанами, товарищами по учебным заведениям, участвовали в одних сражениях или просто оказывались светскими знакомыми — и что связи эти охватывали весь круг от царя и великих князей, с которыми можно было встречаться и беседовать на балах или прогулках, до молодого заговорщика, — накладывало на всю картину эпохи особый отпечаток.

Ни в одном из политических движений России мы не встретим такого количества родственных связей: не говоря уж о целом переплетении их в гнезде Муравьевых — Луниных или во круг дома Раевских (М. Орлов и С. Волконский женаты на дочерях генерала Н. Н. Раевского; В. Л. Давыдов, осужденный по I разряду к вечной каторге, — двоюродный брат поэта — приходится генералу единоутробным братом), достаточно указать на четырех братьев Бестужевых, братьев Вадковских, братьев Бобрищевых-Пушкиных, братьев Бодиско, братьев Борисовых, братьев Кюхельбекеров и проч. Если же учесть связи свойства, двоюродного и троюродного родства, соседства по имениям (что влекло за собой общность детских воспоминаний и связывало порой не меньше родственных уз), то получится картина, которой мы не найдем в последующей истории освободительного движения в России.

Не менее знаменательно, что родственно-приятельские отношения — клубные, бальные, светские или же полковые, походные знакомства — связывали декабристов не только с друзьями, но и с противниками, причем это противоречие не уничтожало ни тех, ни других связей.

Судьба братьев Михаила и Алексея Орловых в этом отношении знаменательна, но отнюдь не единична. Можно было бы напомнить пример М. Н. Муравьева, проделавшего путь от участника Союза Спасения и одного из авторов устава Союза Благоденствия до кровавого душителя польского восстания. Однако неопределенность, которую вносили дружеские и светские связи в личные отношения политических врагов, ярче проявляется на рядовых примерах. В день 14 декабря 1825 г. на площади рядом с Николаем Павловичем оказался флигель-адъютант Н. Д. Дурново. Поздно ночью именно Дурново был послан арестовать Рылеева и выполнил это поручение. К этому времени он уже пользовался полным доверием нового императора, который накануне поручал ему (оставшуюся нереализованной) опасную миссию пе-

реговоров с мятежным карре. Через некоторое время именно Н. Д. Дурново конвоировал М. Орлова в крепость.

Казалось бы, вопрос предельно ясен: перед нами реакционно настроенный служака, с точки зрения декабристов — враг. Но ознакомимся ближе с обликом этого человека.⁸⁸

Н. Д. Дурново родился в 1792 г. В 1810 г. он вступил в корпус колонновожатых. В 1811 г. был произведен в поручики свиты и состоял при начальнике штаба кн. Волконском. Здесь Дурново вступил в тайное общество, о котором мы до сих пор знали лишь по упоминанию в мемуарах Н. Н. Муравьева: «Членами общества были также (кроме колонновожатого Рамбурга, — Ю. Л.) офицеры Дурново, Александр Щербинин, Вильдеман, Деллингсгаузен; хотя я слышал о существовании сего общества, но не знал в точности цели оного, ибо члены, собираясь у Дурново, таились от других товарищей своих».⁸⁹ До сих пор это свидетельство было единственным. Дневник Дурново добавляет к нему новые (цитируемые в русском переводе). 25 января 1812 г. Дурново записал в своем дневнике: «Минул год с основания нашего общества, названного „Рыцарство“ (Chevalerie). Пообедав у Демидова, я отправился в 9 ч. в наше заседание, состоявшееся у Отшельника (Solitaire). Продолжалось оно до 3 часов ночи. На этом собрании председательствовали 4 первоначальных рыцаря».⁹⁰

Из этой записки мы впервые узнаем точную дату основания общества, его название, любопытно папоминающее нам «Русских Рыцарей» Мамонова и Орлова, и некоторые стороны его внутреннего ритуала. У общества был писаный устав, как это явствует из записи 25 января 1813 г.: «Сегодня два года как было основано наше Рыцарство». Я один из собратьев в Петербурге, все прочие просвещенные (illustres) члены — на полях сражений, куда и я собираюсь возвратиться. В этот вечер, однако, не было собрания, как это предусмотрено уставом».⁹¹

Накануне войны с Францией в 1812 г. Дурново приезжает в Вильно и здесь особенно тесно сходитя с братьями Муравь-

⁸⁸ Основным источником для суждений о Н. Д. Дурново является его обширный дневник, отрывки из которого были опубликованы в «Вестнике общества ревнителей истории» (вып. 1, 1914) и в книге: Декабристы. Зап. отдела рукописей Всесоюзной б-ки им. В. И. Ленина. Вып. 3. М. 1939 (см. страницы, непосредственно посвященные восстанию 14 декабря 1825 г.). Однако опубликованная часть — лишь ничтожный отрывок огромного многотомного дневника на французском языке (ГБЛ).

⁸⁹ Записки Н. Н. Муравьева. — Русский архив, 1885, кн. 9, с. 26; ср.: Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960, с. 24—25; Лотман Ю. Тартутинский период Отечественной войны 1812 года и развитие русской освободительной мысли. — Уч. зап. Тартутского гос. ун-та, 1963, вып. 139, с. 15—17.

⁹⁰ ГБЛ, ф. 95 (Дурново), № 9533, л. 19. (Отрывок русской машинописной копии, изготовленной, видимо, для «Вестника общества ревнителей истории», — ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 1, ед. хр. 71).

⁹¹ ГБЛ, ф. 95, № 9536, л. 7 об.

евыми, которые его приглашают квартировать в их доме. Особенно он сближается с Александром и Николаем. Вскоре к их кружку присоединяется Михаил Орлов, с которым Дурново был знаком и дружен еще по совместной службе в Петербурге при кн. Волконском, а также С. Волконский и Колошин. Вместе с Орловым он попадает на мистицизм Александра Муравьева, и это рождает ожесточенные споры. Встречи, прогулки, беседы с Александром Муравьевым и Орловым заполняют все страницы дневника. Приведем лишь записи 21 и 22 июня: «Орлов вернулся с генералом Балашовым. Они ездили на конференции с Наполеоном. Государь провел более часу в разговоре с Орловым. Говорят, он очень доволен поведением последнего в неприятельской армии. Он весьма резко ответил маршалу Давусту, который пытался задеть его своими речами». 22 июня: «То, что мы предвидели, случилось — мой товарищ Орлов, адъютант князя Волконского и поручик кавалергардского полка, назначен флигель-адъютантом. Он во всех отношениях заслуживает этой чести».⁹² В свите Волконского, вслед за императором, Дурново и Орлов вместе покидают армию и направляются в Москву.

Связи Дурново с декабристскими кругами, видимо, не обрываются и в дальнейшем. По крайней мере, в его дневнике, вообще подробно фиксирующем внешнюю сторону жизни, но явно обходящем все опасные моменты (например, сведений о «Рыцарстве», кроме процитированных, в нем не встречается, хотя общество явно имело заседания; часто упоминаются беседы, но не раскрывается их содержание, и проч.), вдруг встречаем такую запись, датируемую 20 июня 1817 г.: «Я спокойно прогуливался в моем саду, когда за мной прибыл фельдъегерь от Закревского. Я подумал, что речь идет о путешествии в отдаленные области России, но потом был приятно изумлен, узнав, что император мне приказал наблюдать за порядком во время передвижения войск от заставы до Зимнего дворца».⁹³

К сказанному можно добавить, что после 14 декабря Дурново, видимо, уклонился от высочайших милостей, которые были щедро пролиты на всех, кто оказался около императора в роковой день. Будучи еще с 1815 г. флигель-адъютантом Александра I,⁹⁴ получив за походы 1812—1814 гг. ряд русских, прусских, австрийских и шведских орденов (Александр I сказал про него: «Дурново — храбрый офицер»), он при Николае I занимал скромную должность правителя Канцелярии управляющего Генеральным штабом. Но и тут он, видимо, чувствовал себя неудобно: в 1828 г.

⁹² Там же, л. 56.

⁹³ Там же, № 3540, л. 10.

⁹⁴ В справке, приложенной к публикации отдела рукописей Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Дурново назван флигель-адъютантом Николая I, но это явная ошибка (см.: Декабристы. Зап. отдела рукописей Всесоюзной б-ки им. В. И. Ленина. Вып. 3, с. 8).

он отпросился в действующую армию (при переводе был пожалован в генерал-майоры) и был убит при штурме Шумлы.⁹⁵

Следует ли после этого удивляться, что Дурново и Орлов, которых судьба в 1825 г. развела на противоположные полюсы, встретились не как политические враги, а как если не приятели, то добрые знакомые и всю дорогу до Петропавловской крепости проговорили вполне дружелюбно.

Эта особенность также повлияла на поведение декабристов во время следствия. Революционер последующих эпох лично не знал тех, с кем боролся, и видел в них политические силы, а не людей. Это в значительной мере способствовало бескомпромиссной ненависти. Декабрист даже в членах Следственной комиссии не мог не видеть людей, знакомых ему по службе, светским и клубным связям. Это были для него знакомые или начальники. Он мог испытывать презрение к их старческой тупости, карьеризму, раболепию, но не мог видеть в них «тиранов», деспотов, достойных тацитовских обличений. Говорить с ними языком политической патетики было невозможно, и это дезориентировало арестантов.

* * *

Если поэзия декабристов была исторически в значительной мере заслонена творчеством их гениальных современников — Жуковского, Грибоедова и Пушкина, если политические концепции декабристов устарели уже для поколения Белинского и Герцена, то именно в создании совершенно нового для России *типа человека* вклад их в русскую культуру оказался непреходящим и своим приближением к норме, к идеалу напоминающим вклад Пушкина в русскую поэзию.

Весь облик декабриста был неотделим от чувства собственного достоинства. Оно базировалось на исключительно развитом чувстве чести и на вере каждого из участников движения в то, что он — великий человек. Поражает даже некоторая наивность, с которой Завалишин пидал о тех своих однокурсниках, которые, стремясь к чинам, бросили серьезные теоретические занятия. «а потому почти без исключения обратились в простых людей».⁹⁶

Это заставляло *каждый* поступок рассматривать как имеющий значение, достойный памяти потомков, внимания историков, имеющий высший смысл. Отсюда, с одной стороны, известная картинность или театрализованность бытового поведения (ср. сцену объяснения Рылеева с матерью, описанную Н. Бестужевым),⁹⁷ а с другой — вера в значимость любого поступка и, следовательно, исключительно высокая требовательность к нормам бытового поведения. Чувство политической значимости *всего*

⁹⁵ См.: Русский инвалид, 1828, № 304, от 4 декабря.

⁹⁶ Завалишин, с. 46.

⁹⁷ Воспоминания Бестужевых, с. 9—11.

своего поведения заменилось в Сибири, в эпоху, когда историзм стал ведущей идеей времени, чувством значимости исторической. «Лунин живет для истории», — писал Сутгоф Муханову. Сам Лунин, сопоставляя себя с вельможей Новосильцевым (при известии о смерти последнего), писал: «Какая противоположность в наших судьбах! Для одного — эшафот и история, для другого — председательское кресло в Совете и адрес-календарь». Любопытно, что в этой записи реальная судьба — эшафот, председательство в Совете — выражение в том сложном знаке, которым для Лунина является человеческая жизнь (жизнь — имеет значение). Содержанием же является паличие или отсутствие духовности, которое в свою очередь символизируется в определенном тексте: строке в истории или строчке в адрес-календаре.

Сопоставление поведения декабристов с поэзией, как кажется, принадлежит не к красотам слога, а имеет серьезные основания. Поэзия строит из бессознательной стихии языка некоторый сознательный текст, имеющий более сложное вторичное значение. При этом значимым делается все, даже то, что в системе собственно языка имело чисто формальный характер.

Декабристы строили из бессознательной стихии бытового поведения русского дворянина рубежа XVIII и XIX вв. сознательную систему идеологически значимого бытового поведения, законченного как текст и проникнутого высшим смыслом.

Приведем лишь один пример чисто художественного отношения к материалу поведения. В своей внешности человек может изменить прическу, походку, позу и проч. Поэтому эти элементы поведения, являясь результатом выбора, легко насыщаются значениями («пребрежная прическа», «артистическая прическа», «прическу à la император» и проч.). Однако черты лица и рост альтернативны не имеют. И если писатель, который может их дать своему герою такими, какими ему угодно, делает их носителями важных значений, в быту мы, как правило, семиотизируем не лицо, а его выражение, не рост, а манеру держаться (конечно, и эти константные элементы внешности воспринимаются нами как определенные сигналы, однако лишь при включении их в сложные паралингвистические системы). Тем более интересны случаи, когда именно природой данная внешность истолковывается человеком как знак, т. е. когда человек подходит к себе самому как к некоторому сообщению, смысл которого ему самому же еще предстоит расшифровать (т. е. понять по своей внешности свое предназначение в истории, судьбе человечества и проч.). Вот запись священника Мысловского, познакомившегося с Пестелем в крепости: «Имел от роду более 33 лет, среднего роста, лица белого и приятного с значительными чертами или физиономиею; быстр, решителен, красноречив в высшей степени; математик глубокий, тактик военный превосходный: увертками, телодвижением, ростом, даже лицом очень походил на Наполеона. И сие то самое сходство с великим человеком, всеми знавшими Пестеля

единогласно утвержденное, было причиной всех сумасбродств и самых преступлений». ⁹⁸

Из воспоминаний В. Олениной: «Сергей Мур(авьев)-Апостол не менее замечательная личность (чем Никита Муравьев, — Ю. Л.), имел к тому же еще необычайное сходство с Наполеоном I, что, наверное, не мало разыгрывало его воображение». ⁹⁹

Достаточно сопоставить эти характеристики с тем, какую внешность Пушкин дал Германну, чтобы увидеть общий, по существу художественный принцип. Однако Пушкин применяет этот принцип к построению художественного текста и к вымышленному герою, а Пестель и С. Муравьев-Апостол — к вполне реальным биографиям: своим собственным. Этот подход к своему поведению как сознательно творимому по законам и образцам высоких текстов не приводил, однако, к эстетизации категории поведения в духе, например, «жизнетворчества» русских символистов XX в., поскольку поведение, как и искусство, для декабристов было не самоцелью, а средством, внешним выражением высокой духовной насыщенности текста жизни или текста искусства.

Несмотря на то, что нельзя не заметить связи между бытовым поведением декабристов и принципами романтического мирозерцания, следует иметь в виду, что высокая знаковость (картинность, театральность, литературность) каждодневного их поведения не превращалась в ходульность и натянутую декламацию, а напротив — поразительно сочеталась с простотой и искренностью. По характеристике близко знавшей с детства многих декабристов В. Олениной, «Муравьевы в России были совершенное семейство Гракхов», но она же отмечает, что Никита Муравьев «был нервозно, болезненно застенчив». ¹⁰⁰ Если представить широкую гамму характеров от детской простоты и застенчивости Рылеева до уточненной простоты аристократизма Чаадаева, можно убедиться в том, что ходульность дешевого театра не характеризовала декабристский идеал бытового поведения.

Причину этого можно видеть, с одной стороны, в том, что идеал бытового поведения декабриста, в отличие от базаровского поведения, строился не как отказ от выработанных культурой норм бытового этикета, а как усвоение и переработка этих норм. Это было поведение, ориентированное не на Природу, а на Культуру. С другой стороны, это поведение в основах своих оставалось дворянским. Оно включало в себя требование хорошего воспитания. А подлинно хорошее воспитание культурной части русского дво-

⁹⁸ Мысловский, с. 39.

⁹⁹ Воспоминания о декабристах. Письма В. А. Олениной к П. И. Бартеневу. — В кн.: Декабристы. Государственный литературный музей. Летописи. Кн. 3. М., 1938, с. 485.

¹⁰⁰ Там же, с. 486 и 485.

рянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически обосновывали базаровские замашки разночинца. С этим же была связана и та, на первый взгляд, поразительная легкость, с которой давалось ссыльным декабристам вхождение в народную среду, — легкость, которая оказалась утраченной уже начиная с Достоевского и петрашевцев. Н. А. Белоголовый, имевший возможность длительное время наблюдать ссыльных декабристов острым взором ребенка из недворянской среды, отметил эту черту: «Старик Волконский — ему уже тогда было больше 60 лет — слыл в Иркутске большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь с своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился <...>, водил дружбу с крестьянами». «Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки». «В гостях у князя опять-таки чаще всего бывали мужички, и полы постоянно носили следы грязных сапог. В салоне жены Волконский появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенный ароматами скотного двора или тому подобными салонными запахами. Вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован, говорил по-французски как француз, сильно грассируя, был очень добр и с нами, детьми, всегда мил и ласков».¹⁰¹ Эта способность быть без наигранности, органически и естественно «своим» и в светском салоне, и с крестьянами на базаре, и с детьми составляет культурную специфику бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина и составляющую одно из вершинных проявлений русской культуры.

Сказанное позволяет затронуть еще одну проблему: вопрос о декабристской традиции в русской культуре чаще всего рассматривается в чисто идеологическом плане. Однако у этого вопроса есть и «человеческий» аспект — традиция определенного типа поведения, типа социальной психологии. Так, например, если вопрос о роли декабристской идеологической традиции применительно к Л. Н. Толстому представляется сложным и нуждающимся в ряде корректив, то непосредственно человеческая преемственность, традиция историко-психологического типа всего комплекса культурного поведения здесь очевидна. Показательно, что сам Л. Н. Толстой, говоря о декабристах, различал понятия идей и личностей. В дневнике Т. Л. Толстой-Сухотиной есть на этот счет исключительно интересная запись: «Репин все просит

¹⁰¹ Белоголовый, с. 32—33.

папá дать ему сюжет <...> Вчера папá говорил, что ему пришел в голову один сюжет, который, впрочем, его не вполне удовлетворяет. Это момент, когда ведут декабристов на виселицы. Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом — скорее личностью его, чем идеями, — и все время шел с ним заодно и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они пошли вдвоем к виселице».¹⁰²

Трактовка Толстого очень интересна; мысль его постоянно привлечена к людям 14 декабря, но именно в первую очередь — людям, которые ему ближе и роднее, чем идеи декабризма.

* * *

В поведении человека, как и в любом роде человеческой деятельности, можно выделить пласты «поэзии» и «прозы».¹⁰³ Так, для Павла и павловичей поэзия армейского существования состояла в параде, а проза — в боевых действиях. «Император Николай, убежденный, что красота есть признак силы, в своих поразительно дисциплинированных и обученных войсках <...> добивался по преимуществу безусловной подчиненности и однообразия», — писал в своих мемуарах А. Фет.¹⁰⁴

Для Дениса Давыдова поэзия ассоциировалась не просто с боем, а с иррегулярностью, «устроенным беспорядком вооруженных поселян». «Сие исполненное поэзии поприще требует романтического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою, прозаическою храбростию. — Это строфа из Байрона! — Пусть тот, который, не страшась смерти, страдает ответственности, остается перед глазами начальников».¹⁰⁵ Безоговорочное перенесение категорий поэтики на виды военной деятельности показательно.

Разграничение «поэтического» и «прозаического» в поведении и поступках людей вообще характерно для интересующей нас эпохи. Так, Вяземский, осуждая Пушкина за то, что тот заставил Алеко ходить с медведем, прямо противопоставил этому прозаическому занятию воровство, — «лучше предоставить ему барышничать и цыганить лошадьми. В этом ремесле, хотя и не совершенно безгрешном, но есть какое-то удалство, и следовательно поэзия».¹⁰⁶ Область поэзии в действительности — это мир «удальства».

¹⁰² Толстая-Сухотина Т. Л. Вблизи отца. — Новый мир, 1973, № 12, с. 194. (Курсив мой. — Ю. Л.).

¹⁰³ Ср.: Galard Jean. Pour une poétique de la conduite. — Semiotica, t. X, 1974, № 4.

¹⁰⁴ Фет А. Мои воспоминания. Ч. I. М., 1890, с. IV.

¹⁰⁵ Давыдов Денис. Опыт теории партизанского действия. Изд. 2-е. М., 1822, с. 26 и 83.

¹⁰⁶ Цит. по кн.: Зелинский В. Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина. Ч. I. М., 1887, с. 68.

Человек эпохи Пушкина и Вяземского в своем бытовом поведении свободно перемешался из области прозы в сферу поэзии и обратно. При этом, подобно тому, как в литературе «считалась» только поэзия, прозаическая сфера поведения как бы вычиталась при оценке человека, ее как бы не существовало.

Декабристы внесли в поведение человека единство, но не путем реабилитации жизненной прозы, а тем, что, пропуская жизнь через фильтры героических текстов, просто отменили то, что не подлежало занесению на скрижали истории. Прозаическая ответственность перед начальниками заменялась ответственностью перед историей, а страх смерти — поэзией чести и свободы. «Мы дышим свободой», — произнес Рылеев 14 декабря на площади. Перенесение свободы из области идей и теорий в «дыхание» — в жизнь. В этом суть и значение бытового поведения декабриста.

В. П. СТЕПАНОВ

УБИЙСТВО ПАВЛА I И «ВОЛЬНАЯ» ПОЭЗИЯ

Переворот, избавивший русское дворянство от военно-бюрократического правления Павла I, нашел широкий отклик в литературе первых лет царствования Александра. «Радость обуюла Россию», — характеризовал это событие Карамзин.

Множество од, «слов» на восшествие нового императора отражали охватившее общество ожидание перемен. Все появившиеся в первые дни нового царствования сочинения в равной мере затрагивали три смежных эпохи в истории русской монархии, три правления, которые за короткий срок прошли перед глазами молодого поколения деятелей 90-х годов. По существу это были политические произведения, которые в тактичной форме так или иначе касались существа совершившихся событий. Пожалуй, в последний раз в русской истории так широко реализовались гражданские возможности высокой одической поэзии и ораторской прозы, доведенных до высокого совершенства литературой XVIII в.

В подцензурной печати ни слова не было произнесено о царубийстве. Зато оценка ушедшего в прошлое кошмара отчетливо проявилась в восторженных отзывах о веке Екатерины и в надеждах на возвращение к нему в александровское царствование. Иное дело — рукописная литература.

Рукописная литература, относящаяся к павловскому перевороту, невелика. К тому же весьма трудно определить, какие из сочинений были созданы еще при жизни ненавистного самодержца и что появилось после его смерти, когда окончательно развязались языки оппозиции. Известно, однако, что пародии, эпиграммы, сатиры, в которых выражалось недовольство новыми порядками, начали появляться сразу после смерти Екатерины, так как черты нового режима означились очень быстро. Кроме широко известных стихов Марина по поводу «гатчинской» муштры, насаждаемой в гвардии, ходили по рукам и другие, столь же ядовитые сочинения, сохранившиеся, очевидно, далеко

не полностью. Поэтому о степени их популярности, распространности и влиянии на общество можно судить в значительной мере лишь по косвенным данным, впрочем достаточно убедительным. Появление в Петербурге специфической антипавловской литературы отмечают многие мемуаристы в качестве характерной черты той эпохи. А. Чарторижский, товарищ и совоспитанник наследника Александра Павловича, высланный из России сразу же после смерти Екатерины, в своих записках свидетельствует, что еще до 1797 г. среди придворной молодежи считалось хорошим тоном «составлять насмешливые эпиграммы на чудачества и несправедливые придирки императора».¹ Об этом же говорят и те из мемуаристов, кто касался истории с «желтым ящиком», установленным у одного из подъездов Зимнего дворца, продолжавшего (до постройки Михайловского замка) оставаться царской резиденцией. Это был один из тех жестов императора, которые долженствовали оттенить его борьбу против плутократии минувшего царствования. Каждый мог опустить в ящик жалобу, прошение, «прожект» и надеяться на скорое и нелицеприятное решение самого императора. Ящик, однако, просуществовал недолго, и причиной этого было не столько обилие и вздорность большинства прошений, но главным образом то обстоятельство, что вскоре туда посыпались анонимные эпиграммы и карикатуры на высочайшего судью.²

Некоторые сочинения могут быть причислены к литературе, созданной в царствование Павла, по своему содержанию.

Сюда следует, например, отнести две песни, обнаруженные К. В. Сивковым в сборниках XIX в. Несмотря на то, что по мотивам и даже деталям они вполне совпадают с воспоминаниями и позднейшими анекдотами о 90-х годах, в них о Павле I говорится еще в настоящем времени.

Песня «Как была у нас Катюша»³ датирована в списке 1799 г. и показывает, что к этому времени основные мотивы рукописной сатиры уже отлились в четкие формы. Ее анонимный автор констатирует, что «Павлуша *Век* считался дураком», что «новый лад» его царствования вылился в «вахт-парад» наподобие прусского; однако и в этом отношении русскому «Дон-Кихоту» не уравниваться с Фридрихом Вторым, которого он взял за образец. Завершается песня строфой, возможно испорченной при переписке:

Я пред всем скажу то светом,
Что на Фридриха похож
Только шляпой да колетом,
А отнюдь лишь не умом.

¹ Царевубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. СПб., 1908 (в дальнейшем: Царевубийство), с. 265.

² См.: Шумигорский Е. С. Имп. Павел I. Жизнь и царствование. СПб., 1907, с. 169.

³ Голос минувшего, 1918, № 4—6, с. 172.

Это заключение очевидным образом связано с более совершенной в литературном отношении эпиграммой:

Похож на Фридриха, скажу пред целым миром,
Но только не умом, а шляпой и мундиром.⁴

Вторая песня вовсе не датирована и прямо Павел в ней не упоминается. По широким сопоставлениям и несколько абстрактному тону она примыкает к традиции масонских песнопений, возможно восходя к какому-нибудь французскому оригиналу из репертуара якобинских клубов. Масонская поэтика не противоречит антипавловской направленности песни. Хотя сосланные по делу Новикова и были после 1796 г. возвращены по домам, оживления деятельности масонских лож не наступило. Не осуществилась и надежда розенкрейцеров руководить государем. Если же иметь в виду более многочисленные объединения второго елагинского союза и другие системы масонства в России (по подсчетам Г. В. Вернадского, только среди чиновников масоны составляли не менее $\frac{1}{12}$ части),⁵ то нет ничего странного, что оппозиция имела своих сторонников и в этих кругах.⁶

Начинаясь общими рассуждениями, что

Нету свободы днесь на земли:
Цепи, оковы
Душу и тело,
Вечно стесняя, к гробу гнетут,

— песня далее приобретает откровенно антидеспотический характер.

В лоне распутства
Дремлет деспот;
Алчет ли крови —
Льют для него.
Мстящую руку кто вознесет?
Бедный, несчастный
Слезы сотри!
Изверг могущий
Нас трепещи:
Мы равновесье в мире блюдем.⁷

⁴ Голос минувшего, 1914, № 1, с. 286. — Эпиграмма приписывалась Г. Р. Державину (см.: Литературное наследство. Т. 9—10. М., 1933, с. 53). В собрании русских эпиграмм Никитина (ИРЛИ) имеется вариант этой эпиграммы по рукописи из архива Груздева (ф. 1957, 206.76, с. 9/17):

Похож на Фридриха наш царь во всем,
Я то скажу пред целым миром,
Похож, но чем же? не умом,
А шляпой и мундиром.

⁵ Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917, с. 90.

⁶ Среди масонов существовало предание, что в дни коронации Павел посетил одну из московских лож и лично запретил их собрания (см.: Масонство в его прошлом и настоящем. Т. II. М., 1915, с. 151).

⁷ Голос минувшего, 1917, № 1, с. 278.

Хотя по понятным причинам сочинители не афишировали своих имен, совсем нетрудно представить, из какой среды доносились голоса, вовсе не созвучные официальным одошисцам или наивным оптимистам вроде И. Варакина, приветствовавшего восторженными стихами указ о трехдневной барщине.⁸ Круг знакомых Марина вполне подтверждает наблюдение А. Чарторижского, что общественное брожение раньше всего прорвалось на поверхность в среде молодого столичного дворянства. Сам Марин написал известнейший перифраз оды Ломоносова из Иова. Вместе с ним в Преображенском полку служили А. В. Аргамаков, тоже поэт-дилетант, и начинающий драматург А. А. Шаховской. В ночь на 11 марта, когда Марин стоял в карауле Михайловского замка, Аргамаков беспрепятственно провел заговорщиков в спальню императора. Известный комедиограф А. Д. Копьев, гвардейский полковник, был в то время адъютантом Зубова, т. е. состоял в непосредственных отношениях с главарями заговора. Все перечисленные лица упоминаются в посланиях и других «домашних» стихах Марина.⁹

Характерна в этой связи легендарная история об авторе эпиграммы на строительство Исаакиевского собора, некоем капитан-лейтенанте Акимове, наиболее подробно изложенная в записках Августа Коцебу. Если дополнить ее другими свидетельствами, то легенда предстает в следующем виде. Молодой моряк, человек восторженный и к тому же поэт, был отправлен для обучения в Англию незадолго до смерти Екатерины, а вернулся в самый разгар нововведений. Пораженный переменами, он будто бы приколодил четверостишие своего сочинения для общего обозрения к стене достраивавшейся церкви Св. Исаакия.

Се памятник двух царств,
Обоим им приличный,
На мраморном низу
Воздвигнут верх кирпичный.

Расправа над Акимовым, по преданию, совершилась без суда, по личному приказанию Павла, которое было исполнено Оболяниновым и генерал-интендантом флота де Бале. Лишенный чинов и дворянства, с урезанным языком, Акимов бесследно сгинул в Сибири.¹⁰

⁸ См. его стихотворение 1797 г. «Русская правда в царствование императора Павла». (Поэты 1790—1810 годов. Л., 1971 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 556—560.

⁹ См. указатель в кн.: С. Н. Марин. Полн. собр. соч. М., 1948.

¹⁰ См.: Записки А. Коцебу. — Цареубийство, с. 367; Рассказы В. П. Колесникова, записанные В. И. Штейнгелем. — Русская старина, 1881, № 12, с. 768; Ш и ш к о в А. С. Записки. Т. I. Берлин, 1870, с. 24; Записки Я. де Санглена. — Русская старина, 1882, № 12, с. 490—491; Записка А. Ф. Бриггена о происхождении Павла I. — Былое, 1925, № 6, с. 9. — Наиболее осведомленный из мемуаристов — Я. де Санглен, морской офицер в павловское время, а при Александре — начальник тайной полиции — уверяет, что Акимов не был сочинителем, а пострадал за то, что повторял чужую эпigramму.

Количество сохранившихся вариантов текста эпиграммы достаточно велико, различия же их практически незначительны. В данном случае мы имеем дело с почти фольклорным бытованием произведения. Подобно анекдоту, эпиграмма становилась творческим достоянием каждого очередного рассказчика. Существенно, однако, то обстоятельство, что среда распространения в этом случае отличалась от той, которая является создателем и хранителем традиционного фольклора. Эпиграмма все время подвергалась осмысленной литературной переработке. Поэтому к известным нам текстам эпиграммы невозможно применить весьма употребительное в отношении рукописной литературы и фольклора понятие «порчи» первоначального текста. Хотя несомненно, что она является авторским сочинением, личность первоначального сочинителя остается легендарной, и на практике перед нами проходят вариации, принадлежащие разным авторам и представляющие разную эстетическую ценность.

Датировать каждый из вариантов эпиграммы не представляется возможным, но попытаться приблизительно определить хронологическую последовательность их появления можно. Стихотворение «На Исаакиевский собор» существует как в виде двустипшия, так и четверостишия. В двустипшии использован александрийский стих, часто применявшийся в России для жанра «надписей».

Се памятник двух царств, обоим им приличный:
На мраморном низу поставлен верх кирпичный.¹¹

Второй стих иногда встречается с сокращенной на одну стопу первой половиной, что создает подобие цезурной гиперкаталектики (Низ мраморный, а верх его кирпичный).¹² В других случаях он пуантируется за счет усечения и второй половины (Низ мраморный, а верх кирпичный).¹³ Еще большую афористичность двустипшия приобрело, будучи переписано четырехстопным ямбом:

Сей храм, двум царствам столь приличный:
Основа — мрамор, верх — кирпичный.¹⁴

¹¹ См.: Шишков А. С. Записки, с. 21. — О значении этой общеизвестной эпиграммы свидетельствуют позднейшие атрибуции ее (совершенно необоснованные) таким видным деятелям александровского времени, как Карамзин и В. Н. Каразин. Кс. Полевой сообщал, что Каразин выдавал себя за автора из чистого тщеславия (Сатирик Воейков и современные воспоминания о нем. — Живописная русская библиотека, 1859, № 4, с. 30). Версия об авторстве Карамзина, которую приводит Н. И. Греч (Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 158), возникла, очевидно, из-за созвучия фамилий. П. А. Вяземский в свою очередь рассказывал, будто граф Ф. А. Толстой (отец Закревской) «уверял Карамзина, что эти стихи им сочинены, но Карамзин этому не верил, равно не поверят все знавшие Толстого» (Вяземский П. Старая записная книжка. — Полн. собр. соч. Т. 10. СПб., 1886, с. 195).

¹² Русская эпиграмма (XVIII—XIX вв.). Л., 1958 («Б-ка поэта». Малая серия), с. 61.

¹³ Цареубийство, с. 367.

¹⁴ Русская старина, 1880, № 6, с. 356.

Четверостишие образовалось при распадении шестистопных александрийн. Об этом свидетельствует прежде всего одна пара рифм, всего лишь повторяющих рифмовку двустишия:

Се памятник двух царств,
Обоим столь приличный:
Основа его мраморна,
А верх его кирпичный.¹⁵

Учитывая это обстоятельство, а также процесс постепенного вытеснения александрийского стиха в России цезурованным пятистопным ямбом, можно считать, что первоначальной формой «Надписи к церкви Исаакя» был александрийский дистих.

В начале XIX в. эта эпиграмма была не только хорошо известна, но и продолжала восприниматься как весьма злободневная. Ее переделка применительно к александровскому царствованию приписывалась А. С. Пушкину.¹⁶ Е. Н. Львова в своих рассказах передавала слух, что будто при Александре, когда вновь перекладывали стены собора, нашли стихи:

Сей храм — трех царств изображение:
Гранит, кирпич и разрушенья.¹⁷

Все известные записи, если не учитывать мелких разночтений, можно разделить на два типа: одни подчеркивают аллегорический смысл стихов, другие лишь позволяют о нем догадываться. Вообще же для истории распространения эпиграммы показательным, что она функционировала не только в русских, но и во французских редакциях. По-французски ее приводит, например, Коцебу в своей рукописи «Geschichte des Verschwörung, welche am 11 März 1801 dem Kaiser Paul Thron und Leben raubte, hebst andern darauf sich beziehenden Begebenheiten und Anekdoten»; французский текст, отличный от варианта, приведенного Коцебу, также помещает в первое издание своих записок английский путешественник по России Кларк.¹⁸ Четкость противопоставлений, свойственная французским текстам, позволяет предположить, что русские вторичны по отношению к ним.

Se monument dont la base est de marbre et
la cime de brique,
De deux règnes le caractère et la durée
nous indique.

(Это сооружение, основание которого из мрамора, а вершина из кирпича, определяет характер и прочность двух царствований).

Или по Кларку:

¹⁵ Записки Я. де Санглена, с. 490.

¹⁶ Ср., например: Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в полное собрание его сочинений. Берлин, 1861.

¹⁷ Русская старина, 1880, № 6, с. 355—356.

¹⁸ Цареубийство, с. 367.

De deux règnes voici l'image allégorique:
La base est d'un beau marbre et le sommet
de brique.

(Вот аллегорическое изображение двух царствований: в основании прекрасный мрамор, а верх из кирпича).

Во всяком случае, не решая вопроса о том, на каком языке первоначально была сочинена эпиграмма, можно быть уверенным, что она вышла из того культурного и социального круга, для которого языковая форма не представляла существенного препятствия. Стихотворство на немецком и в еще большей степени на французском языке было довольно обычным в России XVIII в. Кроме того, значительную прослойку общества составляли иностранцы на русской службе. Сохранились, например, отклики на смерть Павла, явно идущие из среды немецких колонистов. Образцы таких стихов,— имеющих, кстати, русские параллели,—приводятся Коцебу.¹⁹

Das Volk war seiner Laune Spiel;
Er starb gehasst wie Frankreichs letzter König;
Er hatte der Macht über uns zu viel
Und über sich selbst zu wenig.

(Народ был игрушкой его каприза; он умер ненавидим, как последний французский король. Над нами он имел слишком много власти, а над собою слишком мало).

Второе стихотворение является «эпитафией»:

Kommt, Ihr, Wanderer, und tretet
An dieses Grab, — doch nur von weitem!
Hier liegt Paul der Erste, — betet:
Gott bewahr uns vor dem Zweiten.

(Путники, приблизьтесь к этой могиле, — но не слишком близко. Здесь лежит Павел Первый; молитесь, да избавит нас господь от второго).

Их авторы не установлены, но известно, что к антипавловской оппозиции принадлежал такой крупный поэт, как Ф.-М. Клингер. Позднее, вспоминая об этом царствовании, он писал, что даже мрачные краски Тацита казались ему в это время недостаточно мрачными.²⁰ По свидетельству Коцебу, именно он на вопрос кн. Зубова «Qu'est ce qu'on dit du changement?» отвечал: «On dit que vous avez été un des Romains».²¹

Продигтированные стихи, которые Коцебу туманно представляет как стихи «одного» и «другого» немца, весьма созвучны всей

¹⁹ Царевубийство, с. 411.

²⁰ Смолян О. Клингер в России. — Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1958, т. XXXII, ч. II, с. 33. — Согласно завещанию наследники писателя сожгли его архив. Поэтому сочинения, которые не могли быть напечатаны при жизни Клингера, до нас не дошли.

²¹ Царевубийство. . . , с. 404. — Перевод: Что говорят о перевороте? — Говорят, что вы один из римлян (франц.).

литературе переворота. Если второе является переделкой эпиграмматического сюжета, известного по эпитафии Людовику XV, то первое расширявается как чистая публицистика на популярнейшую тему просветительской литературы: государь, злоупотребляющий властью над нацией во имя удовлетворения собственных страстей, есть враг народа.

Тот же Коцебу, насколько известно, первый (его книга датируется 1811—1812 гг.) сообщил двустишие на французском языке, — по его словам, усиленно распространявшееся в публике Ю. М. Виельгорским на следующий день после переворота:²²

Que la bonté divine, arbitre de son sort,
Lui donne le repos, que nous rendit sa mort.

(Пусть Божественное милосердие, судия его участи, даст ему покой, который нам возвратила его смерть).

Близкие по смыслу стихи позднейшая русская традиция приписывала графу Ф. В. Растопчину. «О том же лице, — имея в виду Павла I, писал знаток преданий такого рода П. И. Бартенев, — случилось нам слышать такое двустишие графа Растопчина:

Dieu tout puissant, Arbitre de son sort,
Pardonne lui sa vie en faveur de sa mort.

(Боже всемогущий, судия его участи, прости ему его жизнь в благодарность за его смерть).²³

Одновременно возник и зародыш легенды о Павле как о трагически непонятом русским обществом реформаторе. В частности, в начале 20-х годов в России стала известна книга Цшокке, где в переводе с французского были помещены воспоминания анонима о событиях 11 марта; более широко они стали известны после перепечаток во французских газетах. Весьма сочувственное по отношению к Павлу стихотворение из этих воспоминаний внес в свою «Записную книжку» (1830) П. А. Вяземский и значительно позднее напечатал среди прочих отрывков из нее.²⁴

Сравнительная узость круга, из которого вышли произведения, посвященные перевороту, подтверждается единообразием выраженной в них точки зрения на его смысл. Сходство не исчерпывается только общим отрицательным отношением к Павлу, которое для литературы такого типа задано самой темой; оно распространяется и на детали.

Наиболее широко обсуждалось введение в русской армии прусских порядков, взволновавшее прежде всего такую привилегиро-

²² Там же, с. 411.

²³ Русский архив, 1875, кн. 1, с. 207.

²⁴ Там же. — См. комментарий В. С. Нецаевой в издании: Вяземский П. А. Записные книжки. 1813—1848. М., 1963, с. 427—428. — С ошибками в тексте стихотворение также использовано Н. Шильдером в монографии: Имп. Александр I. СПб., 1897, с. 10.

ванную часть армии, как петербургская гвардия. К сочинениям, приведенным выше, следует добавить, например, такую эпиграмму:

Не венценосец он в Петровом славном граде,
А варвар и капрал на вахтпараде.²⁵

Этот же вопрос затрагивается в стихотворении «Офицер и бригадир», неправомерно причисленном к сатирам на реформы Александра I.²⁶ Широкие мундиры наподобие «юберроков» носили в екатерининское время, и сам чин бригадира с легкой руки Фонвизина был символом екатерининских времен, — Павел его уничтожил. Офицер в мундире «коротком, узком», «немного беспокойном», как иронически замечает автор стихотворения, с огромной шляпой — обычная сатирическая зарисовка павловского фрунтовика. Что же касается применения пословицы — «как новая монета» — и насмешки бригадира над обесцененным новым рублем, то падение денежного курса при Павле ощущалось современниками не менее остро, чем при Александре. О разорительном управлении Павла говорят в один голос многие мемуаристы. Понятовский рассказывает анекдот о шляпе, которую император бережно носил на протяжении двух лет, однако язвительно замечает, что перевод армейского обоза с телег на вьюки, а затем, за непригодностью новой системы, вновь на телеги обошелся России в 10 млн рублей. Фон-Ведель в записках о перевороте свидетельствует, что из-за общей бесхозяйственности правительства Павла пришлось нарушить обещание Екатерины не увеличивать количество бумажных денег, находящихся в обороте; это вызвало небывалое падение кредита.²⁷ Об этой стороне деятельности Павла говорится и в стихотворном «Разговоре в царстве мертвых», где Павел дает отчет Екатерине в следующих словах:

В четыре года что успел я сотворить
И как отечество умел я разорить,
Того и в сорок лет
Монарху мудрому поправить силы нет.²⁸

Дело было не в конкретном анализе мероприятий правительства, а в ощущении бессмысленности подобных действий.

Короткий стихотворный «Разговор» связан с обширными прозаическими сочинениями того же жанра, ходившими в публике после смерти императора. В одном из них, опубликованном А. Титовым, Павел тоже появляется в Елисейских полях с замотанным вокруг шеи шарфом, за который его ведет «белая смерть», освободившая Россию от тирана по просьбе Екатерины II.²⁹ Реп-

²⁵ Литературное наследство, т. 9—10, с. 54.

²⁶ Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959 («Б-ка поэта». Большая серия), с. 591—592.

²⁷ Гено А., Томич. Павел I. Собрание анекдотов, отзывов, характеристик, указов и пр. СПб., 1901, с. 187; Цареубийство, с. 161.

²⁸ Литературное наследство, т. 9—10, с. 55.

²⁹ Изв. Отделения русского языка и словесности, 1907, кн. 3, с. 95.

лика Суворова, присутствующего при этой сцене, затем кем-то из современников была переложена в стихи:

Суворов: Давно ли, государь, такая стала мода
У русского народа,
Что шарф на шее вижу я у вас?
Павел I: Надели те его, которых я любил,
Которых милостями я щедро наградил.
За милости оий вот чем мне заплатили,
Что шарфом сим меня злодейски умертвили.
Суворов: Жалею, государь, что с вами сие случилось,
Знать средства в с е х с п а с т и другого не осталось.³⁰

Вопреки сатирической традиции «подлые временщики и вельможи» в этих стихах не только не осуждаются, но и предстают как борцы за общее благополучие.

Для оценки основных идей и образов литературы павловского переворота особое значение приобретает сохранившаяся в бумагах И. А. Второва, малоизвестного литератора начала XIX в., подборка стихотворных произведений, посвященных этой теме. В большинстве своем они неизвестны или известны в других редакциях. Поэтому приводим здесь обнаруженные тексты в том порядке, в каком они занесены в рукописную тетрадь.

Пою от варвара Россию свободенну,
Попранну власть его и гордость низложенну,
Несчастнейший конец правления гатчан,
Паденье П^кавлово и подвиг россиян,
Которых бодрой дух тирана ненависть
И в пагубе его спасенье царства видя,
Отрицув страхи все, опасности презрев,
Ввергались с радостью в разверстыи смерти зев,
Счастливыми себя в восторге почитая,
Что могут умереть, отечество спасая.
Но Вышний взор опять на россов обратил,
Злодея свергнул в ад — героев защитил.
Се бич отечества лежит на смертном лоне.
Ликуй Россия вся! Твой Ал^кександр на троне.

НАДГРОБИЕ <ПАВЛУ> 1-му

<1>

Прохожий, стой! благодари всевышнего творца,
Что сей не разорил России до конца.

2

Лежит здесь Севера венчанный Дон-Кипот.
Неслыханна правления насилиу в пятой год
Избавлен от него прекроткой россов род.
Наследил он престол, жил, умер как Комод.

³⁰ Литературное наследство, т. 9—10, с. 56.

Се видишь, смертный, прах властителя того,
 Россия зрела в ком тирана своего.
 Калигула, Нерон в теории что знали,
 То россы от него на деле испытали.
 Вся внутренность его геенною пылала,
 Злодейская рука невинных убивала,
 Сеаном ослеплен, сынов своих терзал —
 Великий русский трон навеки бы упал:
 Отмстительным огнем все небо воспылало,
 Владыко гордый пал, и солнце воссияло.

С какой Харон переезжает стервой?
 Не Мопс ли то? Нет, это П«авел» первый.

*
 * *

Grand Dieu! dans ta clémence arbitre de son sort,
 Accorde lui le repos que nous rendi«t» sa mort.

(Великий боже, судия его участи! В своем милосердии даруй ему покой,
 который нам возвратила его смерть).

*
 * *

Bon citoyen! ne pleure point ma vie,
 Car si je vivais tu serais en Sibérie.

(Честный гражданин! не проливай слез обо мне — будь я жив, ты был бы
 в Сибири)

*
 * *

НА ВСКРЫТИЕ НЕВЫ

Нева! лей тихо в Понт струю твою златую,
 Не встретит зрак того в твоём бегу,
 Кого на шуйем оставила бегу:
 Он днесь уже лежит спокоен одесную.

*
 * *

Тирана истребить есть долг, не преступленье,
 И есть ли б правде сей внимали завсегда,
 У нас бы не было тиранов никогда,
 Имел бы на земле закон единый царство.
 Вина их бытия — тщеславие, коварство;

Вина их торжества — безумие и страх.
Но где рассудок цел, где мужество в сердцах,
Где рана общая есть собственная рана,
Недолго слышно там название тирана.

*
* *

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ЕКАТЕРИНЫ

Дивились нации предшественнице Павла:
Она в делах гигант, а он пред нею карла.

*
* *

РАЗГОВОР

[*Первый*

Не все хвали царей дела.

Другой

Что ж глупого произвела
Великая Екатерина?

Первый

Сына!]

*
* *

НАДПИСЬ НА ЦЕРКОВЬ ИСААКИЯ

Вот памятник двух царств, обeim им приличный:
Фундамент мраморный, а верх кирпичный.

К ТОЙ ЖЕ

Сей храм докажет нам, кто розгой «лаской?», кто бичом:
Он начат мрамором, окончан кирпичом.

При всей разножанровости стихотворений подборка из тетради Второва обладает внутренним тематическим единством, которое распространяется и на некоторые элементы литературной формы.

По способу распространения и по общественной функции приведенные произведения принадлежат к «вольной» поэзии и независимо от первоначального значения приобретают в этом контексте отчетливо выраженный агитационный оттенок. В целом подборка является отражением тех политических концепций, которые обсуждались в литературе конца века. В данном случае мы имеем дело с примером, когда теории, до поры до времени остававшиеся умозрительными, вдруг приобрели вполне практическое применение.

Основным итогом политической мысли русского дворянства за XVIII столетие явилась концепция монархии, ограниченной законом. Отталкиваясь от идеи общественного договора, русские политики пришли к весьма умеренным практическим выводам. Это особенно ярко проявилось в эпоху законодательных проектов и реформ александровского царствования. Все три влиятельные группировки, сложившиеся в период работы Негласного комитета, сходились в одном требовании — обеспечить стабильность государственного организма. Правда, умеренное крыло, состоявшее главным образом из екатерининских сановников, вскоре испытало — чрезмерный, впрочем, как быстро выяснилось, — страх перед возможными последствиями преобразований и превратилось в их яростных противников. Однако и у людей, составивших консервативную оппозицию, переход в ее ряды был постепенным. Несколько раньше павловские методы правления заставляли даже самых осторожных желать перемен. Практика деспотического правления придавала черты радикализма мышлению даже самых умеренных. Характерна в этом отношении эволюция Державина, не только проводившего Павла в могилу символическими стихами «Умолк рев Норда сиповатый, Закрылся грозный, страшный взгляд», но и выступившего с проектом реформы Сената, от основных положений которой он вскоре отказался. Как показывает современный исследователь истории общественной мысли и политических идей, желание «конституции» испарилось в процессе работы по практическому созданию законодательной системы, и дворянский либерализм быстро сомкнулся с поднявшей голову реакцией.³¹

Как ни скромны были первоначальные предположения, в качестве неизбежной практической программы они были выдвинуты в противовес системе неограниченной централизованной монархической власти. Это была инстинктивная защита личной свободы дворянства и дворянского самоуправления, которые де факто отменил павловский режим, попытка закрепить и обеспечить на вечные времена порядок, сложившийся при Екатерине. Ответом на это всеобщее желание и был успокоительный манифест Александра, который, взойдя на престол, первым делом заверил, что будет править по примеру своей бабки.

Не забывая о том, что переворот 1801 г. был подготовлен дворянством и отвечал прежде всего его сословным интересам, важно учесть роль этого переворота в кристаллизации политических идей, выдвинутых предыдущей эпохой и имевших не только сословное значение. Речь в данном случае должна идти не о проектах выдающихся мыслителей эпохи, а о среднем уровне дворянского самосознания, в значительной степени сформированного, воспитанного и поддержанного художественной литературой. Следует

³¹ Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. М.—Л., 1957, с. 202—203.

заметить, что в это время «конституционные» проекты возникают в умах людей, которых раньше трудно было заподозрить в каком-либо сочувствии республиканским идеям. Например, к 1799 г. относится записка руководителя русской внешней политики при Екатерине графа А. А. Безбородко, построенная на признании примата закона, а не воли самодержца. Подразделение самодержавного правления на два типа — монархию и деспотию — восходило непосредственно к Монтескье и получило широкое распространение в литературе. Тема деспотизма была основополагающей для русской тираноборческой трагедии начиная с «Дмитрия Самозванца» Сумарокова. Осуждая деспотизм, русские авторы опирались на разнообразные концепции просвещенного абсолютизма. Одновременно литературные трактовки (шире всего известные) упрощали политическую сторону вопроса. Достаточно распространенной была уверенность, что «просвещение» автоматически гарантирует общественную свободу от возможных посягательств монарха, ибо «просвещенный монарх» не может не быть отцом своего народа. В принципе этот комплекс идей пережил XVIII в. и отразился даже в «Записке о древней и новой России» Карамзина.³²

Мемуарная традиция упорно связывала имена участников переворота с планами более широкими, чем простое царевубийство. Это дало основание Н. Муравьеву на следствии утверждать, что из заговорщиков 1801 г. желавшие *только* перемены государя были награждены, а «искавшие прочного устройства удалены навек». Такое избирательное отношение Александра к заговорщикам не подтверждается фактами. Но о проектах конституционного характера говорят в своих воспоминаниях Н. Саблуков, Ланжерон, Авг. Коцебу; М. А. Фонвизин считал несомненной связью между идеями Н. И. Панина и заговором (в числе его инициаторов был племянник Панина — Н. П. Панин).³³ Правда, Н. А. Саблуков следующим образом вспоминал о характере конституционных устремлений времени: «...слово „конституция“, столь часто здесь упомянутое, не должно быть, однако, понимаемо в обычном, слишком употребительном смысле парламентского представительства, еще менее — в смысле демократической формы правления. Оно обозначает здесь великую хартию, благодаря которой верховная власть императора перестала бы быть самодержавной».³⁴

Другой современник событий, граф Ланжерон, свел воедино собственные воспоминания и разрозненные записи своих бесед об убийстве Павла с Паленом, Бенингеном, великим князем Константином Павловичем в 1826 г. под непосредственным впечатлением событий на Сенатской площади. Четвертая за протек-

³² Там же, с. 273—280.

³³ Царевубийство, с. 18, 194, 397, 422.

³⁴ Там же, с. 18.

шее столетие династическая катастрофа наложила отпечаток на его оценку предыдущих событий. «Нужны преступления, — пишет он о цареубийстве 11 марта, — чтобы избавиться от незаконности, от безумия или от тирании, когда они опираются на деспотизм»; и, с его точки зрения, это обстоятельство является основным аргументом как против деспотизма, так и в пользу конституционной системы.³⁵ Хотя при этом Ланжерон ссылается на Англию, но применительно к России его представления о конституции вряд ли шли дальше предположений Саблукова.

Август Коцебу оказался в Петербурге в самый разгар событий и в самом их центре. Составляя описание Михайловского замка, он имел свободный доступ во дворец даже 12 марта и воспользовался своим положением весьма известного литератора, чтобы как можно полнее собрать слухи, разговоры и свидетельства очевидцев. В его отчете, составленном на этой основе в 1811—1812 гг., также говорится о «благотворном намерении» Палена и Зубова «ввести умеренную конституцию». Платон Зубов будто бы даже брал у Клингера для прочтения «Английскую конституцию» Делольма. Что же касается Н. П. Панина, то он тоже предлагал какой-то вариант английской системы, переложенный на русские нравы и обычаи.³⁶

«Свободные мысли» Н. П. Панина и его намерение «учредить законно-свободные постановления, которые бы ограничивали царское самовластие»,³⁷ подтверждает М. Фонвизин в «Обзрении проявлений политической жизни в России» (около 1835 г.).

Таким образом, нужно отметить характерную особенность известной нам картины событий 1801 г. Все мемуаристы задним числом приписывают заговорщикам некоторую общественно-политическую программу. В то же время обращение к документам и критическая проверка мемуарных свидетельств показывают, что реально эти замыслы не шли дальше рассуждений. В частности, у Чарторижского даже сложилось впечатление, что главари заговора лишь прикрывались высокими фразами.³⁸ Однако искренность заявлений заговорщиков при всей туманности их позитивной программы не вызывает сомнений. Князь Яшвиль в письме к Александру подчеркнул: «...наши руки обогрелись кровью не из корысти». Мотивы, приведшие его к идее заговора, удивительно напоминают надежды Карамзина на возможность объединения самодержавия и общества во имя славы России и почти буквально совпадают с обращением к императору в «За-

³⁵ Там же, с. 194.

³⁶ Там же, с. 422. — В комментариях А. Б. Лобанова-Ростовского, первого издателя записок Коцебу, дана интерпретация записки современника-анонима, впервые опубликованной в VII томе «Сочинений» Державина (Изд. 2-е. СПб., 1878, с. 364), которая подтверждает как наличие, так и практическую эфемерность предлагавшихся конституционных проектов.

³⁷ Цареубийство, с. 204.

³⁸ Там же, с. 258.

писке о древней и новой России». В самые первые дни нового царствования Яшвилль напоминал Александру о его «великом призвании»: «... будьте на престоле, если возможно, честным человеком и русским гражданином». Его объяснения трудно сбросить со счета, оценивая общественный резонанс заговора: «Я решился пожертвовать собою, если нужно будет для блага России, которая со времени Петра Великого была игралищем временщиков и, наконец, жертвою безумия... Если бы даже нужно было для спасения Вашей славы, которая так для меня дорога только потому, что она и слава России, я готов был бы умереть на плахе; но это бесполезно — вся вина падет на нас...».³⁹ Мотив жертвенности, но уже вне связи с концепцией просвещенной монархии, позднее становится распространенным мотивом поэзии декабристов.

Вопреки фактам русское общество было склонно придавать событиям 1801 г. не узкий смысл дворцового переворота, а более широкое значение деяния, основанного на просветительских идеях прошедшего столетия. Наиболее последовательно это проявилось в «вольной» литературе, которая также предложила идеологическое объяснение переворота, поставив его в связь с предшествующим развитием политической мысли.

Начало стихотворения («Пою от варвара Россию свободенну») представляет перифраз первых стихов прославленной «Россиады». Строка «Вышний взор опять на россов обратил» напоминает о другой, ставшей крылатой, фразе из этой поэмы — «Велик российский Бог!». Реминисценции из широко известной эпопеи о походе Ивана IV под Казань отражают важную идеологическую параллель. «Россиада» была апологией просвещенной монархии, а юного Грозного Херасков изобразил идеальным государем. Звучащее в стихотворении безвестного сочинителя сопоставление подчеркивало, сколь не соответствовал Павел образцу монарха, если переворот казался современникам сопоставимым с освобождением России от ига татар.

Отрывок повторяет форму традиционного эпического зачина. Но в целом он равно созвучен и монологу политической трагедии XVIII в. Последняя же строка явно связана с одами на восшествие Александра, например с одой А. С. Шишкова.

Эту же связь демонстрирует переписанный в тетрадь отрывок монолога Сорены из «Сорены и Замира» Николева, получивший в подборке совершенно самостоятельное значение.⁴⁰ Вместе с «Вадимом Новгородским» Княжнина трагедия Николева относится к самым остропублицистическим произведениям екатерининского времени. Одно из крупнейших достижений русского классицизма, «Сорена» кроме внешнего действия имеет второй,

³⁹ В. К. Николай Михайлович. Имп. Александр I. Т. I. СПб., 1912, с. 17.

⁴⁰ «Любовь к отечеству, мой долг...» (д. 5, явл. 5). — Стихотворная трагедия конца XVIII—начала XIX в. М.—Л., 1964 («Б-ка поэта». Большая серия), с. 120.

идеологический, план. Любовная история, составляющая сюжет трагедии, отражает противоборство политических идей, столкновение двух противоположных точек зрения. Как и в «Вадиме», здесь предлагается тонкая и умная критика идей республиканизма. Подобно тому как в изображении Княжнина порыв к свободе оказывается благородным, но бесполезным делом, попыткой возродить ушедшие в прошлое и никому не нужные порядки, Николев в «Сорене» приводит своих героев-тираноборцев к трагической и никому не нужной гибели. Иное дело, что остановить шестые радикальных идей изображением как бы закономерного (по Монтескье) превосходства монархии над республикой в эпоху, озаглавленную Великой революцией, было невозможно. Для радикально настроенного зрителя антидеспотическая тема трагедии звучала значительно громче ее логического опровержения. И самое острое в этом отношении место вполне цензурной пьесы в рукописной традиции становилось уже фактом вольной поэзии.

Текст отрывка совпадает с авторским текстом Николева, за исключением одного, но знаменательного расхождения. Слово «злодеяние» в первой строке заменено на «преступление». Незначительная конъектура сразу переносит монолог в контекст споров о законности царубийства, столь занимавших умы после казни Людовика XVI. Приговор Национального собрания был прагматическим осуществлением оставшейся до сей поры умозрительной философской доктрины «естественного договора». Монарх, нарушивший свои обязательства перед нацией, предавший ее интересы, был не только низложен, но и понес наказание как обыкновенный преступник. По утверждению же роялистской печати злодейское убийство короля послужило первопричиной якобинского переворота, отбросившего в сторону понятие о законности вообще. В связи с этой полемикой уже в годы Первой республики получает распространение мысль, теоретически обоснованная лишь позднейшей историографией (в частности, Минье), — к эксцессам революции привели деспотизм короля и его сопротивление непреодолимому движению нации к свободе.⁴¹ Проблема суверенности народа, законности революционных действий присутствует и в русских «вольных» стихах о перевороте 1801 г.

Русское общественное мнение прошло несколько этапов в своей оценке французских событий. Отчетливым переломным моментом в этой эволюции явилась казнь короля, установление республики и якобинская диктатура. Воспринятая первоначально как осуществление принципов просветительской философии, революция по мере развития событий вызвала даже у передовой интеллигенции гамму отрицательных чувств — от разочарования, страха до бешеной ненависти. В начале XIX в. отрицание принципов 1789 г. становится всеобщим, и Карамзин в самом либе-

⁴¹ Рейзов Б. Г. Французская романтическая историография (1815—1830). Л., 1956, с. 234, 240.

ральном журнале России «Вестник Европы» начинается с 1802 г. последовательно объяснять читателям несостоятельность республиканских идей.⁴² На этом фоне воскрешение якобинской терминологии применительно к русским событиям представляет достаточно яркое явление.

Интерес участников тайных обществ к перевороту 1801 г. мало отразился в их сочинениях, однако нет оснований заключать, что этот эпизод русской истории их не интересовал. Признание дворцового заговора подходящим средством для изменения образа правления (впрочем, считалась возможной и замена Александра другим представителем династии Романовых) побудило некоторых декабристов исследовать детали истории недавнего царевубийства, над которой сохранялась завеса секретности и молчания. Записки М. Фонвизина и Бриггена, например, носят характер прямого исторического исследования. Долгое время они оставались хотя и нелегальным, но единственно доступным более или менее широкому читателю сводом материалов о царевубийстве 1801 г.⁴³

Собирание материалов, предшествовавшее их систематизации и осмыслению, приходится как раз на годы формирования тайных обществ. На следствии многие из обвиняемых в замыслах царевубийства продемонстрировали хорошее знание деталей переворота 1801 г. Например, А. В. Поджио сообщает о резкой реплике А. Бестужева в адрес заговорщика 1801 г., а в 1825 г. члена Особой комиссии — П. И. Кутузова, М. И. Муравьев-Апостол оставил записку о перевороте, составленную со слов его непосредственных участников — К. П. Полторацкого, Л. О. Гурко, А. В. Аграмакова, И. Агапеева.⁴⁴ Возможность царевубийства серьезно рассматривалась декабристами среди прочих тактических вопросов движения. Даже непосредственно перед восстанием только Соединенные славяне были последовательными противниками террористического акта.⁴⁵ Но, теоретически допуская подобные методы борьбы с деспотизмом, декабристы единодушно выражали отвращение к самому факту убийства императора Павла и к его участникам и организаторам. Особенно подчеркивались своекорыстные цели заговорщиков. Как писал Поджио,

⁴² Сводка русских отзывов о французской революции дана в кн.: Штранге М. М. Русское общество и французская революция 1789—1794 годов. М., 1956. — О более позднем времени см. в работе: Теллова В. А. «Вестник Европы» Карамзина о Великой французской революции и формах правления. — В кн.: XVIII век. Сб. 8. Л., 1969, с. 269—280.

⁴³ Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ. Т. I. М., 1931, с. 62. — «Обозрение проявлений политической жизни» М. А. Фонвизина представляет собой замечания на «Histoire de Russie» Энно и Шено, вышедшую в 1835 г. (Общественные движения в России в первую половину XIX века. Т. I. СПб., 1905, с. 99). См. также: Волк С. С. Исторические взгляды декабристов. М.—Л., 1958, с. 63.

⁴⁴ Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ. Т. I, с. 26, 62, 403—405.

⁴⁵ Горбачевский И. И. Записки и письма. М., 1963, с. 26—27.

«пьяная, буйная толпа заговорщиков врывается к нему (Павлу, — В. С.) и отвратительно, без малейшей цели, его таскает, душит, бьет... и убивает». Далее, по контрасту с картиной преступления, Поджио изображает Павла невинной жертвой царедворцев, дрожащих за свою жизнь, реформатором, пострадавшим за намерение ограничить своеволие крепостников. Такая оценка, свойственная не только Поджио, несомненно сложилась под влиянием реакционной политики царя после Венского конгресса, окончательно уничтожившей надежды на осуществление идеалов «дней Александровых прекрасного начала». Александр в декабристской литературе предстает как узурпатор, а суть заговора, в котором он участвовал, — как обыкновенное стремление к власти. С этой точки зрения, наиболее четко изложенной в записках Лунина, убийство Павла ничем не отличалось от других дворцовых революций XVIII в.⁴⁶ Своеобразие готовящегося декабристами восстания состояло в том, что целью его были не «частные», а широкие общественные перемены, и деятели тайных обществ всегда подчеркивали это принципиальное отличие, независимо от методов борьбы, которые они пропагандировали. Когда же в литературе возникла тема тирании и тираницида, она разрабатывалась в уже существовавшей традиции гражданской лирики.

О том, что литературные отклики на убийство Павла I были памятны современникам тайных обществ 1810—1820-х годов, свидетельствуют хотя бы приведенные выше записки И. А. Второва, относящиеся именно к этому времени, а также ряд других рукописных источников, в том числе мемуарных. Невозможно предполагать, что эти немногочисленные летучие произведения послужили образцом для последующей оппозиционной поэзии. Однако сходные мотивы и фразеология декабристской поэзии все же свидетельствуют, что антипавловские стихотворения оставили след в развитии русской гражданской поэзии.

Например, отзвук их слышится в так называемых «агитационных» песнях Рылеева и Бестужева. Пруссофильство в русской сатире всегда ассоциировалось именно с правлением Павла I. Поэтому военные экзерциции при Александре стали характеризоваться в том же ключе, что и павловское пристрастие к фрунту.

Царь наш немец прусский,
Носит мундир узкий...
Царствует он где же?
Целый день в манеже...

Пушкинская эпиграмма на Аракчеева —

В столице он капрал, в Чугуеве Нерон,
Кинжала Зандова везде достоин он,

⁴⁶ Избранные социально-политические и философские сочинения декабристов. Т. III. М., 1951, с. 163.

— обычно рассматривается только в кругу декабристских произведений. Однако сопоставление капрала и тирана относится к ассоциациям, на которых строилась еще антипавловская поэзия; и, кажется, впервые слово «капрал» в подобном сатирическом контексте было употреблено в эпиграмме «Не венценосец он...».

Другая песня, представляющая экскурс в историю дворцовых переворотов, еще ближе смыкается с этой традицией. Хотя она и начинается с Петра III, но рассказ о том, «как в России царей давят», ориентирован прежде всего на времена, когда воцарился «курносый злодей»:

По господь, русский бог,
Бедным людям помог
Вскоре.

По основным мыслям к стихотворению о «подвиге россиян», спасших отечество, необычайно близок катенинский «Отрывок из Корнелева Цинны». Формально тема его взята у французского трагика, но Катенин переделал монолог Цинны в духе идей чистого республиканизма. Стихи «Сын, кровью каплющий убитого отца, С главой его в руках, в мзду требовал венца» уже привлекали внимание исследователей как намек на Александра I. В монологе отразились споры 1818—1819 гг. о допустимости царевубийства.

К рукописной традиции восходят также некоторые образы, фразеологизмы и формулы, употребительные в специфически декабристской поэзии. Одно из самых резких стихотворений Н. М. Языкова, послание к Н. Д. Киселеву, содержит целый комплекс таких мотивов. Здесь фигурируют и плацпарадные «занятия державных», «дурачество в короне», и рассуждения об «истинном законе», и показательный пассаж об окончательно угасающей вере в мудрость царей.

Прошли те времена, как верила Россия,
Что головы царей не могут быть пустые
И будто создала благая длать творца
Народа тысячи — для одного глупца.

Поэтому нельзя сбрасывать со счета то обстоятельство, что образ Павла, каким он предстает в вольной поэзии, — «глупое произведение» Екатерины, Дон-Кихот на троне — подготавливал открытое развенчание представлений о священном происхождении монархической власти, и стихи о Павле сыграли определенную роль в переоценке идеи «просвещенной монархии» на протяжении первой четверти века.

Русская политическая мысль, как это подтверждается широким распространением в декабристских кругах «Рассуждения о непременных государственных законах» Фонвизина — Панипа, не окончательно отказалась от монархических иллюзий. В свою очередь распространение революционных идей сильно затормозило впечатление, произведенное якобинским террором.

В общем, несколько частных оценок Павла I, естественно, не представляют какой-либо законченной политической концепции. Но нельзя не отметить проскользнувших здесь параллелей с французскими событиями. Так, в прозаический «Разговор в царстве мертвых» включен рассказ о том, во что превратился Петербург при Павле. Тень Суворова, в частности, рассказывает Екатерине о постройке Михайловского замка, характеризуя его как русскую Бастилию с подземными казематами, наполненными невинными жертвами нового тирана. Автор немецких стихов о Павле, чтобы показать степень ненависти к императору, сравнил ее с гневом французского народа, препроводившего на плаху Людовика XVI. С другой стороны, появляется сопоставление Павла с фигурой, прямо противоположной, с другим «тираном» — Робеспьером. Эпитафия «Bon citoyen...» должна была воскрешать в памяти современников недавнюю французскую эпитафию гильотинированному «чудовищу»:

Passant, ne pleure pas ma mort
Si je vivais, tu serais mort.⁴⁷

(Прохожий, не оплакивай мою смерть: если бы я жил, ты был бы мертв).

Не менее показательны происхождение немецкой эпитафии «Kommt, Ihr Wanderer...». Она является переделкой соответствующего французского стихотворения на смерть Людовика XV, известного своим распутством и своеволием:

Ci-gît Louis quinzième du nom,
Dit le Bien-Aimé par surnom,
Et de ce titre le deuxième:
Dieu nous préserve du troisième!

(Здесь погребен Людовик XV, известный под именем «Любимого», и под этим прозвищем — второй. Боже избави нас от третьего!)

Идеи литературной продукции, явившейся откликом на переворот 1801 г., находят некоторые аналогии в вольнолюбивой французской поэзии, однако восходят они все же к более ранним, предреволюционным произведениям. «Теория государственного интереса», борьба с которой развернулась во французской литературе 90-х годов, если и привлекала внимание русского общества, то вряд ли была ему понятна. В России интересы нации и государства традиционно оценивались как совпадающие и равнозначные. С точки зрения дворянской интеллигенции, Павел был не только тираном, поправшим «закон», но и вел к гибели русское государство. «Подвиг» заговорщиков поэтому ин-

⁴⁷ В переводе Н. Остолопова она получила заглавие «Эпитафия Наполеону» (Остолопов Н. Прежние досуги. М., 1816, с. 22):

Прохожий! Обо мне ты не жалея нимало!
Когда бы жив я был — тогда б тебя не стало.

С эпитафией можно сопоставить и реплику в записках гр. Ливен (Д. Хр. Бенкендорф): «Не будь этого «царубийства» ... вы бы сами отправились в ссылку в Сибирь» (Царубийство, с. 240).

терпретировался прежде всего как «спасение отечества», а вместе с ним и «престола», т. е. русской монархии в устоявшихся формах. Монархизм этой поэзии несомненен, и авторы его не скрывают. Но, как часто бывает, то обстоятельство, что эти взгляды нашли отражение не в политическом трактате, а в легко запоминающейся поэтической форме, имело свои последствия: по мере развития оппозиционных настроений на первый план выдвигается сатирическая, а не позитивная часть программы.

Широкое распространение в литературе декабризма получило риторическое применение образов античной истории. Имена Брута, Катона, Калигулы, Нерона и различные эпизоды борьбы за республику в древнем Риме проникли в русскую вольнолюбивую поэзию еще в XVIII в., главным образом под воздействием французских просветителей. Но наиболее яркое применение они получили в рассматриваемых стихах 1801 г., после того как на их употребление наложила отпечаток Великая Французская революция. Казалось бы, сдвиг значения этих образов-символов был невелик, но сфера связанных с ними ассоциаций существенно изменилась и постепенно стала развиваться в сторону преодоления монархических идей.

Античная история входила в круг чтения будущих декабристов, и на следствии многие из них показали, что труды Плутарха, Тацита и другие исторические сочинения первыми пробудили в них чувство гражданской ответственности и ненависть к деспотизму.⁴⁸ Живое влияние примеров древности подтверждается популярностью русских «Плутархов»,⁴⁹ личными бумагами деятелей тайных обществ и собственно литературными сочинениями. Характерно, что в сознании современников сами имена декабристов стояли в одном ряду с классическими образами. «Я воспарю в жилище вечной свободы и сяду с громкою славою с тенями Брутов, Катонов...» — писал В. Розаллон-Сошальский от лица своего героя в статье «Рылеев в темнице» (1827), и эта характеристика почти совпадает с образом, который создавал в своих воспоминаниях о Рылееве Н. Бестужев, приписывая ему слова: «История запишет мое имя с именами великих людей, погибших за человечество. В ней имя Брута стоит выше Цезаря».⁵⁰ Указанный комплекс имен был ключом к соответствующему восприятию вольнолюбивых произведений.

⁴⁸ Свидетельства И. Д. Якушкина, Г. С. Батенькова, П. Г. Каховского, П. И. Борисова; М. П. Бестужев назвал источником либеральных идей трагедии Вольтера, однако это лишь подтверждает публицистический характер античных аналогий и то обстоятельство, что рецепция античности в это время совершалась через французское посредство (укажем на популярность «Смерти Цезаря» и других трагедий Вольтера с античным сюжетом). — См.: Избранные социально-политические и философские сочинения декабристов, т. I, с. 110, 173, 516; т. II, с. 235; т. III, с. 61.

⁴⁹ Привалова Е. П. Из истории «Плутархов» в России. — Русская литература, 1966, № 1, с. 140—145.

⁵⁰ Декабристы. М.—Л., 1951, с. 428, 568.

В «псевдо-персией» сатире «К временщику», смелом выступлении К. Рылеева против Аракчеева, упоминаются всевластный любимец Тиберия — Сеян и последние республиканцы древнего Рима: Цицерон, Кассий, Брут, «враг царей» Катон.

Тиран! вострепещи! родиться может он...
... О как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!

Те же аналогии владели Пушкиным, когда он незадолго до 1825 г. набрасывал в южной ссылке свое стихотворение «Недвижный страж дремал...», влагая в уста Александра самонадеянные и вместе с тем мрачно пророческие строки:

... где же вы, виждители свободы?
Ну что ж, витийствуйте, ищите прав природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —
Вот Кесарь — где же Брут?..

Русские Бруты в это время уже готовились к государственному перевороту.

Тираноборческая тема в античном оформлении тесно переплеталась с более широкой трактовкой тираницида, обсуждение которой оживилось в европейской публицистике после реставрации Бурбонов. Популярнейшее из распространявшихся в рукописном виде сочинений Пушкина, ода «Вольность», оказывается целиком построенным на самых злободневных понятиях — вольности, закона, цареубийства и законности такого шага.

В общем, в основе трех рассмотренных выше моментов в развитии антитиранической темы в России лежит один и тот же источник политических идей — трактат Монтескье «О духе законов». Просветительство оказывало определяющее влияние на мировоззрение декабристов, особенно в период становления движения.⁵¹ Различие состояло в акцентировке и истолковании основополагающих мыслей Монтескье. Французские якобинцы дополняли принципы «естественного договора» соображениями Руссо о суверенном народе и делали выводы чисто республиканского характера, оправдывая казнь Людовика XVI. Русское дворянство в подходящей ситуации воспользовалось якобинскими лозунгами, но не пошло далее идей просвещенной монархии, очень скромно затрагивая вопрос о законных гарантиях свободы. Если такой певец революции, как Экушар Лебрэн, предлагал в своих одах республиканскую версию учения о государственной власти и правах народа, взятую у Монтескье,⁵² то русские интерпретаторы, пользуясь теми же формулами, не шли дальше умеренных идей хорошо усвоенного в России сочинения.

⁵¹ Ланда С. С. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816—1821. — В кн.: Пушкин и его время. Вып. I. Л., 1962, с. 118—121.

⁵² То м а ш е в с к и й Б. В. Пушкин. Кн. I. М.—Л., 1956, с. 158—159.

Колебания декабристов по вопросу о цареубийстве, которые отразила, в частности, концепция пушкинской «Вольности», связаны с подобной же просветительской ограниченностью, умеренностью политических замыслов.⁵³ Как представляется, именно по этой причине тема цареубийства, а вместе с нею и формулы, выработанные предшествующей литературной традицией (трагедия, ода), воскресают только в творчестве радикально настроенных писателей декабризма. Проникновение этих идей в литературу носит сложный характер. Рылеев в цикле дум (1821—1823) еще подбирает из истории примеры, показывающие губительное перерастание монархии в деспотию. На этой идее построены «Ольга при могиле Игоря» и одна из самых известных дум — «Волинский». Завещание Ольги Святославу (а оно собственно и составляет содержание стихотворения) выливается в апологию справедливой гражданской власти. Доведя древлян до восстания несправедливыми поборами, Игорь явился виновником собственной гибели. Устами Ольги Рылеев провозглашает чисто политический вывод:

Вот, Святослав, к чему ведет
 Несправедливость власти:
 И князь несчастлив и народ,
 Где на престоле страсти.

Напомним, что так же формулировалась и основная тема политической трагедии.

Очевидно, что в «Волинском» осуждение «тиранства» имеет более широкий смысл, чем выступление против временщиков. Независимо от исторической канвы думы самохарактеристики из монологов Волинского, подытоженные стихами «Вражда к тиранству закипит Неукротимая в потомках», рисуют врага тирании в самом широком понимании. О том, что подобным образом судьбу гонимого правительством истинного «сына отечества» избражал не только Рылеев, свидетельствует послание «К друзьям в Кишинев» В. Ф. Раевского, написанное в Тираспольской тюрьме. Здесь отчетливо проясняется та основная идея, что беззаконие суда освящается самой сущностью самодержавной власти:

Но я сослался на закон,
 Как на гранит народных зданий.
 «В устах царя, — сказали, — он,
 В его самодержавной длани;
 И слово буйное „закон“
 В устах определенной жертвы
 Есть дерзновенный звук и мертвый...»⁵⁴

⁵³ Базанов В. Г. К вопросу об идейной концепции пушкинской оды «Вольность». — Русская литература, 1961, № 1, № 42. — Ср. также данный С. С. Ландой (Пушкин и его время, с. 187) анализ причин отрицательного отношения к цареубийству П. А. Вяземского в период его наибольшей близости с декабристами.

⁵⁴ Раевский В. Ф. Полн. собр. стих. М.—Л., 1967 («Б-ка поэта». Большая серия), с. 153.

Отклики на переворот 1801 г. служили идеологическим объяснением и оправданием событий. Как и всякая агитационная поэзия, они учитывали конкретные настроения общества и опирались на них. Но, оперируя злободневными фактами, они вовсе не являются примером чисто эмпирических откликов на злобу дня. Анонимные авторы обращались к массовому политическому сознанию, сформированному в основном художественной литературой и публицистикой XVIII в. В этом смысле о стихах на убийство Павла можно говорить как о показательном общественно-литературном явлении.

Характерное для декабризма обращение к опыту просветительской мысли делало закономерным также обращение к формулам и понятиям, найденным в предшествующей оппозиционной поэзии. В этом отношении «вольная поэзия» дворцового переворота 1801 г. явилась связующим звеном между гражданской поэзией русского Просвещения и декабристской литературой.

Н. Д. КОЧЕТКОВА

ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА ДЕКАБРИСТОВ И ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

(А. Н. Радищев)

Декабристы и писатели, связанные с декабристскими кругами, с большим вниманием и интересом относились к литературным жанрам, которые непосредственно могли служить их агитационным целям. Ораторская проза, обращенная к десяткам, может быть, сотням слушателей, — именно этот жанр открывал богатейшие возможности для литераторов, стремившихся придать своему творчеству максимально действенный характер. «Гражданин в сознании декабристов — это публицист-трибун, красноречивый оратор, горячо доказывающий прелесть свободы и нетерпимость рабства», — пишет В. Г. Базанов, показывая, как была важна для декабристов проблема красноречия.¹

Между тем многие вопросы, касающиеся ораторской прозы декабристов, до сих пор остаются еще не изученными. В частности, к ним принадлежит и вопрос о том, какие традиции продолжали декабристы, какое место занимают их речи и выступления в истории ораторской прозы. Разумеется, более или менее исчерпывающий ответ может дать только достаточно подробное исследование.

Античное красноречие, воспринятое отчасти через опыт новой литературы, ораторская проза стран Европы XVIII в., прежде всего революционной Франции, — все это тесно переплелось с собственно русскими литературными традициями.

Торжественная речь как прозаическая параллель оде была связана с определенными политическими задачами, причем одной из распространенных разновидностей этого жанра в русской литературе XVIII в. была официальная хвалебная речь, обращенная, как правило, к государю. Правда, уже со времен Феофана Проко-

¹ Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы. Публицистика, Проза. Критика. М., 1953, с. 236.

повича в русской ораторской прозе наметилась и другая традиция: «слово», а позднее и ломоносовская ода, могло содержать скрытый урок, наставление правящему государю, точнее государыне — Анне Иоанновне, Елизавете Петровне и, наконец, Екатерине II. Замечательные примеры гражданского красноречия представляли собой выступления некоторых депутатов, участников знаменитой Комиссии по сочинению проекта нового уложения. В конце столетия как в европейской, так и в русской литературе получили распространение сатирические речи, ориентированные на высокий образец жанра и пародировавшие его (например, «Похвальная речь в память моему дедушке» Крылова и т. п.). Кроме того, элементы ораторской прозы стали широко проникать в повести, письма, дневники.

В первые десятилетия XIX в. жанр продолжает существовать и в «чистом виде»: проповедь, похвальная или военная речь, выступление в литературном обществе и т. д. Вместе с тем ораторская проза по-прежнему вкрапливается в другие жанры. Такие вкрапления носят разный характер: иногда это вставные речи персонажей, иногда это специфически ораторские интонации, торжественно-приподнятый стиль авторской речи. И то, и другое было характерно, в частности, для прозы Карамзина — автора «Марфы Посадницы» и «Истории государства Российского», оказавшейся предметом бурных дискуссий в писательских кругах начала XIX в. Включая речи полководцев и политических деятелей в ткань исторического повествования, Карамзин следовал традиции историков прошлого, начиная с высоко ценимого им Тацита. Критически оценивая концепцию Карамзина, декабристы по-своему восприняли его художественный опыт.²

Споря с Карамзиным, декабристы отчетливо выражали не только свои общественно-политические воззрения, но и свое отношение к проблеме ораторского искусства. Вопрос этот был по-прежнему злободневным. Речи, прославлявшие Александра I и правительственную политику, составляли значительную часть произведений русской ораторской прозы начала XIX в. Подобные выступления, кроме славословия, нередко содержали скрытые или явные выпады против инакомыслящих. Искусство красноречия давало богатые возможности участникам идейной и литературной борьбы 1800—1820-х годов.

Представление о слове как оружии в высшей степени характерно для декабристов. Н. И. Гнедич, близкий, как известно, к декабристским кругам, сформулировал эту идею очень четко уже в речи 1814 г.: «Язык человека есть оружие, сильнейшее огня и железа».³ Несколько позднее в знаменитой речи 1821 г.,

² См.: Вацуро В. Э. «Подвиг честного человека». — В кн.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 40—66.

³ Гнедич Н. И. Рассуждение о причинах, замедляющих успехи нашей словесности. СПб., 1814, с. 39.

направленной против преследователей Пушкина и, в частности, против речи В. Н. Каразина,⁴ Гнедич развил эту мысль: «Перо писателя может быть в руках его оружием более могущественным, более действительным, нежели меч в руке воина».⁵

Витийственные красоты сами по себе ни в коей мере не привлекали декабристов: для них важнее всего было содержание речи, ее политическая направленность. Характерен, например, отзыв М. Ф. Орлова о выступлении на сейме министра Т. А. Мостовского в сентябре 1820 г.: «Выработанные речения не скрывают от проницательности опытных глаз недостаток существенных мыслей. Я в первый раз читал речь депутатам нации, в которой говорят о частной выправке солдат, о рекрутской школе и о палатках, в которой министр возвещает народу, что он пользуется всеми правами конституции, то, что не время вводить ни вольного книгопечатания, ни суда присяжных, ни даже рассуждения о бюджете. Вот, однако же, весь смысл сей речи, в которой, впрочем, много есть блестящих выражений и французского мишурного витийства».⁶

Вырабатывая собственные принципы ораторской прозы, декабристы ориентировались в первую очередь на те произведения, которые отличались своей гражданственностью, смелостью политической мысли. Вот почему представляется правомерным обращение к теме «ораторская проза декабристов и Радищев». Задача настоящей статьи — поставить проблему и проследить, как продолжают в ораторской прозе декабристов традиции Радищева и что общего между декабристским отношением к красноречию и радищевским.

Сложность этой проблемы заключается прежде всего в том, что общественно-политические и эстетические позиции декабристов-литераторов были, как известно, далеко не одинаковы. Кроме того, к декабристскому движению примыкала значительная часть либерально настроенной интеллигенции, литераторов-вольномыслющих, которые не были членами тайных обществ, но в ряде вопросов солидаризовались с декабристами. Выступления и речи таких литераторов также дают представление о той роли, которая придавалась ораторскому искусству в декабристских кругах. Разумеется, если не было полного единства во взглядах, то не было и единого отношения к предшествовавшим традициям, в частности традициям Радищева. Кроме того, радищевские идеи воспринимались писателями 10—20-х годов отчасти и в опосредо-

⁴ См.: Медведева И. Н. И. Гнедич и декабристы. (Из истории литературных программ и объединений декабристов). — В кн.: Декабристы и их время. Материалы и сообщения. М.—Л., 1951, с. 192—198; Макогопенко Г. П. Радищев и его время. М., 1956, с. 659—660.

⁵ Соревнователь просвещения и благотворения, 1824, № 8, с. 136.

⁶ Письмо П. А. Вяземскому 15 октября 1820 г. — В кн.: Орлов М. Ф. Канитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963 (в дальнейшем: Орлов М. Ф.), с. 229—230.

ванном виде. Поэтому в ряде случаев понятие «традиция Радищева» оказывается связанным не только с именем самого Радищева, но и с более широким кругом имен.⁷ Как обнаруживают исследования последних лет, связи декабристов с русским просветительским движением XVIII в. были широки и разнообразны.⁸ Но для многих декабристов автор «Путешествия из Петербурга в Москву» оставался наиболее близким из писателей предшествовавшего столетия.⁹ Оратором в собственном смысле этого слова Радищев не был. Однако проблема красноречия его глубоко интересовала, и почти во всех сочинениях писателя можно найти немало «ораторских страниц», по выражению Г. А. Гуковского.

Пропуск имени Радищева в статье Бестужева-Марлинского — пропуск, так возмутивший Пушкина, — факт весьма показательный. То, что декабристы выступили продолжателями радищевских традиций, — общее положение, очевидное для современных исследователей, — не было еще осознано самими декабристами так отчетливо, как у Пушкина («Во след Радищеву восславил я свободу»). Тем более трудно было литераторам 10—20-х годов определить конкретные формы преемственности, связывавшей их собственное творчество с литературой XVIII в.

Обращаясь к вопросу об отношении декабристов к Радищеву, следует отметить, что в ряде случаев можно говорить не столько о непосредственном влиянии Радищева, сколько об определенных чертах сходства между автором «Путешествия» и литераторами начала XIX в. Подобные явления обусловлены идейной близостью писателей и потому заслуживают серьезного внимания.

И Радищев и его преемники сходным образом оценивали опыт ораторов прошлого. По убеждению Радищева, лишь тот писатель или оратор достоин уважения сограждан, который не льстит правителю, но бесстрашно говорит ему истину. «Не льстец Августов и не лизорук Меленатов прельщали его, — говорил Радищев о своем друге в «Житии Федора Васильевича Ушакова», — но Цицерон, гремевший против Катилины, и колкой Сатирик, не щадящий Нерона».¹⁰ Отношение Радищева к античному красноречию проецировалось и на его отношение к современным ораторам и соответствовало его собственной общественной позиции.

⁷ См.: Лотман Ю. М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 1958, вып. 63.

⁸ См.: Пигарев К. В. «Рассуждение о непременных государственных законах» Д. И. Фонвизина в переработке Никиты Муравьева. — В кн.: Литературное наследство. Т. 60, кн. 1. М., 1956, с. 339—364; Пугачев В. В. Н. И. Новиков и декабристы. — Уч. зап. Горьковского ун-та, 1961, вып. 52, с. 294—306; Базанов В. Г. Федор Герман и муравьевский вариант «Рассуждения» Д. И. Фонвизина. — Русская литература, 1964, № 1, с. 109—123.

⁹ См.: Орлов В. Радищев и русская литература. Л., 1952, с. 129—163.

¹⁰ Радищев А. Н. Полн. собр. соч. Т. I. М.—Л., 1938, с. 179. (Далее ссылки на это издание даются в тексте).

Литераторов, связанных с декабристскими кругами, ораторское искусство древних привлекает в основном теми же сторонами, что и Радищева. Так, например, вполне определенная ориентация заметна в статье Д. И. Воронова «Философско-историческое рассуждение о постепенном ходе вообще словесности и витийства в собственном смысле взятого».¹¹ Говоря о причинах, содействовавших успехам греческого красноречия, автор называет «право граждан мыслить и говорить», т. е. возвращается к формуле Тацита, обратившей когда-то на себя внимание Радищева. Выдающиеся ораторы прошлого предстают в статье Воронова прежде всего как поборники народных прав, враги деспотизма. В связи с упоминанием заслуг Демосфена автор замечает: «Государь Македонии, общий враг вольности греков, более страшился одного оратора на кафедре, нежели целых ополчений в поле».¹² Падение могущества Греции, потеря ее независимости оказываются сопряженными с упадком красноречия: «Афиняне напоследок, не имея ни сил, ни союзников, ужасали вселенную только своими ласкательствами государям».¹³ Далее, переходя к истории ораторского искусства в древнем Риме, автор замечает ту же закономерность: римское красноречие после недолгого расцвета, связанного с именем Цицерона, «сего великого человека», приходит в упадок, и причины этому — «упадок народного духа, порабощение», «привязанность к одним ласкательствам и систематическим обманам».¹⁴ «Неограниченная власть обладателей Рима, — говорится в статье Воронова, — заставила иначе изъясняться ораторов: надлежало или льстить их суетному самолюбию, или с крайнею расчетливостию обнаруживать чувства. Первое заставило выйти из пределов благоразумной умеренности, а другое слишком стеснило его в своих границах».¹⁵

Очень характерно оказалось отношение русских писателей конца XVIII — начала XIX в. к ораторам Французской революции, прежде всего к Мирабо.

В близких к русскому двору кругах имя французского трибуна было связано с представлением о самой дерзкой крамоле. Екатерина II, читая радищевское «Путешествие», была крайне возмущена строками из «Слова о Ломоносове», посвященными Мирабо. Радищев причисляет его к «отменным в слове мужам». Называя Бурка (Берка), Фокса, Мирабо, писатель говорит: «Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения в их чувствах, сила доводов в их остроумии» (I, 387). По поводу этих строк императрица гневно заметила на полях книги: «Тут вмещена хвала Мирабоа, который не единой, но мно-

¹¹ Соревнователь просвещения и благотворения, 1818, № 4, с. 1—26; № 5, с. 131—155; № 6, с. 275—283.

¹² Там же, № 5, с. 138.

¹³ Там же, с. 139—140.

¹⁴ Там же, с. 148, 154.

¹⁵ Там же, с. 148.

гие висельницы достоин». ¹⁶ Официальная печать стремилась представить русским писателям Мирабо в самом неблагоприятном свете. В частности, в «Санкт-Петербургских ведомостях» после упоминания о поединке между виконтом Мирабо и графом Мобургом сообщалось: «Граф Мирабо, брат помянутого виконта, услышав, что он поссорился с соперником своим пьяный, вздумал было сделать брату своему выговор; но сей сказал: „Ваше сиятельство соединили уже в себе все пороки, кроме пьянства, и, следовательно, не оставили мне, как меньшему брату, ничего более прибавить к общему фамилии нашей бесславию“». ¹⁷ В переведенной с французского книге «Публичная и приватная жизнь Гонория-Гавриила Рикетти графа Мирабо» (М., 1793) знаменитый оратор был назван «извергом человечества», и к портрету его была сделана следующая надпись:

Над Мирабо суд прав небесный совершился,
То было бедствие, что он на свет родился.
Он умер, вот лишь что услугой должно счесть,
Какую только мог он обществу принести.

Любопытный отголосок официального мнения о Мирабо содержится в записях бывшего секретаря Екатерины, А. М. Грибовского, относящихся уже к 1829 г., Грибовский называет французского оратора «этим негодяем» Мирабо. ¹⁸

Между тем для декабристов, как и для Радищева, речи Мирабо остаются образцом гражданского красноречия. В. Ф. Раевский включает в грамматические таблицы наряду с именами Брута, Кассия, Вашингтона и Кирогия имя Мирабо, почти полностью повторяя круг имен борцов за свободу, о которых писал Радищев в «Путешествии». При этом имя Мирабо оказывалось в числе «символов освободительной борьбы, революционных идей, символов, окруженных героическим ореолом». ¹⁹

О достоинствах Мирабо как оратора подробно говорилось в одной из статей, напечатанных в «Невском зрителе». ²⁰ Считая Демосфена «царем ораторов» в древности, автор статьи заявляет: «Мирабо возвысился до высоты Демосфена, он давал законы собранию, двору, народу целой Франции, речи его всегда красноречивы, иногда превосходны». Особенно подчеркивается искусство Мирабо как полемиста: «Сопротивления Мори умножали лишь силу и могущество его противника; чем он более был раздражен, тем слова его приобретали более энергии; орган и

¹⁶ Бабкин Д. С. Процесс А. Н. Радищева. М.—Л., 1952, с. 164.

¹⁷ Санкт-Петербургские ведомости, 1790, 22 января, № 7, с. 96. — См. также: Брикнер А. С. Петербургские ведомости во время французской революции. — Древняя и Новая Россия, 1876, т. I, с. 65—87.

¹⁸ Грибовский А. М. Воспоминания и дневники. М., 1899, с. 90—91.

¹⁹ Гофман В. Литературное дело Рылеева. — В кн.: Рылеев К. Полн. собр. стих. Л., 1934 (в дальнейшем: Гофман), с. 49.

²⁰ Об ораторах и политическом красноречии вообще и особенно новейшем во Франции. — Невский зритель, 1820, ч. 3, с. 215—224.

телодвижения Мирабо придавали его красноречию власть, поражающую гением, иногда одушевленную чувством. Она казалась беспрестанно вновь рождающеюся».²¹

Спор о Мирабо продолжается, таким образом, в русской печати в течение нескольких десятилетий: два противоположных суждения, высказанные, с одной стороны, Радищевым, а с другой — императрицей Екатериной II, продолжают находить своих сторонников и противников. Декабристы оказываются в этом споре единомышленниками Радищева, и это принципиально важно.

Вера во всемогущество слова, находящего отклик в сердцах других людей, одинаково характерна и для Радищева, и для декабристов. Владение словом, присущее Ломоносову, дает ему, по убеждению Радищева, «право неограниченное действовать на своих современников» (I, 388). Через три с лишним десятилетия А. Бестужев-Марлинский сходным образом характеризует деятельность Феофана Прокоповича: «Одаренный умом обширным, утонченным, двигал политические пружины государства сердцами слушателей и читателей. Красноречие его убедительно: он говорит чувствами и от чувства».²² Несмотря на все похвалы Феофану, Бестужев-Марлинский замечает: «Но язык Феофана неправилен, изломан, испещрен польским и славянским».²³

Духовное красноречие вполне естественно оставалось связано с церковно-славянским языком. Однако уже Ломоносов и Сумароков считали неровность слога Феофана серьезным недостатком. Теоретики русского классицизма прочно укоренили в сознании литераторов XVIII в. представление об ораторской прозе как о жанре высоком и потому особенно строго регламентированном.

«Нововводитель в душе», Радищев был страстным, талантливым полемистом. Обращаясь к традиционным жанрам, писатель сообщал им совершенно новый характер. Наиболее яркий пример этому — знаменитая «Вольность»: ода, превращенная в политическую инвективу и противопоставленная таким образом всей традиции русской хвалебной оды. Назвав произведение, посвященное Ломоносову, «Словом о Ломоносове», Радищев подчеркнул свою приверженность традиции. Как и при создании оды «Вольность», писатель сохраняет основное требование, предъявлявшееся к жанру: высокий, торжественный слог не нарушается включением низких или обыденных слов. Радищев выступает как продолжатель именно той традиции русского красноречия, которая связана с именем Ломоносова: «эмоционально-влияющее» использование слова предпочтено «убедительно-логическому».²⁴ «Вос-

²¹ Там же, с. 221—222.

²² Бестужев-Марлинский А. Взгляд на старую и новую словесность в России. — В кн.: Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицстика. Литературная критика. Сост. Вл. Орлов. М.—Л., 1951 (в дальнейшем: Декабристы), с. 535.

²³ Там же.

²⁴ См.: Тынянов Ю. Н. Ода как ораторский жанр. — В кн.: Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 151.

торг», характерное состояние для Ломоносова — оратора и автора од, определяет и ораторский стиль Радищева: «Сие изрек я в восторге, остановясь пред столпом, над тлением Ломоносова воздвигнутым» (I, 380). Писатель, однако, сам подчеркивает необычность предмета «слова»: «Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу» (I, 380).

Традиционный жанр используется совершенно по-новому, и эти найденные Радищевым возможности жанра затем становятся особенно ценны для декабристов-литераторов. Прежде всего, Радищев значительно расширил круг тем русской ораторской прозы. «Слово о Ломоносове», «Беседа о том, что есть истинный сын отечества», наконец, речи, произносимые отдельными персонажами в «Путешествии» (речь Крестьянкина, речь крестницкого дворянина, речи самого путешественника и др.), — все это образцы красноречия политического, где предметом обсуждения становятся самые разные стороны общественной жизни: положение крепостных, судопроизводство, воспитание и т. д. Собственно большая часть текста «Путешествия из Петербурга в Москву» сохраняет ораторские интонации. Это заметили уже современники Радищева, которые узнали в его книге «тон Мирабо и других бешеных Франции».²⁵ «Ораторский подъем, эмоциональное напряжение декламаций Руссо и Рейналя, языка Мирабо» Г. А. Гуковский справедливо считал одной из отличительных черт «Путешествия». «Та самая тенденция прямого воздействия на слушателя-читателя, — писал Гуковский, — понимание литературы не как „служения чистым музам“, а как выступления вдохновенного трибуна перед своими согражданами, которая оформилась в ораторском искусстве французской революции, толкала и Радищева на создание форм идеологически-ответственной и приподнятой речи».²⁶

Действительно, многие главы «Путешествия» написаны как тексты для публичного выступления. При этом произносительная сторона речи, ее интонация имели для Радищева немаловажное значение. Очень интересна в этой связи характеристика, которую Крестьянкин дает собственной речи: «...долго говорил хладнокровно. Но наконец содрогшееся сердце разлило свое избыточество. Чем больше видел я угождений в предстоящих, тем порывистее становился мой язык. Незыблемым гласом и звонким произношением возопил я наконец сице» (I, 278). Убедительность речи не только в ее содержании, логичности («ответствовал доводами»), но и в ее эмоциональности («порывистый язык», «незыблемый глас и звонкое произношение»). Ломоносовский

²⁵ Письмо А. Р. Воронцова от января 1791 г. — В кн.: Штранге М. М. Русское общество и французская революция. . . М., 1956, с. 76.

²⁶ Гуковский Г. А. Радищев как писатель. — В кн.: А. Н. Радищев. Материалы и исследования. М.—Л., 1936 (в дальнейшем: Гуковский), с. 190.

«восторг» уступает место иной главенствующей эмоции — негодованию, эмоции, пронизывающей всю книгу Радищева. Несмотря на принципиальные качественные различия этих эмоций, задача оратора остается прежней: он стремится передать свои чувства слушателям, заразить их своей взволнованностью, заставить их «сопереживать». Таким образом, проблема слушателя-«сочувственника» возникает перед каждым радищевским персонажем, выступающим в роли оратора.

Автор «проекта в будущем» из главы «Хотил» включает в свой текст многочисленные обращения, предназначенные скорее для слушателей, чем для читателей. Говоря о рабстве земледельцев, автор прерывает рассуждение экспрессивными восклицаниями: «О возлюбленные наши сограждане! о истинные сыны отечества! возрите окрест вас, и познайте заблуждение ваше» (I, 313). Из дальнейшего текста становится еще яснее, кому именно, какой аудитории адресован «проект». Развивая свои идеи, автор апеллирует к «просвещенному разуму» слушателей, в которых он видит людей образованных и гуманных, но находящихся под властью предрассудков. «Просвещенным вашим разумам истины сии (вопрос о праве земледельцев на обрабатываемую ими землю, — *Н. К.*) не могут быть непонятны, но деяния ваши в исполнении сих истин препинаемы <...> предрассуждением и корыстию. Неужели сердца ваши, любовью человечества полные, предпочтут корысть чувствованиям, сердце улаждающим?» (I, 315), — обращается автор к тем «согражданам», которым, как становится известно из его же слов, «в училищах преподали основания права естественного и права гражданского». Более того, автор иногда объединяет самого себя со слушателями, свойственные им слабости он принимает и на свой счет. «Я» и «вы», разделяющие оратора и аудиторию, при этом исчезают, их заменяет общее «мы». К этому единению автор постепенно подготавливает слушателей: «Все сказанное нами вам есть обычно, и правила таковые иссосали вы со млеком матерним. Един предрассудок мгновения, единая корысть (да не уязвитесь нашими изречениями), единая корысть отъемлет у нас взор и в темноте беснующим нас уподобляет» (I, 314). Автор постоянно смешивает употребление местоимений, но это смешение имеет не случайный, а принципиальный характер: оратор не обособляет себя от слушателей, но, напротив, временами как бы сливается с их толпой. Особенно важным выводам и заключениям соответствуют чаще всего местоимения «мы», «наш»: «выбор наш не будет затруднителен», «ответ получим мы от яростнейшего из всех», «да не скончаем жизни нашея, возмев только мысль благую, и не возможем ее исполнить». В этих случаях «мы» — не риторическая формула, заменяющая «я», а понятие, объединяющее оратора и слушателей.

Подобные приемы гражданского красноречия, блестяще использованные Радищевым, приобрели в свою очередь популяр-

ность и у декабристов. Прежде всего это можно заметить в произведениях, которые, как и радищевское «Путешествие», не являются образцами ораторской прозы в чистом виде, но включают ее элементы. Так, например, «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки отличаются особой приподнятостью тона, пафосом, характерным более для публичной речи, чем для дружеского письма или дневниковой записи. Отдельные отрывки «Писем» как бы предназначены для прочтения перед широкой аудиторией, к которой автор обращается с горячим патриотическим призывом: «Пусть разрушаются грады, пылают села, истребляются дома, исчезают спокойствие мирных дней, но пусть сия жертва крови и слез, сии стоны народа, текущие в облака вместе с курением пожаров, умиловивят, наконец, разгневанные небеса! Пусть постраждут области, но спасется Отечество! Вот общий голос душ, вот искренняя молитва всех русских сердец!».²⁷ Слово «мы» в «Письмах» Глинки оказывается многозначным: оно объединяет самого автора с его ближайшими товарищами по оружию («Мы ложимся и встаем под блеском зарев и громом перестрелок») и, более широко, со всеми участниками народной войны против Наполеона. «Мы», «наши» — становится синонимом понятия «русский народ», и некоторые строки Глинки звучат как слово оратора, выступающего перед народом и от имени народа: «Но войско наше кипит мужеством; но любовь к Отечеству овладела сердцами всего народа; но бог и Кутузов с нами — будем надеяться!».²⁸

Самые события 1812 г., вызвавшие всеобщий патриотический подъем, способствовали расцвету русского красноречия: пафос был вполне уместен и даже необходим, когда речь шла о героических делах и чувствах. Ораторские интонации очень естественно проникали почти во все произведения, посвященные войне с Наполеоном. Те черты, которые были отмечены в «Письмах» Глинки, оказываются характерны и для многих публицистических статей военного времени. Непосредственным обращением к «народу великодушному» начинается статья «Глас русского», целиком построенная как патриотическая речь. Подчеркивая единство интересов своих читателей (или слушателей), автор заявляет: «Отныне мы должны видеть во всех поборниках Наполеона не только общих врагов России, но каждый из нас должен почитать

²⁷ Г л и н к а Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1870, с. 12. — Интересное соответствие этому отрывку из «Писем» Глинки можно найти в «Послании к русским» А. Куницына: «Пусть нивы наши порастут тернием, пусть села наши опустеют, пусть грады наши падут в развалинах; сохраним единую только свободу, и все бедствия прекратятся» (Сын отечества, 1812, № 5, с. 180). «Послание» Куницына датировано 28 октября 1812 г.; запись Глинки относится к 8 августа 1812 г., но могла быть вставлена и позднее. Едва ли речь может идти о прямом заимствовании; скорее всего это любопытный пример сходного использования ораторских формул для выражения общераспространенных в это время идей.

²⁸ Г л и н к а Ф. Н. Письма русского офицера, с. 39.

каждого из сих диких Европы личным врагом, похитителем нашей собственности, обогранным кровью наших родных и ближних». ²⁹

Проблеме слушателей-друзей, слушателей-единомышленников, составляющих вместе с оратором единое «мы», литераторы-декабристы уделяют большое внимание и позднее. В речи на годичном собрании Вольного общества любителей российской словесности 29 декабря 1824 г. Ф. Н. Глинка излагает одно восточное предание, повествующее о том, как местоимения «я», «ты» и «он» составляли когда-то одно целое, а затем «прихотливый я» возобладал над прочими братьями». «Тогда некий мудрец, — продолжает Глинка, — сжался над заблужденными, восстановил опять раздвинутые части в одно новое *целое* и назвал его местоимением *мы*. С тех пор пали уже навсегда всякие *личности*, и осталось одно *общее благо*». ³⁰ Далее оратор обращается к «любезным сочленам» с призывом: «Да будет между нами слово *мы* общим соединителем всех трех личных местоимений!». ³¹

В речи, произнесенной в Киевском отделении Библейского общества 11 августа 1819 г., М. Ф. Орлов намеренно обращается к враждебно настроенным слушателям как к друзьям, единомышленникам. «Я буду говорить наипаче для тех людей, — заявляет Орлов, — кои, образованные положительными познаниями, ищут во всяком предмете не воображительной красоты, но существенной пользы». ³² Контакт с аудиторией оратор устанавливает почти с первых слов, а затем искусно укрепляет его, стремясь внушить слушателям, что они его единомышленники: «Все мы желаем, все мы ищем образования отечественного, не того, которое родится от гордого умствования и порождает беззаконие, но того, которое ведет к познанию всех наших обязанностей гражданских и духовных». ³³

Таким образом, декабристы удачно используют те же методы убеждения, которыми пользовался в свое время Радищев. При этом сходство состоит не в формальном копировании приема; оно имеет более глубокие корни. Наиболее радикально настроенным декабристам было близко радищевское понимание патриотизма, решительно не совпадавшее с патриотизмом казенным. Радищев впервые со свойственной ему смелостью показал, что любовь к отечеству вовсе не предполагает любви к государю.

«Беседа о том, что есть сын отечества» была напечатана уже в измененном цензурю виде, ³⁴ но и сохранившийся текст дает

²⁹ Сын отечества, 1812, № 2, с. 50.

³⁰ Соревнователь просвещения и благотворения, 1825, № 2, с. 214.

³¹ Там же, с. 215.

³² Орлов М. Ф., с. 46.

³³ Там же, с. 49—50.

³⁴ Об истории напечатания «Беседы» см.: Записки Сергея Алексеевича Тучкова. СПб., 1908, с. 42. — Возможно, что «Беседа» — не оригинальное произведение Радищева, а перевод, но и в этом случае здесь нашли отра-

представление о взглядах Радищева. Сопоставление «Беседы» с позднейшими произведениями декабристов правомерно постольку, поскольку речь идет не о частных заимствованиях, а об общей идейной направленности; постольку, поскольку «Беседа» входит в систему радищевских представлений и соотносится с другими произведениями Радищева, безусловно известными декабристам.

«Беседа» Радищева была напечатана в том же 1789 г., когда уже не первым изданием вышла в русском переводе книга прусского короля Фридриха II «Письма о любви к отечеству». Брани «суетные мысли» энциклопедистов, которые «худо понимали о любви к отечеству», коронованный автор без лишней скромности писал: «Государь есть та верховная особа, которая вместо правил одну свою имеет волю. А посему должно взирать на него так, как на средоточие, где все линии окружности заключаются».³⁵

Такое понимание патриотизма культивировалось и при дворе Екатерины II: любить отечество означало прежде всего любить государыню. Позднее те же формулы были применены официозной публицистикой к Александру, особенно во время и после войны 1812 г. В «Беседе» Радищева вопрос об отношении патриота к государю решен совершенно иначе, хотя и с некоторой осторожностью, вызванной, по-видимому, давлением цензуры. Перечисляя качества, которыми должен обладать истинный сын отечества, автор, в частности, пишет о том, что патриот «все силы и старания свои к тому единственно устремляет, чтобы, повинаясь законам и блюстителям оных, предрержащим властям, как всего себя, так и все, что он ни имеет, не почитать иначе, как принадлежащим Отечеству, употреблять оное так, как вверенный ему залог благоволения Соотчичей и Государя своего, который есть Отец Народа, ничего не щадя для блага Отечества» (I, 221—222). Повиновение «предрержащим властям» оказывается необходимо в том случае, если они выступают блюстителями законов. О любви к государю в «Беседе» вообще не говорится, и са-

жение идеи, важные для русского писателя. Насколько «Беседа» была известна декабристам — вопрос, требующий специального исследования. «Статья эта была опубликована без подписи в малораспространенном журнале, авторство Радищева было раскрыто лишь в 1908—1909 гг., и мы не располагаем никакими данными о том, попала ли эта работа в поле зрения деятелей двадцатых годов», — справедливо пишет Ю. М. Лотман. Между тем здесь же исследователь говорит о личном знакомстве Пушкина с С. А. Тучковым, мемуары которого послужили источником атрибуции «Беседы». Сведения, находившиеся в распоряжении Тучкова, вполне могли стать известны и другим писателям, проявлявшим интерес к творчеству Радищева. (См.: Лотман Ю. М. Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819—1822). — В кн.: Пушкин и его время. Вып. I. Л., 1962, с. 63).

³⁵ Фридрих II. Письма о любви к отечеству. М., 1789, с. 19. — До этого «Письма» Фридриха в русском переводе издавались дважды: в 1779 и 1780 гг.

мое это умолчание достаточно красноречиво. Правда, государь назван «Отцом Народа», но речь идет здесь не о непреложном достоинстве любого государя, а о качестве, которым *должен* обладать государь.

В «Беседе» у Радищева вырисовывался новый облик сына отечества, и этот облик решительно отличался от пропагандированного в официальных кругах идеала. Еще более глубоко и последовательно радищевское понимание патриотизма было выражено в «Путешествии из Петербурга в Москву». В главе «Спаская полевсть» Истина, являющаяся государю, обещаая открыть ему все вещи «в естественном их виде», говорит: «Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя, не тебя любят, но любят отечество, которые готовы всегда на твое поражение, если оно отмстит порабощение человека» (I, 252—253). Допуская возможность, что сам государь оказывается не Отцом народа, а его тираном, Радищев учит истинного патриота видеть в этом государе главного врага отечества. Такой подход к вопросу о патриотизме вполне соответствовал убеждениям писателя-революционера, призывавшего не к повиновению, а к протесту.

Приверженцами этих идей Радищева выступили в самом начале XIX в. наиболее радикально настроенные члены Дружеского Литературного общества: Андрей Тургенев и Андрей Кайсаров. Одно из заседаний этого Общества было специально посвящено Отечеству, и Андрей Тургенев произнес речь, в которой «пламенная проповедь любви к родине сливалась с политическим вольномыслием». ³⁶ «Цари хотят, чтоб пред ними пресмыкались во прахе рабы, пусть ползают пред ними льстецы с мертвою душою, здесь пред тобою, — говорил Тургенев, обращаясь к отечеству, — стоят сыны твои! Благослови все предприятия их!» ³⁷ В этих словах содержатся радищевские идеи, слышатся радищевские интонации.

Естественно, что в разные периоды у деятелей декабристского движения были различные представления о патриотическом долге. ³⁸ Нередко разорванная Радищевым формула «бог, царь и отечество» снова срасталась.

В некоторых выступлениях на собраниях Вольного общества понятие «сын отечества» сливалось с понятием «достойный (т. е. верный, — Н. К.) подданный». ³⁹ Объединение или разграничение этих понятий было принципиально важно, так как это отражало изменение в самой декабристской тактике: «от тактики воздей-

³⁶ Лотман Ю. М. Андрей Сергеевич Кайсаров. . . , с. 67.

³⁷ Литературное наследство. Т. 60, ч. I, с. 336.

³⁸ См.: Пугачев В. В. Испанский «Гражданский катехизис» и В. К. Кюхельбекер в 1812 г. — В кн.: Русско-европейские литературные связи. М.—Л., 1966, с. 109—114.

³⁹ См., например, речь С. П. Салтыкова на собрании 28 февраля 1821 г.: Соревнователь просвещения и благотворения, 1821, № 3, с. 421.

ствия на общественное мнение, на правящий класс и правительство к тактике „военной революции“». ⁴⁰

Однако по мере вызревания декабристской идеологии радикальское понимание патриотизма находило все больше сторонников.

Одним из наиболее блестящих и принципиальных выступлений по этому вопросу была «Речь на заседании Общества соединенных славян» М. П. Бестужева-Рюмина, произнесенная в сентябре 1825 г. в Лещине. Восстановленный по памяти самим автором текст начинался следующими словами: «Век славы военной кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства, и неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно отечественной, — русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе?». ⁴¹ Напоминание о войне 1812 г. и связанном с ней патриотическом подъеме было очень важно для оратора. Таким же, как Наполеон, может быть даже более опасным, оказывается собственное правительство, которому «все люди, благородно мыслящие, ненавистны». Закономерным продолжением борьбы с врагом, посягавшим на свободу и независимость Отечества, становится гражданская война: Бестужев-Рюмин апеллирует именно к патриотическим чувствам своих слушателей, призывая их к совершению государственного переворота во имя «спасения отечества». Преемственность, существующая между Радищевым и декабристами, обнаруживается здесь особенно ясно: и для них и для автора «Путешествия» истинным патриотом был тот, для кого любовь к отечеству неотделима от любви к свободе.

Новое представление о патриотизме получало постепенно распространение и в солдатских массах. В прокламации, найденной на дворе Преображенских казарм в 1820 г., царь был назван «злодеем», врагом отечества, и солдатам разъяснялось, в чем состоит их патриотический долг: «Вы защищаете отечество от неприятеля, а когда неприятели нашлись во внутренности отечества, скрывающиеся в лице царя и дворян, то безотменно сих явных врагов вы должны взять под крепкую стражу и тем доказать любовь свою друг к другу». ⁴²

Для каждого писателя-трибуна важно было не только найти «сочувственников», друзей среди слушателей, но и выразить свое отношение к тем, кто оставался «не с нами». Для Радищева эта сторона вопроса всегда оставалась первостепенной, и потому обличительный пафос пронизывает все его творчество. Уже

⁴⁰ Пугачев В. В. Эволюция общественно-политических взглядов Пушкина. Горький, 1967, с. 98.

⁴¹ Декабристы, с. 502.

⁴² Там же, с. 471.

в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске» (1782) Радищев, обращаясь к Петру I, произносил гневную филиппику против льстецов и раболепствующих: «*О Петр!* Когда громкие дела твои возбуждали удивление и почтение к тебе, из тысячи удивлившихся великости твоего духа и разума, был ли хотя один, кто от чистоты сердца тебя возносил. Половина была ласкателей, кои во внутренности своей тебя ненавидели и дела твои порицали, другие, объемлемые ужасом беспредельно самодержавных власти, раболепно пред блеском твоея славы, опускали зеницы своих очей» (I, 148).

Значительная часть «Беседы о том, что есть сын отечества», посвящена характеристике тех, кто служит отрицательным примером, кто недостойн носить имя патриота. Настоящим сыном отечества, по убеждению Радищева, не может быть человек с психологией раба, не может быть им и «терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством» (I, 217). Тираны, неправедные судьи, подлые и трусливые льстецы — все они предстают в «Путешествии» Радищева как противники Истины, Вольности и Просвещения. Этот дорогим для писателя понятиям противостоит другой ряд: «ласкательство», «жест самовластия», «мрак невежества».

Зло, против которого ополчался Радищев, оставалось злом и для писателей-декабристов. Выразительную характеристику «политических староверов», противников Просвещения, дал в своей речи М. Орлов: «Любители не древности, но старины, не добродетелей, но только обычаев отцов наших, хулители всех новых изобретений, враги света и стражи тьмы, они суть настоящие отрасли варварства средних веков».⁴³ Эта тирада во многом напоминает выступления Феофана Прокоповича против врагов петровских реформ, однако Орлов дополняет эту характеристику, по-радищевски заостряя ее социальный смысл: поборники старины считают, что «люди разделяются на две части: одна, назначенная для рабского челобития, другая — для гордого умствования в начальстве».⁴⁴

Еще ближе к Радищеву оказывается Рылеев, который объединял понятие «враг просвещения» с понятием «друг тиранов», «защитник деспотизма» в речи, произнесенной, как полагает В. Г. Базанов, в Вольном обществе осенью 1822 или в начале 1823 г.⁴⁵

«Нарушителями прав природы» называет работяг Д. Сахаров в «Речи об успехах Просвещения».⁴⁶ С уважением оратор упоминает о «красноречивом пере Рейналя», выступившего

⁴³ Орлов М. Ф., с. 48.

⁴⁴ Там же, с. 49.

⁴⁵ Базанов В. Г. Ученая республика. М.—Л., 1964, с. 284—288.

⁴⁶ Соревнователь просвещения и благотворения, 1819, № 12, с. 5.

против «торга несчастными». В свое время Радищев также упоминал Рейналя и даже цитировал его в «Путешествии», а продажу людей в рабство называл «варварским обычаем» (I, 351).

В стане поборников тьмы и невежества, врагов просвещения и вольности, по убеждению Радищева, оказываются и служители церкви: они «были всегда изобретатели оков, которыми отягчался в разные времена разум человеческий, <...> они подстригали ему крылья, да не обратит полет свой к величию и свободе» (I, 336). Выступая против официальной церкви как силы, «гнетущей общество», Радищев репительно не соглашается видеть божественного палача в царе: «Возгнущается метатель грома и молнии, ему же все стихии повинуются, возгнущается колеблющий сердца из-за пределов вселенных, дать мстити за себя и самому царю, мечтающему быть его на земле преемником» (I, 332). Радищев, таким образом, искусно разделил понятия «верный христианин» и «верный подданный», понятия, которые так стремились слить воедино все российские государи.

Дальнейшее разделение и даже противопоставление этих понятий последовательно проводится декабристами. Христианство приобретает у них совершенно особый характер: говоря об обязанностях христианина, декабристы-ораторы призывают не к смирению и покорности, а к активной гражданской деятельности. Выступая в Библейском обществе, М. Орлов показал блестящий пример проповеди совершенно нового качества. Божественным авторитетом оратор подкрепил свои конкретные предложения об организации взаимного обучения: «В то же самое время, когда взаимное обучение начинает распространяться в России, сам бог, конечно, допустил Библейское общество довершить перевод Евангелия, как будто бы хотел показать, на чем должно основать общее просвещение».⁴⁷ О том, какое сильное впечатление на современников произвела речь Орлова, свидетельствует письмо П. А. Вяземского, который писал А. И. Тургеневу 29 августа 1819 г.: «Читал ли ты библейскую речь Орлова?.. Я никак не понимаю, что дали ему киевские чернокнижники читать это. Как ловко отделался он от церковного пустословия: текстов, Моисеев, духовных гладов и прочего, и прочего. Ну, батюшка, оратор!.. Я в восхищении от этой речи и все еще в надежде, что она так с рук ему не сойдет».⁴⁸

Новое понимание христианского долга, новое представление о боге стремились внушить слушателям М. Бестужев-Рюмин в своем «Проекте воззвания к народу». «Все бедствия русского народа происходили от самовластного правления. Оно рушилось. Смертью тирана бог ознаменовывает волю свою, дабы мы сбросили с себя узы рабства, противные закону христианскому»,⁴⁹ —

⁴⁷ Орлов М. Ф., с. 50.

⁴⁸ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I. СПб., 1899, с. 299.

⁴⁹ Декабристы, с. 502.

говорилось в «Проекте», предназначавшемся, разумеется, для публичного оглашения.

Подобные же идеи развивались в «Православном Катехизисе» С. Муравьева-Апостола, прочитанном 14 декабря 1825 г. солдатам и народу на городской площади. На вопрос «Какое правление сходно с законом Божиим?» ответ давался достаточно ясный и решительный: «Такое, где нет царей. Бог создал всех нас равными и, сошедши на землю, избрал апостолов из простого народа, а не из знатных и царей».⁵⁰ Самое избрание царей оказывается «противно воле Божией, яко един наш царь должен быть Иисус Христос». Как у Радищева, царь предстает незаконным узурпатором власти, принадлежащей богу, нарушителем божественных предначертаний.

Самый процесс чтения приобрел при этом характер театрального действия. Характерно прежде всего, что Муравьев-Апостол не сам читал «Катехизис», а попросил это сделать священника. «Священник читал громким и внятным голосом правила и обязанности свободных граждан», — описывает эту сцену И. И. Горбачевский. После обращения Муравьева к солдатам «священник приступил к совершению молебна. Сей религиозный обряд произвел сильное впечатление. Души, возвышенные опасностью предприятия, были готовы принять священные и таинственные чувства религии, которые проникли даже в самые нечувствительные сердца. Действие сей драматической сцены было усугублено неожиданным приездом свитского офицера, который с восторгом бросился в объятия С. Муравьева».⁵¹

Торжественный, освященный традицией обряд, восторженные объятия двух офицеров на глазах окружающей их толпы — все это составляло некое единство с текстом «Катехизиса». Эмоциональное воздействие на слушателей, о котором мечтал Радищев (вспомним «пезыблемый глас и звонок произношение» Крестьянкина), становилось теперь реальной силой, и действенность ораторского слова обнаруживалась со всей очевидностью.

Стремление декабристов-ораторов придать своим выступлениям характер проповеди было связано во многом с тем, что традиции русского духовного красноречия сохраняли еще свою силу. В «Слове о Ломоносове» Радищев упоминал о русских «красноречивых пастырях церкви», «которые, возвещая слово божие пастбе своей, ее учили, и сами словом своим славились» (I, 390). В главе «Хотил» автор «Проекта в будущем» прямо ссылается на тех церковных проповедников, которые, выступая против рабства, оказываются единомышленниками оратора. Обращаясь к «истинным сынам Отечества», он говорит им: «Служители божества предвечного, подвизаемые ко благу общества и ко блажен-

⁵⁰ Там же, с. 500.

⁵¹ Горбачевский И. И. Записки. Письма. М., 1963, с. 71.

ству человека, единомыслием с нами (курсив мой,— Н. К.), изъясняли вам в поучениях своих во имя всецедрого бога, ими проповедуемого, колико мудрости его и любви противно властвовать над ближним своим самопроизвольно». Далее автор как бы передает слово непосредственно этим проповедникам: «Еще глас их торжественно во храмах <...> вопиет громко: опомнитесь заблудшие, смягчитесь жестокосердные, *разрушьте оковы братии вашей, отверзите темницу неволи и дайте подобным вам вкусити сладости общежития*, к нему же всецедрым уготованы, яко же и вы» (I, 313). Приведенный отрывок, особенно выделенные курсивом фразы — это революционный лозунг, облеченный в форму проповеди, — тот же прием, которым впоследствии воспользовались декабристы.

Радищев высоко ценил ораторский талант митрополита Платона (Левшина), его умение овладевать аудиторией. Имея в виду речь Платона по случаю победы над турецким флотом под Чесмой в 1770 г., Радищев вспоминает эпизод, когда оратор сошел с кафедры и, коснувшись гробницы Петра I, обратился к нему со словами: «Восстань теперь, великий монарх, отечества нашего отец! Восстань и воззри на любезное изобретение твое, оно не истлело от времени, и слава его не помрачилась. Восстань и насладися плодами трудов твоих».⁵² «Очарованное тобою ухо,— писал о Платоне Радищев, — очаровало по чреде око, когда казалось всем, что приспевый ко гробу Петрову, воздвигнути его желаешь, силою вышшею одаренный» (I, 390). Этот пример был важен для Радищева как пример, демонстрировавший возможности человеческого слова, «очаровывающего» не только ухо, но и покоряющего все воображение слушателей. Радищев по-своему использовал опыт наиболее талантливых русских церковных риторов: их ораторские приемы и, главное, самый словесный материал. Славянизмы и библеизмы, которыми изобилует язык Радищева, значительно способствовали созданию торжественно-приподнятого проповеднического слога «Путешествия».

Г. А. Гуковский справедливо заметил, что славянизм у Радищева «явился носителем одновременно двух функций: с одной стороны, он был проявлением проповеднической функции, связанной с традиционным значением церкви как агитатора и центра филологической культуры, с другой стороны, он был признаком национальным, поскольку славянская речь едва ли отличалась в сознании, ее культивировавшем, от древнерусской».⁵³ К этому можно прибавить, что самая «негладкость» речи, возникавшая из-за нарочитого употребления славянизмов и устаревших синтаксических конструкций, была своеобразным литературным принципом Радищева, который с большим вниманием относился к вопросам языка. Писатель неизменно соотносил свойства языка

⁵² Платон. Поучительные слова. Т. II. М., 1780, с. 282.

⁵³ Гуковский, с. 189.

с общественными сторонами жизни того народа, который говорит на нем. Так, Радищев замечает о древних римлянах: «Исполненные духа вольности, сии властители Царей упругость своєю души изъявили в своем речении» (I, 179). Крестницкий дворянин разъясняет, почему он учил своих детей латинскому и английскому языкам, следующим образом: «Ибо упругость духа вольности, переходя в изображение речи, приучит и разум к твердым понятиям, столь во всяких правлениях нужным» (I, 289). Соответственно и в русском языке писатель стремился найти «благотворную шероховатость», неизбежную, по его мнению, для раскрытия истины, для выражения скорби и протеста против поругания прав человека.

Радищевское отношение к языку было по-своему перенято и декабристами. Наиболее яркое свидетельство этому — речь В. К. Кюхельбекера о русской литературе и русском языке, прочитанная в Париже в июне 1821 г. Отмечая влияние идей Радищева на речь Кюхельбекера, В. Г. Базанов писал: «Слово о русском языке было в то же самое время словом о русском народе, об Александре Невском и новгородских республиканцах, о борьбе русского народа за свою национальную независимость и политическую свободу».⁵⁴ Характерно также, что, как и Радищев, Кюхельбекер стремился показать зависимость, существующую между языковыми формами и общественным укладом. «Древний славянский язык, — говорил Кюхельбекер, — превратился в русский в свободной стране; в городе торговом, демократическом, богатом, любимом, грозном для своих соседей, этот язык усвоил свои смелые формы, инверсии, силу — качества, которые без подлинного чуда не могли бы никогда развиваться в порабощенной стране. И никогда этот язык не терял и не теряет память о свободе, о верховной власти народа, говорящего на нем».⁵⁵

Самое обращение к теме Вольного Новгорода, столь характерное для декабристов, было связано с традицией, сложившейся в русской литературе XVIII в. В создании этой традиции Радищев принимал самое непосредственное участие. В частности, в главе «Новгород» автор «Путешествия» с явным сочувствием писал о новгородском «народном правлении» и осуждал Ивана Васильевича, «гордого, зверского» властителя, поправшего свободу новгородцев.

Хотя речь Кюхельбекера была написана и прочитана по-французски, в текст ее было включено одно русское слово — «вольность». «Доныне слово вольность (тут же Кюхельбекер дает и французский перевод этого слова, произнесенного по-русски, — „liberté“, — *Н. К.*) действует с особой силой на каждое подлинно

⁵⁴ Базанов В. Г. Ученая республика, с. 158.

⁵⁵ Литературное наследство. Т. 59. М., 1954, с. 375. (Публикация П. С. Бейсова).

русское сердце».⁵⁶ Это выделение слова, столь важного и значительного для Радищева, очень характерно.

Слова «вольность» и «истина» становились словами-сигналами не только в поэзии декабристов,⁵⁷ но и в их ораторской прозе. В своей речи на полугодичном собрании Вольного общества любителей российской словесности 29 декабря 1819 г. Ф. Н. Глинка говорил, обращаясь к участникам заседания: «И могу ли быть достоин лестного права именоваться сочленом вашим, если голос святой истины покажется мне оскорбительным?».⁵⁸ О «незаходящем свете истины» говорил Н. И. Гнедич в своей речи 1821 г. М. Орлов «обнажал слово истины против бессмысленных врагов просвещения», и слово «истина» в его контексте приобрело значение, близкое к тому, которое ему придавал Радищев. Истина — обвинительница тиранов, Истина, один вид которой «есть наижесточайший бич на заблуждение» (I, 337). «Истина, — писал Радищев, — есть вышшее для нас божество и если бы всемогущий восхотел изменить ее образ, являясь не в ней, лице наше будет от него отвращенно» (I, 390).

Круг ассоциаций, связанных с одними и теми же словами-сигналами, не мог, однако, полностью совпадать у Радищева и у декабристов, особенно если учесть, как разнообразны, а иногда и противоречивы были взгляды литераторов, связанных с декабристским движением.

Два-три десятилетия, отделявшие «Путешествие из Петербурга в Москву» от произведений декабристов-литераторов, были годами интенсивного роста русского общественно-политического и национального самосознания, годами не менее интенсивного роста русской литературы. За это время во многом изменились и эстетические критерии, и жанровая система, и, наконец, литературный язык. В ораторской прозе декабристов был использован и опыт Карамзина как «краспоречивого писателя». Радищев и некоторые писатели-декабристы стремились намеренно архаизировать свою речь. Но степень этой архаизации не могла уже быть одинаковой: многие слова и обороты, выделявшиеся уже в языке Радищева как архаизмы, должны были казаться совершенно устаревшими на фоне литературной речи 1810—1820-х годов. Между тем убедительность и успех речи зависели от ее доступности для слушателей; потому и проблема языка для декабристов-ораторов имела первостепенное значение. Библиизмы и славянизмы в ораторской прозе декабристов сохраняли те же функции, что и у Радищева, однако отбор устаревших слов проводился более строго, а главное — гораздо проще становился синтаксис (отказ от употребления дательного простоятельного и прочих архаичных конструкций). Вполне закономерно, что

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ См.: Гофман, с. 41—47.

⁵⁸ Соревнователь просвещения и благотворения, 1820, № 1, с. 105.

речь А. С. Шишкова «О древности и превосходстве русского языка пред другими в звукоподражательном и логическом отношении» (1821) вызвала к себе критическое отношение А. Бестужева, который «не разделял мнения Шишкова о старославянском наречии как о главном источнике современного русского языка».⁵⁹

Ориентируясь на современного им слушателя, декабристы создавали новые традиции русского политического красноречия. Однако основой для этого служил опыт их предшественников, прежде всего опыт Радищева, как писателя-трибуна, писателя-революционера. «Возгремит не твоим хотя слогом, но будет твой воспитанник», — писал Радищев о Ломоносове и о его неведомом будущем преемнике в области красноречия. Радищев сам выступил как «воспитанник» Ломоносова, а его «воспитанниками» в свою очередь стали декабристы.

⁵⁹ См.: База нов В. Г. Ученая республика, с. 226.

А. Е. ХОДОРОВ

УКРАИНСКИЕ СЮЖЕТЫ ПОЭЗИИ К. Ф. РЫЛЕЕВА

I

Замысел поэмы Рылеева о политическом ссыльном в Сибири относится, как известно, к 1823 г. Определился он не сразу. Наметки воплощения этой темы, чрезвычайно важные для творческой истории будущего «Войнаровского», мы найдем в текстах, относящихся к замыслу «Меншикова в Березове».¹ Но уже в 1823 г. внимание поэта было поглощено сюжетами, связанными с украинской историей. В русском обществе в то время наблюдается возросший интерес к Украине, ее прошлому и культуре. Связи Рылеева с такими знатоками и пропагандистами истории и фольклора Украины, как декабристы А. О. Корнилович, П. А. Муханов и А. Ф. Бригген или члены Вольного общества любителей российской словесности О. М. Сомов, Н. А. Цертелев, наконец, личное общение поэта с украинцами во время его пребывания на юге Воронежской губернии в 1817—1820 гг., закрепленное поездкой на Украину в 1822 г., — все это содействовало его намерению избрать для будущей поэмы украинский сюжет.

К тому же именно в то время Рылеев подчиняет свое художественное творчество политической программе Тайного общества, деятельнейшим членом которого становится. Его основная идея — «борьба свободы с самовластьем». Для художественного воплощения этой идеи личность императорского фаворита Меншикова как героя поэмы подходила менее всего. Замысел поэмы из петровских времен остался, однако герой потребовался другой.

Так выкристаллизовался замысел «Войнаровского». Эта поэма, выросшая непосредственно из думы, во многом сохранила

¹ Характеристику этих текстов см. в комментарии А. В. Архиповой к кн.: Рылеев К. Ф. Полн. собр. стих. Л., 1971 («Б-ка поэта». Большая серия) (в дальнейшем: Рылеев), с. 458—459.

признаки этого оригинального жанра, сыгравшего в творчестве Рылеева столь значительную роль при подготовке большой лиро-эпической формы. Именно через думу Рылеев осваивал тип лирического повествования о судьбе одного героя.

Любопытно отметить, что в числе тех дум, которые были наиболее важными для становления будущей поэмы, оказались два произведения, вызванные к жизни украинской тематикой. Баллада, существеннейшее звено в родословной романтической поэмы (как в западноевропейской, так и в русской литературе), не была характерна для Рылеева. И все же соприкосновения с балладной традицией поэт избежать не мог. Более всего сказало это в думе «Богдан Хмельницкий». По сравнению с каноническим образцом думы как жанра, охарактеризованного Пушкиным, в «Богдане Хмельницком» усилен повествовательный элемент, что вызывает аналогию именно с ведущим лиро-эпическим жанром средней формы, т. е. с балладой. Значение монолога героя — этого важнейшего компонента думы, несущего ее основную идейную и сюжетную нагрузку, — в этом произведении хоть и велико, но не исключительно, не меньшее место в его композиции занимают диалог Хмельницкого и жены Чаплицкого да и самая история освобождения героя из темницы (типично балладный сюжетный ход, известный и в народной поэзии, и в литературе задолго до Байрона, поэтому напрашивающаяся аналогия с «Корсаром» далеко не безусловна). Поворотный момент сюжета этой думы — появление в темнице женщины, которое приводит к крутому изменению судьбы героя. Если монолог, например, Дмитрия Донского по своему содержанию уже предопределяет завершающую эту думу победу в сражении, то монолог Богдана такой функции не имеет. Финал этой думы сюжетно обусловлен кульминационной сценой с полячкой. Любовная коллизия, осложняющая сюжет «Богдана Хмельницкого», не является, конечно, центральной, но все же это — полноправная линия произведения.

Еще ближе подошел Рылеев к будущему «Войнаровскому» в думе «Петр Великий в Острогжске». И отнюдь не потому, что в ней мы впервые в рылеевской поэзии (если не считать набросков ранней драмы) сталкиваемся с Мазепой — человеком, которому было суждено занять в произведениях Рылеева столь значительное место. Не Мазепа и не Петр, а городок Острогжск — подлинный герой этой думы. Именно сосредоточение основного внимания автора на описаниях — сначала свиты гетмана и атрибутов его власти, а затем на финальном, лирически окрашенном описании «городка уединенного» — предварило те зарисовки в рылеевских поэмах, которые, как и «Петр Великий в Острогжске», получили высокую пушкинскую оценку.

Эта тенденция нашла воплощение в первоначальном варианте поэмы «Войнаровский», с его развернутыми этнографическими сценами (впоследствии поэт от этого варианта отказался, сократив описание до минимума).

В «Войпаровском», как и в думах, все компоненты художественной структуры произведения подчинены центральному персонажу. Отсюда построение поэмы, канвой которой является биография Войнаровского, а также повышенное внимание к внутреннему состоянию, душевным переживаниям героя.

Это нашло свое выражение в том, что в поэме сохранена характерная сюжетная и композиционная роль монолога, однако есть и существенное различие: теперь монолог — не только способ выражения переживаний героя или простой рассказ о событиях, но и средство их изображения (бой ватаги гайдамаков с поляками и татарами, сцена бегства после поражения под Полтавой, бендерские сцены). К тому же во время монолога Войнаровский несколько раз передает слово Мазепе, что местами создает иллюзию диалога. Так традиционный для Рылеева монолог приобретает новые качества, приближаясь к непосредственному изображению и объективному повествованию более поздних поэм.

В «Войнаровского» переходят и такие художественные принципы думы, как хронологическая последовательность событий, выдержанная здесь в пределах монолога, а также герой-слушатель. Здесь образ Миллера, однако, по сравнению с аналогичными образами дум видоизменяет свою функцию. Это не статич, встреча с ним — художественное обоснование пространной речи Войнаровского, после долгого одиночества открывающего душу первому встретившемуся ему за долгие годы в полудиких местах образованному человеку. Благодаря Миллеру монолог, носивший в думах подчеркнuto назидательный характер — хотя бы потому, что не был оправдан ситуацией, — теперь композиционно мотивирован. Сохраняется в «Войнаровском» и принцип сочетания специфического словаря просвещения и французской революции с внеполитическими атрибутами высокого стиля гражданской поэзии. Здесь он обогащен новациями лексики и синтаксиса романтической поэмы первой четверти века,² а также диалектизмами в этнографических сценах (существеннейший момент овладения эстетическим арсеналом романтиков).

Наконец, в литературе о Рылееве неоднократно и справедливо отмечалось то главное, что внес он в развитие русской романтической поэмы, — новый тип конфликта и новый тип героя. «Войнаровский» — политическая поэма с подчеркнuto заостренным гражданским содержанием, и общественная мотивировка личности и поступков героя — не фон развития сюжета, не его «подтекст» или предыстория, а его основа. При этом важно отметить, что возможность до некоторой степени отождествить героя с автором — не результат влияния традиций классицизма (о чем писал еще Н. Котляревский), а именно проявление романтического субъективизма, дававшего поэту широкую возможность

² См.: Соколов А. Н. Очерки по истории русской поэмы XVIII—1-й половины XIX века. М., 1955, с. 567.

передавать герою свои мысли и чувства без потери индивидуальности. Это характерно не только для поэмы революционно-героического характера, но и для романтической поэмы вообще. Б. Гальстер совершенно справедливо отмечает, что как Пушкин в «Кавказском пленнике» отражал настроения и мотивы своих романтических элегий, так и Рылеев в «Войнаровском» выражал настроения своей общественно-политической лирики.³ Это, на наш взгляд, главное и принципиальное проявление типологической общности русской романтической поэмы первой четверти XIX в.

Претворение замысла политической поэмы в жизнь Рылеев проводил весьма последовательно. Для ее идейного единства поэт жертвовал в процессе работы отдельными эпизодами, которые сами по себе были художественно выигрышными и сильными (ряд описаний в «сибирской» части поэмы, история взаимоотношений Мазепы и Кочубея). Любовная интрига в «Войнаровском» очень важна для сюжета, но самостоятельного значения не имеет. Она всецело поглощена ведущей тенденцией поэмы и должна лишь ярче оттенить в первой части гражданские чувства главного героя, а во вторую ввести мотив «жены-гражданки».

Но эпическое произведение даже такого типа, как «Войнаровский», не может быть всецело «поэмой одного героя». В ней активно действует и другой.

II

Одним из самых сложных вопросов изучения рылеевской поэзии является истолкование образа Мазепы в «Войнаровском». Мазепа — не главный герой этой поэмы, его место в ней определено той ролью, которую ему было суждено сыграть в судьбе Войнаровского, и тем не менее эта фигура весьма важна для понимания идейного содержания «Войнаровского», тем более что к образу Мазепы Рылеев постоянно возвращался на протяжении всего своего творческого пути.

Мнения по этому поводу высказывались и высказываются самые различные. Большинство исследователей склоняются к тому, что Рылеев колебался в оценке личности украинского гетмана и не был последователен в ней до конца (Н. А. Котляревский, К. В. Пигарев, А. Г. Цейтлин, В. Г. Базанов, А. В. Архипова). Есть, однако, и уклонения от подобной трактовки в ту или иную сторону. Одно из них восходит еще к отзывам современников Рылеева. П. А. Катенин упрекал поэта в том, что тот вывел «подлеца и плута Мазепу каким-то Катоном».⁴ В. И. Маслов в своем исследовании склоняется к тому, что Рылеев воспринимал Мазепу как героя национально-освободительного движения, борца за сво-

³ Galster B. Tworzcosc Rylejewa na tle pradów epoki. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1962 (в дальнейшем: Galster), с. 102.

⁴ Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. СПб., 1911, с. 86.

боду Украины; на той же точке зрения стоит и Д. Д. Благой.⁵ Но имеется и диаметрально противоположная точка зрения. Она высказана Б. В. Нейманом: поэт-декабрист в «Войнаровском» резко и бесповоротно осудил Мазепу как низкого честолюбца и интригана.⁶ Этот взгляд весьма решительно и с подробной аргументацией развил А. М. Гуревич.

А. М. Гуревич считает, во-первых, что иной взгляд противоречит тексту поэмы, ибо Рылеев паделил Войнаровского сомнениями в справедливости дела Мазепы и честности его побуждений, а самого Мазепу — муками совести и страхом перед смертью, что, по мнению исследователя, изобличает в рылеевской поэзии героя отрицательного, так как подобные муки в ней — удел злодеев типа Святополка и Самозванца.

Во-вторых, А. М. Гуревич полагает, что любая трактовка образа Мазепы в другом плане, кроме отрицательного, противоречит прямым высказываниям Рылеева об этом человеке, данным, в частности, в его набросках к трагедии «Мазепа».

И, наконец, он ссылается на общий пафос рылеевского творчества. Для Рылеева как поэта и человека был характерен культ чести. Борьба за свободу отечества была для него неотрывна от защиты личного достоинства борца. Ввиду того что Рылееву не свойственны какие-либо сомнения в справедливости его идеалов, а честность и принципиальность исторического деятеля носят для поэта самодовлеющий и не зависящий от результатов его деятельности характер, ему чужда идея какого бы то ни было морального компромисса, хотя бы во имя практической целесообразности.⁷

Так ли все выглядит на самом деле?

Обратимся сначала к тексту.

Действительно, Войнаровский, которого автор часто делает выразителем своих собственных взглядов, колеблется в оценке личности и политической позиции Мазепы:

Не знаю я, хотел ли он
Спасти от бед народ Украины
Иль в ней себе воздвигнуть трон —
— Мне гетман не открыл сей тайны.
Ко нраву хитрого вождя
Успел я в десять лет привыкнуть;
Но никогда не в силах я
Был замыслов его пропикнуть.
Он скрытен был от юных дней,
И, странник, повторю: не знаю,
Что в глубине души своей
Готовил он родному краю.

⁵ Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. М., 1964, с. 84—85.

⁶ Нейман Б. В. К. Ф. Рылеев. М., 1946, с. 61.

⁷ Гуревич А. М. Образ Мазепы в «Войнаровском» Рылеева. — Уч. зап. Московского областного пед. ин-та, 1960, т. 85, труды кафедры русской литературы, вып. 6 (в дальнейшем: Гуревич), с. 3—11.

Но знаю то, что, затая
Любовь, родство и глас природы,
Его сразил бы первый я,
Когда б он стал врагом свободы.

Однако колебания нигде не переходят в уверенность:

... Мы обожали в нем отца,
Мы в нем отечество любили.⁸

В конце своего рассказа, подводя итог прожитой жизни и всему, что в ней совершено, Войнаровский так обосновывает свою храбрость в боях:

Но никогда, ей⁹ в очи глядя,
Не содрогнулся я душой;
Не забывал, стремяся в бой,
Что мне Мазепа друг и дядя.¹⁰

А в разговорах героя с женой (рассказ о них следует уже после всех высказанных им сомнений) речь идет о «славном дяде». Этот эпитет в стихе 925 имеется и в выписках П. А. Ефремова из не дошедших до нас листов рылеевской рукописи в архиве Н. И. Пущина.¹¹ Эти выписки подтверждаются списком из архива П. А. Вяземского (ЦГАЛИ),¹² в то время как эпитет «падший» дядя прижизненного издания попал туда из цензурного списка (ЦГАДА).

Таким образом, облик Мазепы хотя и не соответствует облику безупречного борца за вольность отечества, но все же преподносится в героическом ореоле, далеко от атмосферы безусловного нравственного осуждения.

В уста гетмана поэт вкладывает столь дорогой для него лозунг, как «борьба свободы с самовластьем», который он именно в силу своей высокой требовательности к моральному облику борца, отмеченной А. М. Гуревичем, вряд ли передал бы заведомому авантюристу. Сцена объяснения Мазепы и Войнаровского на привале после бегства из-под Полтавы носит явно трагический характер. Мазепа тяжело переживает не только крах дела всей своей жизни, но и то, что

Одно мгновенье погубило
Навек страны моей родной
Надежду, счастье и покой...¹³

Понимая, что «настал конец святой борьбе», гетман все же гордо заявляет:

⁸ Рылеев, с. 209—210.

⁹ Смерти.

¹⁰ Рылеев, с. 217.

¹¹ Литературное наследство. Т. 59, ч. I. М., 1954, с. 48.

¹² Характеристику этого списка см. в нашем комментарии: Рылеев, с. 435.

¹³ Там же, с. 208.

Мазепе ль духом унижаться?
Не буду рока я рабом;
И мне ли с роком не сражаться,
Когда сражался я с Петром?
Так, Войнаровский, испытаю,
Покуда длится жизнь моя,
Все способы, все средства я,
Чтобы помочь родному краю.
Спокоен я в душе своей:
И Петр и я — мы оба правы:
Как оп, и я живу для славы,
Для пользы родины моей.¹⁴

Сомнительно, чтобы такое поведение в подобный час, когда терять уже нечего и нет смысла никого обманывать, к тому же наедине с самым близким человеком, было, как утверждает А. М. Гуревич, лишь попой.¹⁵ При таком толковании мы превратим духовную драму Войнаровского в драму обманутого доверия, что совершенно не соответствует замыслу поэта.

Кроме того, следует еще раз вспомнить, что связь первой поэмы Рылеева с поэтикой дум очень тесна, а в думах был крайне важен для обрисовки героя его монолог, где тот раскрывал себя, не вводя в заблуждение ни собеседника, ни читателя.

Обращаясь к сцене смерти Мазепы, А. М. Гуревич вспоминает мучения, испытываемые в подобной ситуации Святополком и Самозванцем. Но правомерно ли подобное сравнение и можно ли, как это делает исследователь, включать в этот ряд Глинского и Годунова? Образ Глинского, который был достоин «вечной хвалы», когда бы не «буря страстей», сложнее, чем образ кающегося злодея. Тем более не просто обстоит дело с Борисом Годуновым. Герой одноименной думы испытывает тяжкие — и заслуженные! — страдания, ибо совершил преступление и несет за него нравственную кару. Но дела его заслуживают, как это видно из содержания думы, не только порицания, но и хвалы, ибо главной целью царя Бориса было благо родной страны. Нравственное противоречие между этой целью и совершенным на пути к ней злодейством — идейная основа думы. Патриот может быть не лишен честолюбивых замыслов и личных видов, что объективно ведет ко злу. В итоге Борису воздаются по его делам и благословенья, и проклятья. В этом плане Годунов в творчестве Рылеева действительно предшественник Мазепы. Но такая преемственность, как нам представляется, имеет иной смысл, чем это кажется А. М. Гуревичу. А стало быть, описание предсмертного бреда гетмана — не обязательно атрибут художественного изображения коварного лицемера.

Таким образом, текст «Войнаровского», по нашему мнению, не может подтвердить точку зрения А. М. Гуревича.

¹⁴ Там же, с. 208.

¹⁵ Гуревич, с. 10.

Что касается прямых высказываний Рылеева о Мазепе, то они относятся к характеристикам персонажей, набросанным для ранней трагедии об этом человеке. Судя по плану этой трагедии и сохранившимся ее фрагментам, она построена на мелодраматических эффектах, а герои ее подразделяются на в высшей степени добродетельных и глубоко порочных, причем ни в одном из рылеевских произведений такое разделение не подчеркнуто столь явно. Мазепа возглавляет группу последних, но вряд ли можно безусловно применять художественные принципы, проявившиеся в довольно ранних набросках, к творчеству зрелого и очень быстро развивающегося поэта, писавшего «Войнарковского».

А. М. Гуревич ссылается на жизнеописание Мазепы, написанное А. О. Корниловичем и предпосланное поэме, где гетман предстает в весьма неприглядном свете. Но, во-первых, могло ли оно быть иным в подцензурном издании, к которому пришлось писать еще одно вступление, весьма нелестное для Мазепы, и такого же типа подстрочные комментарии? Во-вторых, хотя Рылеев воспользовался для издания своей поэмы историческими заметками, написанными идейно и духовно близкими ему людьми, нельзя отождествлять его цели и позицию с позицией авторов вступительных жизнеописаний. Лучшее доказательство тому — жизнеописание Войнарковского, написанное А. А. Бестужевым. В нем уделено должное внимание заграничному периоду биографии Войнарковского и его образу жизни в этот период, не очень соответствующему облику человека, все помыслы которого заняты благом Украины. В поэме же этому времени уделено четыре ни о чем не говорящих стиха. Это не просто биографический пробел, понятный для поэмы, которая, разумеется, не должна быть похожей на историческую справку. Дело в том, что пробел этот носит такой характер, что в справке к тексту и в самом тексте перед читателем предстают два далеко не одинаковых человека. Первому ничто человеческое не чуждо, второй одержим «одной, но пламенной страстью», вытравившей из его души даже любовь к семье. Это делает не очень убедительной ссылку А. М. Гуревича на то, что Рылеев не мог вывести в «Войнарковском» Мазепу, отличного от человека, описанного Корниловичем.

Перейдем теперь к аргументам А. М. Гуревича, связанным с общим пафосом рылеевского творчества и свойственным ему культом чести революционера. Нам кажется, что, абсолютизируя этот культ, исследователь изымает руководителя Северного тайного общества из атмосферы тех противоречий, в которых проходила жизнь и его, и общества в период работы над «Войнарковским».

Мазепа жертвует для свободы честью, и это, по мнению А. М. Гуревича, выводит его за приемлемые для Рылеева этические рамки, ибо для поэта-декабриста такого противоречия нет.¹⁶

¹⁶ Там же, с. 9.

Но разве члены тайных обществ, принимая программу последних, не жертвовали свойственными их кругу понятиями о чести офицера и дворянина? Понимание того, что стремление к благу родины может прийти в противоречие с воинским долгом и присягой, приходило ко многим из них не так просто. Разрешение этих противоречий порождало новые (культ закона — и понимание несоответствия его со справедливостью, усиленное стремление к легальности — и идея переворота). Острейшей — не только тактической, но и морально-этической — проблемой декабризма была проблема царевубийства, т. е. покушения не только на человека, но и па многовековую государственную традицию. Сомнения и колебания по поводу моральной стороны этого вопроса раздирали декабристские организации вплоть до последних дней движения. «Успех неверен, и меня иль слава ждет, иль поношенье» — это тоже декабристская дилемма. Важность суда народа, на защиту которого они поднялись, над ними самими (и возможность при этом различных решений) очень остро осознавалась деятелями тайных обществ, особенно накануне выступления, и учитывалась в их пропагандистской деятельности. Сцена с пленными в «Войнаровском» свидетельствует об этом.

Проблемы движения, интересами которого жил автор «Войнаровского», не могли не повлиять на поэму. Соотношение патристических деяний повстанца и его личной чести в «Войнаровском» отразило сложность решения этих проблем, свойственную декабристской среде.¹⁷

Что заставило Рылеева связать решение подобных вопросов именно с образом Мазепы, личное честолюбие и коварство которого были ему известны из исторической и художественной литературы его времени?

Нельзя совершенно игнорировать отмеченные В. И. Масловым симпатии украинофильски настроенного дворянства юга России, в том числе и близких знакомых Рылеева, к личности Мазепы,¹⁸ а также снисходительное отношение к нему автора «Истории Русов», бывшей для Рылеева важным историческим

¹⁷ Кстати, А. М. Гуревич ссылается еще и на ранние высказывания Рылеева, осуждающие решение вопроса о личной чести политического деятеля Наполеоном, которому была безразлична моральность средств, ведущих к цели. Исследователь проводит аналогию между этими высказываниями и отношением поэта к личности Мазепы (с. 6—7). Если такая аналогия возможна, то не следует забывать, что в 20-е годы XIX в. отношение передовых кругов русского общества к Наполеону стало более сложным, чем в первые годы после Отечественной войны. Достаточно вспомнить эволюцию взглядов Пушкина на Наполеона, предшествовавшую созданию его знаменитой исторической элегии 1821 г. Наполеон — острейшая тема дискуссий в Тайных обществах во время приезда Пестеля в Петербург в 1824 г., столь важного для идейного определения Рылеева, хотя тот и не принял до конца «наполеоновских» идей Пестеля, — см.: Рылеев, с. 22—23 (вступительная статья В. Г. Базанова и А. В. Архиповой).

¹⁸ Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912 (в дальнейшем: Маслов), с. 303—304.

источником.¹⁹ Об этом историческом персонаже сочувственно отзывался Н. А. Маркевич, с которым поэт состоял в переписке.²⁰ В одном из писем Маркевича обращает на себя внимание фраза: «Вы еще найдете живым у нас дух Полуботка» (одного из идеологов автопомии Украины). В набросках трагедии о Мазепе, на которые так часто ссылается А. М. Гуревич, наряду с резко отрицательными высказываниями о Мазепе содержится восторженный отзыв о Полуботко.

Однако отнюдь не следует и преувеличивать значительность подобных влияний на Рылеева, это не соответствует национально-политическим установкам программных декабристских документов.²¹

Дело было в другом.

Взгляды поэта на возглавленное Мазепой движение как «борьбу свободы с самовластьем» были основаны на том, что гетман ограничил свою власть в пользу казацкой верхушки (устройство, напоминающее польский шляхетский сейм и отчасти перекликающееся с дорогими для декабристов идеями Новгородской республики). Одновременно установления Мазепы предписывали ограничивать и власть старшин над рядовыми казаками, препятствуя закабалению последних. Петр I же предпринял энергичные меры для включения казачества в политическую систему русского самодержавного государства, которая была, с точки зрения декабристов, источником величайшего зла.²² Взгляды Рылеева на природу конфликта Мазепы и Петра I находили поддержку в том, что деятельность последнего в интерпретации некоторых декабристов представляла далеко не в апологетическом освещении (в отличие от официальной историографии). В частности, Н. А. Бестужев и Н. М. Муравьев очень резко подчеркивали самодержавно-деспотические тенденции в деятельности этого императора, его пренебрежение к мнению народа.²³ Факт выступления против самодержца приобрел для автора «Войнаровского» самодовлеющее значение.

Конечно, Рылеев, как и его герой, не проник в истинный смысл деятельности Мазепы, в том числе и его внешне демократических акций, имевших целью в первую очередь привлечь перед мятежом на свою сторону максимальное число союзников. Эта деятельность в итоге отрывала украинский народ от родственной ему России и грозила поставить Украину в печальную

¹⁹ См.: Грушевский А. К характеристике взглядов «Истории Русова». — Изв. Отделения русского языка и словесности Академии наук, 1908, т. XIII, кн. 1, с. 396—427.

²⁰ Литературное наследство, т. 59, с. 153—154.

²¹ Б. Гальстер подкрепляет эту мысль анализом решений украинского вопроса в конституционных проектах Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля: Galster, с. 118—119.

²² Подробно об этом см.: там же, с. 116—121.

²³ См.: Волк С. С. Исторические взгляды декабристов. М., 1958, с. 407—409.

для нее зависимость от Запада. В «Войнаровском» мы видим характерную для декабризма абстрактно-политическую антитезу «деспотизм» — «Свобода», а не конкретно-историческую оценку этих понятий. Такая антитеза была свойственна не только историческим взглядам декабристов, она распространялась ими и на современность.

Той пронизательной оценки гетмана Мазепы, которую видит в «Войнаровском» А. М. Гуревич, поэт-декабрист не дал, и не следует приписывать последнему заслуг, ему не принадлежащих.

Рылееву принадлежит другая заслуга. Катаном, как считал Катенин, Мазепу он не вывел. Он развил в созданном им новом типе романтической поэмы одну из важнейших идей романтического искусства (намеченную еще в думе «Борис Годунов») — идею сложности человеческой природы и, в частности, характера исторического деятеля. В его изображении Мазепа — патриот, стремящийся к процветанию отчизны, и одновременно — человек, снедаемый неудовлетворенным властолюбием.

Подобная трактовка не способствовала исторической достоверности поэмы, но в художественном плане «Войнаровский» — важный шаг поэта вперед в овладении психологическим мастерством, искусством изображения человека.

III

Поэмы Рылеева — по сути дела единое повествование об истории национально-освободительной борьбы украинского народа (что прежде всего отразилось в сохранении в них характерного для дум принципа цикличности). Возглавленное Мазепой националистическое движение Рылеев воспринимал как этап борьбы, причем этап заключительный. Его дальнейшие творческие замыслы — ретроспективный художественный анализ прошлого Украины, предшествующего этому этапу.

Дифференциация замыслов проходила не сразу. Один из отрывков, записанный в черновиках «Наливайки» и ритмически тяготеющий к фрагменту «Веет, веет, повевает...», выглядит в набросках этой поэмы инородным телом, ибо переносит действие на добрые полсотни лет вперед (и более чем на полвека назад от времени Мазепы):

[Лишь один всеведец знает,
Но не знают козаки,
Что Хмельницкий замышляет
И куда ведет полки] ²⁴

Итак, Хмельницкий, гетман Украины середины XVII в., постоянный герой творчества Рылеева, центральный персонаж его написанной ранее думы и будущей трагедии. Приведенный фраг-

²⁴ Рылеев, с. 384.

мент — единственный дошедший до нас из заготовок упомянутой в переписке с Пушкиным поэмы об этом герое. Еще один отрывок — дальнейшее движение вглубь истории:

Не тучи на небе [сходились] сдвигались,
Не дождь шумел из облаков,
В степи с татарами слетались
Дружины [бурных] храбрых казаков.
Их кони страшно землю роют,
[Прядут ушами] Несутся бурно, чуя бой,
Поля притоптанные воют,
Клубится пыль, как дым густой.
Уже дружины казаков
[Смешались] Слабели в битве рукопашной.
Вдруг на татар, как вихорь страшный,
Как ливный дождь из облаков,
Ударил с воплем Сагайдашный
С дружиной буйных удалцов.²⁵

Сагайдачный — это уже начало XVII в. Фрагмент с его именем перекликается с эпизодом из «Войнаровского», описывающим схватку гайдамацкой ватаги с поляками, а затем с татарами. Разница в том, что в «Войнаровском» неожиданная помощь в последний момент приходит не к казакам, а к их противникам. Композиционное же построение этих эпизодов весьма схоже — упорная битва, в которой уже слабеющая, готовая дрогнуть сторона оказывается спасенной из-за появления неожиданной помощи: в «Вонайровском» — татарских орд, в результате чего победитель вынужден думать уже о собственном спасении, а в отрывке о Сагайдачном — казачьего пополнения, круто меняющего положение противников.

Хмельницкий — выдающийся руководитель украинских народных масс в борьбе за национальную независимость, поэтому постоянное возвращение к замыслу произведения о нем — вполне понятная закономерность для писателя, поэтически воссоздающего историю этой борьбы.

Сагайдачный — иная фигура; пожалуй, за всю свою долгую историю Украина никогда не проводила политики столь тесного союза с Польшей, как в годы правления этого гетмана, и Хмельницкому впоследствии пришлось преодолевать пагубные плоды этой политики. Но успехи Сагайдачного в борьбе с исконным и опаснейшим врагом казачества — Крымским ханством — неоспоримы, что сделало его излюбленным героем украинского песенного фольклора. Походы казаков под его предводительством, надолго положившие конец татарским набегам на украинские земли, оценивались многими поколениями в качестве важнейшего этапа национально-освободительного движения на Украине, часто без учета объективно реакционного содержания политики гетмана в целом. Осмысление истории борьбы украинцев против

²⁵ Там же, с. 390—391.

татарских, турецких и польских захватчиков в XVII в., перед воссоединением Украины с Россией, заставляло поэта поднимать все более глубокие исторические пласты.

Так приходит в цикл поэм Рылеева из украинской истории руководитель крупнейшего казацко-крестьянского восстания, по сути дела крестьянской войны 1594—1596 гг., — Северин Наливайко. Именно ему было суждено стать первым в творчестве поэта-декабриста героем нового типа — вождем казацкой вольницы, руководителем широких масс.

Наливайко в отличие от Войнаровского — не второстепенная фигура, вошедшая в сформировавшееся до него движение, инспирированное другим лицом, а его вдохновитель и организатор. Своими высказываниями о чести и свободе отчизны он напоминает героев дум и «Войнаровского». Однако есть и существеннейшее отличие. Оно заключается в первую очередь в том, что образ борца — освободителя отечества здесь более сложен.

Наливайко — не просто храбрый, беззаветно преданный Украине человек, не только способный к действию и уже активно действующий герой. Это — искупитель, берущий на себя всю ответственность за деяния своего народа, принимающий на свою душу всю меру исторического «греха» своего времени. Если в своей знаменитой исповеди Наливайко исповедуется по сути дела за всех повстанцев, то в своей молитве он предстательствует за них перед высшим существом как воздвигший «войну» и поднявший «меч за край родной».²⁶ Его образ, не теряя черт, присущих изображению конкретного человека, становится одновременно символом великой жертвы во имя еще более великого блага, попыткой предельно широко осмыслить роль выдающейся личности и представить эту личность в революционно-романтической интерпретации. Наливайко воплощает на новом и более высоком этапе рылеевского творчества проявившееся еще в думах стремление поэта слить в одном лице наиболее характерные черты нации. Он — ее олицетворенная гордость и совесть. Его фигура по своим масштабам поднимается на уровень романтического титанизма, но это титан, кровно связанный со средой, его породившей.

Наливайко — безусловно центральная фигура поэмы. Однако план поэмы и 13 созданных во исполнение этого плана фрагментов показывают, что это произведение не только о вожде казачьего восстания, но и о самом восстании.²⁷ Помимо монологических отрывков, в которых речь ведет Наливайко, читатель получает непосредственное изображение действия — «Смерть Чигиринского старосты» — и развернутые описания Киева, богослужения в Киево-Печерском монастыре, похода казаков в отрывке «Веет, веет, повевае...», двух станов (поляки и пов-

²⁶ Там же, с. 235.

²⁷ Там же, с. 439.

станции) в каун битвы при Тясмине. Таким образом, исторические события и обстановка, в которой они протекают, пейзаж, этнографические реалии становятся предметом более изображения, чем изложения. Описательность, характерная для *экспозиции* «Войнаровского», в поэме о Наливайке становится главным принципом *произведения в целом*. Это произведение приобретает довольно сложную форму. Так, в динамичную картину смерти Чигиринского старосты в одном из черновых набросков вкраплены элементы живой речи:

[Стой! Воскликает Гайдамак,
Не ускакать тебе от битвы].²⁸

Отрывок «Ты друг давно мне, Лобода...» — уже развернутый диалог. Помимо главного, в поэме появляются непосредственно (а не в чужих воспоминаниях) действующие герои: тот же Лобода, в уста которого поэт вкладывает — в духе декабристских аллюзий — мысли о необходимой осторожности ввиду возможной неудачи, и Жолкевский. Надо думать, появились бы и поляки, осуществляющие «притеснения и жестокости». Наконец, мы видим в набросках «Наливайки» отрывок, которому явно суждено было сыграть роль вставной повеллы, — «Сон Жолкевского», — предсказывающий и поражение коронного гетмана Польши при Тясмине, и будущий неуспех восстания Наливайки в целом.

Конечно, все это не означает полного разрыва с традицией, ведущей начало от думы. Сохраняется самый принцип политической программности произведения, причем связанные с этим прямые аллюзии (пусть и довольно общие, лишенные связи с конкретными событиями и лицами) проявляются даже ярче, чем в думах и «Войнаровском». Правда, аллюзии эти носят не столь парочитый характер, как в некоторых думах (типа «Волынского»), и ощущение истории, подкрепленное точностью и яркостью описаний и этнографической детальностью, не пропадает оттого, что декабристы с полным основанием увидели в «Исповеди Наливайки» предсказание своей судьбы. Идея жертвенности, идея гибели во имя блага других, ставшая столь важной на исходе декабристского движения, когда все чаще и чаще возникал вопрос о последствиях возможного поражения, нашла отклик не только в «Исповеди...», но и в рылеевской лирике:

Пошли друзьям моим спасенье,
А мне даруй грехов прощенье
И дух от тела разреши.²⁹

На первый взгляд, между мужественной патетикой «Исповеди Наливайки» и скорбными строками тюремного послания Рылеева к Е. П. Оболенскому общего мало, тем более что в первом

²⁸ Там же, с. 383.

²⁹ Там же, с. 103.

случае речь идет о всей земле, а во втором — о «друзьях моих». Но эти произведения объединяет идея искупления, миссия испкупителя, принятая на себя не только героем поэмы, но и ее автором — как поэтом, так и политическим деятелем. И там, и тут руководители общественных движений «приняли на душу» «грехи» времени и общества.

Сохраняется в «Наливайке» и огромное для рылеевской лиро-эпической поэзии значение монолога, хотя здесь он имеет уже локальный, а не всеохватывающий, как во многих думах и в значительной степени в «Войнаровском», характер. «Наливайко» не закончен, и композиционное значение этого монолога до конца не ясно, но все же он не только определяет решение героя поднять восстание, но и мотивирует это решение национальным преданием (песни родных «о незабвенной старине»).

Монолог обращен к уже знакомому читателю герою-слушателю — в данном случае «святому отцу», печерскому схимнику-исповеднику.

IV

Весьма трудна задача исследователя, обращающегося к отрывкам «Гайдамак» и «Палей».

Если отрывки поэмы о Наливайке дошли до нас вместе с авторским планом, позволяющим сделать попытку произвести хотя бы относительную реконструкцию целого, то «Гайдамак» и «Палей» такой возможности не дают.

То, что это — две части единого замысла, было убедительно доказано еще в 1934 г. в издании стихотворений Рылеева. Здесь было проведено тщательное сличение черновиков обоих отрывков, установлены общие места и текстуальные совпадения, приведены весьма убедительные доказательства того, что «Гайдамак» и «Палей» — результат реализации замысла поэмы о Мазепе.³⁰ Но «Гайдамак» и «Палей» дают материал не только для некоторых соображений по поводу замысла «Мазепы».

Один из набросков, записанных в черновиках «Наливайки», перекликается с зачином «Палея»:

Не тучи солнце обступали,
Не ветры в поле бушевали:
Палея с горстью козаков
Толпы несметные врагов
В пустынном поле окружали...³¹

Таким образом, разграничение поэм на украинские сюжеты проходило довольно сложно. С одной стороны, с творческой историей этих поэм связаны фрагменты, которые мы можем отнести

³⁰ См.: Рылеев К. Ф. Полн. собр. стих. Л., 1934 («Б-ка поэта». Большая серия), с. 483—484; см. также: Рылеев, с. 387—391 (раздел «Другие редакции и варианты»).

³¹ Рылеев, с. 243.

к отпавшим замыслам (таким, как попытка воплотить образ Сагайдачного). Однако другие замыслы оказались более устойчивыми. Из письма Рылеева к Пушкину известно, что поэт-декабрист планировал работу над несколькими поэмами одновременно.³² Поэма о Хмельницком так и не состоялась, а некоторые заготовки, оставшиеся неиспользованными в «Наливайке», пригодились для поэмы о Мазепе. Это косвенное подтверждение того, что все произведения на украинскую тему после «Войнаровского» — по сути дела части единого плана.

Однако от «Мазепы» тянутся нити и к «Войнаровскому». Неоднократно и справедливо отмечалось, что Гайдамак, герой одноименного отрывка, самый «байронический» из рылеевских героев.

Действительно:

... как юный тигр
На всех глядел, нахмуря брови,
Был дружбы чужд, был чужд любви,
... Всегда опущены к земле
Его сверкающие очи;
Темнеет на его челе
Какой-то грех, как сумрак ночи.
Еще никто не зрел того,
Чтобы хотя на миг единый
Улыбкой сгладил морщины
На бронзовом лице его.³³

В этом описании внешности и поведения Гайдамака имеются все атрибуты романтически-таинственного героя. Есть ли аналогии подобному герою в предшествующих рылеевских поэмах?

Напрашивается сравнение с главным героем «Войнаровского». Угрюмость, мрачность, отчужденность от людей усиленно подчеркиваются во введении к поэме, однако введение это является таковым лишь композиционно, а в жизни Войнаровского период, который оно охватывает, — эпилог. В монологической же части поэмы, идейно и композиционно центральной, эти мотивы не получают достаточного развития.

Гораздо ближе к портрету Гайдамака следующее изображение:

... мраком и тоской
Чело Мазепы обложилось.
Из-под бровей нависших стал
Сверкать какой-то пламень дикий;
Угрюмый с нами, он молчал
И равнодушнее внимал
Полков приветственные клики.

Вину таинственной тоски
Вотще я разгадать старался, —
Мазепа ото всех скрывался,
Молчал — и собирал полки.³⁴

³² Рылеев К. Ф. Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки, письма. М., 1956, с. 303.

³³ Рылеев, с. 239—240.

³⁴ Там же, с. 203.

Мазепа в «Войнаровском» и Гайдамак похожи друг на друга не только внешней угрюмостью, мрачным челом и сверкающими глазами, но и недоверчивостью, безразличием к преданности казачьих полков и к радостям вольной казацкой жизни.

Еще более красноречив портрет Мазепы в одном из вариантов к «Войнаровскому»:

[и чужд веселья на пирах]
Угрюмый, мрачный на пирах
Он был [угрюм] суров
[Он смутен был] В его чертах
Его беседа заражала
Как язва моровая, всех
[Слова, как язва моровая]
[Его порочная беседа]
Как язва, заражала всех]³⁵

Эта характеристика местами почти дословно совпадает с наброском описания Карла XII. В последнем имеется характерный стих:

Лишь пред опасностью являлась
Улыбка на его устах.³⁶

Радость, испытываемая в опасности и совершенно неведомая при других обстоятельствах, мотив порока в обрисовке характера («его порочная беседа» и «он вечно бродит, как порок») — все это подчеркивает явное сходство персонажей обеих поэм. (Вспомним, что Войнаровскому не свойственно порочное начало и он отнюдь не чужд радостей жизни, простых человеческих чувств).

Есть еще одна существенная деталь. В рассказе о Гайдамаке один из казаков вспоминает:

Я хорошо тот помню день,
Когда он к [Палею] Самусю в курень...³⁷

Называются два имени, с которыми тесно связана военная карьера Мазепы, — гетмана Самуся и полковника Палея.

Все эти детали в набросках поэмы, совершенно очевидно связанной с именем Мазепы, заставляют предположить, что герой наброска «Гайдамак» — молодой Мазепа. В «Войнаровском» этот человек представлен уже в конце своего жизненного пути, в новой же поэме его путь, вероятно, должен был быть охвачен в целом. Очевидно, обширность этого замысла и определила трудности его осуществления — ведь жизнеописание Мазепы по мотивам как идейно-художественного, так и цензурного характера автор должен был довести до истории его измены.

Как в «Войнаровском», так и в «Гайдамаке» характер этот далеко не однозначен.

³⁵ Там же, с. 380.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же, с. 239, 387.

Гайдамак — человек с таинственным прошлым, переживший какую-то загадочную драму, «затоптавший в грязь» всех гайдамаков своей беспощадностью, хладнокровно совершающий жестокие убийства. Он тщательно сторонится людей. Но тем не менее эта демоническая личность вовсе не стремится совершенно оторвать себя от общества. Само наименование «Гайдамак» в этом отношении весьма красноречиво. Гайдамак — это повстанец, участник массовых набегов на татарские, турецкие и польские земли, представитель широкого национального движения. Его ожидают из набега два товарища по этому движению, ратники воинства Палея и Самуся, а не члены изолированного сообщества отверженных разбойников.

Я хорошо тот помню день,
Когда пришел он в наш курень
И клятву дал быть гайдамаком,
За Сечь свободную стоять
И вечно ненависть питать
И к хищным крымцам и к полякам.³⁸

Так говорит один из них о главном герое. Воссоздание титанической фигуры в байроновском духе вовсе не означает отхода Рылеева от сложившейся в его творчестве традиции ставить в центр произведения борца за общее благо, подвижника национального освобождения. Именно «Гайдамак», а не «Войнаровский» является декабристской модификацией байроновской поэмы, гораздо более расходящейся в этом плане, чем это было в «Войнаровском», с интерпретацией байронизма Пушкиным.

Судя по второму отрывку поэмы о Мазепе — «Палей», Рылеев предполагал развернуть повествование о гайдамаке на фоне широких картин жизни казачества, гайдамацких походов и битв. Именно к поэме о Мазепе следует в первую очередь применить слова Пушкина о «своей дороге» поэта-декабриста. «Гайдамак» и «Палей» должны были положить начало поэме не только о судьбе одного человека, хотя бы и тесно связанного с важнейшими в судьбе нации событиями, но и о самых событиях, их поворотных моментах. Это не означает, конечно, что роль центрального героя в этой поэме снижается, — она по-прежнему весьма и весьма значительна. Но роль эта должна была проявляться через достаточно широкую систему исторических связей и опосредований.

Это обуславливает новое для рылеевской поэзии соотношение поэмы с устным народным творчеством.

Углубление характерного для дум чисто внешнего и поверхностного восприятия поэтики фольклора мы наблюдали уже в «Войнаровском». Но создание местного колорита в этой поэме идет скорее по этнографической, чем по фольклорной линии. Предметы, явления, создающие этот колорит, воспроизводятся

³⁸ Там же, с. 239.

так, что требуют научно-этнографического объяснения (что и сделано в прозаическом комментарии к изданию 1825 г.). Одинокий курган, говорящий с ветром в ночной степи, который восходит к народным думам, собранным Н. А. Цертелевым, — единственная деталь народнопоэтического описания, да и то носящая сугубо иллюстративный характер.

В «Наливайке» песни матери и сестер героя о «незабвенной старине» — элемент, определяющий его мирозерцание, по в этой поэме они лишь упомянуты.

В «Гайдамаке» народнопоэтический материал не только обилел для сравнительно небольшого отрывка,³⁹ но и имеет особую функцию. Играющий степным ковылем ветер, терзающие казачьи трупы волки, параллели между тучами и ветрами в степи или между состязанием ястреба с орлом и казачьими битвами, вспаханные конскими копытами поля — все это пришло на страницы поэмы из сборника Н. А. Цертелева «Опыт собирания старинных малороссийских песней». К украинской фольклорной думе, кроме указанных В. И. Масловым элементов, следует отнести и по-своему драматичный образ раненого боевого коня, из последних сил прибежавшего без седока к его друзьям.

Этот материал характерен не только для текста описаний. Им пронизан диалог двух казаков, ожидающих возвращения соратника. Таинственный гайдамак увиден глазами людей, для которых все эти орлы, ветры и степи, курганы и колышущийся ковыль — органическая основа мироощущения. Эти образы запечатлены в их сознании неотрывно от понятий родины, товарищества, воинской доблести и славы и поэтому вплетены в воспоминания о былых сражениях и боевых друзьях. Фольклорная украинская стихия вторгается в их повседневное бытие, а отсюда проникает и в описание этого бытия автором поэмы.

Так фольклорные мотивы, теряя чисто орнаментальную функцию, приобретают значение важнейшего средства изображения человека и в значительной мере расширяют историческую перспективу поэмы, хотя и вносят в нее определенность в первую очередь национальную, а не временную или социальную. Это — принципиальное завоевание Рылеева по сравнению не только с думами, но и с предшествующими поэмами.

Что касается композиции произведения, характера повествования и принципов сочетания разнородных его элементов, то, как мы уже заметили ранее, рискованно делать в этом отношении широкие выводы на основании двух разрозненных отрывков. Отсутствие развернутых речей главного героя в этих отрывках еще ни о чем не говорит — они могли появиться в дальнейшем. Но и написанные отрывки свидетельствуют о возросшем повествовательном мастерстве Рылеева (например, высоко оцененный Пушкиным рассказ о Палее) и об усложнении принципов

³⁹ См.: Маслов, с. 268—271.

построения фабулы поэмы. События не будут развиваться в хронологической последовательности (что на этот раз не обосновано разделением поэмы на авторскую экспозицию и центральное повествование от первого лица, как в «Войнаровском»): неизбежно возвращение к прошлому Гайдамака, не может остаться без разгадки тайна совершенного им убийства. Захватывающе построен сюжет: поэт обрывает свое повествование в критический момент, заставляя читателя вместе с казаками задавать себе вопрос: «где же грозный гайдамак?».

V

Как уже говорилось выше, замысел поэмы Рылеева о Хмельницком остался неосуществленным. Но национальному герою украинского народа суждено было стать героем последнего, незавершенного творения поэта-декабриста — трагедии «Богдан Хмельницкий».⁴⁰

Деятельность Хмельницкого связана с наивысшим подъемом борьбы украинского народа против иноземного владычества, и обращение к ней — логический итог многолетнего осмысления Рылеевым в своем художественном творчестве этой борьбы.

Действие начинается здесь с массовой сцены. Прежде чем представить читателю главного героя, Рылеев хочет показать причины недовольства крестьян и казаков, их стремление к сопротивлению, обусловившее выдвижение гетмана, который вскоре возглавит вооруженную борьбу с польским владычеством.

«Богдан Хмельницкий» содержит попытку более глубоко мотивировать характер человека, чем это имело место в поэмах. Пролог имеет не только национальную окраску: в речи героев, помимо украинских диалектизмов, можно найти весьма характерный для украинской речи полонизм «будь ласков», татарский термин «ясырь» (с ним связана для крестьян XVII в. ассоциация с крымской неволей). Ему присуща довольно четкая временная определенность. Время действия посетит явные признаки периода усиленного насаждения брестской церковной унии 1596 г., подчинившей украинскую православную церковь Риму, хотя и с сохранением родного языка для обрядов. Тяжелейшим последствием унии стал институт церковной аренды иноверцами, часто — евреями, что вело к обременительным поборам и к оскорблению религиозных чувств крестьян и казаков. Столкновение казаков с арендаторами — источник драматического конфликта в прологе. Этот конфликт делает стремление казачества вернуть старинные права не абстрагированным от времени, а обусловленным именно во времени. Он мотивирован в какой-то степени и социально —

⁴⁰ Об истории создания этого произведения см.: Цейтлин А. Г. Неосуществленный замысел трагедии «Хмельницкий». — В кн.: Литературное наследство, т. 59, с. 57—67; см. также наш комментарий в кн.: Рылеев, с. 460.

речь идет об угнетении крестьянина, поставленного в безвыходное положение тем, что от него требуют «чинш» именно летом, т. е. тогда, когда он в силу невозможности продать не собранный еще хлеб не имеет денег.

Пролог к «Богдану Хмельницкому» — развитие тех принципов мотивирования характера и действия, которые впервые наметились в творчестве Рылеева еще в «Иване Сусанине». Так тенденция, заложенная в первом историческом цикле поэта-декабриста, проявила себя на более позднем этапе его творчества.

Характерно и то, что от канонической думы, в основе которой лежит драматический монолог на тему национальной героики,⁴¹ Рылеев через романтическую национально-героическую поэму вновь возвращается к драматизированному безописательному действию, но уже в непосредственно драматической форме. Авторские описания, характерные для поэмы, заменяются здесь сценами, составляющими исторический фон действий главного героя и дающими национальную, а в какой-то степени даже временную и социальную мотивировку.

«Богдан Хмельницкий», последнее рылеевское произведение на украинский сюжет, — не «монодрама» с абсолютной ролью центральной фигуры (какая могла воплотиться в ранее задуманном «Мазепе» 1822 г.), а национально-героическая трагедия, обещавшая стать высшим достижением рылеевского творчества, связанного с исторической тематикой.

⁴¹ См. об этом нашу статью: «Думы» К. Ф. Рылеева и трагедия конца XVIII—начала XIX века. — Русская литература, 1972, № 2, с. 120—126.

АЛЕКСАНДР КОРНИЛОВИЧ КАК ИСТОРИК И ПИСАТЕЛЬ

В Петропавловской крепости, куда Корнилович снова попал по доносу Булгарина в 1828 г., он среди других записок и мнений, адресованных его коронованному читателю, написал 11 июля 1830 г. рассуждение «О воспитании»,¹ доселе не опубликованное. Оно имеет не только первостепенную историческую и психологическую ценность как одно из неизвестных еще мемуарных свидетельств декабристов, но и представляет по своему характеру совершенно особый интерес.

Записка Корниловича — это исповедь историка, человека, для которого история была средоточием его умственных интересов и делом жизни.

В ней сказано много такого, чего мы не найдем у других декабристов, а главное — выражена точка зрения человека, все осмыслявшего в категориях исторической науки своего времени.

Еще во время суда над декабристами на вопрос следственной комиссии — «с какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей» — Корнилович отвечал: «Изучение истории и чтение древних классиков и новейших политических писателей подали мне первые мысли...»² Позднее в записке «О воспитании» Корнилович подробно охарактеризовал влияние «древних классиков», т. е. греческих и римских историков, на формирование общественных взглядов своего поколения: «Мы учимся в юношеском возрасте, в котором преизбыточествуют чувствования. В это время жизни сильна любовь к добру; стремление к общей пользе; готовность самопожертвования и вообще все качества, облагораживающие человечество, действуют в нас всего сильнее. Но не быв руководимы рассудком, они могут сделаться столь опасными, как огонь в руках сумасшедшего. Наши наставники,

¹ ЦГАОРСС, Секретный архив, ф. III Отделения, 1826, 1-я экспедиция, д. 61 — ч. 79, л. 199—210 об. (в дальнейшем: О воспитании).

² Там же, ф. 48, оп. 1, ед. хр. 421, л. 13.

стараясь развивать их в нас, менее заботились об их последующем направлении. Так например: всех нас учили Древней истории и для этого давали нам читать Плутарха, Тацита и пр., не предварив, что сии писатели занимались своими сочинениями во время упадка Римской империи; что, описывая первые времена своего отечества, они преимущественно имели в виду исторгнуть своих соотечественников из их нравственного унижения и пробудить в них гражданские доблести, а потому, мало заботясь о верности повествования, выбирали из ряда событий самые разительные; представляли их в особенном свете и если подбирали к ним тени, то в таком только случае, когда сие благоприятствовало их видам. Нам же выдавали сие за непреложные истины; от этого рождались в нас преувеличенные понятия, которые мы принимали тем склоннее, что наши тогдашние лета были летами мечтательности и энтузиазма».³

Здесь Корнилович предстает не только как человек поколения энтузиастов и мечтателей, но и как историк по преимуществу, который и в тюремной своей исповеди высказывает оценку античной историографии в духе новых для 20-х годов приемов источноковедческой критики, предложенных Нибуром.

Формирование Корниловича как политического мыслителя и историка приходится на то десятилетие русской жизни (1815—1825), которое характеризуется чрезвычайной интенсивностью, особым динамизмом смены политических программ и исторических концепций.

Именно в это время начинает развиваться критика античной историографии, возникает в Польше школа историков-демократов во главе с И. Лелевелем, формируется французская романтическая историография, заявившая о себе в журнальных статьях и брошюрах с конца 10-х годов. И, наконец, в это время русская общественная мысль, русская литература и русская историография заняты усвоением и оценкой «Истории государства Российского».

Историческая и литературная деятельность Корниловича развиваются внутри этого многообразного и разноречивого потока социально-исторических идей.

Корнилович сумел найти свое место, свою позицию в этом движении исторической мысли, он сумел найти и свою историческую тему — эпоху петровских реформ, а также выделиться среди многих ею тогда занимавшихся как оригинальный исторический писатель, как самостоятельный истолкователь личности Петра и его времени.

Изучение исторических работ Корниловича и его места в развитии современной исторической науки еще только начинается.⁴

³ О воспитании, л. 199—199 об.

⁴ См.: Грум-Гржимайло А. Г. Декабрист А. О. Корнилович. (Жизнь и литературная деятельность). — В кн.: Декабристы и их время

а между тем оно может содействовать решению ряда самых существенных проблем декабристской мысли и литературы. Корнилович был не только профессиональным историком-исследователем, он был еще и писателем-историком, автором таких своеобразных произведений на исторические темы, которые представляют собой оригинальные явления документальной прозы.

Разумеется, мы не ставим себе целью изучить деятельность Корниловича на фоне русской исторической литературы 20-х годов. Это потребовало бы широкого привлечения историографического материала, исследованного еще в самых общих чертах.

Корнилович-историк принадлежит тому времени, когда все историки были литераторами и литературность была неотъемлемым признаком лучших исторических работ. Поэтому деятельность Корниловича-историка мы будем рассматривать в основном в свете тех литературных проблем, которые он ставил и решал в своем творчестве.

Историческое изучение Петровской эпохи и личности самого преобразователя имело самый острый, самый злободневный интерес для всего декабристского движения. Исторический пример Петра доказывал возможность коренных государственных и социальных реформ, равных по своему значению революции, притом реформ, проводимых сверху. В отличие от тех декабристско-литераторов, которые преимущественно увлеклись романтикой киевско-новгородских свобод, Корнилович как историк выбрал ту эпоху, к которой ближайшим и самым органическим образом восходила русская жизнь первой четверти XIX в.

У Корниловича это ощущение близости Петровского времени было, конечно, более живым и естественным, чем у людей последующих поколений. Именно поэтому изучение Петровской эпохи давало ему и его читателям столь нужные и убедительные аргументы в пользу необходимости и возможности самых крутых преобразований.

I

Уже в первой опубликованной работе о Петре⁵ Корнилович выступает со своим взглядом на историческое значение его ре-

Т. II. М., 1932, с. 324—356; Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности, Петрозаводск, 1949; Грум-Гржимайло А. Г. Декабрист А. О. Корнилович и археограф П. И. Строев. — Исторический архив, 1956, № 4, с. 255—259; Кафенгауз Б. Б. Об исторических взглядах декабристов. — Доклады и сообщения Института истории АН СССР, 1956, № 10, с. 27—49; Волк С. С. Исторические взгляды декабристов. М.—Л., 1958 (в дальнейшем: Волк); Базанов В. Ученая республика. М.—Л., 1964.

⁵ Обнаружил и доказал принадлежность Корниловичу этой и других публикаций Ю. М. Лотман. См.: Лотман Ю. Неизвестные и утраченные исторические труды А. О. Корниловича. — Русская литература, 1961, № 2, с. 121—125.

форм. Тогда Корнилович представлял себе Петра как героическую личность в конфликте со своим временем.

Петр в его изображении показан в непримиримом столкновении со своей эпохой и своей страной. Его реформы — это подвиг личности, поворачивающей по-своему ход исторического развития России. Его появление никак не подготовлено обстоятельствами времени, а его реформы осуществляются самыми жестокими средствами, ибо он не ищет и не рассчитывает найти понимание своих замыслов у своих подданных: «Если средства, которые он употреблял для образования народа своего, и покажутся жестки, то они были необходимы по тогдашнему положению дел и без того он никогда не достигнул бы своей цели, цели, толико благодетельной в последствиях своих. Петр был рожден не для своего века: обязан будучи один вооружаться против закоренелостей, встречая препятствия на каждом шагу, он не мог действовать иначе».⁶ Одиночество великого человека и трудность предпринятого им подвига превращают Петра в изображении Корниловича в некоторое подобие романтического героя-титана, от воли и энергии которого зависит ход истории и судьбы человечества. Величие целей Петра, по мнению Корниловича, вполне оправдывало и его расправу с восставшими стрельцами: «Средства жестокие казались Петру в то время необходимыми, чтоб возратить покой государству: он видел в стрельцах не злодеев, которые покушались на жизнь его, но людей, которые хотели свергнуть Россию в прежнее ее состояние, а сие последнее было в глазах его величайшим преступлением».⁷

Психологическое объяснение личности преобразователя соединялось — может быть, несколько внешним, неорганическим образом — с политической оценкой прогрессивности петровских реформ. В этой оценке Петра Корнилович выступал уже не как новатор, а скорее как воскреситель «старой», но для его времени уже опять оказавшейся «новой» точки зрения.

К тому времени, когда Корнилович выступил со своей первой работой о Петре, уже сложилась прочная традиция критического отношения к реформам Петра и его личности, традиция, представленная в работах М. М. Щербатова, в «Записках» княгини Дашковой и, наконец, в «Записке о древней и новой России» Карамзина.⁸ Вопреки этой критике Корнилович восстановил в правах ту оценку Петра, которую обосновал Вольтер в своей «Истории России при Петре Великом» (1761).⁹ Вольтер оправ-

⁶ Отечественные записки, 1821, № 11, с. 303.

⁷ Там же, № 12, с. 35.

⁸ Об отношении к Петру этих историков и публицистов см.: Сыромятников Б. И. Регулярное государство Петра Первого и его идеология. М.—Л., 1943, с. 11—14; То м а ш е в с к и й Б. В. Пушкин. Кн. I (1813—1824). М.—Л., 1956, с. 570—574.

⁹ Об отношении Вольтера к Петру см.: Д е р ж а в и н К. Н. Вольтер. М., 1946, с. 197—206.

дывал все жертвы, которых требовал Петр от нации, и суровость его мер, жестокость репрессий. Целиком принимая поведение Петра в деле царевича Алексея, Вольтер писал: «Эти бедственные и страшные события показали, что Петр прежде всего отец своего отечества, что только народ свой почитает он своей семьей. Будучи вынужден карать тех из своих соотечественников, которые мешали и препятствовали счастью остальных, Петр приносил жертву ради общего блага и в силу горестной необходимости».¹⁰

В полном согласии с Вольтером Корнилович через несколько лет написал, как он сам вспоминал, «биографию царевича Алексея Петровича <...> чтоб опровергнуть клевету и показать, что одного суда царевича довольно для бессмертия Петра».¹¹

В таком своем отношении к поведению Петра в деле царевича Алексея Корнилович не был одинок среди декабристов. Николай Тургенев еще в 1817 г. сравнивал Петра с героями древности: «Мы прославляем патриотизм Брута, но молчим о патриотизме Петра, также принесшего своего сына в жертву отечеству».¹²

Обращение к традициям историков-просветителей имело у Корниловича еще и особый смысл, зависящий от его общественной позиции. Как член одного из филиалов Союза Благоденствия Корнилович обязан был выступать с пропагандой тех взглядов, распространение которых входило в тактику Союза.

Создание новой исторической науки, основанной на принципах нового метода исследования прошлого, освященного идеей политической свободы, входило в число тех общекультурных задач, которые ставил перед собой Союз Благоденствия и его периферийные организации.¹³

История при этом могла рассматриваться или только как материал для прямой литературно-политической агитации, или как предмет научного изучения, подчиненного другой задаче — историческому обоснованию политических планов и намерений декабристского движения в целом, т. е. грядущего переворота. Изучение истории, вдохновленное требованиями политической борьбы, общественного движения, должно было дать научное обоснование

¹⁰ Вольтер. Избранные произведения. М., 1947, с. 574.

¹¹ Литературный архив. Т. 1. М.—Л., 1938, с. 420. — Эта неразысканная статья Корниловича была им представлена в Вольное общество любителей словесности под названием «О жизни царевича Алексея Петровича» 19 декабря 1821 г. См.: Базанов В. Ученая республика, с. 408.

¹² Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816—1824 годы. Т. III. Пг., 1921, с. 94.

¹³ Корнилович в Москве был членом одного из таких филиальных по отношению к Союзу Благоденствия литературных объединений — «Общества громкого смеха». См.: Королева Н. В. Пушкин и Тютчев. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. IV. М.—Л., 1962, с. 193—199; Грум-Гржимайло А. Г., Сорокин В. В. «Общество громкого смеха». — В кн.: Декабристы в Москве. М., 1963, с. 143—149.

эмоциональному протесту, подкрепить страстное желание свободы исторически обоснованным изображением процесса этой борьбы на всех этапах национальной истории, а не только в избранные ее моменты, как это делалось в интересах прямой литературно-политической агитации.

Задача, которая стояла перед декабристской исторической мыслью, по условиям политической ситуации преддекабрьского десятилетия получила двойкий характер. Надо было создавать напово и методологию исторической науки, и обновлять ее материал. Новая методология, вернее ее поиски, требовали и принципиально новых социально-исторических наблюдений. Оба эти аспекта создания декабристской исторической науки были осуществлены в деятельности одного из самых замечательных русских историков — А. О. Корниловича. Он начал с того момента, на котором остановился в своей «Истории государства Российского» Карамзин, т. е. с начала XVII в.

II

К 1823 г. относится участие Корниловича в споре с П. Наумовым, автором книги «Об отношениях российских князей к монгольским и татарским ханам с 1224 по 1480 год» (СПб., 1823), на частную и как будто специальную тему, но самая позиция, занятая им, уже демонстрирует новый для него подход к историческому материалу. В этом споре Корнилович выступает как последовательный сторонник новых принципов исторического исследования, как ученый, преодолевший просветительскую методологию превращения истории в прикладную политику.

Отвечая Наумову,¹⁴ в своей «антикритике» Корнилович противопоставил формальному пониманию междукняжеских договоров, на котором основывался Наумов, свое отношение к историческому документу как юридическому отражению социальных отношений. По мнению Корниловича, «степень зависимости» удельных князей от великих «определяли их сила или слабость уделов, близость или дальность оных от Великого княжения, связи родства удельных князей, личные их достоинства и многие другие обстоятельства, которые, не имев твердого основания, могли изменять и отношения каждого удельного князя к Великому».¹⁵

На утверждение Наумова, что в междукняжеских договорах «было более любви, согласия и братского дружелюбия, нежели домогательства со стороны Великих князей», Корнилович возразил, основываясь на социально-историческом понимании «договорности»: «Во всех почти договорах между разными госу-

¹⁴ См.: Наумов П. Ответ на рецензию, помещенную в 23 кн. «Сына Отечества». — Сына отечества, 1823, № 28, с. 69—87.

¹⁵ Там же, № 29, с. 125.

дарями и разными народами изображены любовь, согласие и братское дружелюбие, по всегда ли следовало заключать из того, чтоб они существовали в самом деле? Один государь уступал другому часть своих владений, по словам договора, из уважения к нему, из преданности, но можно ли полагать вообще, чтоб он всегда уступал ее добровольно? <...> Притом древняя история наша (смутных времен) не подкрепляет мнение г. Наумова. Мы видим несогласия, распри, Великих и Удельных князей, лишенных престола своего или владений и потом опять получивших оные. Посмотрите, какая искренность, какое добродушие в договоре 1433 года князя Георгия Дмитриевича Галицкого с Великим князем Василием Васильевичем Темным (см. Собр. государ., ч. 1, № 51), которого он вслед за сим лишил великокняжеского престола». ¹⁶

И далее Корнилович объясняет смысл своего спора с Наумовым: «Я же думаю, что почти все политическое и гражданское состояние России в XVI и даже в XVII веках носит на себе некоторый отпечаток монгольского владычества <...> Мне кажется, что монголы посредственным образом способствовали великим князьям московским в утверждении единодержавия в России. Во время их владычества мелкие владельцы начали постепенно исчезать. Образовались четыре независимых одно от другого великих княжения: Смоленское, Тверское, Рязанское и Московское. Прочие удельные князья, при виде общего несчастья, находя нужду в защите, искали союза сильнейших и покупали оный, жертвуя некоторыми из своих прав, а потом постепенно, при искательстве сильнейших, пришли в совершенную их зависимость. Особенно усиливалось таким образом Великое княжество Московское, потому что оно было могущественнее прочих и потому, что по географическому своему положению находилось в их центре». ¹⁷

Домонгольское состояние Руси противопоставлялось и эпохе татарской власти, и эпохе формирования Московского государства.

Русское самодержавие «посредственным» (мы бы сказали опосредственным) образом оказывается результатом завоевания — покорения Руси монголами, следствием перерыва в органическом ходе национального развития. В своих суждениях о значении татаро-монгольского ига Корнилович очень близок к Николаю Тургеневу, который напечатал свой перевод рецензии Герена ¹⁸ на «Историю государства Российского», где говорилось о том, как изображены у Карамзина «разделения на уделы» и «произошедшие от сих разделений несчастные последствия <...> покорение отечества варварским народом, стыд, неразлучно с сим

¹⁶ Там же, с. 127.

¹⁷ Там же, с. 133—134.

¹⁸ Северный архив, 1822, № 24, с. 486—504.

сопряженный <...>¹⁹ Корниловичу могло быть известно и более раннее «Письмо к издателю» Н. И. Тургенева, появившееся после выхода первых восьми томов «Истории государства Российского», в котором Тургенев писал по поводу оценки исторического значения татарского ига для всего последующего развития России: «Нельзя отрицать, чтобы татарское владычество осталось недействительным и для высших классов».²⁰

Карамзин, как указывает исследователь, «важнейшую эпоху в русской истории — татарское нашествие — <...> рассматривал как фактор, объективно способствовавший укреплению самодержавных начал русской государственности. В силу этих обстоятельств он утверждал, что господство монголов не оставило никаких следов в народных обычаях, в гражданском законодательстве, в домашней жизни, в языке россиян».²¹

Для Тургенева татарское иго — источник российского деспотизма и уничтожения высокого уровня свободы и культуры, достигнутого в доудельный период в Киевском государстве.

Споры о значении татарского ига имели принципиальное значение для исторической мысли и политической борьбы декабристов, для уяснения их собственного отношения к политическим мнениям и общей исторической концепции автора «Истории государства Российского». Но еще большее значение для всего хода развития русской политической мысли 20-х годов имела разработка темы Петра I и его реформаторской деятельности в русской публицистике и историографии этого времени.

Корнилович не был одинок в своем стремлении понять Петра исторически и найти социальное обоснование его реформам. В таком направлении разрабатывал свою «Историю русского флота» Н. Бестужев, сходным пафосом одушевлены пушкинские «Замечания по русской истории XVIII века». Но в общей оценке Петра Корнилович, как и другие декабристы, еще близок к Монтескье. Французский социолог считал — и это хорошо было известно русским мыслителям, — что главная заслуга Петра заключалась не в установлении новых порядков в России, а в возвращении русскому народу его собственного лица и характера, четыре с половиною столетия искажавшегося сначала татарским игом, а затем татарским влиянием: «Преобразования облегчались тем обстоятельством, что существовавшие нравы не соответствовали климату страны и были занесены в нее смешением разных народов и завоеваниями. Петр I сообщил европейские нравы и обычаи европейскому народу с такой легкостью, которой он и сам не ожидал».²²

¹⁹ Там же, с. 500.

²⁰ Сын отечества, 1818, № 42, с. 149.

²¹ Ланда С. С. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816—1821. — В кн.: Пушкин и его время. Исследования и материалы. Вып. 1. Л., 1962 (в дальнейшем: Ланда), с. 105.

²² Монтескье Ш. Избранные сочинения. М., 1955, с. 417.

Твердая убежденность в том, что реформы Петра явились органическим выражением глубинных потребностей национальной жизни и осуществлением тех стремлений к прогрессу и культуре, которым насильственно поставило препоны татарское иго и его «неисчислимые следствия» в XVI и XVII вв., лежит в основе концепции петровских реформ у Корниловича. Позднее в письме к брату (1832 г.) он вспоминал, что «некогда много любил заниматься новою русскою историею и всегда болел душою, что мы так к ней равнодушны, что эта эпоха нашей славы, нашего рождающегося величия так еще мало известна <...> Кто, например, объяснит тебе, какими средствами Михаил, юшоша семнадцатилетний, из глуши монастырской возведенный на престол государства, расстроенного междуусобиями, развращенного безначалием, терзаемого врагами, без насилия, с неизменной кротостью в устах и поступках, в 30 лет с небольшим, залечил язвы исходившей кровью России и оставил ее в столь цветущем положении, в каком она пикогда до него не бывала?». ²³ И далее он вспоминает свой разговор с Карамзиным о значении XVII столетия в общем ходе русской истории: «Помню очень, мне приключилось говорить об этом с Карамзиным. Знаешь, думаю, он решил закончить свою „Историю“ XII томом. Я всячески уговаривал его продолжить ее по крайней мере до воцарения Петра, но он на все мои убеждения отвечал одно: там нечего писать». ²⁴

Из этой критики карамзинского подхода к истории следует, что Корнилович расходился с историографом не только по концепционным, но и по методологическим вопросам и что у него был не только иной, чем у Карамзина, взгляд на русскую историю, но и другой подход к историческим фактам, к методологии исторической науки.

Общий взгляд Корниловича на русскую историю, его представления о том, как шло историческое развитие нации и государства, сформировался в начале 20-х годов.

Две концепции русской истории, два представления о судьбах России нужно было ему преодолеть для того, чтобы найти собственный подход к русской истории и свое объяснение ее смысла, особенно той эпохи, в которой Карамзин, если верить Корниловичу, не находил ничего привлекательного для исторического повествования. Эти две концепции принадлежали соответственно одна — Монтескье и Вольтеру, другая — Карамзину.

В отличие от своих политических единомышленников — декабристов, критиковавших Карамзина за его, как им представлялось, апологетику русского самодержавия, Корнилович был не

²³ Корнилович А. О. Сочинения и письма. М.—Л., 1957 (в дальнейшем: Корнилович), с. 330.

²⁴ Там же.

публицистом, не теоретиком политического толка, а профессиональным историком, ученым исследователем русского прошлого во всей совокупности доступных ему архивно-документальных данных. Более того, можно, не боясь ошибиться, утверждать, что по отношению к русской истории XVIII в. Корнилович был первым русским ученым, изучившим такое количество документального материала по русской военно-политической истории, какое не было до него известно кому бы то ни было.²⁵ Таким образом, Карамзина он мог критически оценить, сопоставив его выводы и наблюдения над русской историей XI—XVI вв. с результатами своих собственных, очень основательных штудий истории XVIII столетия. Это же изучение первоисточников по XVIII в. давало ему в руки убедительное оружие для критики просветительских концепций XVIII в.

III

Критика просветительского филозофизма в истории и карамзинского отождествления историка с летописцем, для того чтобы быть плодотворной, должна была получить в свое распоряжение такой метод исторического исследования, который соединил бы исторический оптимизм просветителей XVIII столетия с доверием к голосу эпохи, с уважением к языку национального прошлого.

Такой метод, получивший блистательное выражение в середине 20-х годов в прославившихся трудах Тьерри, Гизо и других историков романтической школы, был уже высказан со всей полнотой и ясностью в их статьях и сочинениях, непрерывно появлявшихся во французской печати с 1818 г. и, конечно, сразу становившихся известными передовой русской мысли.

Новая историческая школа своим исходным пунктом сделала представление о том, что история есть история нации, а не ее великих людей: «Самая лучшая часть наших анналов, самая серьезная, самая поучительная, еще не написана; у нас нет еще истории граждан, истории подданных, истории народов <...> Такая история могла бы заинтересовать нас судьбой человеческих масс, живших и чувствовавших так же, как мы <...> Движение народных масс к свободе показалось бы нам более величественным, чем походы завоевателей, а их бедствия тронули бы нас больше, чем несчастия лишенных престола королей»,²⁶ — писал Тьерри в 1819 г.

История для него — это борьба национальностей внутри одного государственного образования, на основе которой возникают уже

²⁵ См.: Грум-Гржимайло А. Г. А. О. Корнилович — исследователь архивных источников и археограф. — Исторический архив, 1961, № 2, с. 180—193.

²⁶ Цит. по кн.: Рейзов Б. Г. Французская романтическая историография. Л., 1956, с. 86.

собственно социальные конфликты, определяющие весь ход развития нации.

Оспаривая мнение Карамзина о незначительности влияния татарского ига, Н. Тургенев и Корнилович высказывались в духе новейшей исторической школы, придававшей моменту завоевания первостепенное значение.

Тьерри считал, что германское завоевание уничтожило галльскую свободу: «Свобода, первая необходимость, первое условие социальной жизни, исчезала только благодаря насилию, благодаря завоеванию, осуществленному военной силой. Один только страх создавал рабов»,²⁷ — писал он в 1820 г.

Эта точка зрения должна была усилить позиции тех из декабристов, которые считали, что татарское иго разрушило древнерусские вольности: «Возвеличивая самобытное общественное устройство древних славян, декабристы стояли на позициях, близких к романтической школе — к Тьерри с его превознесением галльского и англо-саксонского элементов перед германским и норманским завоеванием и в особенности к Лелевелю с его представлением о древнеславянской вольности».²⁸

Полемика Корниловича с Наумовым — очень характерное проявление новых исторических принципов применительно к узловым моментам русской истории.

Переход к иной исторической методологии требовал пересмотра многих положений просветительского историзма, отказа от его ценностной шкалы по отношению к различным типам государственного устройства. Отвлеченный, несгибаемый республиканизм казался теперь столь же мало убедителен, «ненаучен», как и безусловное предпочтение неограниченной монархии, в котором обвиняли Карамзина его критики — декабристы. Таков смысл споров о предпочтительности монархии или республики среди теоретиков Союза Благоденствия в 1820—1821 гг.²⁹

Конкретно-историческая форма власти оценивается в зависимости от своего социального наполнения, от прогрессивности или реакционности ее действий. Поэтому существенно меняется в связи с общей эволюцией Корниловича его отношение к истории, его трактовка Петра I и петровских реформ. С просветительским истолкованием исторической миссии Петра он не порывает окончательно, но изображение эпохи и места в ней царя-преобразователя меняется коренным образом.

Задача, которую ставил перед собой Корнилович в своих работах середины 20-х годов, заключалась в том, чтобы показать, как уже в XVII столетии создавались предпосылки петровских реформ и какими именно потребностями национальной жизни эти реформы были вызваны.

²⁷ Там же, с. 93.

²⁸ Волк, с. 321.

²⁹ См.: Ланда, с. 124—139.

В XVII столетии «своевластие добровольно подчинило себя владычеству законов»,³⁰ — писал он в 1832 г. Эту же мысль он высказывал и ранее — в другой форме, — в 1824 г., когда утверждал, что «труды, подъятые сим государем (Алексеем Михайловичем, — И. С.) для образования подданных, для сближения их с Европою, труды, приготовившие Россию к тому величию, на которое воздвигнул ее Петр, не могли обращать на себя внимание писателей, не понимавших отдаленных видов царя Алексея Михайловича и полагавших всю славу правителей в воинских успехах».³¹

Петр в его концепции выступает как слуга и утвердитель законности в Российском государстве: «Наши писатели и большая часть читателей <...> полагали, что он деспот, хотя не смели этого говорить явно, между тем как, напротив, он истребил остатки деспотизма и утвердил нынешнее законное самодержавие».³²

С какими «писателями» спорит Корнилович? Кому он возражает? Поскольку речь идет о той поре его жизни, когда он «несколько» ознакомился с «историей Петра», то, очевидно, речь может идти о Карамзине и его «Записке», о Щербатове с его «Повреждением нравов в России», может быть, о Фонвизине с его «Рассуждением». Возможно, что он спорит здесь и с Радищевым. Слова Корниловича о Петре «он истребил остатки деспотизма» кажутся прямым возражением Радищеву, писавшему о Петре, что он «истребил последние признаки дикой вольности своего отечества».³³

В записке «О дворянстве»,³⁴ написанной в числе других в Петропавловской крепости, Корнилович поясняет, что он имел в виду под «остатками деспотизма», которые «истребил» Петр: «Из числа препятствий, предстоявших древней России на пути ко усовершению, главнейшим было местничество. Решительный удар оному нанес государь Петр I двумя постановлениями: первым, в силу коего все дворяне должны были служить, начиная с нижних чинов, и вторым, позволявшим всех сословий лицам достигать посредством службы дворянского достоинства. Но ставя, как и надлежало, пользу государственную выше всего и делая службу единственным средством к достижению почестей, Петр, желавший поставить Россию на чреду благоустроенных монархий, не мог выпустить из виду двух обстоятельств: 1-е, что дворянство, отличнейшее сословие в государстве, вернейшая подпора престола, дабы соответствовать своему назначению, должно

³⁰ Корнилович, с. 331.

³¹ Там же, с. 131.

³² Там же, с. 297.

³³ Радищев А. Н. Полн. собр. соч. Т. I. М.—Л., 1938, с. 150—151; об отношении Радищева к Петру см.: Т а т а р и н ц е в А. «Письмо к другу» А. Н. Радищева. — Русская литература, 1966, № 1, с. 116—125.

³⁴ ЦГАОРСС, Секретный архив, ф. III Отделения, I оп., д. 61, ч. 79, л. 256—258 об.

иметь некоторое значение, независимое от случайностей; 2-е, что кроме сего сословия есть другие, обогащающие государство промышленностью, которые, дабы они пришли в цветущее положение, надлежит окружить некоторым уважением».³⁵

Самое важное следствие первого путешествия Петра по Западной Европе, по глубокому убеждению Корниловича, — это мысль о пользе и необходимости для прогрессивного развития нации, для ее европеизации существования в ней «среднего сословия»: «Путешествия его по чужим краям указали ему выгоды сословия среднего, коему Западная Европа обязана своим просвещением и в котором сосредоточивается образованность, трудолюбие, добрые нравы. В его же время был у нас зародыш его. Наши тогдашние иностранные гости были в своем роде люди весьма образованные. Кроме Демидовых, Строгановых история сохранила имена Овчинникова, Владимирова, Сердюкова и других, которые производили обширный торг за границу; призываемы были в посольский приказ для совещания о делах коммерческих и даже имели счастье пользоваться личным благоволением монарха».³⁶

Закон 1717 г. о майорате и табель о рангах, открывшая путь к продвижению в дворянство за личные заслуги, должны были способствовать появлению в России двух категорий дворянства: поместного и беспоместного. Упрочение места в социальной структуре государства второй из этих категорий имело бы далеко идущие последствия. Из этого «сословия», подходящего на то, «которое англичане называют gentry», «образовались бы слуги государственные тем вернейшие, что служба была бы единственным средством к поддержанию их в свете. Те же, которым здоровье или обстоятельство не позволили бы занимать общественных должностей, по необходимости посвятили бы себя ученому званию, торговле, промышленности. К ним присоединились бы значительнейшие купцы; одинаковость занятий сблизила бы состояния и истребила бы различие, основанное на одних именах; стена предрассудков, которые до сих пор тяготят нас, распалась бы сама собою, и образовалось бы сословие среднее в таком виде, в каком оно является в государствах Западной Европы».³⁷

По мнению Корниловича, эта — может быть, важнейшая — социальная реформа Петра была отменена Бироном в 1731 г. для «ослабления» дворянства, напугавшего Анну Иоанновну своими требованиями в момент ее утверждения на российском престоле. В результате этого русское дворянство внутренне переродилось, а экономически (значительная его часть) находится на грани катастрофы: «Провидению не угодно было, чтоб начертания Вели-

³⁵ Там же, л. 256 об.—257.

³⁶ Там же, л. 256 об.

³⁷ Там же, л. 257.

кого сбылись. Шесть лет спустя после его кончины Бирон, ненавидимый русским дворянством и плативший ему равною ненавистью, воспользовался покушением нескольких честолюбцев ограничить власть императрицы Анны, дабы представить необходимость ослабления сего сословия. Указ о нераздельности поместий был уничтожен, а с сим вместе обнаружались и все неудобства, какие повлекло за собою исключительное предпочтение службы. Исторические имена, составлявшие славу народную, исчезли или погребены в неизвестности по бедности тех, которые их носят; начали вступать в службу не из любви к ней, а разночинцы, чтоб выскочить в дворяне, дворяне чтобы выдти из недорослей; число дворян размножалось до необъятности; поместья чрезвычайно раздробились, и мы до сих пор не имеем сословия среднего.³⁸

Смысл этих невеселых рассуждений Корниловича поразительно совпадает с размышлениями Пушкина, отразившимся в его наброске разбора второго тома «Истории русского народа» Полевого и в замечаниях на драму Погодина «Марфа Посадница». Б. В. Томашевский так определяет выводы, к которым приходит в это время Пушкин: «... Пушкин остановился на вопросе о своеобразии русского исторического процесса в сравнении с западноевропейским; он отмечал, что в Древней Руси не было того развития городов, что в феодальной Европе, а потому и не было предпосылок к тому, чтобы сложился революционный класс буржуазии; поэтому надежды на буржуазную революцию в России напрасны (таков смысл формулы: «Феодализма у нас не было, и тем хуже») и напрасно Полевой видит в Древней Руси европейский феодализм „и в сем феодализме средство задуть феодализм же“».³⁹

Новая методология социального анализа, подсказанная и Корниловичу и Пушкину новейшей романтической историографией Франции, особенно Гизо и Тьерри, помогла историку и писателю увидеть своеобразие русского исторического процесса, которое они оба формулировали сходным образом как отсутствие среднего сословия (буржуазии), — т. е. такой социальной силы, которая могла бы создать подобие равновесия общественных сил и заставить самодержавие поступиться частью своих прав в пользу нации. Корнилович выдвигает ряд соображений в доказательство того, что самодержавию следует в собственных своих интересах позаботиться о сохранении дворянства как сословия, как культурно-исторической силы. Корнилович, как и все идеологи Северного общества, как и Пушкин, конечно не мыслил себе России без дворянства. Это не значило, что Корнилович был сторонником бесконтрольного помещичьего самовластия.

³⁸ Там же, л. 257—257 об.

³⁹ Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 2. Материалы к монографии (1824—1837). М.—Л., 1961, с. 513.

Ему, как и многим его единомышленникам, казалось, что можно найти какое-то решение вопроса, примиряющее права дворянства и интересы крестьянства, — решение, одним из вариантов которого, по-видимому, и оказалась впоследствии крестьянская реформа 1861 г. Выход этот, как мы хорошо понимаем, был иллюзорным, и Чернышевский об этом предупреждал. Но в конце 20-х—начале 30-х годов в возможность компромисса, удовлетворяющего и дворян и крестьян, еще верили.

В ненапечатанном «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений» Пушкин, имея в виду Полевого, писал, уподобляя обедневшее русское дворянство «среднему сословию»: «И на кого журналисты наши нападают? Ведь не на новое дворянство, получившее свое начало при Петре I и императорах и по большей части составляющее нашу знать, богатую и могущественную аристократию — *pas si bête*.⁴⁰ Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности. Они нападают именно на старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, кому принадлежит и большая часть наших литераторов».

В отличие от Пушкина, которому положение разоряющегося дворянства казалось совершенно безнадежным,⁴¹ Корнилович не терял надежды убедить Николая I в необходимости восстановить введенный было Петром I майорат и тем самым приостановить процесс разорения и упадка дворянства.

Корнилович и Пушкин размышляли над судьбами русского дворянства почти одновременно, но совершенно ничего не зная о том, какие мысли приходили каждому из них по так занимавшему их вопросу. Тем поразительнее сходство точек зрения узника Петропавловской крепости и поэта, недавно получившего возможность после шестилетней ссылки вернуться в столицу.

IV

Суждения Корниловича и Пушкина о судьбах русского дворянства тем интереснее для нас, что из их сопоставления следуют очень важные выводы, касающиеся темы Петра в творчестве Пушкина конца 20-х—начала 30-х годов. Сравнение неизданной, «крепостной» записки Корниловича с заметками Пушкина, в свое время в печать не попавшими, позволяет включить анализ петровского цикла пушкинских произведений в его общую концепцию русской истории, дает возможность определить, в чем Пушкин (как и Корнилович) видел прогрессивность пет-

⁴⁰ Не так глупы (*франц.*).

⁴¹ Об отношении Пушкина к проблеме майората см.: Боровой С. Я. Об экономических воззрениях Пушкина в начале 1830-х годов. — В кн.: Пушкин и его время. Вып. I. Л., 1962, с. 246—264.

ровских реформ, их значение для всего последующего хода русской истории.

Суждения Корниловича, историка по преимуществу, служат как бы специальным комментарием к пушкинским произведениям. В лице Корниловича декабристская историческая мысль выработала свой взгляд на своеобразие русского исторического процесса, и Пушкин придерживался сходных взглядов.

Только в свете этой теории, видевшей величайшее национальное бедствие русской истории в отсутствии в ней среднего сословия, становится до конца понятен интерес Корниловича и Пушкина к Петру, к его личности, к его историческому делу.

Цель тех изучений «истории Петра», которыми занимался Корнилович, определяется его стремлением доказать историческими фактами XVII столетия, что петровский переворот был подготовлен всем ходом общественного развития России, ее экономическим и идеологическим ростом, — т. е. перед нами возникает принципиально совершенно иная концепция истории, основанная на новой по сравнению с XVIII в., Просвещением и Карамзиным методологии исторического анализа.

Движущими силами исторического процесса для Корниловича являются не личности, не великие люди, по произволу которых меняются судьбы народов и государств. Величие этих людей определяется их способностью понять движение времени и способствовать ему всеми своими силами, всей своей энергией. Поэтому в очерке о частной жизни Петра Корнилович в сущности изобразил его государственным деятелем и сам же в конце этого очерка пояснил, что «некоторые черты его семейственной жизни»⁴² он покажет в «другое время».

В очерке же «О частной жизни императора Петра I»,⁴³ хотя излагаются некоторые подробности распорядка его дня, его трапез и пиров, основное внимание сосредоточено на содержании ежедневных и ежечасных его занятий. Корнилович так, например, описывает занятия Петра после того, как он оканчивал прием виднейших сановников: «Ничто не поселит в вас столько уважения к памяти Петра, как сии занятия, предпринимаемые без свидетелей или иногда в мирном кругу немногих, искренне преданных царю особ, разделявших с ним его труды. По деятельности Петра, по его любви ко всему полезному вы можете судить, сколько занятия сии были разнообразны, но несмотря на это разнообразие, все имели одну, постоянную, неизменную цель. Хотите ли знать ее? „Трудиться надобно, братец, — говорил Петр Ив. Ив. Неплюеву, когда определил лейтенантом во флот. — Я и царь ваш, а у меня на руках мозоли, а все для того, чтобы показать вам пример и хотя б под старость увидеть мне достойных из вас помощников и *слуг отечеству*“».

⁴² Корнилович, с. 165.

⁴³ Там же, с. 149—164.

Как видно из этого замечания Корниловича и приводимых им слов Петра, вся «частная жизнь» царя, все самые его «домашние», неофициальные занятия, все мысли были подчинены одной цели — благу отечества, как он его понимал.

Петр в изображении Корниловича предстает не дворянским царем, не фигурой, символически возглавляющей социальную пирамиду дворянской империи, а царем общенациональным, тружеником во имя пации, каким он сам хотел себя видеть и каким он стремился остаться в глазах потомства. «Вообще, — пишет Корнилович в заключении своего очерка «частной жизни» Петра, — Петр чувствовал цену великих дел своих и гордился ими, потому что видел в них благо России <...> С каким жаром описывал он выгоды, которых ожидал от учреждения 12 коллегий, мечтал о благодетельных последствиях просвещения, насаждаемого им в России! Как сильно опровергал пристрастные суждения иностранцев, называвших его жестоким, тираном, варваром! Он любил изображать себя в виде каменщика, обтесывающего молотом обрубок мрамора, до половины обделанный, или кормщика, прошедшего челн чрез бурю и уже близкого к благополучной пристани, цели постоянных его трудов и пламенных желаний».⁴⁴

Подобно тому, как петровские реформы (переворот) были подготовлены всем историческим движением русского XVII столетия, так и политическое развитие России в XVIII в. Корнилович рассматривал как подготовку тех перемен, которые готовил он и его единомышленники по тайному обществу.

Корнилович стремился найти историческое, точнее говоря, социальное обоснование необходимости грядущего переворота, обосновать его не чисто идеологическими или эмоционально-психологическими причинами. Он видел в деятельности тайных обществ осуществление исторической необходимости, не произвольное решение союза благородных душ, а результат всей предшествующей русской истории. Деятельность Петра он потому рассматривал как закономерный итог развития русского общества, что стремился осмыслить свое время как закономерное следствие русского — и не только русского — XVIII века.

Развитие промышленности для Корниловича — самая существенная черта русской жизни XVII столетия; более того, он готов развитием «промышленности» мерить весь русский исторический процесс, он видит в этом развитии основу общенационального прогресса. В уже цитированном письме к брату Корнилович так характеризует своеобразие русского исторического процесса: «Ход нашего развития был совершенно отличен от того, какому следовали европейцы, а потому и пути к достижению одного должны были быть другие. Иностранцы, не постигая этого и, по обычаю теоретиков, подводя все под одну мерку, полтора века

⁴⁴ Там же, с. 165.

вторя Монтескьё, полнят книги свои о России вздорными суждениями, а мы, вместо того, чтобы поверять оныс, часто повторяем их нелепости». ⁴⁵ И подробно объясняет, в чем же разница между ходом развития России и Западной Европы: «Образованность западных европейцев есть следствие многих обстоятельств. Главнейшие: изобретение книгопечатания, реформация, открытие морского пути в Индию и Америку и, наконец, образование среднего сословия, которое, быв лишено преимуществ, доставившихся исключительно дворянству, должноствовало, дабы стяжать приличное место в обществе, возвыситься деятельностью умственной». ⁴⁶

Европейскую культуру XVI—XVIII вв. Корнилович считает созданием «среднего сословия», результатом его борьбы с феодально-абсолютистским государством за право представлять нацию.

Татаро-монгольское иго Корнилович считал основной причиной, по которой ростки промышленности и торговли в России были задавлены: «Система уделов, вовлекшая Россию в междоусобные войны, и владычество монголов, сковав ее игом рабства, уничтожили все блага начинания. Мог ли народ русский думать о занятиях, требующих спокойствия и свободы, в то время, когда должен был заботиться о собственной безопасности, о защите скудного имущества и когда ежечасно опасался, чтобы произведения его трудов не сделались жертвою алчности и корыстолюбия притеснителей». ⁴⁷

Русское правительство, в лице первых Романовых, заставших страну «в том же положении», ⁴⁸ в каком она была после уничтожения монгольского ига, действуя во имя правильно понятых общенациональных интересов, создало предпосылки для петровских реформ: «...торговля, промышленность, просвещение, вводимые, распространяемые правителями, вывели народ из оцепенения, пробудили в нем деятельность, и мало-помалу, подрывая вековое здание невежества, приготовили русских к преобразованию». ⁴⁹ Так писал Корнилович и в статье 1822 г. «Известия об успехах промышленности в России...» Ее установка одновременно и политико-публицистическая, и собственно-историческая. Указание на прогрессивную роль самодержавия в XVII—XVIII вв. (деда и отца Петра и его самого), очевидно, было обращено и к современности, рассчитано на каких-то мыслящих людей среди правительственной верхушки и отвечало установке Северного общества или тех, кто был к нему близок.

⁴⁵ Там же, с. 332—333.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Там же, с. 332.

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Там же, с. 331. Ср.: Корнилович А. Известия об успехах промышленности в России и в особенности при царе Алексее Михайловиче. — Северный архив, 1823, № 1, с. 57—64.

Установка на «реформы» — при том, что венцом этого «ромаповского» реформаторства оказывался Петр, — доказывает, что самая идея реформы, или «преобразования», как предпочитает говорить Корнилович, не была у него отделена пропастью от идеи революции. Проблема «реформа—революция» в русском прошлом и в настоящем представляла для Корниловича неделимое целое, комплекс вопросов, среди которых получал преобладание то один, то другой. Корнилович подходил и к решению политических проблем современности как историк, во всеоружии своей методологии исторического анализа. В этом было самое серьезное различие между ним и такими деятелями Северного общества, как Рылеев.

V

Частная жизнь Петра, нравы русского общества, ассамблеи и празднества получили у Корниловича двойное освещение. Каждая черта нравов, каждая бытовая деталь нужны были Корниловичу и для характеристики данного состояния общества, и одновременно для создания исторической перспективы, для внушения читателю чувства исторической динамики. Читатель очерков в «Русской старине» вводился в историческую эпоху как ее тайный соглядатай, а не как снисходительный и недоверчивый судья.

Проблема «частной жизни» великого деятеля вызывала противоречивое к себе отношение философов XVIII столетия. О ней спорили Вольтер и Руссо. В «Введении» к «Истории российской империи при Петре Великом» Вольтер категорически возражал тем, кто ожидал от него вторжения в частную жизнь Петра: «Настоящая история содержит описание деятельности царя, которая была полезна государству, а не частной его жизни, относительно которой мы располагаем всего несколькими анекдотами, к тому же достаточно известными. Тайны его кабинета, его спальни и его трапез не могут, да и не должны быть разоблачаемы иностранцами».⁵⁰

Иначе подходит к проблеме изображения «частной» жизни великих людей прошлого Руссо. Недавно на это обратил внимание С. С. Аверинцев. Говоря об отношении Руссо к Плутарху, он пишет: «Руссо не только восхищался героическим пафосом „Параллельных жизнеописаний“, но с особенным интересом относился к их бытовой детализации. В „Эмиле“ (т. 3, кн. 4) мы читаем: „Плутарх бесподобен как раз в таких подробностях, в которые мы не отваживаемся входить. Есть неподражаемая грация в том, как он рисует великих людей через малое <...> природа (le naturel) раскрывается именно в безделках“».⁵¹

⁵⁰ Вольтер. Избранные сочинения, с. 557.

⁵¹ Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. М., 1973, с. 89.

Руссо, как известно, построил свою «Исповедь» на «подробностях», которые отвергала историческая проза эпохи Просвещения. После выхода «Исповеди» частная жизнь отвоевала себе мемуарную прозу, но только у Вальтера Скотта она стала основой повествовательной структуры исторического романа.

Изображение истории, т. е. определенной эпохи, более или менее отодвинутой в прошлое от времени жизни и деятельности автора, обратившегося к ее художественному воспроизведению, «домашним образом» и было тем открытием, которым пленил Пушкина Вальтер Скотт.

Обращение Пушкина к «Русской старине» Корниловича уже подробно освещено в исследовании Я. Л. Левкович.⁵² Частная жизнь Петра и его современников, как она показана у Корниловича, привлекла Пушкина не только своим «содержанием», фактами и деталями быта, но и способом подачи этого содержания.

Более того, отказавшись от продолжения работы над романом, Пушкин счел возможным, по примеру Корниловича, напечатать два отрывка из него в виде самостоятельных документально-исторических произведений, «очерков», — как назвали бы их мы, — указав при этом свои главные источники: Голикова и альманах Корниловича.

Исследователи «Арапа Петра Великого» подробно изучили работу Пушкина над его источниками. Принципиальная разница между художественно-повествовательной манерой Пушкина и документально-повествовательным способом изложения материала у Корниловича станет видна из сопоставления отрывков прозы Корниловича с соответствующими местами из «Арапа Петра Великого».

В очерке «Об увеселениях русского двора при Петре I» Корнилович, описывая праздники в Летнем саду, показывает непринужденность, с которой Петр включался в общее времяпровождение: «Одни гуляли по саду, другие оставались в галереях, где был приготовлен полдник, в средней галерее сахарные закуски для дам, в боковых холодные блюда для мужчин. Иные садились в разных углах сада за круглые столики, на которых находились трубки с табаком и деревянными спичками или бутылки с винами. Более всего замечательны господствовавшие на сих праздниках непринужденность и простота в обращении, отличительные черты обществ во время Петра I. Казалось, все были заняты одним желанием веселиться и забывали о различии состояния. Сам государь, отбросив весь этикет, обходился со всеми, как с равными: иногда, сидя с трубкою за столом с матросами, в главной аллее, на второй площадке от Невы, у большого

⁵² См.: Левкович Я. Л. Принципы документального повествования в исторической прозе пушкинской поры. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. VI. Л., 1969, с. 180—188.

фонтана, говорил о трудностях морской службы или, ходя с некоторыми под руку по длинным аллеям сада, рассказывал о своих походах».⁵³

Пушкин так развил этот мотив дружеского общения с «матросами»: «Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частью иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опоражнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в пашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен печальным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся».⁵⁴

У Корниловича оценка «празднества» дается с позиций историка. Он видит в этом празднике в целом и в поведении Петра на нем великий пример уравнивания сословий, подчинения их единому, новому для России образу жизни. «Общество» времен Петра своей непринужденностью в обращении противопоставлено не только «братской старине» допетровского времени, но и, в качестве прямой укоризны, русскому обществу 20-х годов, где сохранилось и упрочилось то «различие состояний», с которым так упорно боролся Петр.

В документальной прозе Корниловича Пушкин, как можно предполагать на основе того, что мы знаем о его внимании к этому автору, находил для себя не только исторический «материал», но и такой подход к этому материалу, который во многом совпадал с его собственным пониманием истории. И дело не только в том, что Петр в интерпретации Корниловича, Петр — революционер на троне, получил прямое продолжение и развитие в пушкинских образах Петра в «Стансах», «Арапе Петра Великого», «Полтаве», а в том, что общее для них понимание прошлого, сходный его социально-политический анализ завершались поразительно сходной оценкой современной (конец 20-х — начало 30-х годов) социально-политической ситуации в России.

В своей записке «О воспитании» Корнилович предлагал правительству заняться последовательной пропагандой преимуществ самовластия перед всеми другими формами государственного устройства.

Имея в виду своих читателей, Корнилович пишет, что в сущности нет надобности это доказывать, ибо «любовь к существующему правительству», основанная «на убеждении, что оно превосходит все прочие роды правления», должна быть внушена

⁵³ Корнилович, с. 167.

⁵⁴ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 8, ч. 1. М., 1938, с. 16—17.

воспитанием с детства, так как «есть предметы, коих нельзя объяснить удовлетворительно отвлеченностями, потому что они не суть творения ума человеческого, а проистекают от самой природы вещей. К таким предметам принадлежат понятия о неограниченных монархиях».⁵⁵

Выдвинув столь неотразимый аргумент в пользу «существующего правительства», Корнилович вынужден, как он сам пишет, считаться с тем, что молодое поколение испытывает на себе влияние современной западной литературы, внушающей ему иные понятия: «Мы по бедности нашей литературы прибегаем к сочинениям иностранным и при настоящем направлении умов в Западной Европе получаем между прочим несогласные с духом нашего правления понятия, на кои бросаемся с жадностью, привлеченные их новостию и наружным блеском».⁵⁶

В качестве противооядия этим «западным» идеям Корнилович предлагает поручить кому-либо написать книгу, в которой «разобрать историю какого-нибудь свободного правления, на примере Великобритании с 1688 года, эпохи, с которой нынешняя ее конституция возымела полное свое действие, раскрыть недостатки оного и, основываясь на фактах, показать, что свобода и представительство, которыми хвалятся англичане, заключаются в одних только формах...».⁵⁷

Далее он подробно развивает свою критику английской парламентской системы в духе, очень напоминающем соответствующие высказывания Пушкина в середине 30-х годов. Характерно, что эту книгу Корнилович считает нужным осуществить в форме, напоминающей один из эпизодов пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург». У Пушкина в черновой редакции главы «Подсолнечная» находится разговор с англичанином,⁵⁸ в котором иностранец доказывает русскому путешественнику превосходство положения русского крестьянина над положением «английских фабричных работников». Корнилович до такой парадоксальной ситуации не дошел; предложенная им книга должна была быть написана «в виде беседы с каким-нибудь англичанином; вложить в его уста все похвалы, расточаемые свободным правлениям, и опровергнуть их фактами...».⁵⁹

Сопоставление идей и прогнозов Корниловича с историко-политическими взглядами Пушкина можно было бы продолжить. То, что мы показали, дает, как нам кажется, новый материал для

⁵⁵ О воспитании, л. 201.

⁵⁶ Там же, л. 204—204 об.

⁵⁷ Там же.

⁵⁸ П у ш к и н. Полн. собр. соч. Т. 11. М., 1949, с. 231—233.

⁵⁹ О воспитании, л. 205.

более общей и более важной темы — об эволюции политических позиций Пушкина в начале 30-х годов и о сложном взаимодействии в них наследия декабризма и воздействия новой общественно-политической ситуации. Разумеется, помимо этой первоочередной задачи нашей науки — изучения политических взглядов Пушкина, для которого наша статья дает новый и показательный материал, — научно-литературное творчество Корниловича позволяет поставить на конкретную почву и проблему просветительских истоков декабристской идеологии, проблему, уже в нашей науке разрабатывавшуюся, но по-прежнему требующую к себе внимания.

ДЕКАБРИСТЫ И САЛОН ЛАВАЛЬ

В начале прошлого века в петербургском обществе заговорили о блестящих приемах, устраиваемых супругами Лаваль в их великолепном доме на Английской набережной. Пышные празднества для лиц царской фамилии и дипломатического корпуса сменялись раутами, вечера с живыми картинами — обедами на 300—400 человек, детские праздники — концертами заезжих знаменитостей, домашние спектакли — костюмированными балами. Гостеприимные «субботы» и «среды» Лавалей привлекали не только сановный и дипломатический Петербург — здесь стали бывать выдающиеся литераторы, художники, музыканты, любители и ценители искусств, образованная талантливая молодежь столицы. В гостиных велись оживленные споры о новых литературных произведениях, многие авторы читали свои сочинения. Здесь можно было обменяться мнениями по поводу политических событий в России и за границей, услышать музыку отечественных и зарубежных композиторов.

Капитан французской службы Жан Франсуа (Иван Степанович) Лаваль впервые появился в России в 1783 г. в составе французского посольства графа де Сегюра при дворе Екатерины II.¹ Во время революции он снова приехал в Россию и был здесь принят на службу в 1795 г.² В 1799 г. женился на А. Г. Козицкой. Благодаря богатству жены сумел вскоре достичь высоких придворных чинов и держался как вельможа. В 1815 г. за ссуду в 300 тысяч франков, переданную его супругой Людовико XVIII перед его возвращением во Францию, И. С. Лаваль получил от короля графский титул.³ В России он в течение 30 лет управлял III Экспедицией особой канцелярии министра иностранных дел; в 1820 г. имел уже чин действительного тайного советника, носил почетное придворное звание

¹ Архив кн. Воронцова. Кн. 32. М., 1886, с. 255.

² ЦГИА СССР, ф. 1349, оп. 6, д. 739, формулярный список 89.

³ ЦГАОР СССР, ф. 1143, оп. 1, д. 98, л. 1; ЦГИА СССР, ф. 796, оп. 98, д. 246, л. 14.

камергера и исполнял при дворе должность церемониймейстера.

По свидетельству современников, Лаваль был человеком остроумным, весьма образованным, хорошо владевшим «изящной речью и пером», считал своим долгом интересоваться наукой, литературой и искусством. Деятельность его была связана с просвещением, что не мешало ему, однако, придерживаться консервативных взглядов на образование.

Александра Григорьевна Лаваль была одной из замечательных женщин Петербурга.⁴ Природный ум и твердый характер сочетались в ней с прекрасным образованием. Она происходила по матери от известных миллионеров-горнопромышленников Мясниковых-Твердышевых. Ей принадлежали обширные имения во многих губерниях России, медеплавильный завод, рудники, глазовский золотой прииск в Оренбургской губернии,⁵ а также, среди прочего, деревни Шабаловка и Ржевка, ныне известные районы Москвы.⁶

Труд 12,5 тыс. крепостных крестьян приносил Лаваль ежегодно свыше 200 тыс. рублей дохода.⁷ На протяжении полувека Лавали слыли одними из богатейших людей России.

Часто и подолгу путешествуя, они встречались со многими выдающимися людьми.

В Англии, а по окончании Отечественной войны и кампании 1813—1814 гг. и во Франции Лавали были приняты в высшем обществе и при дворе. Они возобновили связи в кругу роялистов, представители которых еще так недавно были желанными гостями у них в Петербурге. А. Г. Лаваль была в дружеских отношениях с французской писательницей де Сталь, салон которой посещала. По свидетельству С. Г. Волконского, находившегося в Париже после Венского конгресса, она ввела его в этот салон.⁸ Г-жа Сталь в свой приезд в Петербург в 1812 г. бывала у Лавалей.⁹ По образцу европейских салонов А. Г. Лаваль завела свой салон, сыгравший немалую роль в общественной жизни столицы в 1820—1830 гг. По своему характеру он был литературно-музыкальным. Несомненно, направление его было аристократическим. Круг посетителей салона, с одной стороны, составляли литераторы, художники, музыканты, с другой — дипломаты и политики. Здесь читались и обсуждались новые произведения

⁴ См. краткий очерк о ней: Столпянский П. Женщины старого Петербурга. Гр. Лаваль. — Наша старина, 1917, вып. 3, с. 68—84; Русские портреты XVIII и XIX столетий. Изд. вел. кн. Николая Михайловича. Т. 2, вып. 3. СПб., 1906, № 8.

⁵ Карнович Е. П. Замечательные богатства частных лиц в России. СПб., 1885, с. 174—175.

⁶ ЦГИА СССР, ф. 1350, оп. 12, д. 105, л. 61.

⁷ J. de Maistre et Blacas. Leur correspondance inédite. Paris, 1908, p. 160, 161.

⁸ Записки С. Г. Волконского. СПб., 1901, с. 337.

⁹ Кологривов И. Книгиня Екатерина Ивановна Трубечкая, — Современный записки, Париж, 1936, т. 10, с. 241.

отечественных и зарубежных авторов, велись беседы о политических событиях — ранее, чем они находили отражение на страницах русских газет, и даже тогда, когда упоминание о них в печати было под запретом. И. С. Лаваль по роду службы имел доступ к периодическим изданиям, поступающим из-за границы помимо цензуры. Состоя членом Ученого комитета Главного управления училищ, являвшегося в то время руководящим органом Министерства народного просвещения, Лаваль мог одним из первых знакомиться и с тем новым, что появлялось в России в области науки и просвещения.

Дом Лавалей славился ценнейшими коллекциями произведений искусства, описание которых имеется во многих дневниках, воспоминаниях и записках современников.

О собрании картин, гравюр и предметов античного искусства в доме Лавалей пишут первый посол САСШ в России Д. Адамс, будущий президент,¹⁰ английский путешественник Гренвиль, посетивший Петербург в 1827 г.,¹¹ М. Ф. Каменская,¹² дочь президента Академии художеств Ф. П. Толстого; описание их попало в путеводитель по Петербургу 1840 г.¹³ и художественные каталоги.¹⁴

В обширной библиотеке были собраны лучшие сочинения по истории, философии, искусству, большие коллекции гравюр, географических карт, редких книг.¹⁵

Все это долгие годы делало дом Лавалей притягательным центром петербургского общества. На одном из их литературных вечеров, между 3 и 6 марта 1816 г., Н. М. Карамзин, незадолго перед тем приехавший из Москвы в Петербург, читал из неопубликованной «Истории государства Российского» главы о Новгороде.¹⁶ О хозяйке салона Карамзин писал жене: «Приятельница г-жи Сталь, наша графиня Лаваль, поет мне комплименты как Сирена».¹⁷ О чтении в салоне «Истории» он сообщал: «В доме

¹⁰ Memoirs of John Quincy Adams. T. 2. Philadelphia, 1874, p. 141, 408, 409.

¹¹ Grenvilles. St.-Petersbough. A Journal of travels to and from that capital. London, 1828, v. I, p. 443; v. II, p. 133, 136, 137, 248.

¹² Воспоминания М. Ф. Каменской. — Ист. вестник, 1894, т. 58, № 10, с. 48.

¹³ Saint-Julien Charles de Guide de Voyageur à Saint-Petersbough. St.-Petersbough, 1840, p. 264, 265.

¹⁴ Указатель художественной выставки редких вещей, принадлежащих частным лицам, учрежденной с высочайшего позволения в залах имп. Академии художеств в пользу кассы посещения бедных. СПб., 1854; Собрание древностей покойной графини Лаваль. — Журнал МНП, 1852, ч. XXIII, отд. VII, с. 22.

¹⁵ Колюпанов Н. Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. I, кн. 2. М., 1889, с. 215. — Из своей библиотеки А. Г. Лаваль в 1831 г. подарила В. Ф. Одоевскому в качестве сувенира одну из книг, принадлежавшую ранее польскому королю (ГПБ, ф. 539, оп. 2, д. 1332, л. 1 об.).

¹⁶ Письма Н. М. Карамзина к его супруге из Петербурга в Москву 1816 г. — Русский архив, 1911, кн. 8, с. 586.

¹⁷ Там же, с. 568.

у графа Остермана осуждали меня, как я мог у графини Лаваль, которой дом есть едва ли не первый в Петербурге, читать свою Историю, а не у важных людей, не у Остермана, не у княгини Нат. Петр. Голицыной, к которым не езжу? Улыбнись, жена милая: видишь, что завидуют моим приятелям!».¹⁸ 3 апреля 1816 г. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «Сегодня на обеде у Лавали поминать вас буду, но „История“ Дебре,¹⁹ которую я там услышу, верно не напомнит мне покорение Новгорода».²⁰ Выход в свет в начале 1818 г. первых 8 томов «Истории государства Российского» был событием в жизни русского общества. В этом же году был предпринят перевод «Истории» на французский язык. И. С. Лаваль в качестве члена Ученого комитета Главного правления училищ вместе с Карамзиным осуществлял проверку сделанного перевода.²¹

В конце 1816 г. П. А. Вяземский добивался чтения в салоне Лаваль комедии Реньяра «Игрок», полагая, что «это может быть подействует на театральный ареопаг» и пьесу после этого удастся поставить на сцене.²² Очевидно, надежды его оправдались, так как 30 апреля 1817 г. представление «Игрока» в театре состоялось.

По-видимому, в 1817 г. в салоне Лаваль появляется Пушкин. П. И. Бартенев, ссылаясь на предание, рассказывает о посещениях им блестящих вечеров и балов у графа Лавала, причем «супруга сего последнего, любительница словесности и всего изящного, с удовольствием видела у себя молодого поэта».²³ Известно, что на одном из вечеров он прочел здесь оду «Вольность» в присутствии князя Н. Б. Голицына, литератора и музыканта, впоследствии переводчика его произведений на французский язык.²⁴

Среди бумаг поэта имеются черновые варианты стихотворений «Там у леска» и «Царское село», где на полях сделан карандашный набросок портрета И. С. Лавала с надписью «Laval» (1819 г.).²⁵ В этом же году в стихотворении, посвященном А. И. Тургеневу, Пушкин писал:

Ленивец милый на Парнасе,
Забыв любви своей печаль,

¹⁸ Там же, с. 588.

¹⁹ Де-Бре Ф. Г. — баварский посланник в Петербурге (1814—1819) собирал материалы по истории Ливонии и в 1817 г. издал о ней книгу.

²⁰ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I. СПб., 1899, с. 41. — О Де-Бре см. с. 421—422.

²¹ ЦГИА СССР, ф. 734, оп. 1, д. 20050.

²² Остафьевский архив князей Вяземских, т. I, с. 60.

²³ Бартепьев П. И. Александр Сергеевич Пушкин. Материалы для биографии. М., 1855 (3-я глава).

²⁴ Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. I. М., 1951, с. 146, 742.

²⁵ Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина. Пг., 1922, с. 9, 13. (ИРЛИ, ф. 244, А. С. Пушкин, оп. 1, № 25, л. 1).

С улыбкой дремлешь в Арзамасе
И спишь у графа де-Лаваль.²⁶

Много лет спустя, в 1831 г., Тургенев, вспоминая об этом стихотворении, писал Жуковскому: «Скажи ему (А. С. Пушкину, — А. В., В. П.), что я все еще оправдываю стих его, и сплю — если не у графа де Лавалья, то в театре».²⁷

Блестящая светская жизнь, протекавшая в доме, неожиданно была прервана в 1825 г. В апреле покончил жизнь самоубийством единственный сын Лавалей, 22-летний Владимир. Бенкендорф на донесении министра внутренних дел Александру I по этому поводу написал, что причиной самоубийства молодого Лавалья было его «вольнодумство».²⁸

Вскоре разразились события 14 декабря. Старшая дочь Лавалей, Екатерина Ивановна, была замужем за полковником С. П. Трубецким. Они занимали в правом крыле дома комнаты нижнего этажа. Обширный кабинет Трубецкого выходил окнами на Неву. Здесь собирались видные деятели тайного общества. В показаниях С. П. Трубецкого, К. Ф. Рылеева, М. Ф. Митькова, П. И. Колошина и других упоминается о собраниях у Трубецкого.²⁹ В марте 1824 г. здесь происходили известные совещания Трубецкого с Пестелем, приехавшим в Петербург для координации деятельности Северного и Южного обществ.³⁰ После возвращения Трубецкого из Киева около 10 ноября 1825 г. встречи в квартире у него возобновились; 12 декабря 1825 г. И. И. Пущин писал С. М. Семенову: «Когда Вы получите сие письмо, все будет решено. Мы всякий день вместе у Трубецкого и много работаем».³¹ 13 декабря днем у Трубецкого были К. Ф. Рылеев, Е. П. Оболенский и А. О. Корнилович.³² В ночь на 14 декабря Трубецким и Рылеевым был составлен «Манифест к русскому народу», по-видимому, в доме Лавалей.³³ Совещания руководителей происходили у Трубецкого даже за несколько часов до восстания. Как видно из его показаний, 14 декабря в десятом часу к нему приходили Рылеев и Пущин и они в последний раз обсуждали дальнейший ход действий. Когда восставшие войска уже заполнили Сенатскую площадь и все тщетно ждали диктатора — Трубецкого, за ним приходил В. К. Кюхельбекер, однако его не застал.³⁴ Как известно, Трубецкой не явился на площадь

²⁶ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 2. М.—Л., 1947, с. 41.

²⁷ Пушкин в неизданной переписке современников (1815—1837). — В кн.: Литературное наследство. Т. 58. М., 1952, с. 104.

²⁸ ЦГИА СССР, ф. 1409, оп. 1, д. 4444, л. 539.

²⁹ Восстание декабристов. Т. 1. М.—Л., 1925, с. 18, 49, 91, 102, 132; т. 3. М.—Л., 1927, с. 207, 213.

³⁰ Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2. М., 1955 (в дальнейшем: Нечкина), с. 44.

³¹ Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. [М.], 1956, с. 96.

³² Восстание декабристов. Т. 1, с. 207.

³³ Нечкина, с. 230.

³⁴ Восстание декабристов. Т. 2. М.—Л., 1926, с. 152, 178.

и сразу же после совещания с Рылеевым и Пуциным покинул дом.

Ввиду близости особняка Лавалей к Сенатской площади в нем пытались укрыться бежавшие с площади участники восстания. Трубецкой вспоминал, что в связи с этим дом был окружен войсками с обеих сторон.³⁵ После ареста Трубецкого Николай I приказал произвести обыск в доме Лавалей. Обыск длился всю ночь. 20 солдат Павловского полка были расставлены у дверей комнат. В поисках секретных бумаг у Трубецких ящики письменных столов взламывались штыками.³⁶ Присланному из дворца кн. А. М. Голицыну, получившему приказание забрать все бумаги Трубецкого, удалось обнаружить конспект «Манифеста к русскому народу»³⁷ и проект конституции, составленный Н. М. Муравьевым, переписанный Трубецким с пометами его же рукой. Говорили, что в доме было заготовлено революционное знамя, которое разыскивали.³⁸ При обыске в одной из комнат был найден ручной литографский станок, купленный в 1819 г. М. С. Луниным на средства Общества и переданный им Трубецкому.³⁹ Во время обыска Лавали находились у сестры Александры Григорьевны — кн. А. Г. Белосельской-Белозерской. Ходили слухи о допросе А. Г. Лаваль в III Отделении.⁴⁰

Сенатор П. Г. Дивов 3 января занес в дневник: «Аресты продолжаются. В числе арестованных называют графиню Лаваль».⁴¹

Екатерина Ивановна Трубецкая первая из жеп декабристов решила последовать за мужем в ссылку.

Екатерина Ивановна родилась в 1800 г. Получила прекрасное воспитание, часто и подолгу жила за границей со своими родными. В 1819 г. в Париже, в салоне своей кузины кн. Потемкиной, она познакомилась с С. П. Трубецким, и 12 мая 1821 г. там же состоялась их свадьба. По возвращении в Россию моло-

³⁵ Записки кн. С. П. Трубецкого. СПб., 1906 (в дальнейшем: Трубецкой), с. 40.

³⁶ История л.-гв. Павловского полка. СПб., 1875, с. 275—276.

³⁷ Нечкина, с. 230; ср.: Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.—Л., 1926, с. 29, 146.

³⁸ История л.-гв. Павловского полка, с. 276. — В этой связи любопытны строки из письма австрийского канцлера Меттерниха Лебпелтерну от 14 марта 1826 г.: «Меня спрашивают из Лопдона, как возможно, чтобы мадам Лебпелтерн могла вышивать знамя для конституционной армии» (Вел. кн. Николай Михайлович. Донесения австрийского посла в России Лебпелтерна. 1818—1825 гг. Пб., 1913, стр. 325).

³⁹ Восстание декабристов, т. 1, с. 42, 43; Окунь С. Б. Декабрист М. С. Луний. Л., 1962, с. 53.

⁴⁰ Воспоминания М. Ф. Каменской, с. 47.

⁴¹ Петербург в 1825—1826 гг. (по дневнику П. Г. Дивова). — Русская старина, 1897, т. 89, с. 471.

дые супруги поселились на Английской набережной, в доме ее родителей, но совершенно обособленно.

Природа наделила Екатерину Ивановну живым умом, характером страстным и даже вспыльчивым, но она умела и молчать, когда полагала, что ее молчание в интересах мужа. Твердость характера, искренность, правдивость, благородство, оригинальный ум, душевная щедрость составляли ее привлекательность. Декабрист Розен писал о ней: «Екатерина Ивановна Трубецкая была не красива лицом, не стройна, среднего росту, но <...> когда заговорит, — так что твоя краса и глаза — просто оборочит спокойным приятным голосом и плавною, умною и доброю речью, так все слушал бы ее. Голос и речь были отпечатком доброго сердца и очень образованного ума от разборчивого чтения, от путешествий и пребывания в чужих краях, от сближения со знаменитостями дипломатии».⁴²

Как свидетельствует ее сестра, З. И. Лебцельтерн, Екатерина Ивановна знала о существовании тайного общества и об участии в нем мужа и близких друзей. Ей было известно о намерении учредить конституционное правительство в России, о составлении проектов Конституции и планов восстания, она знала и лиц, стоявших во главе движения, но она считала, что осуществление заговора — дело неопределенно далекого будущего и что заговорщики скорее развлекались составлением различных проектов, чем готовились к этому серьезно.⁴³

До сих пор о существовании записок Лебцельтерн было известно лишь из работы И. Кологривова, опубликованной во Франции и содержащей отдельные из них выдержки.⁴⁴ Обнаруженная в бумагах С. П. Трубецкого копия этих воспоминаний дает нам дополнительные и иной раз очень важные сведения.

«В Киеве после одного из совещаний в доме Трубецких, — рассказывает Лебцельтерн, — узнав, быть может, впервые, высказанные перед нею предположения о необходимости царевубийства, Екатерина Ивановна не выдержала, пользуясь своей дружбой к Сергею Муравьеву, она подошла к нему, схватила за руку и, отведя в сторону, воскликнула, глядя прямо в глаза: „Ради бога, подумайте о том, что вы делаете, вы погубите нас всех и сложите свои головы на плахе“. Он улыбаясь смотрел на нее: „Вы думаете, значит, что мы не принимаем все меры с тем, чтобы обеспечить успех наших идей?“ Впрочем, С. Муравьев-Апостол тут же постарался представить, что речь шла об „эпохе совершенно неопределенной“».⁴⁵ Можно было бы взять под сомнение

⁴² Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907, с. 152—153.

⁴³ ЦГАОРСС, ф. 1143, д. 98.

⁴⁴ Кологривов И. Н. Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, с. 60—62.

⁴⁵ ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 98, л. 23. — Текст записок Лебцельтерн и переписки Трубецкой дается в переводе с французского Э. К. Тарасевич. Язык подлинника в дальнейшем не оговаривается.

достоверность фактов, изложенных Лебцельтерн, тем более что она не являлась очевидицей их, а записала все со слов сестры уже после драматических событий 14 декабря, но существуют еще и другие доказательства осведомленности Е. И. Трубецкой.

Упомянутый выше литографский станок, купленный для целей Общества, был обнаружен во время обыска в ванной комнате Екатерины Ивановны.⁴⁶ Более четырех лет он хранился тайно в комнате, которой она пользовалась постоянно, но которая для постороннего была недоступной, а потому наиболее безопасной. Трудно представить себе, чтобы Трубецкая не знала, что за предмет спрятан мужем в ее личной комнате. После заключения С. П. Трубецкого в Петропавловскую крепость Екатерина Ивановна обратилась к Л. Лебцельтерну с просьбой составить для нее письмо к А. Н. Голицыну, чтобы через него добиться свидания с мужем. В письме Лебцельтерн употребил выражение: «мой муж не виновен, я свидетельствую об этом перед небом». Прочитав эти строки, Екатерина Ивановна сказала: «Нет, уберите эту фразу».⁴⁷ Даже перед лицом грозящей Трубецкому опасности она не смогла утверждать его непричастность к заговору. Таким образом, события 14 декабря 1825 г. и последовавшие за ними репрессии не были столь неожиданными для Трубецкой, как для других жен декабристов.

Положение Лебцельтерна как посланника иностранной державы было в эти дни, в связи с арестом в его доме «государственного преступника», крайне затруднительным. Он обратился к Николаю I с письмом, прося указать, может ли он оставить у себя — после всего, что произошло, — княгиню Трубецкую, что ему будет очень трудно просить ее съехать, учитывая те суровые обстоятельства, в которых она оказалась. Лебцельтерну разрешено было оставить Трубецкую у себя.⁴⁸ В обществе боялись, не будут ли жены и семьи заговорщиков также подвергнуты арестам. Только спустя три недели стало известно, что жены объявлены непричастными к делу их мужей.⁴⁹

Все это время Екатерина Ивановна держалась очень мужественно и поражала близких своей выдержкой и спокойствием. Она пыталась предугадать участь мужа и избегала всяческих разговоров об участниках заговора, многих и многих из которых знала лично, принимала у себя в Петербурге и Киеве. Только когда стало известно, что главные участники заговора арестованы и дают показания, она стала говорить на эту тему.⁵⁰

24 июля 1826 г. Е. И. Трубецкая, не имея еще позволения царя следовать за мужем, выехала в Москву вместе с матерью,

⁴⁶ Восстание декабристов. Т. 1, с. 42, 43.

⁴⁷ ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 98, л. 18.

⁴⁸ Там же, л. 21, 22.

⁴⁹ Там же, л. 23, 24.

⁵⁰ Там же, л. 22, 23.

чтобы здесь через императрицу, очень расположенную к ней, получить формальное разрешение на отъезд в Сибирь. Отец ее находился в Москве, где в качестве церемониймейстера двора должен был присутствовать на коронации Николая I. Екатерина Ивановна остановилась у своей кузины З. А. Волконской. Вслед за ней в Москву прибыл библиотекарь и секретарь графа И. С. Лавала — Карл Август Воше.

Молодой человек, швейцарец по происхождению, отличавшийся образованием и широтой взглядов, Воше пользовался большим доверием и любовью в семье. Появление его в доме, видимо, было как-то связано с сыном Лавала, Владимиром, обучавшимся в Швейцарии. Решение кн. Трубецкой ехать за мужем в Сибирь нашло живой отклик у Воше. Он с радостью вызвался сопутствовать княгине, хотя плохо говорил по-русски и не отличался крепким здоровьем.⁵¹ Получив через А. Н. Голицына разрешение царя, выехали тотчас же. 9 августа были во Владимире, а поздно вечером 16 августа добрались до Лыскова — родового имения дяди С. П. Трубецкого, кн. Г. А. Грузинского, близ Нижнего Новгорода. В 20-х числах приехали в Казань и остановились в доме почтдиректора кн. Давыдова. В дороге Екатерина Ивановна простудилась, но несмотря на болезнь не хотела и слышать об остановках. Они ехали днем и ночью и 16 сентября прибыли в Иркутск.

О всех событиях в пути Воше вел запись в дневнике и сообщал в письмах к Лавалу.

В городах, где они останавливались, их ждали письма родных. 12 августа из Москвы писал отец: «Вчера вечером я получил, мое дорогое дитя, несколько строчек от г-на Воше из Владимира... Я следую за тобой в твоем пути, я сопровождаю тебя своими пожеланиями и молитвами к всемогущему, чтобы он заботился о тебе и сделал твое путешествие счастливым, насколько это возможно. Судя по тому, что мне сообщает г. Воше, мне кажется, что оно началось довольно благополучно. Предполагаю, что если с вами ничего не случится, вы будете в Нижнем во вторник вечером, что вы там остановитесь на среду и четверг и что, следовательно, мое письмо найдет тебя в Казани <...> Тысяча и тысяча приветов г. Воше, скажи ему о моей признательности и моей привязанности».⁵²

28 августа: «Я тороплюсь прислать тебе указ, который появился вчера и который тебя интересует слишком близко».⁵³

⁵¹ Там же, л. 32, 33; ф. 1, оп. 1826 года, д. 61, ч. 26; Трубецкой, с. 115.

⁵² ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 114, л. 2—2 об.

⁵³ Имеется в виду именной указ Сенату от 22 августа 1826 г. «О смягчении наказания государственным преступникам, осужденным на каторжную работу и к ссылке на поселение». Распубликован 27 августа. По указу пожизненные каторжные работы заменялись 20 годами каторги (Поли. собр. законов. Т. I. 1826, статья 548).

Мама уехала в Петербург, бабушка настолько грустна и убита, что мама сократила свое пребывание здесь, чтобы вернуться к ней <...> Я предполагаю тоже скоро уехать в Петербург. Церемонии окончены вчера, праздники будут продолжаться, а это не то <...> Я обнимаю тебя и кланяюсь г. Воше, которому посылаю письмо, пришедшее на его имя из Петербурга <...>.⁵⁴

2 сентября: «Я рассчитываю на точность г. Воше, которому передаю тысячу приветов».⁵⁵

10 сентября пишет вся семья. Сестра Софи: «Я надеюсь, что твоя повозка сослужила тебе хорошую службу <...> Что касается г. Воше, я даже о нем не говорю, уверенная, что он для тебя большая подмога». Отец: «...мы надеемся, что скоро получим письмо от тебя. Я рассчитываю не только на твою точность, но также на точность г. Воше, которому я прошу передать тысячу приветов от меня. Я должен знать, что вы здоровы и что ваше путешествие благополучно». Мать: «... целую тебя и посылаю тебе свое благословение, так же как V. Напомни обо мне этому последнему».⁵⁶

В письмах перемежаются пожелания благополучия Екатерине Ивановне и К. Воше, тревожная забота о здоровье, практические советы, наставления, изъявления любви, приветы от близких и родных. «Человек, который при каждой встрече говорит мне о тебе, это Жуковский; он просит, чтобы я напомнил тебе о нем» (4 января 1829 г., из письма отца). «Г-жа Загряжская также всегда добра к тебе. Я ее видела вчера, она спрашивала о твоих новостях и поручила мне передать тебе от нее комплименты. Несмотря на возраст, ее сердце и ум не стареют <...>». «Тысячи приветов передают тебе Китти Салтыкова и Аграфена Закревская» (12 октября 1828 г., из письма матери). «Г-н Жуковский, так же как и г-н Козлов, поручили мне напомнить тебе о них» (январь 1830 г., из письма матери).

В печатных источниках сообщается, что спутник Трубецкой заболел, не доехав до Иркутска, и вынужден был вернуться, а Трубецкая добралась в Иркутск одна. В воспоминаниях З. И. Лебцельтерн, в руках которой находились подлинные дневниковые записи Воше, эта история представлена по-иному: «... путешественники целыми и невредимыми прибыли в Иркутск. К. Воше нашел средство проникнуть на Николаевский винокуренный завод под Иркутском, где находились Трубецкой и Волконский. „Князь, — сказал Воше Трубецкому, — я вам привез княгиню, сна в Иркутске...“».⁵⁷ Екатерина Ивановна смогла увидеть мужа на следующий день. 22 октября 1826 г., получив известие об их свидании, мать писала: «Тысяча благословений!

⁵⁴ ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 114, л. 5.

⁵⁵ Там же, л. 6 об.

⁵⁶ Там же, л. 11.

⁵⁷ Там же, д. 98, л. 32—33.

Я целую Сергея, я благодарю г. Воше. Мы от него не имеем ни строчки после Рязани. Я надеюсь, что он здоров <...>».⁵⁸

Всю дорогу в Сибирь путешественники находились под надзором властей. Совершенно очевидно, что для Воше была необходима официальная версия о болезни, чтобы иметь возможность скрытно проникнуть к заключенным. В Иркутске Воше вместе с Трубецкой удалось тайно наладить связь с остальными ссыльными, работающими на близлежащих заводах, и дать им знать о возможности переслать с ним письма родным.⁵⁹ Их проводником по Иркутску и заводам был учитель мужской гимназии, старый знакомый покойного брата Трубецкой, француз Жульяни. Он оказывал всяческое содействие обоим приехавшим.⁶⁰ Так была впервые установлена нелегальная связь между отбывавшими в Сибири каторгу декабристами и их родными и близкими в центре России.

Правительство было озабочено тем, чтобы удержать жен декабристов от намерения следовать за мужьями в ссылку. Руководствуясь специальной инструкцией, разработанной генерал-губернатором Восточной Сибири А. С. Лавинским и утвержденной затем Николаем I,⁶¹ местные власти всячески старались удерживать Трубецкую от поездки в Нерчинск, куда всех декабристов отправили из Иркутска. Пять долгих месяцев Екатерина Ивановна день за днем настаивала, молила, требовала, надеялась, отчаивалась и снова надеялась.

9 октября она писала отцу: «... Сергей уехал в Нерчинск три дня тому назад. Я еще не оправилась от удара, нанесенного мне этой новой разлукой. Должно быть, вам известны условия, на которых мне позволили поехать за ним. Не печальтесь, мои дорогие родители <...> Я думаю, что эти условия всегда существовали и во всех случаях естественно, что им отдается предпочтение в настоящем положении вещей. Конечно, жертвы, о которых идет речь, трудны для меня, а боль, которую вы можете от этого испытывать, разрывает мне сердце. С чувством печали и уныния я думаю о том, что вы испытываете, зная о моей нищете, но, дорогие родители, оставив в стороне всю мою нежность к мужу, могу ли я колебаться между самым священным, самым дорогим моим долгом и благосостоянием, которого бог наверняка лишил бы меня вместе со своим благословением, если бы я могла покинуть своего мужа. Вот уже два месяца, как я убедилась, что не могу жить без него, что разделить его страдание, это единственное, что может поддержать меня в этом мире <...> Мне

⁵⁸ Там же, д. 114, л. 15 об.

⁵⁹ Кубалов Б. Декабристы в Иркутске и на ближайших к нему заводах. — В кн.: Декабристы в Восточной Сибири. Иркутск, 1925 (в дальнейшем: Кубалов), с. 21, 22; Николаевский Б. Первые декабристы в Иркутске. — Сибирские записки, 1919, № 3.

⁶⁰ Кубалов, с. 21, 31.

⁶¹ Там же, с. 8, 9.

еще не разрешили отправиться за мужем, я должна дожидаться сообщения о его прибытии, которое сможет, я полагаю, дойти сюда только через три недели; тогда через Байкал нельзя будет переехать, и я должна буду ждать здесь до тех пор, пока он не замерзнет, что составит два или три месяца. Это такое испытание, страдание и терпение, которые я надеюсь с божьей милостью вынести <...> Прощайте, дорогие родители, да хранит вас бог и поддержит вас ради всех ваших детей, даже ради тех, которые так далеко от вас. Пусть он мне однажды подарит за все мои горести радость, что вы немного спокойнее, чем сейчас, и пусть счастье моих милых сестер утешит меня немного в моих испытаниях. Благословите нас обоих. Целую ваши руки и нежно обнимаю от всего сердца».⁶²

Наконец Байкал стал. 19 января 1827 г. генерал-губернатор Цейдлер ответил Трубецкой, что не может более ее удерживать, предупреждая вместе с тем, что ей грозит потеря титула и дворянства, «а дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные крестьяне».⁶³

4 марта А. Г. Лаваль писала дочери: «С какой болью в сердце я прочла твое письмо от 20 января, дорогая Каташа...». Далее следуют неожиданные строки: «Благодаря доброму сердцу г. губернатора я была успокоена, узнав из письма, которое он любезно написал мне 22-го и которое я получила одновременно с твоим, что ты благополучно переехала Байкал...».⁶⁴ Цейдлер пишет письма родным Трубецкой в Петербург. Через него они посылают дочери в далекую Сибирь письма, деньги, посылки. Наезжая в столицу, он бывает в доме Лавалей.

Не эта ли двойственность поведения Цейдлера, совмещавшего служебный долг с симпатией и сочувствием к семьям осужденных, отразилась в поэме Некрасова?

Как бы там ни было, в письме от 18 июня 1829 г. Лаваль сообщала дочери: «Я еще не написала тебе, милая Каташа, об удовольствии, которое я испытала, увидев здесь г-на Zeudyler'a, который любезно приехал меня навестить и рассказать нам о вас во время вашего пребывания в Иркутске. С тех пор прошло уже много времени, он не мог мне рассказать о вас свежих новостей, но он вас видел после нашей разлуки; он вам расскажет о нас. Я ему показала мой сад, хижину, каштаны, посаженные перед ее дверью...».⁶⁵

Наконец 22 января 1827 г. Трубецкая добралась к мужу в Нерчинск. Вскоре туда приехала М. Н. Волконская и другие

⁶² Текст письма полностью приводится в Записке З. И. Лебцельтерн (ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 98, л. 51—52).

⁶³ Трубецкой, с. 116.

⁶⁴ ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 115, л. 35—35 об.

⁶⁵ Там же, д. 117, л. 83. — Речь идет о даче гр. Лаваль на Аптекарском острове. Хижиной назывался павильон, выстроенный в египетском стиле недалеко от главного дома. Здесь жили в 1824 г. Трубецкие. Видимо, в их честь и посажены были два каштана, о которых говорится в письме.

жены декабристов. Началась новая жизнь: длинная цепь отчаянно трудных, подчас опасных лет. Однако рядом с бедами, лишениями, унижениями было и горькое счастье.

А какова судьба спутника Трубецкой, Воше, который, доставив мужественную женщину в Иркутск, отправился в обратный путь? Он 21 октября 1826 г. был уже снова в Лыскове, где остановился на несколько часов у кн. Г. А. Грузинского.

Г. А. Грузинский был личностью весьма своеобразной. Вот как характеризует этого князя его современник и знакомец Ф. Ф. Вигель: «Всеповелительным деспотом с давних пор проживал в сей губернии сын одного грузинского царевича, князь Егор Александрович <...> Царского происхождения, с полуденной кровью, с пылкими страстями, с крутым нравом, князь Грузинский точно княжил в богатом и обширном селении Лыскове, на берегу Волги, насупротив маленького города Макарьева».⁶⁶

В Нижнем Новгороде сведения о приезде Воше и о письмах, которые он вез из Сибири, просочились в общество. Положение нижегородского генерал-губернатора, должность которого исполнял А. Н. Бахметьев, обязывало его представить об этом донесение в Петербург. Такое донесение шефу жандармов Бенкендорфу, в котором указывалось, что Воше везет «много писем от преступников» и что он поедет в Петербург через Москву, было послано.⁶⁷

Бенкендорф тут же сообщил Николаю I о поступившем донесении ген. Бахметьева.⁶⁸ В ответ царь отдал распоряжение начальнику Главного штаба И. И. Дибичу принять меры к задержанию Воше. В свою очередь Дибич 3 ноября 1826 г. предписал местным властям оказывать содействие подпоручику Белоусову, который «по высочайшему повелению отправлен по тракту от С-Петербурга до Нижнего Новгорода с тем, чтобы при встрече с секретарем гр. Лавалля иностранцем Воше взял его и, опечатав все находящиеся при нем бумаги и имущество, доставил как оные, так и его самого куда повелено».⁶⁹ Однако Воше ускользнул от властей и благополучно добрался со всей корреспонденцией до Москвы. Обращает на себя внимание тот факт, что несмотря на донесение Бахметьева и последовавший за этим целый ряд правительственных мер к задержанию Воше, он все-таки оказался вне опасности. Было ли это только случайностью? Сопоставление фактов наводит на мысль, что Бахметьев, выполняя свой служебный долг, сознательно не проявил при этом достаточной расторопности и тем самым дал возможность смелому путешественнику свободно выехать из Нижнего Новгорода. Од-

⁶⁶ Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 2. М., 1928, с. 143—144.

⁶⁷ ЦГАОРСС, ф. 1, оп. 1826, д. 61, ч. 26 (дело «О государственных преступниках. О Сергее Трубецком и жене его»), л. 1—1 об.

⁶⁸ Там же, л. 2.

⁶⁹ ЦГВИА СССР, ф. 36, оп. 4/847, д. 501, л. 1.

нако Воше поехал не по «тракту», как предполагали власти и где они его поджидали, а круглым путем, через Рязань, и это его спасло.

Поведение Бахметьева в этой истории могло бы показаться на первый взгляд необъяснимым. Но только на первый взгляд. Дело в том, что его с кн. Грузинским связывали близкие родственные отношения: княгиня Грузинская была родной сестрой Бахметьева. Единственный сын Грузинских, племянник Бахметьева, Иван Георгиевич, блестящий гвардейский офицер, находился у III Отделения под подозрением в сочувствии участникам восстания. По заключению жандармских чинов, он, «если бы в эпоху 14 декабря 1825 г. не находился в отпуску или ремонтером, то неминуемо участвовал бы и сам в деле тех преступников».⁷⁰ Всего этого не мог не знать Бахметьев. В своем донесении Бенкендорфу он ни словом не упомянул о том, что Воше останавливался у Грузинских, не желая подвергать их опасности, хотя личные отношения его и кн. Грузинского были весьма неприязненными. Быть может, и Бахметьеву, как и Цейдлеру, не было чуждо сочувствие осужденным?

Добравшись до Москвы, Воше остановился по-прежнему в доме З. А. Волконской. Здесь его ждала сестра Трубецкого, Е. П. Потемкина. Зная о слезке за Воше и о грозящей ему опасности за связь с ссыльными, близкие родственники осужденных приняли меры к тому, чтобы переезд Воше в Петербург прошел незаметно. Чтобы усыпить подозрительность властей, З. А. Волконская устроила ему совместную поездку с поэтом Д. В. Веневитиновым и Ф. С. Хомяковым, находившимися, по ее предположению, вне всяких подозрений у полиции. Эта мера вполне могла бы обеспечить Воше безопасность.⁷¹ С дороги Веневитинов писал сестре в Москву: «Я очень рад путешествию вместе с Воше. Это самый милый малый на свете, и я уже любил его всею душою».⁷²

И все-таки при въезде в Петербург путешественников постигла беда: Воше и Веневитинов были арестованы, а Хомякову, ехавшему в отдельном экипаже, удалось избежать ареста. Веневитинов был препровожден на гауптвахту, где пробыл под арестом двое суток. Показания относительно поездки с Воше он давал одному из следователей по делу декабристов — генералу Потапову. Поэт в эти дни пережил «глубочайшее нравственное потрясение» и долго не мог освободиться от тяжелого впечат-

⁷⁰ ЦГАОРСС, ф. 1, оп. 1826 года, д. 61, ч. 26 (дело «О дошедших до генерал-майора Волкова сведениях об отправленных графом Потемкиным в Сибирь человеке Данииле Бочкове и девке Аграфене Николаевой с деньгами, вещами и письмами к жене государственного преступника Трубецкого»), л. 4.

⁷¹ Колюпанов Н. Биография Александра Ивановича Кошелева, т. I, кн. 2, с. 112; Гаррис М. А. Зинаида Волконская и ее время. М., 1916, с. 84.

⁷² Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. М.—Л., 1934, с. 17.

ления, которое произвел на него допрос.⁷³ Пребывание на гауптвахте окончилось для него сильной простудой, повлекшей за собой скорую смерть. К сожалению, сведений о том, куда после ареста был препровожден Воше, кому он давал показания и какого они были характера, не обнаружено. О времени освобождения его из-под ареста можно судить по письму А. Г. Лаваль дочери, датированному 19 ноября 1826 г.: «Мы только что узнали от твоего компаньона по путешествию, дорогая Каташа, что ты перенесла трудности столь долгого и трудного пути с необычайным мужеством...».⁷⁴ Обстоятельства, связанные с его дальнейшей судьбой, излагаются в письме к Е. П. Потемкиной, poslanном в Москву через невесту декабриста И. А. Анненкова, П. Гебль, которое проливает некоторый свет и на скрытые подробности его ареста, дает представление о том, насколько серьезным и драматичным оказалось для Воше вмешательство III Отделения в его судьбу. Письмо написано на французском языке, датировано « $\frac{14}{1826}$ » без указания месяца. Известно, что

П. Гебль выехала из Петербурга в Москву после 10 декабря, следовательно, оно было написано в декабре. Письмо настолько важно, что приводится здесь полностью:

«Только два слова, дорогая графиня; я боюсь своей тени, и надо было, чтоб я увлекся желанием принести пользу, чтоб я осмелился обратиться к Вам с несколькими строками через г-жу Польш, которая готовится ехать в мою милую Сибирь. Вы могли бы оказать большую услугу несчастному человеку, и я, не колеблясь, советую ей явиться к Вам, чтоб получить все сведения, которые могут быть ей полезными. Я лишился всего, у меня отняли все, даже память, которая запечатана. Но есть воспоминания, которых никакая человеческая сила не может изгладить; они в Сибири, они в Вас, дорогая графиня, и добрая княгиня Зинаида их разделает. Прощайте, дорогая графиня, мое почтение графу; благоволите напомнить обо мне семейству Шаховских, которое я уважаю и люблю; прощайте, дорогая графиня; жду рассвета, чтоб сесть в экипаж и ехать во Францию. Вспоминайте иногда

Глубоко уважающего Вас

Карла Августа Воше.

Будьте спокойны на счет результата расследования; все было сделано в пользу тех, которые будут постоянно предметом наших помыслов и нашей любви; один я уезжаю, это нужно, и

⁷³ Веневитинов М. К биографии поэта Д. В. Веневитинова. — Русский архив, 1885, кн. 1, с. 118.

⁷⁴ ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 114, л. 30.

я первый просил позволения уехать, раньше чем получил разрешение на то.

14
1826

На случай, если б я мог быть Вам полезен во Франции, я живу в Марселе (Dep. des Bouches du Rhone rue Montgrand № 29).⁷⁵

Первые же строчки письма говорят о тревожном состоянии автора. Он стремится быть предельно лаконичным, взвешивает каждое слово, чтобы не сказать лишнего, фразы полны скрытого, но точного смысла, понятного только посвященному; он боится «даже своей тени» — и тем не менее проявляет мужество в своем намерении помочь близким ему людям, готовым ехать в «милую Сибирь», воспоминания о которой для него неизгладимы.

Нет сомнения, что Воше во время допроса не признался в получении и доставке писем от декабристов и тем самым не дал повода для новых репрессий против ссыльных. Он понимал, что его арест не мог не вызвать тревоги в семьях осужденных, получивших через него известия из Сибири, и поспешил успокоить тех, с которыми был связан.

Предметами помыслов и любви Воше можно назвать не только Трубецких, Анненковых, Шаховских, о которых он упоминает в письме, но и всех тех, для кого он явился первым тайным курьером.

О глубокой симпатии и сочувствии Воше декабристам рассказывает П. Е. Анненкова в своих записках. В декабре 1826 г., добываясь разрешения последовать в Сибирь к Анненкову, она поспешила поехать к гр. Лаваль, чтобы повидаться с Воше, только что возвратившимся из Сибири. От него она получила маршрут следования. Встреча их была короткой, так как Воше было предписано покинуть Россию. Он успел ей рассказать, что по возвращении из Иркутска «при въезде в Петербург его попросили на гауптвахту, где продержали четверо суток, бумаги его были отобраны, и сам государь подчеркнул все заметки, сделанные Воше о Сибири, и после этого объявил ему, что он более не может оставаться в России».⁷⁶ Таким образом, записки Анненковой существенно дополняют те краткие сведения об аресте и высылке Воше из России, которые содержатся в письме к Потемкиной. Ее отзыв о Воше как о честном и благородном молодом человеке подтверждает мнение о нем Веневитинова.

Из воспоминаний Н. И. Тургенева мы узнаем, что Воше по возвращении во Францию смог, как непосредственный свидетель событий, доставить сведения о положении ссыльных в Сибири. Его рассказы находили отклик в либеральных слоях

⁷⁵ Трубецкой, с. 115.

⁷⁶ Воспоминания П. Е. Анненковой. М., 1929, с. 126.

французского общества и вызывали сочувствие к революционным событиям в России.⁷⁷

Одним из поэтических откликов на события 14 декабря 1825 г. и героизм жен декабристов была поэма А. де Виньи «Ванда».⁷⁸

Недавно обнаруженные письма де Виньи к сестре Е. И. Трубецкой, А. И. Коссаковской, показывают, что прототипами поэмы послужили Е. И. Трубецкая и А. И. Коссаковская.⁷⁹

Другим произведением, посвященным подвигу Трубецкой, явилась поэма в прозе Ю. Словацкого «Ангелли», опубликованная в 1838 г. в Париже. В связи с переводом этой поэмы на французский язык Ю. Словацкий 22 мая 1839 г. писал переводчику К. Гашинскому: «Что касается молодой женщины, которая с мужем своим страдает из-за сердца человека, то это княгиня Трубецкая. У нее есть сестра в Петербурге, кажется, княгиня Ливен. Она пишет ей из рудника письма, которые весь большой петербургский свет читает со слезами».⁸⁰

Маркиз де Кюстин, посетивший Россию в 1839 г., так рассказывал в известных записках о своем впечатлении от подвига Трубецкой: «Я уже собирался сесть в экипаж, когда вошел один из моих друзей с письмом в руке. Он настаивал, чтобы я прочел последнее сейчас же. Боже мой, что за письмо! Оно написано княгиней Трубецкой и адресовано родственнику, который должен показать его императору. Я хотел тут же переписать его, чтобы напечатать, не изменив ни одного слова, но мне этого не позволили. — Ведь письмо облетит тогда весь мир, — проговорил мой друг, испуганный произведенным на меня впечатлением. — Это лучший довод за его напечатание. — Что вы, это немислимо! Дело ведь идет о судьбе целого ряда лиц. Письмо было мне передано под честным словом. Я могу только показать его вам и вернуть через полчаса».⁸¹

В этом письме, предназначенном Николаю I, содержалась просьба Екатерины Ивановны разрешить семье Трубецкого после отбытия им каторжных работ поселиться вблизи какого-либо из городов Сибири, где можно было бы получить помощь. Письмо заканчивалось словами: «Я очень несчастна, но если бы мне было суждено пережить все снова, я поступила бы точно так же».⁸²

⁷⁷ Тургенев Н. Россия и русские. М., 1918, с. 151.

⁷⁸ См.: Михайлов В. А. Отголоски декабристского движения во французской литературе. М., 1911, с. 27—30.

⁷⁹ Никольский А. Д. А. де Виньи об А. С. Пушкине. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии, 1971. Л., 1973, с. 90—94.

⁸⁰ Словацкий Юлиуш. Избранное. М., 1952, с. 780. — Сестра Трубецкой, к которой адресовались письма, — не Ливен, а С. И. Борх.

⁸¹ Де-Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930, с. 186, 187.

⁸² Там же, с. 190.

Кюстин, комментируя письмо Трубецкой, писал: «Не читал ничего трогательнее и проще <...> В нескольких строках она описывает свое положение без декламаций и жалоб. Она не унижалась до краспоречия — факты сами говорят за себя <...>».⁸³

«Благородная женщина получила „милостивое“ разрешение заживо похоронить себя вместе с мужем. Не знаю, какой остаток стыда заставил русское правительство оказать ей эту милость. Может быть, боялись друзей Трубецкой, людей влиятельных и знатных. Как ни обессилена здесь аристократия, она все же сохраняет тень независимости, и этой тени достаточно, чтобы внушить страх деспотизму».⁸⁴

Попытки установить через Трубецкую непосредственную связь с ссыльными предпринимались неоднократно. Несмотря на бдительное око III Отделения, это удавалось. Лавали не раз посылали в Сибирь своих преданных людей с посылками, деньгами, письмами. Этими связями пользовались и родственники других декабристов. Связь шла от Лавалей в Москву к Потемкиной, оттуда к Грузинским в Нижний Новгород и таким же путем из Сибири в Петербург.

В Петербурге дом Лавалей в это время служил притягательной силой для многих родных и друзей декабристов. Здесь могли они узнать о судьбе своих близких, говорить о них, рассчитывать на поддержку и помощь в установлении связей с ссыльными.

Сестра С. И. Муравьева-Апостола, Е. И. Бибикова, расспрашивала здесь М. М. Сперанского, бывшего с 1819 по 1821 г. генерал-губернатором Сибири, о Бухтарме, в район которой просила поселить своего второго брата — декабриста М. И. Муравьева.⁸⁵

21 декабря 1826 г. А. Г. Лаваль писала дочери: «Княгиня Мария Волконская уезжает сегодня вечером, чтобы ехать в вашу местность. Она приезжала ко мне сегодня утром, чтобы иметь возможность сказать вам, что она нас видела и что мы здоровы. Не сумею выразить, как я была тронута этим поступком, таким добрым и таким деликатным... Она видела твой портрет рядом с моей кроватью <...> Дорогое дитя, скоро она вас увидит, чего бы я не сделала, чтобы быть сейчас на ее месте, прижать вас к сердцу. Это было бы для меня таким счастьем...».⁸⁶

В мае 1827 г. с Нарышкиной, уезжавшей к мужу, было передано открытое письмо, адресованное Цейдлеру для передачи Трубецкой.⁸⁷

Весной 1828 г. начальник III Отделения Бенкендорф сообщал военному губернатору Восточной Сибири Лавинскому, что, по

⁸³ Там же.

⁸⁴ Там же, с. 187, 188.

⁸⁵ Кубалов, с. 68.

⁸⁶ ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 114, л. 30—30 об.

⁸⁷ Там же, д. 115, л. 66 об.

сведениям начальника II округа корпуса жандармов генерал-майора Волкова, Е. И. Трубецкая послала к Муравьевой в Москву свою служанку Авдотью, сопровождавшую ее в Сибирь. Прожив несколько дней в Москве, Авдотья отправилась в Петербург к гр. Лаваль и от нее привезла теплые зимние вещи, в том числе меховую шубу. Муравьева передала все эти вещи Е. П. Потемкиной. Последняя снарядила в Сибирь нарочным к Трубецким московского мещанина (бывшего крепостного), смелого и ловкого человека, Даниила Васильевича Бочкова и с ним Аграфену Яковлевну Николаеву. По подорожной, выданной в Москве губернатором кн. Голицыным, эти двое прибыли 24 марта 1827 г. в Нижний Новгород к Г. А. Грузинскому, пробыли у него 5 дней, были снабжены «знатной» суммой денег и письмом, а затем отправились в Нерчинск. Жандармам было известно, что Бочков на обратном пути из Сибири должен был остановиться опять в Нижнем и все доставить в руки Грузинскому, а он или сам, или через своего нарочного отправит почту по адресам в Москву и Петербург.⁸⁸

Одновременно Бенкендорф послал письмо нижегородскому губернатору А. Н. Бахметьеву с приказанием принять меры к задержанию Бочкова и его спутницы и все у них отобрать.⁸⁹

Бахметьев донесениями от 2 и 26 мая 1828 г. сообщал, что меры им все приняты, но ни Бочков, ни Николаева на обратном пути из Сибири в Нижнем Новгороде пока не появлялись.⁹⁰

2 июня того же года А. С. Лавинский донес Бенкендорфу, что Бочков и Николаева прибыли в Иркутск. При въезде в город они были задержаны полицией и все имеющиеся при них вещи доставлены в дом губернатора (Цейдлера), который лично в присутствии отряженных для этой цели Лавинским «двух советников» освидетельствовал все самым тщательным образом. Однако ни денег, ни зимнего салопя, о котором сообщалось особо, обнаружено не было.⁹¹

Позднее нижегородские власти принимали свои меры к задержанию возвращающегося из Сибири Бочкова. Местом наблюдения они избрали переправу на реке Суре близ города Васильсурска, через которую неминуемо должны были проезжать все следующие по Сибирскому тракту к Москве. Но усилия их были тщетными, Бочкову удалось скрыться. Пока реки не стали, он не появлялся, с наступлением же зимнего пути открывался свободный проезд на вольных ямщиках по реке Волге, а на почтовых станциях, как сообщали власти, Бочков «в книгах не отмечен и в проезде не значился».⁹²

⁸⁸ Там же, ф. 1, оп. 1826 года, д. 61, ч. 26 (дело «О дошедших до генерал-майора Волкова сведениях...»), л. 1—4.

⁸⁹ Там же, л. 5.

⁹⁰ Там же, л. 6—7 об.

⁹¹ Там же, л. 8—10 об.

⁹² Там же, л. 12—13.

В начале 1833 г. уезжала из Сибири находившаяся в услужении у Трубецкой Наталья Романовна Белова. В Иркутске все ее вещи были проверены и от нее была взята подписка о том, что она «не везет с собою из Петровского завода ни от кого из государственных преступников или их жен никаких сомнительных писем, бумаг, вещей и посылок». ⁹³ Одновременно с большою предосторожностью были осведомлены о ее выезде казанский, московский и петербургский военные губернаторы «на тот счет, не рассудят ли они принять меры для повторных внезапных осмотров Беловой на пути ее, в совершенном удостоверении, что она ничего запрещенного из Петровского завода не имеет». ⁹⁴

В 30-е годы в Сибирь декабристам отправлялись посылки с обозами купцов Шелковникова и Татаринова. С одной из таких okazji летом 1832 г. Е. И. Трубецкая отправила письмо своей матери: «Скажи лицу, которое хочет иметь известие о г. Поджио, что он очень признателен за внимание, которое оно ему оказывает. Он всегда получал все, что ему посылали, и просил сообщить это своей матери. Теперь он здоров, у него была горячка от простуды, но он уже поправился <...>». ⁹⁵

Усиленные многолетние хлопоты влиятельных родственников декабристов об облегчении условий жизни женам сосланных дали свои результаты. Было разрешено отправлять им необходимые вещи, книги. Наладилась регулярная переписка.

Спустя два года семья Лавалей несколько оправилась от ударов, на нее обрушившихся. Начиная с 1828 г. у них снова весь высший свет столицы и по субботам в салоне по-прежнему собираются лучшие представители литературы и искусства. А. С. Пушкин 16 мая 1828 г. читал здесь «Бориса Годунова». Слушателями были А. С. Грибоедов, А. Мицкевич, П. А. Вяземский, А. И. Кошелев, сыновья Карамзина и другие. ⁹⁶

Многие из лиц, с которыми Пушкина связывали узы дружбы, входили в круг людей, близких к Лаваям.

Как вспоминал Ш. Сен-Жюльен, «тут по определенным дням собирались самые выдающиеся представители поэзии и литературы; это здесь между 1827 и 1830 годами, я имел возможность видеть Пушкина, Крылова и Жуковского, то есть московитских Байрона, Лафонтена и Ламартина, а также Гнедича, переводчика Гомера, и Козлова, слепого, как певец Улисса, давшего образцы прекрасной и тонкой русской поэзии». ⁹⁷

⁹³ Там же, л. 9.

⁹⁴ Там же, л. 7, 8.

⁹⁵ Там же, ф. 1143, оп. 1, д. 120, л. 8.

⁹⁶ Пушкин в неизданной переписке современников (1815—1837), с. 79; Колупанов Н. Биография Александра Ивановича Кошелева, т. I, кн. 2, с. 202.

⁹⁷ Saint-Julien Ch. de. Voyage pittoresque en Russie. Paris, 1851, p. 29—30.

Впечатления от вечеров у Лаваль отразились в пушкинских набросках «Гости съезжались на дачу...» (1828)⁹⁸ и «Мы проводили вечер на даче...» (1835), где прототипом «молодой графини К.» послужила младшая дочь Лавалей, Александра, в замужестве Коссаковская.⁹⁹

На протяжении 1827—1828 гг. в салоне Лаваль появляются Грибоедов и Мицкевич; в начале 30-х годов — В. Ф. Одоевский и старый друг семьи П. А. Вяземский, приехавший в Петербург; в многочисленных свидетельствах современников мы находим упоминания о балах, живых картинах в доме Лавалей, о музыкальных вечерах с участием приезжих итальянских знаменитостей.¹⁰⁰

Жизнь салона оставляла свои следы на страницах печати. Несомненно, на средства Лавалей издавалась салонная газета «Le Furet»; издателем ее был секретарь и библиотекарь графа Ш. Сен-Жюльен, сменивший высланного из России Воше.

«Le Furet» («Хорек») — небольшая по объему литературно-театральная газета; выходила в Петербурге два раза в неделю на французском языке.¹⁰¹ Эпиграфом к названию служила фраза: «Он пропикает повсюду». В газете печатались стихи и небольшие отрывки из прозаических произведений известных французских авторов: Гюго, Ламартина, Шатобриана, Де-Виньи и др.; помещались рецензии на постановки французских, итальянских и немецких трупп в Петербурге и на театральные представления в Париже.

Отдел русской литературы был по удельному весу невелик, но в нем помещались сообщения о выходе в свет новых сочинений литераторов, посещавших салон Лаваль: И. А. Крылова, В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, А. С. Пушкина, В. Ф. Одоевского, А. С. Грибоедова, П. А. Вяземского, И. И. Козлова, М. И. Загоскина и других. Так, в 1829 г. «Le Furet» сообщила о начале издания Дельвигом «Литературной газеты» с участием «цвета молодой литературы». В 1830 г. был помещен отзыв на произведения А. С. Пушкина, в котором он назван «нашей

⁹⁸ Подробно об этом см.: Вайнштейн А. Л., Павлова В. П. К истории повести Пушкина «Гости съезжались на дачу...». — В кн.: Временник Пушкинской комиссии, 1966. Л., 1969, с. 36—43.

⁹⁹ Гиллельсон М. И. Пушкин в итальянском издании дневника Д. Ф. Фикельмон. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии, 1967—1968. Л., 1970, с. 17, 18.

¹⁰⁰ См.: Неизданные письма А. С. Грибоедова. — Дела и дни, 1921, кн. 2, с. 64; Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929, с. 188; Вяземский П. А. Письма к жене за 1831—1832 гг. — Звенья, т. 9, М., 1951, с. 278, 322; Ацаркина Э. Карл Павлович Брюллов. Жизнь и творчество. М., 1963, с. 246, 509; Из писем К. Я. Булгакова к брату А. Я. Булгакову. — Русский архив, 1904, кн. I, с. 252; Дневник И. И. Козлова. — Старина и новизна, 1906, кн. II, с. 51. — См. также упоминания в дневнике Д. Ф. Фикельмон 1832 г. (ИРЛИ, Фототека, 1968, № 4, л. 42, 96).

¹⁰¹ ЦГИА СССР, ф. 772, оп. 1, д. 122.

гордостью», а его поэзия сравнена с музыкой Россини и творчеством Рафаэля. Пушкину отдавалось предпочтение перед Байроном.

В том же году газета извещала о предполагавшемся выходе из печати трагедии «Борис Годунов» и о готовящейся постановке на русской сцене комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

В 1831 г. в «Le Furet» была опубликована статья о «Борисе Годунове» с лестным для трагедии отзывом и извещение о новых стихах А. С. Пушкина и Е. А. Баратынского в альманахе «Северные цветы».

Влияние салона в какой-то мере сказывалось и на газете «Journal de St.-Petersbourg», издававшейся под непосредственным наблюдением И. С. Лавалья при участии того же Сен-Жюльена.¹⁰²

А. Я. Булгаков в письме к брату от 28 июля 1831 г. рекомендовал обратиться к Лавалю с просьбой напечатать в этой газете статью о романе М. П. Загоскина «Рославлев» в надежде на то, что парижские журналы ее перепечатают и это будет способствовать усилению интереса к роману, над переводом которого Булгаков работал.¹⁰³

Переводы стихотворений А. Мицкевича «Фарис» и «Романтизм», помещенные в газете «Le Furet» вместе с некоторыми его произведениями, напечатанными в других французских журналах в России, послужили материалом для первой статьи о польском поэте во французском журнале «Revue Encyclopédique».¹⁰⁴

«Le Furet» выражала определенные вкусы, взгляды, настроения, царившие в салоне Лаваль, и в известной мере помогала как расширению интереса к французской литературе в России, так и к русской во Франции.

А. Г. Лаваль принадлежит один из переводов на французский язык оды Пушкина «Клеветникам России», обнаруженный в бумагах поэта после его смерти.¹⁰⁵ По-видимому, позиция поэта, считавшего русско-польские отношения делом внутренним, «домашним», целиком разделялась А. Г. Лаваль, салон которой был так тесно связан с салоном ее дочери в Варшаве. Имеются краткие записи ее по истории и литературе на французском и итальянском языках.¹⁰⁶ Можно предположить, что А. Г. Лаваль являлась автором некоторых заметок в «Le Furet»; в частности, возможно, ей принадлежит упоминавшийся отзыв о Пушкине,

¹⁰² ЦГИА СССР, ф. 772, оп. 1, д. 122.

¹⁰³ Письма А. Я. Булгакова к брату, 1831 г. — Русский архив, 1902, кн. 1, с. 78.

¹⁰⁴ Беккер И. Мицкевич в Петербурге. Л., 1955, с. 38.

¹⁰⁵ ИРЛИ, ф. 244, А. С. Пушкин, оп. 3, № 37 (автограф А. Г. Лаваль); Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. М.—Л., 1949, стр. 394; Пушкин А. С. Письма. Т. 3. М.—Л., 1935, с. 419.

¹⁰⁶ ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 231, л. 1—59.

написанный в эпистолярной форме,¹⁰⁷ имевшей широкое распространение во французской литературе того времени.

В первые годы жизни Трубецкой в Сибири переписка с ней была крайне затруднена и в основном шла через III Отделение. Письма родных были полны тревоги о здоровье, беспокойства об условиях жизни, бесплодным упованием на свидание. Со временем, когда для близких стало очевидным, что Екатерина Ивановна останется с мужем до конца, характер писем стал меняться. Наряду с практическими советами по устройству быта в них все больше места стали занимать сообщения о различных событиях в Петербурге и обществе, описание всего примечательного в литературной и музыкальной жизни столицы. В Сибирь посылали все больше отечественных и зарубежных книг, журналов, учебников, энциклопедий, словарей. Налаженная переписка, знакомство с новинками литературы давали Трубецкой возможность находиться в курсе всех выдающихся событий культурной жизни России, приобщали ее, несмотря на расстояние, к атмосфере, царившей в салоне матери, той атмосфере, которая была ей близка с юности. Дом Трубецких в Иркутске стал, наряду с домами других ссыльных декабристов, таких как Волконские, центром для местной интеллигенции и оказывал благотворное влияние на культурное развитие тамошнего общества.

Сохранившиеся письма близких к Трубецкой содержат много интересных фактических сведений. В 1829 г. ее двоюродный брат Э. Белосельский-Белозерский писал ей: «Дорогой друг, я приехал в Петербург только на несколько дней и спешу вернуться в свою провинцию. Однако я не хотел пропустить случая писать тебе. Это значит удовлетворить властную необходимость и исполнить приятный долг... У нас есть различные литературные новинки. Пушкин только что опубликовал новую поэму и в жанре, к которому он до сих пор не обращался, это нечто вроде серьезной эпопеи, это прекрасно, ее заглавие „Полтава“. Говорят, что за его рукопись издателями было заплачено 50 тысяч рублей. Булгарин опубликовал свой роман, озаглавленный „Выжигин“. Я еще с ним не ознакомился, но Греч его очень хвалит. Прощай, моя милая и добрая Каташа, я тебя обнимаю от всего сердца и прошу тебя сохранить ко мне немного дружеских чувств. Твой кузен и друг».¹⁰⁸

3 марта 1829 г. сестра Трубецкой Софья начинает письмо с описания посылки, куда вошли 20 томов книг, пользовавшихся в Петербурге наибольшим успехом; среди них — «История Шотландии» В. Скотта. В том же письме А. Г. Лаваль обещает до-

¹⁰⁷ Письмо одной дамы из Петербурга своей приятельнице в Москву. — *Le Furet*, 1830, № 12.

¹⁰⁸ ЦГАОРСС. ф. 1143, оп. 1, д. 117, л. 46 об.

чери заняться в ближайшее время отбором книг, которые можно будет ей выслать (в том числе «История Христофора Колумба»).

¹⁰⁹ В январе 1830 г., посылая сестре «Юрия Милославского» М. Н. Загоскина, Софья писала: «...автор по фамилии Загоскин до сих пор был известен несколькими комедиями довольно посредственными, но сегодня он удивил даже самых требовательных читателей, обнаружив талант, которого в нем даже не подозревали». И далее: «Много шума наделала также новая история России, которая называется История российского народа, некоего Полевого, издателя Московского телеграфа и здесь очень известного. Пока вышел только один том этой истории, что не мешает ей пробудить критиков без числа, но она имеет также и ревностных сторонников <...> в основном его упрекают в большой неясности стиля, происходящей от того, что он воспитан с грехом пополам немецкими авторами, в полном скептицизме относительно всех понятий, принятых до сих пор, и особенно в высокомерном отношении к любой идее. Привело в смущение предисловие, и я думаю, что это уже насторожило против самого произведения, однако беспристрастные судьи говорят, что там есть страницы очень интересные и достойные внимания... Северные цветы в этом году совершенно опали; впрочем сейчас такое количество этих альманахов, что невозможно даже требовать, чтобы они все были хорошими, ибо их нужно заполнять и авторы таким образом разбрасывают свои произведения во все стороны; когда находишь два или три замечательных отрывка в одном из названных альманахов, то уже бываешь доволен. Есть еще большое количество периодических газет, которые спешат взять все, что могут найти. Дельвиг с этого года издает Литературную газету, выходящую два раза в неделю, до сих пор довольно интересную. Вообще в литературе наблюдается большое оживление, и, хотя еще не появились значительные произведения, я уверена, что они появятся. Невероятно, насколько велико число людей, пишущих либо в стихах, либо в прозе; в изобилии переводятся исторические исследования; в Москве особенно много занимаются русским языком и всем, что относится к истории страны».

¹¹⁰ Спустя месяц Софья пишет: «...с первой почтой я рассчитываю послать тебе несколько русских литературных новинок, некоторые из них весьма замечательны. Сейчас много говорят о последнем романе Булгарина Д<митрий> Самозванец, но я его еще не читала; мнения резко разделились за и против: публика — в числе первых, литераторы — в числе последних, так же как большинство образованных людей».

¹⁰⁹ Там же, л. 32 об.—33.

¹¹⁰ Там же, д. 118, л. 18—20.

¹¹¹ Там же, л. 30 об., 31.

Трубецкая не выразила желания читать «Самозванца»; в ответном письме Софи пишет: «В ближайшем будущем я тебе пошлю произведения Фонвизина, которые ты просишь, и много других русских книг. Ты не права, что отказываешься от романа Булгарина, ибо хотя он и далек от того, чтобы быть хорошим, в нем часто встречаются сцены любопытные и автор обнаружил в нем определенный талант, так что я тебе пошлю его хочешь не хочешь». К письму приложен список отправляемых книг (20 томов).¹¹²

В феврале 1831 г. Трубецкой были посланы книги: испанская грамматика, итальянский словарь, «Завоевание Гренады», мемуары Константа, г-жи Монтескле, г-жи де Помпадур, г. д'Эстре, — всего 24 тома.¹¹³ В письме матери сообщалось: «Козлов поручил мне передать тебе тысячу нежностей от его имени и посылает вам экземпляр своей „Безумной“, которая является весьма слабым произведением». ¹¹⁴ В апреле того же года Трубецкой послали 23 книги, среди них: «Борис Годунов» Пушкина, «История царя Алексея Михайловича» В. Н. Берха в двух томах, работы по химии в двух томах.¹¹⁵ В конце декабря 1831 г. З. И. Лебцельтерп из Неаполя писала сестре в Сибирь: «Я хотела бы послать тебе портрет Сашеньки, но здесь с художниками плохо, все хорошие остались в Риме; Рим их вдохновляет гораздо больше, чем Неаполь, несмотря на прекрасный климат и чудесное расположение. Сейчас там есть художник, который гораздо выше тех, кого когда-либо имела Россия — это Брюллов. У него необычайная легкость, единственный в своем роде талант улавливать сходство, прекрасный рисунок, великолепный колорит... Если его воображение соответствует остальному, это будет великий художник; более того, он страстно увлечен своим искусством; сейчас ему нет равных, кроме Горация Верне, но в ином жанре и более низком, чем тот, который избрал Б. Лучше писать людей и страсти, чем лошадей». ¹¹⁶

В 1832 г. Трубецкой присылаются целые отчеты о состоянии русской литературы. В связи с тем, что Трубецкая упрекнула сестру в неосведомленности, Софи в январе пишет: «Теперь я обещала тебе опровергнуть твоё обвинение относительно моего невежества в русской литературе. Прежде всего, дорогой друг, я читаю всевозможные объявления, чтобы быть в курсе всего, что происходит, затем мы видим молодых людей или самих литераторов, которые хорошо знают литературный мир, мы постоянно в курсе событий; более того, мы часто видим Пушкина и Жуковского, которые, разумеется, не чужды деятельности наших литераторов, и уверяю тебя, что мы читаем все, что заслуживает вни-

¹¹² Там же, л. 34.

¹¹³ Там же, д. 119, л. 15.

¹¹⁴ Там же, л. 15 об.

¹¹⁵ Там же, л. 50 об.

¹¹⁶ Там же, л. 168—169.

мания, но в большинстве случаев появляются переводы и часто переводы плохих произведений, элементарные книги для школ, военные трактаты и несколько действительно плохих романов, в числе которых «Киргиз Кайсак», поэтому я тебе его не послала: хорошее остается в рукописях, и не одно произведение, которое создало бы эпоху, остается по той или иной причине лежать в портфелях этих господ <...> читать можно лишь периодические журналы, которые в данный момент образуют, по правде говоря, всю нашу литературу и где встречаются часто вещи довольно замечательные».¹¹⁷

В апрельском письме Софи пишет сестре: «Итак вообрази, что из шести дней недели четыре мы проводим в обществе молодых людей, которые сами пишут и этим сейчас заняты, которые связаны со всеми писателями Москвы и для которых ни одна статья в газете не проходит незамеченной; правда, так как они принадлежат к наиболее образованным людям, существует какое-то количество <нрзб.>, на которое они не обращают внимания. Ты говоришь, что пишут много, т. е. переводят много, и переводы интересуют широкую публику, но тот, кто знает английский, французский или немецкий, должен всегда предпочитать оригинал; недавно вышло несколько довольно плохих романов, которые я прочла и которые я тебе пошлю, чтобы ты могла судить о них. Больше всего достойны внимания исторические исследования, которыми сейчас много занимаются, часто они бывают наиболее интересными».¹¹⁸

Летом 1832 г. мать сообщала дочери, что видела поэта Козлова, который приезжал к ним на дачу обедать и поручил передать Екатерине Ивановне «тысячу нежностей», «у него все то же сердце, но талант его понемногу слабеет, здоровье разрушается, он боится, что ему откажут руки...».¹¹⁹

В ответ на письмо дочери от 27 мая 1832 г. А. Г. Лаваль писала: «Вы меня спрашиваете о литературных вечерах у кн. Одоевского. Это обычные вечера, там очень часто музицируют и очень редко читают, например, какую-нибудь повесть, которая занимает не более получаса. Теперь я опишу эту супружескую пару. Кн. Одоевский» моложе своей жены, которую он обожает, он получил безупречное воспитание, и его ум из числа самых выдающихся. Он много занимается литературой и еще больше своими служебными обязанностями, которые считает священными. Он страстно увлекается музыкой: сочиняет, аккомпанирует, играет фантазии, вариации с таким чувством и такой выразительностью, что даже те, кто не понимает музыку, слушают его с удовольствием, как например Сухозанет. Княгиня превосходная женщина, очень приятная в обществе, с прекрасной ду-

¹¹⁷ Там же, д. 120, л. 1—3. — «Киргиз-кайсак» — роман В. А. Ушакова,

¹¹⁸ Там же, л. 41 об.

¹¹⁹ Там же, л. 88 об.

шой. Живет только для своего мужа. Этот союз всего, что есть самого высокого, — ума и души — меня очаровывает и приводит в восторг. Я с ними очень дружна, и самые приятные дни моей жизни это дни, которые я провожу с ними. Их характеризует необычайная простота, которая почти всегда сопровождает достоинство. Вы понимаете, насколько эта манера мне близка и мне нравится».¹²⁰

По-видимому, в начале 30-х годов связь Одоевского с домом Лавалей становится особенно тесной. В. Ленц, посетивший Одоевских в 1833 г., сообщает, что видел здесь графиню Лаваль.¹²¹ Материалы неопубликованной переписки Лаваль с Одоевским говорят о близости интересов; Лаваль пишет ему о музыке, о его литературных трудах, — в частности, о «Последнем квартете Бетховена», который, как явствует из этих писем, был прочитан автором у Лавалей.¹²² Одоевский бывал здесь нередко и даже участвовал в живых картинах, поставленных А. П. Брюлловым в 1832 г.: он изображал Тассо в картине «Тассо в Сорренто, пишущий свою поэму».¹²³

Наряду с событиями литературно-музыкальной жизни Александра Григорьевна сообщает дочери и городские новости; так, 23 сентября 1832 г. она пишет: «... у нас красивый зрительный зал, монументальная колонна в память 1812, 1814 и 1815 годов. Сфинксы, прибывшие из Египта, должны быть установлены у причала перед Академией художеств <...> Мы видим, что как в сказке здесь чудом возводятся гигантские сооружения. Возведение колонны произошло за 7 четвертей часа спокойно и в тишине, которую ничто не нарушало. Можно сказать, что она поднялась по мановению волшебной палочки. Когда же увидели наверху столько раз победоносное знамя, знамя, которое ветер развевал на стенах Парижа, священное чувство восторга наполнило душу — казалось все это понимали. Все были взволнованы. Это было незабываемое зрелище».¹²⁴

В ноябре 1832 г. умерла в Сибири А. Муравьева. Смерть ее тяжело переживали все ссыльные. Для Екатерины Ивановны эта потеря была большим горем.

Утешая дочь, И. С. Лаваль писал ей 27 января 1833 г.: «Твое последнее письмо от 26 ноября меня очень огорчило, моя дорогая Каташа. Я уже две недели знал эту печальную новость о событиях, которые, я уверен, тебя очень опечалят. Увы, судьбе не нужно было увеличивать твои лишения, чтобы показать нам твоё прискорбное и тягостное положение <...> Я уверен, что ты поза-

¹²⁰ Там же, л. 98—98 об.

¹²¹ Ленц В. Приключения лифляндца в Петербурге. — Русский архив, 1878, кн. 1, с. 441.

¹²² ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 671, л. 25; № 1332, л. 1; см. также № 630, 672, 1262, 1325, 1333.

¹²³ Там же, № 671, л. 9—9 об. (письмо от 25 марта 1833 (?) г.).

¹²⁴ ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 120, л. 123 об.

ботишься о несчастных, которых покинула эта достойная женщина, и что твои заботы о них станут для тебя источником утешения».¹²⁵

Разделяя горе Трубецкой и ее друзей, об этом событии писали мать и сестры.¹²⁶

Спустя несколько месяцев переписка родных с Трубецкой снова принимает прежний характер. Продолжая разговор о литературе, Софи 28 октября 1833 г. писала: «Я совсем не была удивлена твоим суждением о современной литературе, которое разделяет масса людей и я в том числе <...> как ты, я предпочитаю Бальзака всем остальным, но я далека от твоей неприязни к Жанену, Сю и Гюго, особенно эти двое имеют свои достоинства; ты ничего не говоришь мне об Александре Дюма, который соединяет в высшей степени талант и ужас новой школы. Как только я вернусь, я сразу же пошлю тебе его произведения».¹²⁷

Эту же тему продолжает Александра Коссаковская: «Мне хотелось бы послать тебе несколько русских книг, но признаюсь, что мне не встретилось ни одной, которая бы заслужила этого расхода; паша литература сейчас довольно бесплодна. Я не знаю, какая газета объявила о появлении нового романа Пушкина, но я полагаю, что она была плохо информирована, так как он после женитьбы лепится недопустимым образом для человека с его талаптом. Одоевский обещает нам еще несколько повестей вроде Пестрых сказок, но у него не слишком много времени, чтобы заняться ими, так как он очень занят на службе».¹²⁸

22 декабря 1833 г. в ответ на просьбу Трубецкой о присылке журнала «*Revue de Paris*» Софи писала: «...я бы с удовольствием удовлетворила твое желание, но ты конечно не знаешь, что этот современный журнал относится к числу тех, из которых изымают четыре номера из шести. Малому количеству подписчиков, которые его получают, <приходится?> считать стертые слова и изъятые страницы, так что до тебя дойдет не очень много. Я предлагаю тебе взамен *Revue Etrangère*,¹²⁹ издаваемый здесь и содержащий хороший выбор из всех периодических изданий более или менее замечательных, которые выходят во Франции, в Германии и в Англии; я уверяю тебя, что это превосходный журнал, составленный со вкусом и <прзб.> и так как в нем совсем не занимаются политикой, там есть все интересное с точки зрения литературы».¹³⁰

¹²⁵ Там же, д. 121, л. 9—9 об.

¹²⁶ Там же, л. 10, 18.

¹²⁷ Там же, л. 123 об.

¹²⁸ Там же, л. 141.

¹²⁹ *Revue Etrangère de la littérature, des sciences et des arts* (Обозрение иностранной литературы, наук и искусств). Т. 1—28. St.-Peterbourg, 1832—1863.

¹³⁰ ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 121, л. 159—159 об.

В том же году А. Г. Лаваль делилась с дочерью своими впечатлениями об увиденной в Милане картине К. Брюллова: «Один из современных художников, русский, только что написал картину, которая ставит его в ряд первых существующих художников. Брюллов взял за сюжет „Последний день Помпеи“. Этот сюжет уже использовался музыкантами. Заметьте же, что в наше время нужна большая катастрофа, чтобы вдохновить на прекрасное произведение <...> Эта картина имела самый большой успех на выставке в Милане, и автор осыпан похвалами и аплодисментами. В Неаполе я слышала, как очень хвалили одного тенора, которым наслаждалась публика...¹³¹ Это тоже был русский, который начал петь в церковном хоре. У нас в данный момент два русских архитектора самого большого достоинства, один — брат Брюллова — художника, а другой — Тон. Эти три художника воспитаны в Академии и завершили свое образование в Риме. Вы не можете себе представить, с каким удовольствием я слышу и говорю о них. Я была очень увлечена картиной Брюллова, которую застала еще на миланской выставке».¹³²

С середины 30-х годов письма родных к Трубецкой принимают преимущественно бытовой, семейный характер и тем самым теряют значение ценного источника.¹³³ Причины тому кроются в обстоятельствах жизни Трубецкой в Сибири: рождения, болезни и смерть троих детей, постоянные заботы о судьбе оставшихся дочерей и сына, воспитание и образование которых становятся основной темой переписки с родными. Да и значение салона Лаваль как одного из литературных центров столицы с 40-х годов начинает падать. Нет уже многих из поэтов и писателей, кто придавал ему блеск и значительность, и сами хозяйка — глубокие старики.

Из писем этого периода ценным является письмо Трубецкой к сестре Лебцельтерн в Неаполь от 26 июля 1839 г. накануне ее отъезда из Петровского.

«Дорогая Зинаида, вот альбом, который, я думаю, будет тебе интересен. Он содержит различные воспоминания о первых годах нашей жизни в изгнании. Если ты найдешь, что он плохо сделан, я прошу тебя быть снисходительной; виды, цветы и даже переплет, все сделано нашими товарищами по изгнанию. Изображения на переплете представляют одно — внешний вид большой Читинской тюрьмы, а другое — дом Александрины здесь в Петровском. Что касается рисунков, я везде дала объяснения. Пусть эти

¹³¹ По-видимому, речь идет о знаменитом русском теноре Н. К. Иванове, который в эти годы пел в Миланском театре Ла-Скала.

¹³² ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 121, л. 134 об.—135 об.

¹³³ Следует отметить, однако, что переписка сохранилась весьма неполно, о чем свидетельствует, например, отсутствие писем З. И. Лебцельтерн и А. И. Коссаковской, хотя известно, что связь сестер не прекращалась до самой смерти Екатерины Ивановны. Уже в наше время были обнаружены в Париже 63 письма Трубецкой к Лебцельтерн.

различные виды не печалят тебя, дорогой друг. Глядя на них, скажи себе, что если все эти места были свидетелями наших трудных времен, они видели также много хороших моментов. Завтра мы уезжаем из Петровска с воспоминанием обо всем, что нам послал бог за все эти тринадцать лет, с полной признательностью за доброту Божию и утешительной мыслью, что всюду, где мы будем, Бог тоже будет там, чтобы защищать и утешать нас, пока мы не перестанем верить в него. Я позволила писать своему перу, потому что я знаю, что эта книга не будет лежать (валяться) на столе и что ты не будешь показывать ее всем; она может представлять интерес лишь для небольшого числа тех, кто меня действительно любит. Петровский 26 сего месяца 1839».¹³⁴

Этим красноречивым человеческим документом, столь хорошо раскрывающим умонастроения одной из выдающихся женщин эпохи декабризма, мы и закончим наш по неизбежности краткий очерк. На протяжении более четверти века память об участниках восстания оставалась животрепещущей в семье Лавалей. Эта семья принадлежала к числу центров, связывавших Петербург и подекабрьскую Сибирь; она была каналом нелегальной связи декабристов с их родными и объективно способствовала возникновению очагов передовой мысли, образования и культуры в Сибири. Семейная переписка Лавалей есть первостепенной важности исторический документ, привлекающий наше внимание к обширной теме «Декабризм и русское общество» — теме, которая еще ждет своего углубленного исследования.

¹³⁴ Текст письма полностью приведен в Записке З. И. Лебцельтерн (ЦГАОРСС, ф. 1143, оп. 1, д. 98, л. 68—69).

Т. Г. ЦЯВЛОВСКАЯ

ОТКЛИКИ НА СУДЬБЫ ДЕКАБРИСТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА

Теме «Пушкин и декабристы», важной для понимания общественных воззрений и устремлений великого поэта, посвящено много работ, начиная с замечательной статьи пушкиниста В. Е. Якушкина, внука декабриста, «Общественные взгляды Пушкина», появившейся в печати накануне 1905 г.¹ Вслед за ней вышло исследование А. Л. Слонимского, напечатанное около семидесяти лет назад,² но не устаревшее и в наши дни.

В этих статьях поднят вопрос о политических убеждениях, умонастроениях Пушкина, о взаимоотношениях поэта и декабристов, выявлен и собран материал по этим жгучим вопросам, разрешены — в общем хорошо и справедливо — сложные вопросы по этой теме.

Обращались к ней не раз в дальнейшем литературоведы и историки общественного движения в России.

Не предполагая пересматривать положения этих ученых, я позволю себе коснуться откликов Пушкина на аресты, казнь и ссылку декабристов, а также и тех частных вопросов по этой теме, которые оставались до сих пор в тени.

1

Первыми откликами в рукописях Пушкина на декабрьские события были его рисунки — самая непосредственная, импульсивная часть творчества Пушкина, выдающая красноречиво, хоть и без слов, тревоги, волнующие душу поэта.

¹ Якушкин В. Е. *Общественные взгляды Пушкина*. — Наши дни, 1904, № 6.

² Слонимский А. *Пушкин и декабрьское движение*. — В кн.: Пушкин. Под ред. С. А. Венгерова. Т. II. СПб., 1908, (Б-ка великих писателей), с. 503—528.

Рисунки, которые связываются с событиями 14 декабря, были прежде всего портреты—портреты тех, о чьих арестах было сообщено в газетах, а также и тех, о ком не сообщалось, но кого он знал как революционно мыслящих и за кого мог опасаться.

Впервые после восстания портреты декабристов появились на полях черновиков пятой главы «Евгения Онегина» в начале января 1826 г., не ранее 4 числа.³ На первом же листе с рисунками (л. 80 об.) находятся голова неизвестного, принимавшаяся за Пестеля, и портрет молодого человека в парике, который один исследователь принимал за автопортрет, стилизованный под Робеспьера («двойной Пушкин—Робеспьер»),⁴ а другой возражал, что «на сходство с этим портретом не менее, чем Пушкин и Робеспьер, могли бы претендовать Сийес, Байи или Баррер».⁵ На том же листе нарисован великолепный портрет Мирабо и кто-то, кого сочли — не очень убедительно — Вольтером. Тут же профиль Рылеева и несколько неустановленных лиц, среди которых могут быть и декабристы.

На следующем листе (л. 81 об.)⁶ нарисованы названные в газетах как заговорщики: Пуштин — молодой, еще может быть лицом, с вздыбленными волосами, горящими глазами, и второй его портрет, с морщинами на лбу, с баками, — таким, каким видел его Пушкин в Михайловском год назад. Тут же нарисованы неизвестный (принимавшийся за Пестеля), Дельвиг (принимавшийся за Вяземского) и также Кюхельбекер и Рылеев. Кюхельбекер изображен пять раз. Рисунки сосредоточенные, сделанные в одиночестве, в задумчивости. Это была реакция на сообщения в газетах, где приводился список «зачинщиков» событий, среди которых из знакомых Пушкина названы: Рылеев, Каховский, четверо Бестужевых, Трубецкой, Корнилович, Пуштин, Кюхельбекер. «Все они уже взяты и находятся под арестом, кроме Кюхельбекера, который вероятно погиб во время дела», — сообщалось

³ Я не касаюсь здесь портрета декабриста В. Ф. Раевского, нарисованного в 1822 г., после его ареста; также оставляю в стороне портрет Пестеля, нарисованный Пушкиным в 1824 г., во время писания его «Записок» («Воспоминаний»). «4 гев.» помечено начало черногого текста главы пятой во «Второй масонской тетради» (ИРЛИ, № 835 (старый шифр — ГБЛ, № 2370), л. 79 об.; опубликовано: Пушкин в. Полн. собр. соч. (в дальнейшем: Пушкин). Т. 6. [М.—Л.], 1937, с. 378).

⁴ Эфрос Абрам. 1) Рисунки поэта. М.—Л., 1933 (в дальнейшем: Эфрос), с. 216—217 и 318—340; 2) Декабристы в рисунках Пушкина. — В кн.: Литературное наследство. Т. 16—18. М., 1934, с. 928—929. 1-я вкладка; см. также: Цявловская Т. Новые определения в рисунках Пушкина. Пестель. — В кн.: Пушкин и его время. Исследования и материалы. Вып. 1. Л., 1962, с. 344—355.

⁵ Томашевский Б. В. Автопортреты Пушкина. — В кн.: Пушкин и его время. Исследования и материалы. Вып. 1. Л., 1962, с. 326.

⁶ Эфрос, с. 218, 219 и 340—356; Эфрос Абрам. Декабристы в рисунках Пушкина, с. 928, 929, 2-я вкладка.

официально.⁷ Портрет же Дельвига, который нарисован тут же, хотя имени его в газетном сообщении не было, говорит о том, что у Пушкина были основания беспокоиться о своем друге. Слишком хорошо знал поэт его политические высказывания, о которых он сочинил надпись к портрету Дельвига:

Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
Что, коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил —
Нерон же без него правдиву смерть узрит.⁸

Мучительны эти изображения старых друзей! Создается впечатление, что, прочитав о том, что Пущин арестован, Пушкин представил себе, каков стал его друг после неудавшегося восстания, ареста и допросов, — подорванным, с потухшими глазами...

А Кюхельбекера, о котором Пушкин прочитал, что он «вероятно погиб во время дела», он рисует то хмурым, то сияющим, то внимательно слушающим, — это милый юный Кюхля с его живой реакцией на обидные эпиграммы Пушкина и на его стихи. Наконец, последний Кюхельбекер — уже зрелый литератор. Поэт точно бы воскрешает «погибшего» друга этими живыми зарисовками...

Но кто же этот «неизвестный», принимавшийся за Пестеля? Судя по тому, что Пушкин нарисовал его дважды среди декабристов, — это человек, которого он хорошо знал и значение которого он себе представлял.

Далее следует известный лист с множеством портретов декабристов, на нем аннотация рукой А. Н. Вульфа: «Эскизы разных лиц замечательных по 14 Декб. 825 года работы Алекс. Серг. Пушкина во время его пребывания в с. Тригорском в 826 году».⁹ Лист этот происхождения тригорского, бывшая обложка книги; нет на нем пушкинских текстов, которые помогли бы выяснить более точную датировку, нежели 1826 г., помеченный Алексеем Вульфом и принятый учеными.¹⁰

Многие из портретов на обеих половинах листка общими усилиями удалось расшифровать. И оказывается — это люди, названные в газетах тех дней и письмах Пушкина того времени:

⁷ Русский инвалид, 1825, № 305, 29 декабря; перепечатано в кн.: Государственные преступления в России в XIX веке. Сборник извлеченных из официальных изданий правительственных сообщений. Т. 1 (1825—1876 год). СПб., 1906, с. 6; см. также: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. М., 1951, с. 662.

⁸ См. статью «Политические эпиграммы» в кн.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 47—58.

⁹ ИРЛИ, № 798. — Воспроизведено: Литературное наследство, т. 16—18, с. 944, 945 и 937.

¹⁰ Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание. Сост. Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.—Л., 1937 (в дальнейшем: Рукописи Пушкина), с. 283.

Н. Н. Раевский-младший, С. П. Трубецкой, С. И. Муравьев-Апостол, В. Ф. Раевский, Рылеев, А. Н. Раевский (не Грибоедов, за которого его принимали), а также и неустановленные лица. На обороте листа: А. И. Якубович, И. И. Пушцин, далее лицо, которое позволяет задуматься, не Пестель ли это? — и еще два неустановленных лица. Тут же нарисованы дважды весы с перевесом одной из чаш — символ Фемиды, суда.

Дальнейшие портреты декабристов¹¹ Пушкин рисует уже в Москве, у В. П. Зубкова,¹² вероятно в сентябре—октябре, когда состоялось знакомство с этим другом Пуштина, сидящего в Петропавловской крепости, и они говорили о декабристах, и Зубков, сам просидевший десять дней в крепости, рассказывал поэту все, чему свидетелем был.

Это — превосходные портреты Пестеля, Трубецкого, Рылеева, нарисованные на одном листе с портретом Вяземского и, может быть, В. Ф. Вяземской.

К тому же перподу относятся и вырезанные впоследствии из большого листа портреты, также нарисованные у В. П. Зубкова.¹³ Это — Рылеев, Юшневский, неустановленный военный в эпохатах (тоже считался Пестелем, хотя внешность у него иная, чем у двух уже упомянутых мнимых Пестелей), а также лица, к декабристам прямого отношения не имеющие: Веневитинов (если это он), Пальчиков, Вяземский, Вяземская, А. Л. Давыдов, два автопортрета. Смелые, обобщенные рисунки, с остро утрированными чертами. Нарисованы уже в более спокойном состоянии духа, без боли.

Вновь тянутся пальцы Пушкина «к перу, перо к бумаге» во время разговора с одним из «минутных друзей минутной младости», Юрьевым, уже в Петербурге, куда он приехал из Москвы весной 1827 г.

От Юрьева, очевидно, и услышал Пушкин рассказ, легший в основу рисунка: Рылеев в старинной фризовой шинели с множеством откидных воротников, как был он 14 декабря на площади, а Кюхельбекер, бывший в морозное утро 14 декабря без шубы или шинели, в одном фраке, с большим пистолетом и жандармским палахом в руках.

¹¹ ИРЛИ, № 808. См.: Рукописи Пушкина, с. 287. Воспроизведено: Литературное наследство, т. 16—18, с. 933.

¹² Аннотация «рукой неизвестного» (см.: Рукописи Пушкина, с. 287) «Tout cela a été dessiné par A. Pouchkin» сделана рукой В. П. Зубкова. Хранитель рукописей Пушкина и Пушкинского фонда в Институте русской литературы (Пушкинском доме) АН СССР Р. Е. Теребенина подтвердила мою заочную догадку (в ее письме ко мне, хранящемся в настоящее время в моем архиве).

¹³ См.: Эфрос А. М. Рисунки. — В кн.: Летописи государственного литературного музея. Кн. 1. Пушкин. М., 1936, с. 365—371. — Воспроизведены рисунки на вкладке между с. 368 и 369; см. также: Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский дом после 1937 года. Краткое описание. Сост. О. С. Соловьева. М.—Л., 1964, № 1715—1722, с. 84.

Тут же, под разговор, Пушкин и изобразил бедных своих, злополучных друзей.¹⁴

На листе аннотации рукой Ф. Ф. Юрьева: «Кюхельбекер, Рылеев. 14 декабря 1825. Рисовал Александр Сергеевич Пушкин».

Добродушная шутливость, которая сквозит в этих рисунках, понятна, если сопоставить их с тем, что Кюхельбекер оказался арестованным в Варшаве. Об этом было объявлено в газетах.¹⁵ Значит, жив оплаканный друг! И природный юмор Пушкина отозвался на рассказы о Кюхельбекере в том же духе, что и Пущин, писавший: «Если вам рассказать все проделки Вильгельма в день проишествия <...>, то вы просто погыбли бы от смеху, несмотря, что он был тогда на сцене трагической и довольно важной».¹⁶

Эти рисунки, такие разнообразные, отражают различные состояния души поэта. То печальные и провидческие — после первых известий о событиях 14 декабря, о восстании, о его разгроме, об арестах друзей; то нервные, быстро набросанные портреты, небрежно и лихорадочно заполняющие лист, в разных направлениях, в разных масштабах — художник вспоминает еще и еще лица обреченных друзей; то, наконец, под разговор с приятелем — мастерские, чеканные, уже точно бы спокойные с пробивающейся добродушной улыбкой, в несколько даже шаржированном виде.

Портреты эти — драгоценный памятник близкой дружбы Пушкина с деятелями тайных обществ.

2

Еще в июле, через десять дней после события, дошла до Пушкина весть о казни пятерых декабристов.

Давно известны заметки Пушкина, записанные в одной из его рукописей и напечатанные в таком виде:

Усл. о см. 25
У о с. Р.П.М.К.Б. 24

Расшифровали их: «Услышал о смерти Ризнич 25 июля 1826 г. Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Каховского, Бестужева-Рюмина 24 июля 1826 года».¹⁷

Если расшифровка второй строки бесспорна, то толкование, да и чтение первой — ошибочно. Имя Ризнич привнесено извне

¹⁴ Подлинный рисунок — во Всесоюзном музее А. С. Пушкина в Ленинграде. Воспроизведено: Цявловская Т. Рисунки Пушкина. М., 1970, с. 128, 165.

¹⁵ Русский инвалид, 1826, № 23, 28 января.

¹⁶ Письмо к Е. А. Энгельгардту 26 февраля—12 июля 1845 г. — В кн.: Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. [М.], 1956, с. 200.

¹⁷ См.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. [М.—Л.], 1935 (в дальнейшем: Рукою Пушкина), с. 307—310.

в раскрытие этих аббревиатурных записей лишь потому, что сделаны они на нижнем поле белого автографа стихотворения памяти Амалии Ризнич — «Под небом голубым страны своей родной...», — озаглавленного здесь «29 июля 1826».

Написано же там не «см.», а «С.».¹⁸ Замечено это Б. В. Томашевским еще в 1932 г. Он предполагал, что «Усл. о С.», возможно, означает «Услышал о Сибири» (письмо Б. В. Томашевского ко мне от 5 IV 1932 г. — в моем архиве). Новое чтение было прочно забыто — и не только адресатом Б. В. Томашевского,¹⁹ но и им самим.²⁰ Так старая ошибка чтения и толкования утвердилась в литературе.

Сообщено в печати это новое чтение и толкование пушкинской аббревиатурной записи было лишь спустя 25 лет после правильного ее прочтения,²¹ когда автора этого исправления уже не было в живых. Эта задержка в сообщении правильного чтения дала простор домыслам, якобы непременно вытекающим из анализа начертаний автографа. Выступил с докладом И. А. Новиков, он доказывал, что равнодушие Пушкина при известии о смерти когда-то любимой женщины, которое поразило самого поэта, становится ясным, если сопоставить дату в заглавии элегии — «29 июля 1826» — с пометами под текстом: «Усл. о см. 25. У о с. Р. П. М. К. Б. 24». Накануне он узнал о казни декабристов, и все было подавлено этим трагическим сообщением.²² Вскоре с подобными же соображениями выступил Д. Д. Благой.²³

Убедительность аргументации исследователей теряет силу, когда выясняется, что имя Ризнич привносится в помету произ-

¹⁸ Кстати, здесь вместо нового стиха, своего, открывающего элегию, Пушкин ошибочно записал стих Батюшкова «Под небом сладостным Италии своей» из «Умиравшего Тасса» (сообщил С. М. Бонди). В сознании Пушкина отложился этот гармонический стих из осужденной им в целом батюшковской элегии (см.: Пушкин, т. 11. [М.—Л.], 1949, с. 283—284).

¹⁹ В старой транскрипции напечатано в кн.: Рукою Пушкина, с. 307; см. также: Пушкин, т. 3. [М.—Л.], 1948, с. 576.

²⁰ См.: Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. Т. II, М.—Л., 1949, с. 440; т. VIII. М.—Л., 1949, с. 20 и 492. (Автобиографические заметки, как и весь VIII том, подготовлены к печати Л. Б. Модзалевским, но все это издание, так называемое «малое академическое», возглавлял Б. В. Томашевский).

²¹ Цявловская Т. Г. Примечания к стих. «Под небом голубым страны своей родной...». — В кн.: Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти томах. Т. II, М., 1959, с. 688; см. также мое письмо к В. М. Анисимову от 27.II.1968, напечатанное в его статье «Две пушкинские строки» (Русский язык в киргизской школе, 1968, № 3, с. 14—15).

²² Доклад И. А. Новикова «Первые поэтические отклики Пушкина на казнь декабристов» в Пушкинской комиссии Союза писателей 29 марта 1935 г. (Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. М.—Л., 1936, с. 366). Вошло в его книгу «Пушкин в изгнании» (М.—Л., 1947, с. 665—666).

²³ Доклад Д. Д. Благого в Институте мировой литературы 1935 г. (в кн.: Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1813—1826). М.—Л., 1950, с. 513—514).

вольно и что, по-видимому, обе пометы говорят о декабристах — о высылке в Сибирь и о казни.

Расположение же помет возле стихов, связанных с Рязнич, — это характерная для Пушкина случайность: он делал записи о важных ему событиях на первом попавшемся под руку листке.

3

Внезапный приезд за Пушкиным фельдъегеря из Москвы, привоз его во дворец в Кремль обострили в нем чувство солидарности и с погибшими и с сосланными друзьями.

Беседа с Николаем с глазу на глаз была в сущности мягким допросом, который закончился благополучно. Новому царю важно было, чтобы возвращение из ссылки любимого поэта перевесило в глазах общества казнь декабристов.²⁴ А могло быть совсем иное. . . Тем более что, уезжая из Михайловского в неизвестность, Пушкин будто бы захватил стихотворение на 14 декабря, которое до нас не дошло. «Являясь в Кремлевский дворец, Пушкин имел твердую решимость, в случае неблагоприятного исхода его объяснений с государем, вручить Николаю Павловичу на прощанье это стихотворение» (А. П. Пятковский со слов А. В. Веневитинова). Об этом не дошедшем до нас стихотворении в «возмутительном» духе свидетельствуют Соболевский, А. В. Веневитинов, Шевырев, Погдин, Хомяков, Нащокин, «бывшие в тесном общении с поэтом осенью и зимой 1826 г.»²⁵ Свидетельства их несколько опорочены виршами, которые они пытались представить как пушкинский вариант окончания «Пророка». Вот этот текст, записанный в 50-х годах, по памяти названных лиц:

Встань, встань, пророк России,
Позорной ризой облекись
И с вервьем вокруг смиренной выи
К царю явись!

Слова, недопустимые в то время в печати, были записаны сокращенно: ц. г. (или: у. г.). Восстановили незаписанные слова по догадке: «К царю-губителю явись» или «К убийце гнусному явись».

Поверить в то, что пушкинский пророк непосредственно после пребывания своего в «библейской» по своему пейзажу, воображаемой пустыне попадает вдруг в совершенно конкретные топографические условия, превращается в «пророка России», облачается

²⁴ Об этом говорил в своем последнем докладе «Аудиенция Пушкина у Николая I» М. А. Цявловский на открытом заседании Института мировой литературы в 1947 г.

²⁵ Все эти свидетельства собрал и привел М. А. Цявловский (Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851—1860 годах. М., 1925, с. 34 и 91—94).

в одежду висельника и направляется в Зимний дворец к императору Николаю I для беседы, — невозможно.

Появившиеся в печати новые данные внесли поправки в сведения, заключающиеся в прежних публикациях.

«„Пророк“ он написал, ехавши в Москву в 1826 году. Должны быть четыре стихотворения, первое только напечатано (Духовной жаждою томим etc.)». Так писал 29 марта 1837 г. Погодин Вяземскому, надеясь, что при разборе бумаг Пушкина Вяземский и другие писатели разыщут неизвестные произведения умершего поэта.²⁶

Таким образом, четверостишие представляет собою не вариант окончания «Пророка», а, вернее всего, искаженную запись фрагмента одного из трех стихотворений противоположительственного содержания о казненных декабристах из цикла на тему «Пророк».

4

Казнь декабристов преследовала Пушкина. Смертная казнь не применялась в России со времени четвертования Пугачева — полстолетия.

И казнь — не только приговор к смерти, но смерть, обрыв жизни, смерть насильственная, смерть «постыдная» — повешение... и, наконец, физическая смерть, мучительная, от удушья... — все это должно было возвращаться в сознание Пушкина всякий раз, когда он думал о том, как были выведены из жизни пять человек, с которыми он беседовал, дружил, переписывался, кому читал свои запретные политические стихи...

Вернувшись в «свою избу» 9 ноября из Москвы, где после аудиенции у нового царя круто изменилась его судьба, Пушкин взялся прежде всего за пятую главу «Евгения Онегина», от которой давно отошел. Но, написав четыре строфы (пробуждение Татьяны после знаменитого сна и ее попытка разгадать свой сон), поэт оторвал себя от любимого детища и занялся вынужденным делом. Еще в Москве получил он письмо Бенкендорфа: «...его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества». В Михайловском он засел за эту трудную работу. В неделю она была сделана (дата в заключении рукописи: «Михайловское. 15 ноября 1826 года»). И со спокойной совестью поэт вернулся к роману (именины Татьяны). Под последней строфой главы — дата: 22 ноября.

В эти дни зародились стихи:

И я бы мог, как шут ви...²⁷

²⁶ Цявловский М. Заметки о Пушкине. 4. Погодин о «посмертных» произведениях Пушкина. — Звенья, VI. М.—Л., 1936, с. 153. Ср.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1974, с. 373—374.

²⁷ Предпоследнее слово читали сперва как «тут» (см.: Пушкин. Под ред. С. А. Венгеров. Т. II, с. 528). Это было справедливо опроверг-

— вот и все, что легло на бумагу. Недокопченное слово значит, очевидно, «висеть».²⁸

Последние два слова сразу же зачеркиваются. Выражение «висеть как шут», искушавшее исследователей догадками, существовало в языке.²⁹

Записанная строка является стихом. Это слышно по ритму, по характеру текста (такой лирической интонацией Пушкин прозы не начинал), видно это и по отступу строки.

Величина же отступа говорит, что стих должен был быть коротким. В таком случае это излюбленный Пушкиным четырехстопный ямб. Значит, весь первый стих уже почти написан. Почти потому, что, не дописав слова «висеть», поэт отказался от него, — как, впрочем, и от сравнения.

Недописанный стих томит Пушкина, он повторяет его на том же листке, уже без сравнения — И я бы мог...

Итак, перед нами самое начало стихотворного произведения с мыслью о том, что и он, Пушкин, мог быть повешен.

Вторая запись первого стиха сделана тогда же, на том же листе, ниже, среди рисунков, которые поэт стал набрасывать, когда стиха «не пошли». Задумавшись, Пушкин рисует. Рисует дядю своего Василия Львовича Пушкина,³⁰ добываясь сходства, рисует его портрет за портретом. Большой портрет, в котором

нито С. А. Венгеровым (там же, с. 530). К его аргументам можно было бы добавить, что слово «тут» еще не могло бы возникнуть на этой стадии заполнения листа, — что сперва написан текст, как ясно опытному текстологу, а затем уже сделаны рисунки, в том числе и оба изображения виселицы. Это утверждал еще автор монографии о рисунках Пушкина А. М. Эфрос (см.: Э ф р о с, с. 358).

²⁸ Последнее недописанное слово читали как «на» (см.: Рукою Пушкина, с. 159). Расшифровано как «висеть» в моей статье «Невоплощенный замысел Пушкина» (Литературная газета, 1972, № 11, 15 марта, с. 7). О том, что это — стих, писал еще А. М. Эфрос (Рисунки поэта. М., 1930, с. 320).

²⁹ См.: Рукою Пушкина, с. 160. — М. А. Цявловский привел там стихи из ирои-комической поэмы В. И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вахк» (1771 г.); Зевс грозит богам за неповиновение ему:

А если кто из них хоть мало укуснит,
Тот будет обращен воронкою в зенит,
А попросту сказать, повешу вверх ногами,
И будет он висеть, как шут, между богами.

Происхождение этого выражения объяснял С. М. Бонди, считавший, что «выражение это применялось к картонному шуту, висевшему на веревке, в известной детской игрушке» (там же, с. 160). Л. В. Крестова вернулась к вопросу о толковании этого оборота в записи Пушкина (Пушкин и декабристы. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии, 1962, М.—Л., 1963, с. 41—48). Предположения ее поддержки у исследователей не нашли. Позднее С. М. Бонди уточнил (в устной беседе), что слова «висеть, как шут» могут иметь в виду шута горохового, т. е. чучело в огороде.

³⁰ См.: Э ф р о с, с. 362.

видят отца поэта,³¹ три портрета декабриста С. П. Трубецкого.³² С ним был Пушкин знаком в юности, бывал в доме его тестя, графа Лавала, не раз читал там свои новые стихи. Сейчас же он — под тяжестью услышанных в Москве рассказов о неблагоприятной роли «диктатора», который должен был возглавить восстание, но не явился на площадь к ожидавшим его войскам...

Наверху страницы, выше портретов, Пушкин рисует виселицу с пятью повешенными, рисует вал, ворота.

Не раз уносит его мучительная мечта к этому тягостному видению.

О том, что виселица была огромна, что все пять человек повешены были на одной перекладине, Пушкин узнал, конечно, от Путяты, молодого офицера, который был среди народа, видевшего казнь.

Его привез к Пушкину в гостиницу Баратынский. Несомненно от Путяты слышал Пушкин и о том, где именно в Петропавловской крепости была водружена виселица.

Рисунок Пушкина со свойственной ему точностью воспроизводит местоположение виселицы — «на высоком валу Кронверка у ворот», как это устанавливает в наши дни исследователь, отмечающий и то, что это — единственное современное казни изображение ее.³³

Рисунок этот упирается в строку «И я бы мог, как шут, висеть?»». Контуры вала перечеркивают портреты.

Ниже — еще портреты. Какие-то люди, быть может встреченные в Москве и обратившие на себя внимание необычностью физиономий (двое в очках), значительностью лица (внизу направо). Среди них могут оказаться и декабристы, мысль о них не покидает Пушкина.

Лицо веселого молодого человека внизу листа, среди человеческих фигур и пляшущих чертиков, кажется, проясняется. Повидимому, это Павел Сергеевич Пущин.³⁴

Не мог Пушкин в эти дни размышлений о тяжелой каре, постигшей энтузиастов Свободы, не вспомнить своего постоянного кишиневского собеседника — генерала Пущина (однофамильца лицейского друга Пушкина — Ивана Ивановича Пущина).

«В Кишиневе я был дружен с майором Расвским, с генералом Пущиным и Орловым», — считал нужным Пушкин признаться своему старшему другу Жуковскому в том, что может бросить на

³¹ Там же.

³² Там же.

³³ См.: Петров А. Штрихи ложились на бумагу... Рисунок Пушкина прочтен. — Пушкинский праздник. Специальный выпуск «Литературной газеты» и «Литературной России», посвященный Третьему Всесоюзному празднику поэзии, 1969, 30 мая—6 июня, с. 18—19.

³⁴ См.: Цявловская Т. Невоплощенный замысел Пушкина. — Литературная газета, 1972, № 11, 15 марта; Рисунки Пушкина. Изд. 2-е. (в печати).

него тень в глазах правительства. (Письмо это, написанное в начале следствия над декабристами, в двадцатых числах января 1826 г., было послано по «верному случаю» и предназначалось Пушкиным к сожжению).

С Павлом Пуциным были у Пушкина приятельские отношения. Они неизменно встречались у Орловых, бывал Пушкин и у него, брал у него книги. В день рождения Пушкина в 1821 г. его посетили Пуцин с Алексеевым и Пестелем. Тогда же отметил это Пушкин в своем дневнике.

«Я был масон в Кишиневской ложе, т. е. той, за которую уничтожены в России все ложи. (Кишиневская ложа под видом благотворительной деятельности преследовала цели политические, — Т. Ц.). Я, наконец, был в связи с большею частью нынешних заговорщиков», — продолжал исповедоваться Жуковскому Пушкин.

Создателем ложи «Овидий» в Кишиневе и гроссмейстером ее был Павел Пуцин. Именно как к видному масону обращает к нему Пушкин свое стихотворение 1821 г. В нем отражается тот подъем, который овладел Пушкиным в связи со слухами о будто бы предполагавшемся тогда походе России против Турции. Это было в феврале 1821 г. в Молдавии, вскоре после начала греческого восстания.

Строки:

Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: свобода!

— воскрешают политический смысл, скрывавшийся за обрядами в ложе, и мечты генерала Пуцина воспользоваться революционным опытом испанского генерала Квируги.

Тон этих стихов, патетические восклицания, столь чуждые поэзии Пушкина, говорят о шутовском, лукавом характере стихотворения.

Рисунки на этом листе закрепляют впечатления, вынесенные из Москвы, где он увидел Василия Львовича, состарившегося за те десять лет, что они не виделись. Там же наслушался он о Сергее Трубецком, «диктаторе» восстания, не явившемся к войскам. Об отце он думал, очевидно, после скандального разрыва с ним в Михайловском. Пушкина не могла не беспокоить предстоящая в Петербурге встреча. О Павле Пуцине, не привлеченном к следствию, Пушкин мог, вероятно, услышать, что тот поселился невдалеке от Михайловского.³⁵

5

Покончив с портретами, поэт набрасывает пляшущие фигурки чертей, человечков. Затем уже рисует виселицу с пятью

³⁵ См.: Иезуитова Р. В. Письмо Пушкина к П. А. Осиповой. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии, 1965. Л., 1968, с. 37 и след.

повешенными. Наверху листа и внизу — с валом, с воротами. Линии вала идут по рисункам, уже Пушкину не интересным.

Датируется этот лист по положению в «третьей масонской тетради»³⁶ концом ноября 1826 г.: он следует за черновым текстом записки «О народном воспитании»,³⁷ законченной 15 ноября 1826 г.,³⁸ и непосредственно вслед за черновыми строфами XXXII—XXXVIII главы пятой «Евгения Онегина»³⁹ (глава была переписана 22 ноября 1826 г.).⁴⁰

Это — первые рисунки виселицы, которая и в дальнейшем будет навязчиво требовать от поэта графического выражения. Так, работая над «Полтавой» в октябре 1828 г., Пушкин сделал несколько рисунков на тему казней. Два паброска повешенного, со связанными за спиной руками. И тут же два рисунка виселицы с пятью казненными декабристами. На одном из рисунков изображен и вал, на котором водружена виселица, и ворота⁴¹ (или, может быть, будка, как считал А. М. Эфрос).

На другом листе нарисована фигура повешенного,⁴² о котором А. М. Эфрос писал: «...эта отдельная фигура повешенного — самая выразительная и страшная. Черты смертничества даны в ней так подчеркнуто, что явно внутреннее самоистязание, с каким Пушкин их отыскал, пережил и передал. Сила и мучительность изображения достигают почти уровня зарисовок казней, которые есть у классических мастеров искусства; в одном отношении рисунок Пушкина даже ярче: в нем нет профессионального объективизма, полуравнодушия, которые свойственны анатому Леонардо или эпическому Калло; своей устрашающей экспрессивностью Пушкин в одном листке ближе всего подходит к Гойе. Эта возбужденная сосредоточенность внимания на одной фигуре казненного заставляет предполагать, что мысли о виселице применительно к самому себе («Когда не буду я повешен...»); «...Если буду я повешен...») получили в этом рисунке наибольшую автобиографичность; это, так сказать, графическая пометка в дневнике».⁴³

³⁶ ИРЛИ, тетрадь № 836 (старый шифр — ГБЛ, № 2368), л. 38.

³⁷ Эти листы (49—44) входят в группу листов, заполнявшихся с обратной стороны тетради, верхом вниз.

³⁸ Дата в беловом автографе: «Михайловское. 1826. Ноябрь<я> 15» (ИРЛИ, № 1734, л. 12 об.). См.: Измайлов Н. В. Вновь найденный автограф Пушкина — записка «О народном воспитании». — В кн.: Временник Пушкинской комиссии, 1964. Л., 1967, с. 6.

³⁹ ИРЛИ, № 836 (старый шифр — ГБЛ, № 2368), л. 40 об.—38 об. (исправляю ошибку Академического издания (см.: Пушкин, т. 6, с. 401—406), где эти черновые строфы помечены как якобы паходящиеся в тетради № 2370).

⁴⁰ ИРЛИ, № 935 (старый шифр — ГБЛ, № 14), л. 48 об.; Пушкин, т. 6, с. 610.

⁴¹ Эфрос, с. 235.

⁴² Там же, с. 237.

⁴³ Там же, с. 374—375.

И еще раз, в 1829 г., работая над текстом десятой главы «Евгения Онегина», поэт вновь рисует это мучительное, неотвязное зрелище.⁴⁴

6

Как пришла Пушкину в голову мысль, что и он мог быть повешен?

Законов он, конечно, не помнил, да в это время еще и не знал, вероятно. Но он легко мог вообразить, что к смертной казни приговаривали за цареубийство, за покушение на особу царской фамилии. И на самом деле, как показала вслед за Н. П. Огаревым М. В. Нечкина, в действовавшем в 1826 г. своде законов положения о «государственных преступлениях» и карах за них разработаны еще не были и предложение о смертной казни деятелей 14 декабря опиралось на «солганный вид законности» (выражение Н. П. Огарева). «Двух первых пунктов» законов, на которые опирались в приговоре, в действовавшем законе не было. Статьи о государственных преступлениях, за которые присуждались к смертной казни в июле 1826 г., введены были в Свод законов, изданный позднее (в 1832 г.) и вступивший в силу спустя десять лет после казни декабристов (в 1835 г.).⁴⁵

И тем не менее в «Приговоре» или «Сентенции», опубликованной в газетах, Пушкин мог прочитать следующее: «Все и действовавшие и соглашавшиеся и участвовавшие и даже токмо знавшие, но не донесшие об умысле посягательства на священную особу государя императора или кого-либо из императорской фамилии, также об умысле бунта и воинского мятежа, все без изъятия подлежат смертной казни и по точной силе законов все одним общим приговором считаются к сей казни присужденными».⁴⁶

Смысл этих постановлений был в том, что «государственные преступники», восставшие 14 декабря 1825 г., караются за цареубийство, хотя и не состоявшееся.

Из всех этих преступлений Пушкина могли обвинить, — мог он думать, — в недонесении «об умысле посягательства» на царя.

Пушкину же принадлежат серьезнейшие слова в письме Жуковскому в январе 1826 г.: «Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем (заговоре, — *Т. Ц.*)? о заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня

⁴⁴ См. факсимиле в кн.: *Временник Пушкинской комиссии*, 1963. М.—Л., 1966, с. 7.

⁴⁵ См.: *Нечкина М. В. Движение декабристов*. Т. II. М., 1955 (в дальнейшем: *Нечкина*), с. 402—404; см. также статью «Свод законов» в *Энциклопедическом словаре* (изд. Брокгауза—Ефрона, т. XXIX, с. 193—194).

⁴⁶ Цит. по кн.: *Нечкина*, с. 404.

в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно».⁴⁷

7

Тема виселицы не оставляла Пушкина.

Обдумывая разные судьбы, которые мог бы пережить Ленский, не будь он убит на дуэли, поэт допускает и участь казненных:

Исполня жизнь свою отравой,
Не сделав многого добра,
Увы, он мог бессмертной славой
Газет наполнить нумера.
Уча людей, мороча братьей
При громе плесков иль проклятий,
Он совершить мог грозный путь,
Дабы последний раз дохнуть
В виду торжественных трофеев,
Как наш Кутузов иль Нельсон,
Иль в ссылке, как Наполеон,
Иль быть повешен, как Рылеев.

Эта строфа XXXVIII шестой главы «Евгения Онегина», неизвестная ни в черновом, ни в беловом автографе, конечно, в окончательный текст главы шестой не вошла (где заменена римской цифрой) и стала доступной лишь благодаря копии В. Ф. Одоевского.

Датировка шестой главы детально не разработана, но одно ясно — эта строфа могла быть написана между августом 1826 (после казни в июле) и августом 1827 г. (строфа XLV помечена в черновике: «10 авг.»,⁴⁸ это 1827 г.).

Отвечая Дельвигу 2 марта 1827 г. на его упреки по поводу близости Пушкина к журналу «Московский вестник» и влечения редакции к абстрактной немецкой философии, Пушкин пишет, пользуясь образами басни Хемницера «Метафизик», — «Моск. вестник сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая?» — и тут он прямо намекает на казнь 13 июля: «(Впрочем на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да NB)».

Мысль о том, что он сам избег участи товарищей случайно и «от жандарма еще не ушел», постоянно прорывается то в прозе, то в стихах.

8

Точных данных, что Пушкин знал о намерении заговорщиков — в случае необходимости царя убить, — у нас нет, но есть

⁴⁷ Пушкин, т. 13, [М.—Л.], 1937, с. 257.

⁴⁸ Пушкин, т. 6, с. 410.

множество косвенных данных, поддерживающих такое предположение: и знал, и ждал.⁴⁹

Размышления после аудиенции у Николая I о том, почему был он вызван к царю, к чему вел его вопрос, с кем бы он, Пушкин, был, окажись он 14 декабря в Петербурге, — легко могли заронить в голову поэта, человека повышенной впечатлительности, мысль, что он сам был на краю гибели, как и все, обвиненные в принадлежности к тайным обществам.

В мае поехал Пушкин в Петербург — и через месяц, 29 июня, был он уже вызван петербургским полицеймейстером.

Это было в те дни, когда впервые после казни, впервые после декабрьского восстания и даже впервые после своей ссылки Пушкин попал в столицу. Семь лет не был он там. Можно вообразить то волнение, которое охватило его, когда, обступаемый воспоминаниями — и историческими и личными, — он зашагал по улицам и площадям города.

И вновь потребовали Пушкина на объяснение 24 ноября 1827 г., вернувшегося из поездки в Москву, в день, когда он шел к именинникам Карамзиным — к матери, Екатерине Андреевне, и к семнадцатилетней дочери — со стихами; ему испортили настроение новыми вопросами: каким образом случилось, что отрывок из «Андрея Шенье», будучи не пропущен цензурой, стал «переходить из рук в руки во всем пространстве».

«Что же мне вам сказать, сударыня, о пребывании моем в Москве и о моем приезде в Петербург? — писал Пушкин около 10 июня 1827 г. из Петербурга Прасковье Александровне Осиповой в Тригорское. — Пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны, и так как я притязая на беспристрастие, то скажу, что, если бы мне дали выбирать между обеими, я выбрал бы Тригорское, — почти как Арлекин, который на вопрос, что он предпочитает: быть колесованным или повешенным? — ответил: я предпочитаю молочный суп».⁵⁰

«Пошлость и глупость обеих наших столиц» — это, вероятно, выражение, передающее то притупление мысли, общественных интересов, то недоверие друг к другу, которые были характерны для перепуганных, осторожничающих людей периода после разгрома декабристского движения. Но не все же были таковыми! Были же люди, которые радовали Пушкина. Это скажется в деревне, когда он возьмется за перо.

Не могли не волновать его общение с ближайшим другом Дельвигом, его неизбежные рассказы о казни, свидетелем которой он невольно оказался (об этом говорит Н. В. Путьята, сам оказавшийся среди нежданных зрителей сооружения виселицы и

⁴⁹ См.: Цявловская Т. Г. Муза пламенной сатиры. — В кн.: Пушкин на юге. Труды Пушкинской конференции Одессы и Кишинева. Кишинев, 1961, с. 168—174.

⁵⁰ Казнь декабристов. Рассказы современников. 2. Рассказы Н. В. Путьяты. — Русский архив, 1881, кн. 5, с. 344.

самой казни),⁵¹ встречи с приятелем юности Юрьевым, под разговоры которого Пушкин нарисовал Кюхельбекера и Рылеева на Сенатской площади 14 декабря (это только то, что нам стало известным).

13 июля была первая годовщина казни, которую Пушкин несомненно мучительно отмечал в Петербурге. 16 июля пишет он стихотворение, посвященное общности дела погибших друзей и поэта, — «Арион».

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

В единственной дошедшей до нас рукописи «Ариона» — белом автографе с поправками, датированном поэтом $\frac{16 \text{ июля}}{7}$, т. е. 16 июля 1827 г., стих 13 записан первоначально:

Гимн избавления пою
исправлен тут же:
Я песни прежние пою
и наконец:
Спасен Дельфилом я пою.

Тут должны мы отвлечься.

Исследователь не может не остановить своего внимания на том, что самый ударный, выразительный стих «Ариона» — «Я гимны прежние пою» — появился в тексте далеко не сразу. Три известных нам варианта 13-го стиха, написанные в 1827 г., были заменены впоследствии тем стихом, ради которого, казалось бы, написано стихотворение. Когда? Быть может, только в 1830 г., перед публикацией стихотворения в «Литературной газете» в том окончательном виде, который всегда и печатается? — Сказать трудно.

Подобные же случаи мы наблюдаем, изучая историю написания некоторых других стихотворений Пушкина.

Так, в стихотворении «Не пой, красавица, при мне...» строфа, раскрывающая драматизм ситуации, появляется далеко не сразу: третьего четверостишия в первой редакции не было. Ключевая строфа, в которой становится ясным, что «далекая, бедная дева» является для поэта «милым, роковым призраком», невольно возникающим в воображении при музыкальных ассоциациях и рождающим мучительную раздвоенность чувств, — возникла позднее.

Этим объясняется и лишенная даже признака трагизма «Грузинская песня» Глинки, написанная на первую редакцию стихотворения, когда еще не существовало четверостишия, представляющего собой драматический узел стихотворения.

⁵¹ Пушкин, т. 13, с. 330, 563 (оригинал по-французски).

Так и знаменитая ремарка «Народ безмолвствует» в «Борисе Годунове» появляется только в третьей белой рукописи.

Первоначальный вариант «Ариона» («Гимн избавления пою») — в сущности, развитие мысли, заложенной в начатом было стихе «И я бы мог, как шут ви<сеть>». Понять этот первый вариант и неожиданный поворот мыслей поэта помогает чтение стихотворения «Андрей Шенье». (Оно было написано еще до декабрьской катастрофы, в мае—июне 1825 г.).

Историческая основа этого произведения заключается в том, что французский поэт Андрей Шенье, приветствовавший революцию 1789 г., стал затем (с 1790 г.) энергично выступать против якобинской диктатуры. Он был обвинен в участии в монархическом заговоре, заключен в тюрьму и казнен (в 1792 г.).

Пушкин воспроизводит течение мыслей Шенье накануне казни.

Если смена душевных состояний поэта в «Арионе» (общественное самоутверждение — «Я гимны прежние пою» — вместо непосредственного, естественного «Гимн избавления пою») обнаруживается только при обращении к рукописным вариантам стихотворения, то в исторической элегии «Андрей Шенье» подобный процесс протекает на глазах читателя. Сложно, с переходами из одного состояния в другое, развертывается он в длинном, глубоко психологическом монологе героя.

Несколько элегических стихов этого монолога с сетованиями об ушедших годах беспечности были написаны в черновой рукописи прежде всего.

Куда, куда завлек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для сладких искушений,
Зачем я покидал безвестной жизни тень,
Свободу и друзей и сладостную лень!..
Судьба лелеяла мою живую младость,
Беспечною рукой меня вепчала радость.
На шумных вечерах мой взор, мой звонкий смех
Далеко возвещал час утех. —
Когда ж утомлены вакхальною тревогой
Друзья над чашею треногой

Здесь лирический фрагмент обрывается. И то, что он написан прежде всего текста «Андрея Шенье», и слова «звонкий смех», «друзей любимый друг», в вариантах этого черновика характеризующие живой образ самого Пушкина, — все выдает автобиографичность рождавшегося лирического стихотворения.

Однако этот неразвившийся замысел, с признанием в упадке духа, поэт оборвал.

Он перевернул лист и стал писать стихотворение о поэте Французской революции. «Поэта ждет мятежная секира», — так он начал; потом заменил: «Подъялась вновь усталая секира», — и стихи полились быстро и горячо.

Завтра казнь, привычный пир народу;
Но лира юного певца

О чем поет? Поет она свободу:
Не изменилась до конца!

Пушкин вписал заглавие — «Андрей Шенье в темнице» — и вложил в уста историческому герою (в своем месте, далеко не сразу) элегию, начатую было о себе.

«Андрей Шенье» пропизан автобиографическими мотивами, чего не скрывал от друзей и сам поэт. «Душа! я пророк, ей-богу, пророк! — писал он Плетневу после смерти Александра I. — Я Андрея Ш<енье> велю напечатать церковными буквами во имя от<ца> и сы<на> etc». Пушкин имел в виду стихи:

И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тирап! Негодование
Воспрянет наконец, Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок.

Поэтическое прозрение, интуитивное постижение мыслей и чувств приговоренного к казни французского поэта подтвердилось личным опытом Пушкина, когда он вообразил висевшую над ним петлю... Первое естественное чувство радости при спасении от смерти — «Гимн избавления пою» — уступает место решительному сознанию своей гражданской миссии: «Я гимны прежние пою».

И все же общественный пафос не заглушил непосредственной живой реакции на нависшую было над Пушкиным смертельную опасность. Мотив этот остался под спудом, а порой и пробивался на поверхность. Так прорвался он в стихотворении «Е. Н. Ушаковой»:

Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

Стихотворение написано 16 мая 1827 г. девушке, к которой Пушкин сильно привязался за четыре месяца жизни в Москве. В стихах отражается новый этап тревог Пушкина. Против него было возбуждено дело о распространении стихов «На 14 декабря». Это был отрывок из его стихотворения «Андрей Шенье», написанный еще до событий 14 декабря. Два раза пришлось поэту давать объяснения полицеймейстеру в Москве.

Потянулось это дело за ним и в Петербург, куда он поехал весной.

И в начале 1829 г. снова выдал поэт свое ожидание катастрофы в стихотворной записке к младшей сестре А. П. Керн:

Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен.

Хоть и написана записка, по словам Керн, в состоянии «игривой веселости», но прорвавшееся ощущение неуверенности

в своем будущем показывает, что веселость эта была напускной, юмором висельника — «Galgenhumor» — в прямом смысле слова.

9

Деревня всегда восстанавливала душевное равновесие Пушкина. Летом 1827 г. отдых от петербургских впечатлений был ему особенно нужен.

Первое, что пишет он в деревне, — это стихи тем светлым людям, которые скрашивали ему тяжелые дни в столице. В художественном претворении изливается в этих созданиях чувство благодарности к ним: умиление семнадцатилетней дочерью Карамзиных, дружба к неизменному другу Дельвигу, благодарность художнику Кипренскому, писавшему портрет Пушкина и, конечно же, занимавшему его своими живыми рассказами.

В те же дни (или, может быть, до деревни, в Петербурге еще) создано стихотворение «Мордвинову» — славословие независимому государственному деятелю. Знаком с ним Пушкин не был. Стихи ему — дань восхищения этим удивительным человеком. Называя его «новый Долгорукой», Пушкин сравнивал Мордвинова с известным Яковом Долгоруковым, сподвижником Петра I, прославившимся прямою и независимостью, разорвавшим однажды указ Петра I на глазах императора. Дважды проявил Мордвинов поразительное гражданское мужество: через несколько дней после ареста декабристов, 22 декабря 1825 г., этот старый человек подал новому царю «Мнение об указе 1754 года», доказывающее бессмысленную жестокость смертной казни. А в дни суда над декабристами он, единственный из членов уголовного суда, не подписался под приговором о смертной казни и подал мотивированное особое мнение.

Ни об одном из этих поступков Мордвинова Пушкин в своем послании не говорит — совершенно очевидно, что стихи предназначались для распространения и, вероятно, для печати (это очевидно из того, что они сохранились в беловом автографе). Поэтому-то о главном проявлении политической независимости Мордвинова пришлось поэту умолчать. Судьбы послания мы не знаем. Отправил ли поэт оду Мордвинову, нам неизвестно.

Вслед за черновиком стихотворения «Кипренскому», рядом с ним, на смежной странице, тем же мягким карандашом, сверху страницы написана знакомая строка:

И я бы мог в

По-прежнему написана она с отступом, как для стихов, затем зачеркнута буква *в* — первая буква последнего, недописанного слова (*висеть?*), зачеркнута вся строка и восстановлена тут же, тем же мягким карандашом.

Итак, чувство, которое Пушкин выразил стихом «Гимн избавления пою», когда он заменил этот стих другим — «Я гимны прежние пою», — ничем не разрешилось. Сознание, что он был на краю гибели и чудом спасся, требовало воплощения в поэзии.

Пушкин выразил уже этот мотив в только что написанном «Акафисте Е. Н. Карамзиной»:

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный провиденьем,
Святой владычице пловец
Свой дар несет с благоговеньем.
Так, посвящая с умилением
Простой, увядший мой венец
Тебе, высокое светило
В эфирной тишине небес,
Тебе, сияющей так мило
Для наших набожных очес.

Но мысль эта здесь была прикрыта иносказанием. Это не могло утолить жажды поэта выразить теснящие его чувства. И он возвращается к тому замыслу, который зародился было у него в голове, когда — после аудиенции у Николая — он сел за работу тетрадь в Михайловском.

Однако и теперь, написав начало этого стиха, он зачеркивает его. А затем восстапавливает, — замысел этот он откладывает, но не оставляет. Вероятно, он и не развил его никогда — никаких следов работы над ним не существует.

10

Что может делать поэт, оставшись живым, на свободе, чтобы остаться верным друзьям, сосланным на каторгу?..

Утешать героев,⁵² насильно исторгнутых из активной жизни. Эта формула — «героев утешает он», — рожденная еще до восстания, в 1824 г., выражена в четверостишии, входящем в «Разговор книгопродавца с поэтом»:

Поэт казнит, поэт венчает:
Злодеев громом вечных стрел
В потомстве дальном поражает;
Героев утешает он.

В этих словах Пушкин провозглашает неотъемлемое право поэта вершить суд над своими современниками в уверенности, что суд этот будет с благодарностью оценен и принят потомством. Вечные стрелы, т. е. стрелы, пронзающие навечно, — это та же «неизгладимая печать», о которой говорит Пушкин в стихотворении «О муза пламенной сатиры...».

⁵² Мне приходилось писать об этом в статье «Муза пламенной сатиры» (с. 164—165).

Смысл стиха «Героев утешает он» в том, что герой нуждается в утешении, если это герой политический, если деятельность его пресечена. В 1824 г. для Пушкина единственным примером был Владимир Раевский, с 1822 г. томившийся в каземате; ему-то и написал Пушкин в острог два послания (которые, по-видимому, не были поэтом отосланы), это было *утешение героя*, дружба с которым оборвалась, когда «спартанец» был арестован.

Поражать злодеев громом вечных стрел в обстановке подозрительности, расцветшей после 14 декабря, стало невозможным. А ведь часть 1824 и весь 1825 г. Пушкин разил официозных деятелей александровского времени в уничтожающих эпиграммах.⁵³ Но это время прошло. А вот утешать героев стало делом насущным.

Первое проявление этого поэтического милосердия было обращено, конечно, к любимому другу — Пущину. Стихи эти были созданы в Пскове, где Пушкин отлеживался после ушибов, полученных при падении из возка по дороге из Михайловского, во время второй поездки в Москву. Послание далекому другу написал поэт накануне годовщины восстания, 13 декабря 1826 г.

Светлое воспоминанье о приезде Пущина в Михайловское к сыльному Пушкину открывает послание. Оно, в сущности, — преддверие к утешению (во второй строфе), которым должно озарить заточенье Пущина нежнейшее посланье поэта:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

И следующее стихотворение в Сибирь было написано ко всем закованным друзьям, но интимно обращено к особенно близким лицейским друзьям — Пущину и Кюхельбекеру. Задача поэта была вселить в товарищей надежду на возвращенье, сказать, что всех их, заключенных, на воле помнят, ценят, любят, ждут, уверены в их неминуемом освобождении.

Строка «Храните гордое терпенье» должна была не только укрепить стойкость всех каторжников, но особенно взволновать Пущина и Кюхельбекера (Пушкин не знал, что его еще нет на каторге, — он сидел в крепостной тюрьме в Шлиссельбурге), — к ним были обращены слова, знакомые по «Прощальной песни воспитанников Царскосельского лицея» Дельвига:⁵⁴

⁵³ См.: Цявловская Т. Г. Муза пламенной сатиры.

⁵⁴ Ср.: Азадовский М. К. «Во глубине сибирских руд». — В кн.: Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. М.—Л., 1960, с. 438—

Храните, о друзья, храните
Ту ж дружбу с тою же душой,
То ж к славе сильное стремление,
То ж правде — да, неправде — нет,
В несчастье — *гордое терпенье*,
И в счастье — всем равно привет!

Но каким же очищенным и ясным, сконцентрированным образом звучали эти слабенькие и косноязычные стихи Дельвига, воспроизведенные Пушкиным в его послании:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление.

День, ежегодно отмечаемый лицеистами первого выпуска, день основания Лицея — 19 октября, — конечно, поминали и лицеисты на каторге.

В 1827 г. к этому дню Пушкин пишет свое проникновеннейшее обращение ко всем лицейским друзьям:

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!

Все пожелания здесь, интимные и легкие вначале, все более драматические и глубокие к концу, обращены к определенным товарищам Пушкина по Лицею. Особенно же захватывает удивительный по простоте и задушевности зачин обеих строф.

Простым народным реченьем, глубоким, устоявшимся, выражает поэт беспомощное сочувствие всем в бедственной жизни их — и, главное, труженикам в шахтах, «во глубине сибирских руд».

И вновь слышим мы утешение, опять, как прежде, бодрящее, в заключительных стихах «Лицейской годовщины» 1831 г.:

Тесней, о милые друзья,
Тесней наш верный круг составим,
Почившим песнь окончил я, —
Живых надеждою поздравим,
Надеждою некогда опять
В пиру лицейском очутиться,
Всех остальных еще обнять
И новых жертв уж не страшиться.

454; Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика. Сост. Вл. Орлов. М.—Л., 1951, с. 623; Кюхельбекер В. К. Избранные произведения в 2-х томах. Т. I. М.—Л., 1967, с. 177, 646. (Курсив в цитатах здесь и далее мой, — Т. Ц.).

В июле 1830 г. (казнили декабристов в июле), словно подтверждая отважность «певца», «Арион» появляется в печати. В тексте, опубликованном в «Литературной газете», читатели увидели уже стих

Я гимны прежние пою.

Чудом было появление этого текста в печати, чудом — окончательный вариант стиха 13, общественное звучание которого достигло здесь своего апогея.

Думаю, что стихотворение, как и важнейшие слова «Я гимны прежние пою», обращено прежде всего к уцелевшим декабристам. Там, на каторге, они, конечно, отмечали ежегодно памятные дни гибели в июле их незабвенных вождей, героические дни восстания в декабре и горестное крушение дела Свободы.

Напечатанное 30 июля 1830 г., в преддверии пятилетия восстания, стихотворение вне всякого сомнения должно было воодушевить политических узников. Они не могли не узнать голоса Пушкина (хотя подписи под стихами не было).

Стихотворение тем самым выполняло свое назначение — утешать героев.

11

Слово поэта, казалось Пушкину, должно растопить жестокость монарха, осудившего декабристов столь сурово. И он решает вновь напомнить Николаю I о том, что он может простить декабристов, вернуть их. Пушкин думал, что естественна была бы амнистия: «Еще таки я все надеюсь на коронацию: повешенные повешены: но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» (письмо Вяземскому 14 августа 1826 г.). И хотя царь не оправдал надежд поэта, — Пушкин продолжал свою миссию поэтического ходатая.

В декабре 1826 г. написаны «Стансы», построенные на аналогии между Николаем и Петром.

Первая строфа —

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни,

— влечет за собою последнюю, ради которой и написано стихотворение:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Прямое уже здесь требование поэта, чтобы царь стал человеческим, выражено впоследствии в словах еще более откровенных:

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...

(«Герой», 1830)

Но Николай всегда пропускал мимо ушей все прямые и инсказательные обращения к нему поэта — защитника осужденных товарищей.

И, наконец, еще одно стихотворение, которому суждено было стать последним воззванием среди неустанных поэтических ходатайств Пушкина о прощении братьев на каторге, написанное к десятилетию восстания 14 декабря, в сентябре—декабре 1835 г.; оно появилось в печати только в апреле 1836 г., в первом же томе нового журнала, украшенного на титульном листе названием: «Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным». Открывая собою эту первую книжку журнала, стихотворение «Пир Петра Первого» сразу привлекало к себе внимание.⁵⁵ На это и рассчитывает поэт.

В главной строфе он требовал от царя прощения виноватым:

Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его цалует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Все было тщетно: поэт и монарх друг друга не понимали. Они говорили на разных языках.

Но трогательна та неустанная настойчивость, с которой поэт постоянно обращался к царю — и каждый раз верил, что теперь-то дрогнет каменное сердце «неумолимого владыки».

Вот что ставил себе в заслугу Пушкин в «Памятнике» своем, — он знал, что он останется в сознании народа как поэт, который «милость к падшим призывал».

⁵⁵ См.: Гиллельсон М. И. Отзыв современника о «Пире Петра Первого» Пушкина. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии, 1962. М.—Л., 1963, с. 49.

А. В. АРХИПОВА

ДВОРЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ В ВОСПРИЯТИИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Тема «Достоевский и русская революционная мысль» — такая же большая и сложная тема, как и «Достоевский и Россия», «Достоевский и Западная Европа», «Достоевский и социализм». Даже если ограничить историю революционной мысли в России лишь первым, дворянским, ее этапом, то и тогда не снимается принципиальная сложность в разработке намеченной темы.

Настоящая работа не ставит своей задачей ни полностью осветить проблему, ни собрать *весь* материал по данному вопросу. Предлагаемая статья представляет лишь попытку прокомментировать отдельные — разбросанные в разных произведениях и главным образом в записных тетрадях — высказывания Достоевского о представителях русского революционно настроенного дворянства и о более широком явлении: идеологической оппозиции некоторых русских дворян существующему строю.

I. Споры о Чацком

В 1862 г. Достоевский впервые выехал за границу. Размышления о России и Западной Европе пронизывают «Зимние заметки о летних впечатлениях» — книгу, написанную на материале этого первого заграничного путешествия. Одна из множества тем, затронутых в «Зимних заметках», — противопоставление России Европе, вставшей на капиталистический путь развития; тема эта стала существенной для всего последующего творчества Достоевского.

Отношение Достоевского к реформам Петра I, одним из результатов которых был отрыв от народа господствующего класса и национальной русской интеллигенции, тоже впервые так полно проявилось в «Зимних заметках о летних впечатлениях». Достоевский как бы набрасывает исторический очерк жизни русского

дворянства XVIII в., повествует о том, как отдалялось оно от народных обычаев и взглядов и наконец дошло до полного разобщения с народом, до того, что образованное общество «презирает народ и начала народные» и относится к нему «с какою-то новою, небывалою брезгливостью».¹ В начале XIX в. процесс этот уже почти завершился. Однако именно в это время начинается какая-то своеобразная реакция на петровскую реформу среди лучших представителей образованного на европейский лад дворянского меньшинства. В этот-то момент и появляется в русской жизни тип, воплощенный Грибоедовым в образе Чацкого. Достоевский дает свое, чрезвычайно интересное истолкование и этого исторического типа, и его литературного воплощения.

В характеристике Чацкого, данной Достоевским в 1863 г., следует подчеркнуть несколько положений. Чацкий — это тип переходной эпохи («и не наивно-плутоватый дед», т. е. русский барин XVIII в., внешне как бы воспринявший европейские манеры, а по существу не затронутый еще западной цивилизацией, «и не самодовольный потомок, фёртом стоящий и все порешивший»,² обуржуазившийся на западный манер представитель высшего общества второй половины XIX в., глубоко равнодушный к русскому народу). Чацкий, с точки зрения Достоевского, — изображение декабриста в русской литературе. Об этом писатель говорил всегда, возвращаясь к образу Чацкого,³ об этом он заявил уже в «Зимних заметках о летних впечатлениях». «Чацкий очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять (т. е. после окончательного разрыва с Софьей, — А. А.) за границу, — замечает Достоевский, — промешкал бы маленько — и отправился бы на восток, а не на запад».⁴ В типе Чацкого подчеркивает Достоевский две особенности, тесно между собой связанные: это его оторванность от народа и его неудовлетворенность сложившимся положением, стремление, обреченное на неудачу, изменить его. «Чацкий — это совершенно особый тип нашей русской Европы, это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве, а между тем все-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать,

Где оскорбленному есть чувству уголок... —

одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным когда-то».⁵

Такая сочувственная в целом трактовка образа Чацкого, понятого как образ декабриста, возникает в «Зимних заметках» не случайно и имеет свою историю.

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах (в дальнейшем: Достоевский). Т. 5. Л., 1973, с. 59.

² Там же, с. 61.

³ См.: Бем А. Л. У истоков творчества Достоевского. Прага, 1936, с. 15—22.

⁴ Достоевский, т. 5, с. 62.

⁵ Там же, с. 61—62.

В пору общественного подъема 60-х годов вступившие на литературное и общественное поприще представители революционно-демократической интеллигенции занялись отчасти и подведением итогов, и пересмотром некоторых сложившихся литературных мнений. Ряд историко-литературных работ Чернышевского и Добролюбова посвящен был этой задаче. Комедия Грибоедова и образ Чацкого, прежде всего, очень невысоко оценивались революционно-демократической критикой. Возможно, она во многом опиралась на оценки Белинского, содержащиеся в его известной статье 1840 г. «„Горе от ума“, сочинение А. С. Грибоедова».

Н. Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855—1856) и Н. А. Добролюбов в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858) рассматривали «Горе от ума» как сатирическое произведение, имеющее некоторое значение лишь для своего времени, и подобно другим сатирическим произведениям русской литературы XVIII—начала XIX в., не достигающее поставленной цели — исправлять нравы. Основной упрек, который Добролюбов делает Грибоедову и его герою, — это упрек в отсутствии народности, в ограниченности и отвлеченности.

Отказывая Чацкому в какой бы то ни было значительности, представители революционно-демократической критики, разумеется, не просто повторяли Белинского. Их неприятие образа Чацкого означало непризнание заслуг за тем периодом в развитии русской общественной мысли, который мы называем теперь дворянским и выражением которого в литературе были образы Чацкого и всей плеяды «лишних людей». (Вспомним резкую оценку этих образов в статье Добролюбова «Что такое обломовщина?» 1859 г.).

Иначе подошли в 60-е годы к образу Чацкого бывшие «люди 40-х годов».

В 1861 г. в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература» Н. П. Огарев совершенно иначе заговорил о Чацком, впервые отождествив его образ с образом декабриста. Огарев опровергает мнение о том, что Чацкий «не живое лицо, а ходячая сатира» (возражая, возможно, Добролюбову), и утверждает, что образ этот «сосредоточивает на себе общественное страдание и движение своего времени».⁶ «Гражданский образ мыслей» — главный «тон» Чацкого, как и многих людей той эпохи, которые осознавали себя врагами «порядка вещей своего времени».⁷ Огарев прямо заявляет, что «время Чацкого» — это «время Рыльева и Пестеля», которое «разразилось 14 декабря».⁸

Другой человек «40-х годов», Аполлон Григорьев, столь отличный от Огарева по своим политическим и общественным взгля-

⁶ Огарев Н. П. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2. М., 1956, с. 478.

⁷ Там же.

⁸ Там же, с. 479.

дам, сходным образом охарактеризовал и комедию Грибоедова и образ Чацкого в своей статье, напечатанной в 1862 г. во «Времени», журнале братьев Достоевских. Ап. Григорьев не только дает высокую оценку «Горю от ума», называя его «истинной Divina comedia»,⁹ — статья его во многом полемически заострена против складывающегося в литературной критике пренебрежительного отношения к Чацкому как к личности, и прежде всего против оценки Чацкого, данной Белинским в 1840 г. («То была эпоха, — иронически замечает Ап. Григорьев, — когда Рудины, в упоении от всепримиряющего начала: „что действительно, то разумно“, считали Чацких и Бельтовых „фразерами и либералами“»).¹⁰ Григорьев утверждает, что «Чацкий есть единственное истинно-героическое лицо нашей литературы»,¹¹ что это «прежде всего честная и деятельная натура, притом еще натура борца, т. е. натура в высшей степени страстная».¹² Вслед за Огаревым Григорьев, впервые в русской печати, говорит о связи Чацкого с декабристами: «Чацкий, кроме общего своего героического значения, имеет еще значение историческое. Он — порождение первой четверти русского XIX столетия, прямой сын и наследник Новиковых и Радищевых, товарищ людей

вечной памяти двенадцатого года,

могущественная, еще глубоко верящая в себя и потому упрямая сила, готовая погибнуть в столкновении со средою, погибнуть хотя бы из-за того, чтобы оставить по себе „страницу в истории“...».¹³

Общеизвестно то воздействие, которое в пору формирования почвеннической идеологии оказывал Ап. Григорьев, один из основателей почвенничества, на Достоевского. Несомненно также, что и статья Григорьева о «Горе от ума» повлияла отчасти на ту оценку Чацкого, которую дал Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях».¹⁴

Ведь Чацкий у Достоевского не только «говорун» и «фразер», это человек «страдающий, зывающий и к России, и к почве»,¹⁵ и здесь, конечно, Достоевский ближе к Ап. Григорьеву, нежели к Добролюбову.

⁹ Григорьев Аполлон. «Горе от ума» Грибоедова. (По поводу нового издания старой вещи). — Собр. соч. Вып. 5. М., 1915, с. 3.

¹⁰ Там же, с. 5.

¹¹ Там же.

¹² Там же, с. 12.

¹³ Там же, с. 18.

¹⁴ См.: Кирпоти и В. Я. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966, с. 12, 159—180. — Сложные взаимоотношения Достоевского и Ап. Григорьева рассмотрены в статье И. З. Сермана «Достоевский и Ап. Григорьев» (Достоевский и его время. Л., 1971, с. 130—142). Однако с положением И. З. Сермана о том, что в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский в характеристике Чацкого «разошелся с Григорьевым и солидаризировался с Добролюбовым», вряд ли можно согласиться. Ср. также комментарий Е. И. Кийко к «Зимним заметкам о летних впечатлениях» (Достоевский, т. 5, с. 367—368).

¹⁵ Достоевский, т. 5, с. 61. (Курсив мой, — А. А.).

Однако больше всего общего в подходе к образу Чацкого как отражению декабристской эпохи у Достоевского с Герценом. В 1864 г. в статье «Новая фаза в русской литературе», написанной по-французски для западного читателя, Герцен наряду с другими проблемами касается комедии Грибоедова и образа Чацкого в его историческом аспекте. Давая краткий исторический экскурс в прошлое русской литературы (XVIII и начало XIX в.), Герцен останавливается на роли Петра I и говорит о том, чем обернулись петровские реформы для дальнейшей русской общественной жизни. «Петр I,— писал Герцен,— хотел создать сильное государство с пассивным народом. Он презирал русский народ, в котором любил только численность и силу, и в подавлении национальных начал пошел гораздо дальше, чем это делает современное правительство в Польше».¹⁶ И все последователи Петра, стоящие у власти, в течение шести поколений исполняли его волю, твердя «перестань быть русским и это зачтется тебе в заслугу перед отечеством. Презирай своего отца, стыдись своей матери, забудь все то, что учили тебя уважать в отчем доме, и из мужика, каков ты теперь, ты станешь образованным и немцем».¹⁷ В этом же духе воспитывалась и русская литература, однако первым самостоятельным актом ее было выражение протеста против существующего порядка вещей, а единственной возможной формой этого протеста был смех. Высшим проявлением этого протеста, обличенного в форму смеха, и явилось, по Герцену, «Горе от ума». Продолжая, как и сатирики XVIII в., высмеивать оторвавшееся от родных корней и своего народа дворянское общество, Грибоедов не ограничивается этим, так как в его эпоху уже родился новый образ, неизвестный в XVIII в. Это представитель все того же оторвавшегося от народа дворянства, глубоко неудовлетворенный создавшимся положением и мечтающий изменить его. «Образ Чацкого, печального, неприкаянного в своей иронии, трепещущего от негодования и преданного мечтательному идеалу, появляется в последний момент царствования Александра I, накануне восстания на Исаакиевской площади: это *декабрист*, это человек, который *завершает* эпоху Петра I и силится разглядеть, по крайней мере на горизонте, обетованную землю... которой он не увидит».¹⁸

Сходство позиций Герцена и Достоевского в трактовке декабристской эпохи в этот период поразительно.¹⁹ Оба они считают, что петровская реформа наряду с тем положительным, что она

¹⁶ Герцен А. И. Полн. собр. соч. (в дальнейшем: Герцен). Т. XVIII. М., 1959, с. 175.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же, с. 180.

¹⁹ О большой близости во взглядах Достоевского и Герцена по ряду вопросов именно в пору создания «Зимних заметок о летних впечатлениях» убедительно говорит А. С. Долинин, см.: Достоевский и Герцен. — В кн.: Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М.—Л., 1963 (в дальнейшем: Долинин), с. 215—230.

несла России, имела и чрезвычайно вредные последствия, так как в главных проявлениях своих была не народна. Свообразным идеологическим кризисом в результате нее и было движение образованного дворянства, стремящегося в начале XIX в. повернуть к народу. Чацкий возникает именно тогда, когда разобщение образованного меньшинства с народом достигло своего предела. Герцен называет это время (царствование Александра I) «завершением эпохи Петра I»; Достоевский же, позже утверждая, что «петровский период» русской истории закончился 19 февраля 1861 г., в «Зимних заметках о летних впечатлениях» охарактеризовал начало XIX в. как период переходный, кризисный, породивший новую идеологию. И Герцен, и Достоевский подчеркивают глубокое, искреннее страдание Чацкого («тип милый, восторженный, страдающий» — Достоевский; «печальный, неприкаянный в своей иронии, трепещущий от негодования» — Герцен), стремление его, а следовательно и декабристов, сблизиться с народом, стремление, обреченное на неудачу. У Достоевского Чацкий, тянущийся «и к России, и к почве», уезжает все-таки за границу, Чацкий Герцена «силится разглядеть <...> обетованную землю... которой он не увидит». И Достоевский, и Герцен признают, что будущее Чацкого весьма печально. Однако если Герцен хорошо понимает, что после 14 декабря «тревога, отчаяние и мучительный скептицизм овладели оскорбленными душами» и что «энтузиаст Чацкий <...>, декабрист в глубине души», не мог не уступить место Онегину, «человеку скучающему и чувствующему всю свою колоссальную ненужность»,²⁰ то Достоевский, по собственному его выражению, никак не может понять, почему Чацкий, будучи умным человеком, «не нашел себе дела». «Они все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду».²¹ Герцену, мечтающему о революционном преобразовании общества, близок скептицизм «лишних людей» в эпоху, когда это революционное преобразование невозможно. Достоевский же, говоря о «деле», имел в виду духовное, нравственное сближение с народом и считал, что идти к нему можно во всякую эпоху. «Нельзя версты пройти, так пройди только сто шагов, все же лучше, все ближе к цели, если к цели идешь».²²

Несомненно, что в своей трактовке образа Чацкого, данной в начале 60-х годов, Достоевский сближается не с Белинским, Чернышевским и Добролюбовым, а с Ап. Григорьевым, Герценом и Огаревым. Общее здесь — признание того, что Чацкий — отражение определенного исторически сложившегося типа, образ глубоко органичный для русской жизни. Такая оценка Чацкого Достоевским подтверждается отчасти и одним редакторским примечанием, помещенным в июльском номере журнала «Эпоха» за

²⁰ Герцен, т. XVIII, с. 183.

²¹ Достоевский, т. 5, с. 62.

²² Там же.

1864 г. В статье Аверкиева «Значение Островского в нашей литературе», опубликованной в «Эпохе» за подписью «Один из почитателей Островского», упомянут Чацкий, который охарактеризован здесь как «единственное истинно-героическое лицо (хотя и не русское)». Достоевский сделал существенное примечание к этому месту: «Почему же не русское? Или все, что у нас есть оторванного цивилизацией от народного быта,— уже не русское? Напротив, тип Чацкого только и дорог нам тем, что это изображение *русского*, оторванного от народного быта. Иначе, что ж бы он для нас значил? Это доказывается отчасти уже симпатичностью для нас этого типа и непрерывною его повторяемостью в нашей литературе».²³

Итак, разбирая образ Чацкого,— иными словами, говоря о типе дворянского революционера 20-х годов,— Достоевский отмечает две особенности этого типа: во-первых, его стремление как представителя лучшей части образованного общества к единению со своим народом и, во-вторых, полную невозможность осуществить этот идеал, так как оторванность от народа настолько велика, что преодолеть ее дворянин 20-х годов, впервые задумавшийся о народе, не в состоянии.

Эти два аспекта в образе передового мыслящего дворянина — оторванность от родной почвы и стремление к ней — Достоевский всегда будет иметь в виду, говоря о представителях дворянской оппозиции существующему строю, о людях «беспокоящихся и не примиряющихся», как он назовет их позднее.²⁴ В различные периоды своего творческого пути он будет делать акцент то на одной, то на другой стороне этой проблемы: то осуждать дворянских, да и не только дворянских, революционеров за их чуждость народу, то отмечать их искреннее стремление к поискам народной правды.

II. Отцы и дети

Годы пребывания Достоевского за границей (1867—1871) связаны с усилившейся неприязнью его к капиталистическому западу и к одному из проявлений, как полагал Достоевский, капитализма — «политическому» социализму. Эти взгляды сказались во многих произведениях писателя, созданных за границей и по возвращении в Россию, сильнее всего в «Бесах» (1872) и ряде глав «Дневника писателя» за 1873 и 1876 гг. Огромной и сложной темы «Достоевский и социализм» эта статья не будет касаться.

²³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. худ. произв. в 13 томах (в дальнейшем: Достоевский Ф. М. Худ. произв.). Т. 13. М.—Л., 1930, с. 577.— Принадлежность этого примечания Достоевскому обосновывается в кн.: Достоевский Ф. М. т. 19 (в печати).

²⁴ Достоевский Ф. М. Худ. произв. Т. 12. М.—Л., 1929, с. 369 (Дневник писателя за 1880 г. Август. Гл. I).

Для нас в данный момент интереснее рассуждения писателя о предшественниках «политического» (как он называл его) социализма — о революционных и социалистических учениях первой половины XIX в.

Достоевский всегда хорошо представлял себе, что революционные социалистические движения как на Западе, так и в России — логическое развитие революционных учений предшествующего периода. И если социализм на Западе — естественное следствие развивавшегося там капитализма, его, так сказать, обратная сторона, если участие в революционном движении европейского пролетариата, т. е. народа, казалось Достоевскому естественным для обуржуазившегося западного мира (в борьбе рабочего класса он видел лишь борьбу «за кусок», за какие-то материальные блага), то социализм в России он всегда считал явлением чуждым народу, который имеет свой вариант социализма, свою идею о всеобщем счастье и единении, воплощенную в православии.

И чем менее органичными для России считал Достоевский социалистические учения, тем большую ответственность возлагал на предшественников социализма 60—70-х годов — дворянских революционеров. Они-то и были отцами современного социализма и нигилизма, и именно потому, что в своих поисках добра и правды обратились не к народу, а к чуждым России учениям Западной Европы.

Наиболее четко и последовательно мысль эта, не считая публицистики Достоевского, выражена в «Бесах» — первом романе, посвященном волновавшей писателя теме о преемственности поколений, его варианте «отцов и детей». Идея преемственности поколений присуща была, разумеется, не одному Достоевскому. Как ни нигилистически относились революционеры-демократы к предшествующим им идейным исканиям русского дворянства, все-таки и они соглашались, что «лишние люди» (все эти Рудины, Бельтовы и им подобные) обусловили появление деятелей нового типа. Д. И. Писарев в статье «Базаров» (1862) прямо отметил три типа (а по существу три поколения) мыслящих русских людей. Это Онегины и Печорины, во-первых, Рудины и Бельтовы, во-вторых, и Базаровы, в-третьих. У первых «есть воля без знания», у вторых — «знание без воли», у третьих «и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое».²⁵ Герцен откликнулся на выступление Писарева статьей «Еще раз Базаров» (1869). Поводом для нее послужило издание собрания сочинений Писарева в 1866—1869 гг., а причиной — разногласия Герцена с молодой эмиграцией, представителями нового поколения русских революционеров. Стремлением отстоять свое поколение «отцов», подчеркнуть их значение и для России и для революционеров 60-х годов пронизана статья Герцена. Отцы, уверяет он, были

²⁵ Писарев Д. И. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 2. М., 1955, с. 21.

гораздо значительнее, чем помещики Кирсановы, изображенные Тургеневым, чем даже лишние люди типа Онегина.

«Брат Онегина за *положительный* тип умственной жизни двадцатых годов,— писал Герцен,— за интеграл всех стремлений и деятельностей проснувшегося слоя — совершенно ошибочно, хотя он и представляет одну из сторон тогдашней жизни.

Тип того времени, один из великопнейших типов новой истории,— это *декабрист*, а не Онегин. Русская литература не могла до него касаться целые сорок лет, но он от этого не стал меньшим».²⁶

Герцен считает глубокой ошибкой молодого революционного поколения непризнание им «всего величия», всех огромных заслуг первых дворянских революционеров. «Сердиться на то, что эти люди явились в единственном сословии, в котором было какое-нибудь образование, какой-нибудь досуг и какая-нибудь обеспеченность — бессмысленно. Если б эти „князья, бояре, воеводы“, эти статс-секретари и полковники не проснулись первые от нравственного голода и ждали, чтоб их разбудил голод физический, то не было бы не только ноюющих и беспокоящих Рудиных, но и почивших в своем „единстве воли и знания“ Базаровых».²⁷ И далее замечает Герцен: «Если в литературе сколько-нибудь отразился, слабо, но с родственными чертами, тип декабриста — это в Чацком».²⁸ Дав очень сочувственную, почти восторженную характеристику Чацкому, Герцен подчеркнул его идейную близость следующему поколению русских революционеров — «людям 40-х годов», «отцам» молодых революционеров-демократов.

Статья «Еще раз Базаров», видимо хорошо известная Достоевскому (она была напечатана в «Полярной звезде на 1869», а альманах этот Достоевский внимательно читал), по мнению Н. Ф. Будановой, повлияла на изображение в «Бесах» противоречий между «отцами», в лице Степана Трофимовича Верховенского, и «детьми», в лице его сына.²⁹ Возможно, что не без некоторого воздействия этой статьи возникает в подготовительных материалах к «Бесам» и образ Чацкого.

Не касаясь сложной проблематики «Бесов», в том числе и изображения в романе «нигилистов», отметим только, что, показывая в лице Степана Трофимовича Верховенского тип западника-либерала, человека 40-х годов, представителя того поколения оппозиционно, а подчас и революционно настроенного дворянства, к которому и сам Достоевский принадлежал в юности, — писатель на этот раз дает очень сниженную, местами шаржированную харак-

²⁶ Герцен, т. XX, М., 1960, с. 341.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же, с. 342.

²⁹ См.: Буданова Н. Ф. Проблема «отцов» и «детей» в романе «Бесы». — В кн.: Достоевский. Исследования и материалы. Т. I. Л., 1974, с. 163—187.

теристику «отцов» современного «нигилизма». Общеизвестно, что в образе Степана Трофимовича отразились многие черты Грановского, Герцена, Огарева, Печерина и других представителей «чистого западничества», как называл Достоевский людей того поколения. Интересно, что все они объединены в сознании Достоевского именно своей ориентацией на Запад, своим незнанием и непринятием России. Степан Трофимович, впервые столкнувшийся с народом во время своего «последнего странствования», говорящий с мужиками и бабами по-французски и в то же время самодовольно думающий про себя: «Я в совершенстве, в совершенстве умею обращаться с народом, и я это им всегда говорил»,³⁰ — это комическое изображение той внутренней эмиграции, которая, по мысли Достоевского, характеризует большинство представителей образованного на западный манер русского дворянства. В статье «Старые люди» из «Дневника писателя за 1873 г.», говоря о Герцене как о наиболее ярком представителе этого типа, Достоевский иронически называет его «gentilhomme russe et citoueu du monde»³¹ и, говоря о его эмиграции, замечает: «Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их и не выезжало из России».³²

В период создания «Бесов» и начала работы в «Гражданине» Достоевский, достигший крайней точки в своем неприятии всякой революционности, как бы отодвигает на задний план, а подчас и забывает вовсе о тех чертах в облике дворянских революционеров, которые осознал всегда и которые позволяли ему с таким сочувствием говорить об образе Чацкого в 1863 г. «Разрыв с народом огромного большинства образованного сословия нашего»³³ — вот что выдвигается Достоевским на первый план. Именно эти люди явились прямыми предшественниками тех «бесов» социализма, которые, как кажется Достоевскому, завели бы Россию в пропасть, если бы не были столь бессильны перед лицом народа, социализма, по мнению писателя, не приемлющего. Степан Трофимович в критическом порыве и себя, т. е. свое поколение, причисляет к «бесам», «накопившимся в великом и милом нашем больном, в нашей России». «Это мы, мы и те, и Петруша. . . et les autres avec lui»,³⁴ и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь

³⁰ Достоевский й. Т. 10. Л., 1974, с. 486.

³¹ Русский дворянин и гражданин мира (*франц.*). — Выражение это Достоевский неоднократно применял к разным представителям русской интеллигенции. Он называет так Некрасова в «Дневнике писателя за 1873 г.» (глава «Влас»), это же выражение применяет по отношению к себе Кириллов в «Бесах», что вызвало в свою очередь интересные замечания Н. К. Михайловского в его статье, посвященной разбору «Бесов» и «Дневника писателя за 1873 г.». См.: Отечественные записки, 1873, № 2, с. 329—338.

³² Достоевский. Худ. произв. Т. 11. М.—Л., 1929, с. 6—7.

³³ Там же, с. 7.

³⁴ и другие вместе с ним (*франц.*).

и хватит. Но большой исцелится и „сядет у ног Иисусовых“... и будут все глядеть с изумлением». ³⁵

Два мотива чередуются и сосуществуют в «Бесах». Это, с одной стороны, общность, единство двух поколений революционеров (они объединены тем, что «господа», бары, и тем уже противоположны народу). В записных тетрадах к «Бесам» об этом говорит Ш^катов: «Нигилисты, дети помещиков. Никто не знает себя на Руси. Просмотрели Россию». ³⁶ О «встрече двух поколений все одних и тех же западников, чистых и нигилистов» ³⁷ говорится в набросках к роману. Но вместе с тем эти два поколения постоянно противопоставляются одно другому. «У нас 2 рода господ — в одних как бы что-то недосиженное, в других до безобразия резко определившееся. Затем разумеется золотая середина, которой жить хорошо.

Гр^каповски^й: ³⁸ „Недосиженные — это мы, определившиеся — все эти наши семинаристы и вот они. Скороспелость тут ужасная“». ³⁹

Но ярче всего это противоречие двух поколений раскрыто в сценах постоянной борьбы между Верховенским-отцом и Верховенским-сыном по целому ряду вопросов. Разбравший роман Н. К. Михайловский отметил эту особенность и высказал соображение, что напрасно Степан Трофимович объединяет себя с поколением сына.

«Формула „мы, мы и те, и Петруша et les autres avec lui“ обобщает элементы чрезвычайно разнообразные, так что не легко усмотреть их совпадающие стороны. „Петруша et les autres avec lui“ представляются, например, „нам“, т. е. Степану Трофимовичу Верховенскому, в виде „подлого раба, вонючего и развратного лакея“, который при известных обстоятельствах „взмостится на лестницу с ножицами в руках и раздерет божественный лик великого идеала (Сикстинскую Мадонну) во имя равенства, зависти и пищеварения“. С своей стороны и Петруша et les autres avec lui осыпают „нас“, Степана Трофимовича Верховенского, эпитетами, полными ненависти и презрения. И эти враждебные отношения вполне объясняются действительным внутренним различием обоих лагерей». ⁴⁰ В самом деле, Достоевский всегда отчетливо осознавал большое различие между дворянской оппозицией правительству в первой половине XIX в. (включая сюда декабристов, «чистых» западников, петрашевцев и других сторонников утопического социализма) и поколением нигилистов 60-х и 70-х годов. Позднее, в январском выпуске «Дневника писателя за 1877 год» он четко сформулировал это различие в главе «Старина о Петрашевцах»:

³⁵ Достоевский, т. 10, с. 499.

³⁶ Там же. Т. 11. Л., 1974, с. 66.

³⁷ Там же, с. 68.

³⁸ Так в записных тетрадах обычно называется С. Т. Верховенский.

³⁹ Достоевский, т. 11, с. 163.

⁴⁰ Отечественные записки, 1873, № 2, с. 326—327.

«По-моему, коренное изменение типа политического преступника произошло у нас лишь за последние двадцать лет; но Петрашевцы были совершенно еще одного типа с декабристами, по крайней мере по <...> существенным признакам типа <...>. И те и другие принадлежали бесспорно совершенно к одному и тому же *господскому*, „*барскому*“, так сказать, обществу, и в этой характерной черте тогдашнего типа политических преступников, т. е. декабристов и Петрашевцев, решительно не было никакого различия. Если же между Петрашевцами и было несколько разночинцев (крайне немногих), то лишь в качестве людей образованных, и в этом качестве они могли явиться и у декабристов. Вообще же говоря, мещане и разночинцы не могли быть ни у декабристов, ни у Петрашевцев в значительном числе, но лишь потому, что они тогда и не являлись в числе».⁴¹ Достоевский, таким образом, четко разделяет историю революционного движения в России на два периода — дворянский и разночинный, границу же между ними также определяет четко: это время после 1855 г., т. е. эпоха общественного подъема 60-х годов. В «Бесах», правда, «нигилисты» еще именуются господами, «детьми помещиков», но это четкое представление о двух различных этапах в развитии революционной мысли было у Достоевского и в пору создания «Бесов». Несомненно также, что, как ни отрицательно относился Достоевский к революционным путям преобразования жизни, ему всегда психологически близки были представители дворянской революционности в России. Как ни снижен Степан Трофимович Верховенский, все-таки при сравнении с Петром Степановичем он оказывается на какой-то моральной высоте, уже хотя бы потому, что это искренний и сомневающийся человек. Разумеется, изображение революционеров в «Бесах» мошенниками и нравственными уродами не покрывает сложного отношения Достоевского к революционерам-разночинцам. (Вспомним характеристики революционной молодежи в «Подростке» и «Дневнике писателя»). Однако ему всегда психологически чуждо было отсутствие, как ему казалось, у них всяких сомнений в правильности избранного пути. Достоевский считал это признаком узости и ограниченности. Наоборот, мучительные сомнения в себе, поиски правды были в значительной степени характерны для революционеров первого этапа, и искренность, честность, чистота помыслов этих людей не отрицалась Достоевским даже в пору создания «Бесов».

Интересны в связи с этим разбросанные среди подготовительных записей к роману характеристики Чацкого и декабристов, всегда поставленные в какую-то связь с характеристиками либеральных деятелей 40-х годов, к которым принадлежал и Степан Трофимович Верховенский.

В одном из набросков к роману Шатов, спорящий со Степаном Трофимовичем («Грановским», как обозначен он в записной тет-

⁴¹ Достоевский. Худ. произв., т. 12, с. 26.

ради), раздражается гневным монологом против Чацкого, «ограниченного дурака», «барина и помещика», ничего не знающего и не желающего знать, «кроме своего кружка», «московской жизни высшего круга, точно кроме этой жизни в России и нет ничего». «Народ русский он проглядел, как и все наши передовые люди, и тем более проглядел, чем более он передовой. Чем больше барин и передовой, тем более и ненависти — не к порядкам русским, а к народу русскому. Об народе русском, об его вере, истории, обычае, значении и громадном его количестве — он думал только как об оброчной статье. Точно так думали и декабристы, и поэты, и профессора, и либералы, и все реформаторы до царя-освободителя». ⁴² Здесь Шатов объединяет всех, от Чацкого и декабристов до революционеров-демократов, присоединяя к ним либеральных профессоров и русских литераторов. Белинский и князь Гагарин оказываются в одном лагере — лагере людей, противостоящих народу и царю. Однако зачинатель этого единого, как представляется Достоевскому-Шатову, течения — Чацкий — несколько «оправдан» и выделен из всех: «Но пусть он глуп — зато у него сердце доброе. Пусть он недалекий — зато мысль его все-таки оригинальна». ⁴³ Иное дело С. Т. Верховенский, при всей близости своей к обличителям-помещикам начала века далеко от них отставший, «въехавший в казенные формы либерализма», того либерализма, который кончил «антинациональностью и личной ненавистью к России». ⁴⁴ Достоевский, видимо, чувствовал, что в гневной филиппике Шатова много верноподданнически-ортодоксального. Поэтому в ответ ему Грановский-Верховенскийронически замечает: «Я, разумеется, на это вам отвечать не могу, да и не знаю, кто может, не потому, что действительно не могу, а потому, что отнять возможность. (Осадил Шатова), тот ядовито улыбнулся)». ⁴⁵

Несомненно, однако, что Шатов высказывает мысли, близкие Достоевскому. Это подтверждается тем, что разбросанные в записных тетрадах к «Бесам» и не реализованные в окончательном тексте романа отдельные замечания о декабристах нашли отражение в более поздних записных тетрадах, содержащих наброски к «Дневнику писателя за 1876 год».

В 70-е годы Достоевский часто думает о декабристах. Вызвано это и общими размышлениями его о ходе русской истории и о роли в ней дворянства, и, возможно, тем, что именно в этот период в русской печати появляются публикации произведений декабристов, мемуары членов тайных обществ, статьи о них. Где-то в начале 1876 г. задумывает Достоевский статью о декабристах. ⁴⁶

⁴² Достоевский, т. 11, стр. 87.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же, с. 88.

⁴⁶ См.: Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860—1881 гг. — В кн.: Литературное наследство. Т. 83. М., 1971, с. 414, 418.

Замысел этот не был осуществлен, но отдельные мысли и замечания на эту тему, разбросанные в записных тетрадах 1872—1877 гг., позволяют сделать некоторые выводы об оценке Достоевским в этот период деятелей первого этапа дворянской революционности. Как и в подготовительных материалах к «Бесам», в записных тетрадах 70-х годов Достоевский всячески подчеркивает ограниченность политических идеалов декабристов и обособленность их от народа. Однако объясняет он это исключительно приверженностью к Западу и утратой связи со своей землей и обвиняет в этом правительство, начиная с Петра I. Именно неверные действия правительства, разобщившего интеллигенцию с народом, привели не только к возникновению декабристов (и не косвенно, а прямо, как утверждает Достоевский), но и современных социалистических течений. «Вся интеллигенция в России, с Петра Великого начиная, не участвовала в прямых и текущих интересах России, а всегда тянула дребедень отвлеченно-европейскую (Алек<сандр> I, Мордвиновы, Сперанские, декабристы, Герцены, Белинские и Чернышевские и вся современная дрянь)». ⁴⁷ Движение декабристов причисляется к «ошибкам, происшедшим от грубой реформы Петра, основанной на презрении к самостоятельной исторической России». ⁴⁸ О восстании 14 декабря как о «бунте русских помещиков, пожелавших стать лордами», Достоевский говорит неоднократно. ⁴⁹ Рассматривается и вопрос, что бы произошло, если бы декабристы захватили власть. Ответ на это содержится уже в набросках к «Бесам». Некий полковник утверждает, что «бунт 14 декабря» был «бессмысленным делом, которое бы не устояло и двух часов». ⁵⁰ Эта же мысль развита и в записной тетради 1875—1876 гг.: «Они (декабристы, — А. А.) исчезли бы, не продержавшись и двух-трех дней. Михаилу, Константину стоило показаться в Москве, где угодно, и все бы повалило за ними. — Удивительно, как этого не постигли декабристы». ⁵¹ «Народ не пошел бы за декабристами», — с уверенностью заявляет Достоевский и объясняет это дворянской ограниченностью их политической и экономической программы. «Освободили бы декабристы народ? Без сомнения, нет». ⁵² В записях к «Бесам» эту мысль еще определеннее высказывает Шатов: «Бьюсь об заклад, что декабристы непременно бы освободили тотчас русский народ, но непременно без земли — за что им непременно сейчас же народ свернул <бы> головы и тем бы доказал им, что не одно их московское общество составляет Россию — к величайшему их удивлению». ⁵³

⁴⁷ Литературное наследство, т. 83, с. 312.

⁴⁸ Там же, с. 316.

⁴⁹ Там же, с. 430, см. также с. 380.

⁵⁰ Достоевский, т. 11, с. 85.

⁵¹ Литературное наследство, т. 83, с. 380.

⁵² Там же.

⁵³ Достоевский, т. 11, с. 88.

В записной тетради 1872—1875 гг. отражены размышления Достоевского о землевладении и землепользовании, о праве на землю всех членов общества. Эти вопросы глубоко интересовали писателя, и к ним обратился он в статье «Земля и дети» («Дневник писателя за 1876 г.», июль—август).⁵⁴ В этой статье отразились впечатления его от чтения «Записок» И. Д. Якушкина, изданных Герценом в Лондоне в 1862 г. В «Дневнике писателя» Якушкин не назван, но имя его неоднократно встречается в записных тетрадях. В 1875 г., говоря о том, что «нравственность, устой в обществе, спокойствие и возмужалость земли и порядка в государстве <...> зависят от степени и успехов землевладения», Достоевский приходит к выводу: «...все должны иметь право на землю и <...> чуть лишь это право нарушается, является сотрясение и распадение общества»; и добавляет: «У нас русских понял декабрист Якушкин — искреннейший человек».⁵⁵ Мысль эта поясняется в записях, относящихся к 1876 г., т. е. ко времени работы над статьей «Земля и дети»: «Всякий должен иметь право на землю. У нас это народное начало. Декабрист Якушкин. Мы ваши, а земля наша. Собственност^ь — святейшая вещь: личность».⁵⁶ Речь здесь идет о том месте в 1-й части «Записок» И. Д. Якушкина, где бывший декабрист рассказывает, как он хотел освободить своих крестьян в 1819 г. Прежде чем ехать в Петербург по этому делу, Якушкин захотел выяснить, «оценят ли крестьяне выгоду для себя условий», на которых он предполагал освободить их. «Я собрал их, — рассказывает Якушкин, — и долго с ними толковал; они слушали меня со вниманием и, наконец, спросили: «Земля, которую мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?» Я им отвечал, что земля будет принадлежать мне, но что они будут властны нанимать ее у меня. «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому: мы ваши, а земля наша». Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение. Русский крестьянин не допускает возможности, чтобы у него не было хоть клочка земли, которую он пахал бы для себя собственно».⁵⁷

Осуждая декабристов за то, что они не хотели дать народу землю, Достоевский противопоставлял им «царя-освободителя», который, по его мнению, дал землю народу и совершил народную реформу, в противоположность ненародной реформе Петра I. Поэтому Шатов в подготовительных набросках к «Бесам» заявляет Степану Трофимовичу Верховенскому: «Вспомните тоже, что царь освободил народ, а не вы. Эта мысль у царей родилась, а декабристу Чацкому и в голову не приходила».⁵⁸ Неприязнен-

⁵⁴ См. Достоевский. Худ. произв., т. 11, с. 376—378.

⁵⁵ Литературное наследство, т. 83, с. 314.

⁵⁶ Там же, с. 553.

⁵⁷ Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951, с. 29

⁵⁸ Достоевский, т. 11, с. 87.

пое отношение к Чацкому именно как к декабристу, дворянскому революционеру, ярче всего проявилось в этом рассуждении Шатова. Звучит эта неприязнь и в некоторых записях 1876 г. Одна из них воспроизводит воображаемое столкновение сосланного на каторгу декабриста-Чацкого — с народом. «Чацкому, если б его сослали. Ты всего-то из банной мокроты зародился, сказали бы ему, как говорили, ругаючись, покойники из Мертвого дома (а ведь половина, должно быть, теперь уж покойнички), когда хотели обозначить какое-нибудь бесчестное происхождение».⁵⁹ Чуждость народа дворянам, так хорошо показанная Достоевским в «Записках из Мертвого дома» и уже на каторге им глубоко осознанная, здесь, по мысли писателя, превращается в ненависть и глубокое презрение к человеку, бравшему на себя миссию освободить народ, а на деле не способному ничего понять и сделать.

В конце 1876 г. Достоевский задумывал написать статью о русской сатирической литературе, материалом для которой послужил бы анализ «Ревизора», «Горя от ума» и произведений Щедрина.⁶⁰ Статья не была написана. В подготовительных набросках к ней мелькают сопоставительные характеристики Чацкого и пушкинского Алеко. Чацкий — это человек своего мира, кругозор его узок, он «мелко-желчный», «доволен малым». «Мелко плавает. Основной сущности зла не понимает». Наоборот, Алеко — подлинно трагическая фигура.⁶¹ Возможно, что такое сниженное восприятие образа Чацкого происходит в это время не без влияния М. Е. Салтыкова-Щедрина, в произведении которого «В среде умеренности и аккуратности» персонажи «Горя от ума» сатирически переосмыслены.⁶² О разговоре своем со Щедриным по поводу «Горя от ума» Достоевский упоминает в октябрьском выпуске «Дневника писателя за 1876 год». И. Медведева высказала предположение, что в трактовке Чацкого и Молчалина в произведении Щедрина «В среде умеренности и аккуратности» (1876) сказалось воздействие Достоевского, что «Салтыков-Щедрин придумал этот „департамент Умопомрачений“ как место службы Чацкого уже после чтения „Бесов“, угадав в Ставрогине продолжение типа Чацкого».⁶³ Возможно, это и так, тем более, что какие-то отзвуки Чацкого действительно есть в образе Ставрогина, это подтверждается и подготовительными набросками к «Бесам».⁶⁴ Во всяком случае, точки соприкосновения между Достоевским и Щедриным в подходе к персонажам

⁵⁹ Литературное наследство, т. 83, с. 624.

⁶⁰ См.: Борщевский С. Щедрин и Достоевский. М., 1956, с. 294—302.

⁶¹ См.: Литературное наследство, т. 83, с. 606.

⁶² О причинах такого переосмысления см.: Прокопенко З. Т. Чацкий в русской критике XIX в. и сатире Салтыкова-Щедрина. — Русская литература, 1972, № 3, с. 139—150.

⁶³ Медведева И. «Горе от ума» А. С. Грибоедова. М., 1971, с. 90.

⁶⁴ Достоевский, т. 11, с. 153.

«Горя от ума» несомненно имеются. Ближе всего к щедринскому восприятию Чацкого характеристика этого героя, данная Достоевским в пору создания «Бесов» (Щедрину безусловно неизвестная); она вновь прозвучала в записных тетрадах 1876 г., — отчасти, возможно, усиленная воздействием самого Щедрина.

Однако как характеристика кружка Петра Верховенского не покрывает всего отношения Достоевского к современной русской революционной молодежи, так и характеристика Чацкого, вложенная в уста Шатова, не покрывает отношения Достоевского к декабристам. Как ни ошибочна их позиция, как ни узки и сословны их интересы, все-таки декабристы были лучшими людьми своего времени именно потому, что не удовлетворялись существующим неправильным порядком вещей, а искренно стремились к лучшему. «К ним примкнуло все великодушное и молодое»,⁶⁵ — отметил Достоевский. «С исчезновением декабрист<ов>, — писал он, — исчез как бы чистый элемент из дворянства. Остался цинизм: нет, дескать, честно-то видно не проживешь. Явилась условная честь (Ростовцев)».⁶⁶ Засилье в обществе в николаевскую эпоху циничных людей, занятых исключительно практическими помыслами о том, как сделать карьеру, и привело, по мнению Достоевского, к тому, что «когда раскусили Белинского, — все повалило за ним, до того, что даже теперь, насильно, хотят видеть *сверху* то же самое, что при прошлом царствовании».⁶⁷ Иными словами, поколение Белинского, выступившее со своими идеями, направленными против господствующего порядка, не могло не привлечь к себе все честное и передовое, как в свое время привлекли его декабристы. Наоборот, все, что идет *сверху*, не принимается так же, как не могло приниматься честными людьми и в правление Николая I. Достоевский признает, что и декабристы, и сменившие их представители утопического социализма 40-х годов были носителями высшей идеи, пусть неправильной, но все-таки высокой. Больше того. Он не отказывает в идее и представителям современного социализма и нигилизма даже в пору создания «Бесов». В одном из набросков к роману Степан Трофимович, умирая, восклицает:

«Да здравствует Россия, в ней есть идея. — В них, в нигилистах, есть идея. Мы тоже были носителями идеи. <...>

Этот вечный русский призыв иметь идею, вот что прекрасно. Je ne parle pas,⁶⁸ что это все у них кстати и прилично: Бедное божие стадо!».⁶⁹

О том, что отношение Достоевского к дворянским революционерам не исчерпывалось критикой их оторванности от народа,

⁶⁵ Литературное наследство, т. 83, с. 430.

⁶⁶ Там же, с. 380.

⁶⁷ Там же.

⁶⁸ Я не говорю (*франц.*).

⁶⁹ Достоевский, т. 11, с. 289—290.

говорит и то, что в ряде произведений 70-х годов (после «Бесов», но почти одновременно с теми набросками в записных тетрадях, которые приводились выше) дается и несколько иное, более широкое истолкование тех идеологических оппозиционных учений, носителями которых были просвещенные русские дворяне первой половины XIX в.

В «Дневнике писателя за 1873 год», в статье «Одна из современных фальшей», Достоевский снова обращается к важному для него вопросу о преемственности революционных поколений. Статья эта является как бы промежуточным звеном между «Бесами» и «Подростком» — романами, посвященными проблеме «отцов и детей», но по-разному эти проблемы трактующими. Если обвинение отцов, которые своим пренебрежением к корням и почве, своим антипатриотизмом и презрительным отношением к народу повлияли на распространение нигилистических (т. е. социалистических) идей среди современной молодежи, связано еще с концепцией «Бесов», — то уважительное и даже сочувственное отношение к революционной молодежи уже непосредственно предшествует решению этих проблем в «Подростке».⁷⁰

Характеризуя поколение «отцов» современных социалистов, Достоевский говорит и о петрашевцах. Он подчеркивает, что петрашевцы не просто революционный кружок, а одно из проявлений широкого идеологического движения русской дворянской молодежи 40-х годов. Называть революционную молодежь тех лет «петрашевцами» не совсем верно, «ибо чрезмерно большое число в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело, во всей этой давно прошедшей истории».⁷¹ Общим же между всей мыслящей молодежью 40-х годов, как «стоявшей на эшафоте», так и не привлеченной к суду и следствию, было увлечение идеями утопического социализма. Однако молодежь эта была чужда практической революционной деятельности в отличие от современных социалистов 60—70-х годов. «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма, — отмечал Достоевский. — Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его».⁷² Конечно, современный политический социализм с его идеей революции, насильственной ломки существующего строя, идеей отрицания преимущественно, как полагал Достоевский, возник на основе того, непрактического, отвлеченного социализма 40-х годов. «Но тогда пони-

⁷⁰ См. об этом в комментарии Г. Я. Галаган к роману «Подросток» (Достоевский, т. 17, в печати).

⁷¹ Достоевский. Худ. произв., т. 11, с. 134.

⁷² Там же.

малось дело еще в самом розовом и райско-правственном свете. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из коноводов его с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации». ⁷³ Эта отвлеченность и нравственная, христианская основа социалистических идей и обусловили, по мысли Достоевского, их широкую распространенность среди чистой и ищущей молодежи, оказали такое сильное воздействие на лучших представителей тогдашнего образованного общества.

Утопический социализм дворянских революционеров заключал в себе, таким образом, как бы два варианта дальнейшего его развития. С одной стороны, он привел к социалистическим идеям революционеров-разночинцев, с другой — к тем идеям примирения и братства, развитие которых и составляет, по убеждению Достоевского, историческую миссию русского дворянства.

III. Всемирные скитальцы

В 1875 г. был закончен роман «Подросток». Среди множества проблем, поставленных в романе, существенна и проблема исторической роли и исторической судьбы русского дворянства, или «высшего культурного слоя».

Из всех слоев и классов современного русского общества, не считая простого народа, с особенным сочувствием относился Достоевский к дворянству. Часто именовал он дворян «лучшими людьми» ⁷⁴ и уже в «Подростке» устами Версилова объяснил, что это означает. «Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи <...> Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом сословие само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты». ⁷⁵

Неприятие Достоевским капиталистического пути развития для России обусловило его отрицательное отношение к буржуазии, которую он всегда считал антинародным классом. Противопоставление буржуазии дворянству как носителю преданий, собранию лучших людей звучит уже во многих статьях, печатав-

⁷³ Там же, с. 135.

⁷⁴ См., например, письмо Достоевского брату Андрею Михайловичу от 10 марта 1876 г., главы «Лучшие люди» и «О том же» в октябрьском выпуске «Дневника писателя за 1876 г.», записи в тетради 1875—1876 гг. (Литературное наследство, т. 83, с. 316).

⁷⁵ Достоевский. Т. 13. Л., 1975, с. 177—178.

шихся во «Времени».⁷⁶ Антинародной же считал Достоевский и революционно настроенную разнородную интеллигенцию, социалистические идеи которой — все то же порождение капитализма. В противоречии с исторической правдой Достоевский был убежден, что революционеры-разночинцы 60—70-х годов еще дальше отстоят от народа, чем дворянские революционеры первой половины XIX в. Тип русского революционера в течении всего XIX в., по мнению Достоевского, все больше отдалялся от народа, и теперь уже революционеры настолько не понимают народа, что «даже и не подозревают своего с ним разрыва (как все же подозревали, например, петрашевцы)».⁷⁷

Поэтому особые надежды возлагает Достоевский на дворянство, все больше думает о нем с начала 70-х годов, в пору редактирования «Гражданина» и создания «Подростка».⁷⁸ Тип оторвавшегося от народа, но к народу стремящегося, европейски образованного, культурного человека — это тип дворянина. Впервые он отразился в Чацком. Чем же он стал теперь и какова его функция в историческом развитии России? На этот вопрос и отвечает Достоевский в «Подростке» образом Версилова.

Версилов — почти ровесник Достоевского, во всяком случае человек одного с ним поколения. Он родился в конце 20-х годов, успел воспринять идеи Белинского и натуральной школы, зачитывался в молодости «Антоном Горемыкой» Григоровича и мечтал облегчить участь крестьянства. Во время проведения крестьянской реформы Версилов служил мировым посредником, относясь к так называемому «первому призыву» людей этой должности, старавшихся часто защитить интересы бывших крепостных и встававших в ряде случаев в оппозицию к правительству. «Не получив ничего за свой либерализм», разочаровавшись в возможности практической работы на пользу народа, Версилов эмигрировал в Западную Европу. В литературе о «Подростке» отмечалась сложность этого образа, вобравшего в себя черты многих литературных предшественников и исторических прототипов. Это и Онегин и Чацкий, это и Чаадаев и Герцен.⁷⁹ Как ни противоречив и ни изломан этот характер, в нем покоряет обаяние его глубины и искренности.

Не случайно молодой Версилов играет Чацкого в любительском спектакле. Образ Чацкого-Версилова воспринимается маленьким Аркадием Долгоруким как воплощение нравственной и

⁷⁶ См.: Кирпотин В. Я. Достоевский в шестидесятые годы, с. 57—60.

⁷⁷ Достоевский И. Худ. произв., т. 12, с. 27.

⁷⁸ Об отличии взглядов Достоевского по этому вопросу от позиции реакционных политических кругов России в 70-е годы см.: Семенов Е. И. У истоков «Подростка». — Русская литература, 1973, № 3, с. 107—116. — См. также: Достоевский И., т. 15 (в печати).

⁷⁹ См.: Долинин, с. 95—132; см. также комментарий к «Подростку» (Достоевский И., т. 15, в печати).

физической красоты, благородства, гонимого и преследуемого. «*...* Я, конечно, понимал только то, что *она ему* изменила, что над ним смеются глупые и недостойные пальца на ноге его люди. Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблен, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он — велик, велик!».⁸⁰ На всю жизнь сохранил Подросток это воспоминание, и образ отца в его сознании ассоциировался с образом Чацкого.

Видимо, по замыслу Достоевского, Версиков вобрал в себя и какие-то черты Онегина, во всяком случае история его взаимоотношений и особенно разрыва с Ахмаковой, этим вошлещением «живой жизни», вызывает ассоциации с историей Онегина и Татьяны, как она истолкована Достоевским в Пушкинской речи. Ахмакова, как и Татьяна, отказывается идти за Версиковым, так как не верит в него. Особенно настойчиво мысль эта повторяется в подготовительных записях к роману.⁸¹

Ярче всего раскрывается Версиков в своей исповеди сыну в седьмой главе III части романа. Он причисляет себя к избранным представителям высшего культурного слоя, цель и назначение которых — носить великую идею всеобщего братства, чтобы со временем передать ее другим. «У нас создан веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, — тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то стало быть, — говорит Версиков, — я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек — может, более, может, менее — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало».⁸²

К этой тысяче избранных носителей идеи в подготовительных набросках к роману отнесен и Чацкий, зачинатель этого типа. «Начиная с Чацкого крепостника, но ведь довольно из 1000 одного — тысячи и десятки тысяч прошли бесследно, а Чацкий-то вот остался в памяти».⁸³

Чацкий здесь не столько декабрист, сколько представитель того высшего культурного типа, носителя великой идеи и мировой тоски, к которому принадлежат и Чадаев, и Герцен, который любит Россию и стремится к ней, а вынужден скитаться в Западной Европе. По первоначальному замыслу Достоевского, Версиков даже должен был быть ближе Герцену, чем он оказался в романе. В одном из вариантов исповеди Версикова на вопрос

⁸⁰ Достоевский, т. 13, с. 95.

⁸¹ См.: Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток». Литературное наследство. Т. 77. М., 1965, с. 362, 378—379.

⁸² Достоевский, т. 13, с. 376

⁸³ Литературное наследство, т. 77, с. 411.

сыпа — «Вы, наверно, участвовали в каком-нибудь заговоре?» — он отвечал: «Был, мой милый. Есть ли русский, который бы не был свое время в заговоре».⁸⁴ От этой детали в биографии своего героя Достоевский отказался. Версиров не революционер. Он просто одинокий скиталец, порвавший с своим обществом человек. «Я эмигрировал, — говорит Версиров, — и мне ничего было не жаль назад. Все, что было в силах моих, я отслужил тогда России, пока в ней был; выехав, я тоже продолжал ей служить, но лишь расширив идею».⁸⁵ Вероятно, подобным же образом мог сказать о себе и Герцен. Вспомним, что в 1873 г. говорил Достоевский об эмиграции Герцена в статье «Старые люди», как характеризовал он людей этого типа, которые «так прямо и рождались у нас эмигрантами». Несомненно, что и Версиров, по всем своим данным, относился к этому типу, выразившему «разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия».⁸⁶ Но теперь акценты перемещены. Разрыв с народом остался, однако Достоевский усматривает главное назначение культурного типа в его *стремлении* во что бы то ни стало служить России.

Представители этого типа — носители европейской культуры, и это не мешает им быть настоящими русскими. «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!».⁸⁷ Достоевский развивает здесь характерную для него мысль о всемирной отзывчивости русского человека, о его способности понять характер других народов, чем, по его мнению, представители других европейских народов не обладают.⁸⁸ Версиров говорит, что в современной Европе, раздираемой противоречиями и войнами (он был свидетелем Франко-Прусской войны и Парижской коммуны), только русскому дано понимать всех и примирять враждующие начала перед лицом высшей правды. Эта проповедь (а может быть, и не проповедь, а лишь осознание и ношение в себе) великой идеи всеобщего единения и братства народов в будущем является вместе с тем великим служением России и русскому народу. И осуществить это служение могут лишь представители высшего культурного

⁸⁴ Там же, с. 406.

⁸⁵ Достоевский, т. 13, с. 376—377.

⁸⁶ Достоевский. Худ. произв., т. 11, с. 7.

⁸⁷ Достоевский, т. 13, с. 377.

⁸⁸ Мысль эта высказывалась и ранее (см., например, статью «По поводу выставки» в «Дневнике писателя за 1873 г.») и позднее получила развитие в Пушкинской речи. Об этом ниже.

типа, свободные, как кажется Достоевскому, от сословных и национальных предрассудков.

Идеал будущего счастливого и гармонического человеческого общества проповедовался Достоевским всю жизнь.⁸⁹ Он рисовал утопические картины будущей жизни людей в разных своих произведениях, но всегда был убежден, что полнее всего идеалы гармонической жизни сформулированы в учении Христа и воплощены в православии (хотя, как известно, во многом расходился с ортодоксальными сторонниками государственной религии). Все свои надежды на будущее обновление жизни Достоевский возлагал на русский народ. Власы «спасут себя и нас»,⁹⁰ — писал он в «Дневнике писателя за 1873 г.».

Однако Достоевский хорошо понимал, что это «спасение» народа силами самого народа возможно только в будущем. Пока же состояние народа таково, что ни о каком обновлении его говорить не приходится. Наоборот: «Экономическое и нравственное состояние народа по освобождении от крепостного ига — ужасно»,⁹¹ — отметил Достоевский в главе «Нечто личное» «Дневника писателя за 1873 г.». Пьянство, засилье ростовщиков, падение нравственных устоев, полное обнищание — обо всем этом не раз писал Достоевский. Он говорит о близящейся деградации всего государства, «если дело продолжится, если сам народ не опомнится; а интеллигенция не поможет ему».⁹²

«Итак, акцент переносится на интеллигенцию, — отмечает современный исследователь „Подростка“. — Конечно, народ опомнится и спасет себя и нас, но пока . . . пока он не опомнится, лучшие представители интеллигенции всех общественных слоев и партийных групп должны объединиться и помочь народу в борьбе с надвигающейся лавиной кулаков и кабатчиков, русских буржуа».⁹³ Разумеется, призывая культурный слой помочь народу, Достоевский не возлагал на русскую интеллигенцию роли вождя и учителя народных масс. В черновиках к статье «Влас», содержащих также наброски и к другим статьям «Дневника писателя», он записывает: «Из народа все. Спасет себя сам». И далее: «Кто же спасет? . . . Спасет себя *сам народ*».

⁸⁹ Вопрос этот много раз рассматривался исследователями Достоевского. Из последних работ на эту тему см.: Кирпотин В. Я. Мир и лицо в творчестве Достоевского. — В кн.: Мастерство русских классиков. М., 1969, с. 280—361; Пруцков Н. И. Утопия или антиутопия. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 88—107; Фридендер Г. М. 1) Эстетика Достоевского. — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972, с. 97—164; 2) Новые материалы из рукописного наследия художника и публициста. — В кн.: Литературное наследство, т. 83, с. 93—122.

⁹⁰ Достоевский. Худ. произв., т. 11, с. 41.

⁹¹ Там же, с. 30.

⁹² Там же, с. 97.

⁹³ Семенов Е. И. Об идейно-эстетических противоречиях романа Ф. М. Достоевского «Подросток». — Русская литература, 1968, № 2, с. 57.

«Моя идея, что отныне не с интеллигенцией общества, а с крестьян. —

Сверху всё кончили нулем <...> Стало быть снизу <...>».⁹⁴

Это убеждение писатель разделял всегда. Он не считал дворянство способным изменить существующий порядок вещей, а все попытки дворянских революционеров сделать это казались ему несостоятельными. Дворянство он ценил лишь как носителей идеи, так как народ еще темен и забит, а ни буржуазия, ни разночинная интеллигенция понять эту высшую идею не способны.

Идеал Достоевского довольно абстрактен, не ясны ему и пути к его осуществлению. Они ведомы только народу, и то в будущем. В настоящем же существует лишь стремление к идеалу, лишь тоска по нему, тоска скитающегося по Европе русского дворянина.

«Русский дворянин, — говорит Версиров в одном из набросков к роману, — как провозвестник всемирного гражданства и общечеловеческой любви. Это завещано ему ходом истории <...> Пусть это назначение всех русских людей вообще. Но русский дворянин был тому пионером, передовым. Я стою за это, и так понял я его назначение. — Пионером великой мысли в Европе, и, может быть, во всем человечестве. Да и не мог не быть пионером, потому что только он был носителем просвещения и чести».

«А Макар Иванович?» — спрашивает отца Аркадий, имея в виду отношение народа к этой идее «всемирного гражданства».

«Я обнимал его, — отвечает Версиров. — Народная правда сольется с нашею, и мы пойдем вместе».⁹⁵ В другом месте сказано: «... Макар Иванович как народ принадлежит к дворянству».⁹⁶

Представитель народа, странник Макар Иванович Долгорукий является в романе в отличие от Версирова не носителем идеи, а живым воплощением ее. Он, с точки зрения Достоевского, вбирает в себя лучшие качества русского народа, в значительной степени принадлежащие будущему. Дворяне типа Версирова чувствуют это, но слиться с народом и самим воплотить в себе эти черты любви, всепримирения и всепонимания Версирову еще не дано. Он может только тосковать и скитаться. Это в высшей степени трагический образ.

Достоевский видит историческую миссию русского дворянства не в том, что оно, подобно декабристам и петрашевцам, воспринимает революционные идеи Запада и старается пересадить их на чуждую этим идеям русскую почву. Миссия дворянства, по Достоевскому, заключается в том, что великую русскую идею, почув-

⁹⁴ ГБЛ, ф. 93, 1.2.9/1. — Черновики «Власа» подготовлены мною к печати (Достоевский, т. 20).

⁹⁵ Литературное наследство, т. 77, с. 421—422.

⁹⁶ Там же, с. 423.

ствовавшую им, оно несет на Запад. Правда, Запад еще не созрел для ее восприятия, как не созрела и Россия. «В Европе этого пока еще не поймут»,⁹⁷ — говорит Версиров. Но все-таки, минуя «страшные муки», человечество «достигнет царствия божия».⁹⁸

«Подросток», как и «Бесы», посвящен во многом теме «отцов» и «детей», теме преемственности поколений. Отцы в обоих романах сходны, Версиров имеет много общего со Степаном Трофимовичем Верховенским, хотя разная оценка этого типа в «Бесах» и «Подростке» делает изображение их столь различным. Иное дело — поколение детей. В первом романе оторвавшееся от народа поколение либеральствующих фразеров способно породить лишь «бесов» нигилизма. В «Подростке» же скитающиеся по Европе «пионеры великой идеи» порождают поколение людей, ищущих правду, жаждущих «благообразия», в поисках его обращающихся к народу. Аркадий не стал социалистом, хотя посещал общество «долгушинцев» (в романе «дергачевцев») и был дружен с социалистом Васиным. И дергачевцы и Васин изображены в романе (в отличие от «Бесов») как люди честные, безусловно порядочные и ищущие, но во многом ограниченные и узкие. Их правда не удовлетворяет Подростка. «Дергачев... разве это неблагородно? Они заблуждались, они мелко понимали, но они жертвовали собой на общее великое дело, хотя, конечно, в нем ничего не смыслили. Но я могу внести новую идею. Надо бы только изучить все это. В социализме я немножко хромаю, хоть и знаю довольно», — замечает Подросток (подготовительные материалы к роману).⁹⁹

Гораздо большее воздействие оказывают на него идеи Макара Долгорукого, и в этом, вероятно, не последнюю роль играет отношение к Макару отца Аркадия — Версирова. «... Если б не пример Версирова, который удивлял меня почтительностью своих отношений к Макару, то много я бы и вовсе, навеки, пропустил без внимания».¹⁰⁰

Трудно сказать, какой путь изберет Подросток в будущем, к чему он придет. Но то, что это будет честный путь исканий добра и правды, уже предсказано в романе. Исповедь отца «произила» Аркадия, и, судя по всему, он не оставит его «великой идеи».

Мысли, высказанные в исповеди Версирова, легли в основу речи Достоевского, произнесенной на Пушкинском юбилее 8 июня 1880 г. В Пушкинской речи те же темы, более развитые и связанные с творчеством Пушкина, в котором Достоевский видит, может быть, единственного пока представителя образованного дворянского круга, сумевшего преодолеть свой разрыв с народом и вплотную народную точку зрения на мир. Пушкин первый «отыскал

⁹⁷ Достоевский, т. 13, с. 377.

⁹⁸ Там же.

⁹⁹ Литературное наследство, т. 77, с. 367.

¹⁰⁰ Там же, с. 386.

и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем». Это тип, характерный для России и не ушедший из русской жизни. «Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы <...> то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новой верой на другую ниву¹⁰¹ и работают на ней ревностно, веруя <...> что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится».¹⁰² Достоевский повторяет здесь свою мысль, что тип этот явился в начале XIX в. как результат петровской реформы. Но в Пушкинской речи этот образ трактуется очень широко. Русский скиталец — это и Чацкий (и, следовательно, декабрист), он включает в себя не только «тысячу» Версилова, но и современных социалистов, и народников. Все «беспокоящиеся и не примиряющиеся» составляют этот тип, и прежде всего, конечно, носители революционных идей. Действия революционеров представляются Достоевскому «фантастическими». Правильным путем пошел только Пушкин; проникнувшись сознанием народа русского, он шел к воссоединению с другими народами, воплотив и их сознание в своем художественном творчестве. «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, *всечеловеком*, если хотите».¹⁰³ Таким подлинно русским человеком и был, с точки зрения Достоевского, Пушкин. Он не ограничился изображением типа русского скитальца, им впервые угаданного, он сумел создать и образы носителей народного сознания (летописец Пимен, Татьяна Ларина, Иван Петрович Белкин), он сам был носителем этого сознания и потому сумел понять идею русской всеотзывчивости и всемирности. В этом смысле Достоевский и называет Пушкина пророческим явлением, гением, явившим будущий облик русского человека.

Здесь не место останавливаться на том, насколько такая трактовка Пушкина была верна и исторически объективна. Достоевский не стремился к беспристрастности, а Пушкинский праздник

¹⁰¹ В набросках к Пушкинской речи Достоевский писал: «Наши *фантазеры*, наши скитальцы продолжают и до сих пор свою деятельность и если не ходят в цыганские таборы, то ходят в народ, ибо тот же в них недуг, что в Алеко и Онегине, — все тот же человек, только в разное время явившийся и в разных видах осуществившийся» (Литературное наследство. Т. 86. М., 1973, с. 112).

¹⁰² Достоевский. Худ. произв., т. 12, с. 378.

¹⁰³ Там же, с. 389.

был для него лишь поводом высказать свои глубочайшие убеждения.

Пушкин для Достоевского всегда, во все периоды его жизни был мерилom подлинной ценности художника. Интересны поэтому сопоставления с Пушкиным других русских писателей, в частности писателей, близких декабризму, которые наметил Достоевский. Еще в 1863 г. в записной книжке он сравнил Пушкина с Рылеевым: «Наши либеральные тупицы провозглашают Пушкина отсталым сравнительно с Рылеевым. Рылеев был только Карамзин в стихах — и только. А Пушкин был русский человек и отыскал Белкина». ¹⁰⁴ Сама по себе характеристика Рылеева как Карамзина в стихах достаточно уважительна. ¹⁰⁵ Но Достоевский подчеркивает ограниченность поэта в сравнении с Пушкиным. Как и Карамзин, он не был по-настоящему народен и не сумел отразить народный характер.

Приблизительно в том же русле идет и сравнение Пушкина с Грибоедовым. Вспомним, что в 1876 г., задумывая статью о сатире, Достоевский сопоставлял образы Чацкого и Алеко. Алеко представлялся ему более глубоким и всеобъемлющим образом, возможно, именно потому, что был создан Пушкиным. В 1880 г., в год создания Пушкинской речи, Достоевский снова возвращается к мыслям о Чацком. В отличие от Гончарова и Щедрина, осовременивших этот образ, ¹⁰⁶ Достоевский подчеркивает, что «Чацкий — декабрист». И повторяет прежние суждения о его дворянской ограниченности, незнании народа и тяготении к Западу. «Ведь у него только и свету, что в его окошке, у Московских хорошего круга, не к народу же он пойдет. А так как Московские его отвергли, то значит „свет“ означает здесь Европу. За границу хочет бежать». ¹⁰⁷

Характеристика Чацкого здесь сходна с той, какую дал ему Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях», только высказана более резко. Достоевский всегда ощущал ограниченность этого образа, а следовательно — и творчества Грибоедова, не сумевшего, в отличие от Пушкина, показать носителей правды.

И Рылеев, и Грибоедов явно проигрывают при сравнении с Пушкиным. И в этом мы не можем не согласиться с Достоевским. Но писатель считал, видимо, что и вся последующая русская литература была достаточно ограничена. Возможно, в связи с его размышлениями об этом следует поставить и содержащиеся в подготовительных материалах к «Подростку» высказывания Вер-

¹⁰⁴ Литературное наследство, т. 83, стр. 173.

¹⁰⁵ О доброжелательном отношении Достоевского к поэту Рылееву говорит тот факт, что в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя за 1876 г.» цитируется заключение думы Рылеева «Петр Великий в Острогжске» — один из лучших строф в поэтическом наследии поэта-декабриста.

¹⁰⁶ См.: Прокопенко З. Т. Чацкий в русской критике XIX века и сатире Салтыкова-Щедрина. — Русская литература, 1972, № 3, с. 139—150.

¹⁰⁷ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 375 (второй пагинации).

силова о русской литературе. «Про современную литературу Версилов говорит, что данные ею типы довольно грубы (Чацкий, Печорин, Обломов) и что много тонкого и несомненно действительного ускользнуло; бесчисленно больше ускользнуло, чем дано литературой. Ибо мы себя все время не понимали <...>».¹⁰⁸ Видимо, с точки зрения Достоевского, только Пушкин из всей предшествующей литературы сумел и понять русскую действительность, и воплотить в художественных образах тенденции русской жизни.

А одним из исторически необходимых этапов ее и является, по мнению Достоевского, возникновение типа «несчастливого скитальца», носителя великой идеи всемирного братства. Дворянская революционность — существеннейший элемент этого типа. Поэтому Достоевский, не принимая в целом методы революционной борьбы, считает все-таки людей «беспокоящихся и не примиряющихся», к которым относил и дворянских революционеров, нужными для того, «чтоб не умирать идее» — великой идее обновления мира.

¹⁰⁸ Литературное наследство, т. 77, с. 298.

Сообщения и материалы

И. С. КАЛАНТЫРСКАЯ

П. И. КОЛОШИН И «СВЯЩЕННАЯ АРТЕЛЬ»

В истории раннего периода декабристского движения Петр Иванович Колошин (1794—1849) хорошо известен как член Союза Спасения и Союза Благоденствия. Его имя связано с созданием программного документа Союза Благоденствия — «Зеленой книги». Известно также его участие в преддекабристской организации «Священная артель», которой он посвятил одно из лучших своих стихотворений — «К артельным друзьям». Как поэт П. И. Колошин был членом Вольного общества любителей российской словесности в Петербурге и литературного кружка С. Е. Раича в Москве. Тем не менее исследователи располагают весьма немногочисленными свидетельствами о нем, содержащимися в его следственном деле, в показаниях Н. М. Муравьева, А. Н. Муравьева, М. И. Муравьева-Апостола, в отдельных замечаниях И. Д. Якушкина и других декабристов, в документах о служебных передвижениях.¹ К изучению его поэтического творчества и просветительской деятельности приступили сравнительно недавно. А. Ю. Вейс восстановил авторство и опубликовал полностью его стихотворение «К артельным друзьям», которое было приведено в отрывке М. В. Нечкиной, расшифровал криптонимы и псевдонимы под стихотворениями, опубликованными при жизни автора в «Сыне отечества» и других журналах, раскрыл анонимат «Первоначальной географии» (1832, 1838 гг.) и указал несколько других работ просветительского характера, принадлежавших перу этого декабриста. Благодаря этим статьям П. И. Колошин известен

¹ ЦГАОР СССР, ф. 48-И, ед. хр. 224; Восстание декабристов. Материалы. Т. I. М.—Л., 1925, с. 306—307; т. III. М.—Л., 1926, с. 10, 18, 21—22, 26, 55; т. IX. М., 1950, с. 252; т. VIII, Л., 1925, с. 97, 327; ЦГИА, ф. 381, оп. 2, ед. хр. 378; ф. 737, оп. 1, ед. хр. 50074. — В немногих мемуарах декабристов Петр Колошин упоминается лишь в связи со «Священной артелью». Наиболее подробные свидетельства о нем встречаются в «Записках» Н. Н. Муравьева-Карского (Русский архив, 1885, 1886).

сейчас как автор 15 работ, из них 11 стихотворений — оригинальных и переводных. А. Ю. Вейс опубликовал также автобиографическую записку Петра Колошина, написанную в марте 1849 г. для словаря библиографа С. Д. Полторацкого. К сожалению, она не дает никаких сведений о периоде пребывания Колошина в тайном обществе, ограничиваясь только перечнем (неполным) его работ.² К этим произведениям несомненно следует добавить его большую работу, связанную с переводом статута Тугендбунда и редактированием части «Зеленой книги».

В Отделе письменных источников Государственного Исторического музея хранятся шестнадцать писем Петра Ивановича Колошина 1816—1821 гг. Они являются частью переписки из личного архива известного военачальника XIX в. Н. Н. Муравьева-Карского (1794—1866).³ Основное место по значению в этой части архива занимают письма 18 декабристов 1810—1863 гг., особенно 106 писем А. Н. и М. Н. Муравьевых, Петра и Павла Колошинных, И. Г. Бурцова, М. И. Муравьева-Апостола и Н. М. Муравьева (1815—1818 гг.), которые представляют собой новый круг источников для изучения преддекабристской организации «Священная артель».⁴ 16 писем Петра Ивановича Колошина — с 3 августа 1816 г. по 12 февраля 1819 г. — и одно письмо от 4 августа 1821 г. — хронологически охватывают время его участия во всех этапах раннего периода движения и относятся к петербургскому и московскому периодам его жизни. В основном они отразили его пребывание в преддекабристской организации «Священная артель» в пору ее сосуществования с Союзом Спасения и Союзом Благодетствия. Письма являются важным источником сведений

² Вейс А. Ю. 1) Петр Колошин — автор послания «К артельным друзьям». — В кн.: Литературное наследство, т. 60, кн. I. М., 1956, с. 541—554; 2) Труд декабриста Петра Колошина по географии. — Известия Всесоюзного географического общества, 1961, т. 93, № 2, с. 174—178; 3) Автобиографическая записка Петра Колошина. — В кн.: Пушкин и его время. Исследования и материалы. Вып. 1. Л., 1962, с. 290—295. Записка была составлена незадолго до смерти П. И. Колошина, который умер 16 декабря 1849 г. Таким образом, при всей неполноте сведений в ней подведен итог его творчеству. Впервые фрагмент стихотворения «К артельным друзьям» (28 строк) был найден и проанализирован М. В. Нечкиной («Священная артель. Кругок А. Муравьева и И. Бурцова. 1814—1817 гг. (Материалы к предистории декабризма и изучению формирования мировоззрения молодого Пушкина)». — В кн.: Декабристы и их время. Материалы и сообщения. М.—Л., 1951 (в дальнейшем: Священная артель), с. 159; позже в монографии: Движение декабристов. Т. 1. М., 1955, с. 129).

³ ГИМ ОПИ, ф. 254.

⁴ Впервые вопрос о «Священной артели» был поставлен и исследован М. В. Нечкиной — см.: 1) Священная артель, с. 156—188; 2) Движение декабристов, т. I, с. 124—131. См. также: Калантырская И. С.: 1) Известные письма декабристов Н. Н. Муравьеву-Карскому — новый источник из истории движения декабристов — В кн.: Из эпистолярного наследия декабристов. М., 1975 и 2) Письма декабристов Н. Н. Муравьеву-Карскому как источник по истории «Священной артели» — В кн.: Археографический ежегодник за 1972 год. М., 1974, с. 142—158.

о формировании декабристского мировоззрения П. И. Колошина, о роли, которую сыграла «Священная артель» в этом процессе, а также о влиянии ее идеологии на поэтическое творчество этого автора. Стихотворение «Артельная песнь», помещенное в письме от 15 июня 1817 г., является единственным известным ныне его поэтическим автографом. Письма представляют также несомненный историко-литературный интерес. Все они написаны на русском языке, что было отражением совершенно определенной позиции всех членов артели по отношению к отечественной культуре. По-видимому, они писались без черновиков, сразу набело, о чем свидетельствуют небольшие шероховатости, однако в них нет никаких исправлений, даже стилистических. Язык писем близок к разговорному. Это та же речь, которой Колошин в обычной жизни выражал свои мысли, — непосредственная и живая.

Изучение содержания и последовательности писем дает право говорить, что Н. Н. Муравьев сохранил почти все полученные письма П. И. Колошина.⁵ Переписка Колошина с Муравьевым была сравнительно недолгой, с большими перерывами. Распределение писем по годам неравномерно: в 1816 (2-я половина) — 3 письма, в 1817 — 7, в 1818 — 4, в 1819 — 1, в 1821 — 1. В известной мере это было связано с внешней историей «Священной артели». После отъезда Н. Н. Муравьева, одного из трех ее основателей, на Кавказ члены артели с начала 1817 г. наладили с ним регулярную переписку. В этот период и Петр Колошин писал — в свою очередь — часто, с определенными интервалами. В середине 1817 г., после переезда Петра Колошина на службу в Москву, он начинает писать независимо от других, но значительно реже. Переписка их прекратилась в начале 1819 г. по неизвестным причинам. Письмо Петра Колошина 1821 г. было случайным и интересно лишь как источник, дополняющий биографическими сведениями малоизвестный в науке период жизни его брата — Павла Колошина — в Могилеве.

Со своим адресатом Петр Колошин был связан давней дружбой. Братья А. Н. и Н. Н. Муравьевы относят знакомство с Петром Колошиным к 1810—1811 гг., ко времени, когда они, приехав в отпуск в Москву, встретили в доме своего отца, Н. Н. Муравьева, в Математическом обществе, двух братьев Колошинных — Михаила и Петра.⁶ Биография Петра Колошина не написана, начало его пути не ясно. Очевидно, однако, что Математическое общество следовало за домашним обучением и было для него первым учи-

⁵ Очевидно, Н. Н. Муравьев не получил или не сохранил два письма Петра Колошина от июля—августа 1816 г. (ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 4, л. 43 об.).

⁶ Муравьев А. Н. Автобиографические записки. — В кн.: Декабристы. Новые материалы. М., 1955, с. 163. — Автор называет трех братьев Колошинных — Михаила, Петра и Павла Ивановичей; Н. Н. Муравьев-Карский (Записки. — Русский архив, 1885, № 9, с. 13) указывает только Михаила и Петра, «третий, брат их Павел, был еще ребенком».

лицем с систематическим образованием, где он получил хорошую подготовку по математике и военному делу. Общество считало своей задачей «приготовление молодых людей особенно в военную службу».⁷ В феврале 1812 г. оба Колошина переехали в Петербург и были приняты колонновожатыми в Свиту е. в. по квартирмейстерской части. В Петербурге они жили вместе с братьями Муравьевыми до выступления в поход.⁸ В Отечественной войне Петр Колошин не участвовал. По просьбе матери, Марии Николаевны Колошиной, женщины властной, привыкшей управлять сыновьями,⁹ кн. П. М. Волконский командировал Петра Колошина на съемки в Финляндию.

После войны Петр Колошин встретился с Н. Н. Муравьевым во время выступления гвардии во второй заграничный поход, в мае 1815 г. Н. Н. Муравьев направлялся в поход, Петр Колошин с заданием — в Париж.¹⁰ По возвращении, в октябре 1815 г., в Петербурге возобновила свою деятельность «Священная артель», созданная братьями Муравьевыми и И. Г. Бурцовым еще в октябре 1814 г. Братья Колошины, Петр и Павел, вступили в эту организацию только через год после ее основания. В письмах членов артели, в частности И. Г. Бурцова, которые начинаются с февраля 1815 г., имя Колошинных упоминается впервые 17 ноября 1815 г. Очевидно, они были приняты не ранее начала ноября.¹¹

Давняя связь Колошинных с Муравьевыми сделала письма П. И. Колошина дружески-доверительными.¹² В то же время они написаны к одному из организаторов преддекабристского кружка. На этом этапе Петр Колошин, как и другие члены артели, сообщает ему все, что касается артели, хотя, по понятным причинам, не касается вопросов, подлежащих конспирированию. Однако последующая известная нам деятельность Колошина в тайных обществах позволяет шире раскрыть идейный смысл его писем. Как и стихотворения Колошина, они являются немаловажным

⁷ [Пуляга Н. В., Христиани В. Х. и др.] Устав Общества математиков. Николай Николаевич Муравьев. Приложение II. — Современник, 1852, т. 3, № 5, отд. II, с. 17.

⁸ Русский архив, 1885, кн. 9, с. 30.

⁹ Возможно, что эта просьба была вызвана смертью старшего сына, М. И. Колошина, под Вязмой в 1812 г. Но судя по письму М. Н. Колошиной к Н. Н. Муравьеву (Карскому) от 4 ноября 1815 г. по поводу служебной карьеры Павла Ивановича Колошина, написанном в категорическом тоне, решающий голос в выборе мест службы для сыновей принадлежал ей. (ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 2, л. 36).

¹⁰ Русский архив, 1886, № 2, с. 136.

¹¹ ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 2, л. 40; кн. 3, л. 3. — Упомянутое письмо М. Н. Колошиной свидетельствует, что Павел Колошин приехал в Петербург не позже второй половины октября 1815 г.

¹² Н. Н. Муравьев был дружен с М. И. Колошиным. Петр Иванович, хотя и был ровесником Н. Н. Муравьева, еще в Математическом обществе подружился с М. Н. Муравьевым (Русский архив, 1885, № 9, с. 30). Судя по письмам, близкая связь продолжалась все время существования «Священной артели» и позднее, в тайных обществах, и оказала большое влияние на взгляды Колошина.

источником по истории общественного движения преддекабристской поры.

Время пребывания Петра Колошина в «Священной артели» совпало, очевидно, с первым периодом его поэтического творчества.¹³ Сам Колошин считал, что «Священная артель» оказала большое влияние на содержание его произведений этого времени. Идеи высокой гражданственности изменили его отношение к выбору тем. Собираясь посылать Муравьеву свои стихи, он пишет 31 марта 1818 г.: «Мне кажется, что ты найдешь в них некоторое усовершенствование не в искусстве, но в мыслях, которые, кажется, отстранились от незначущего к истинно хорошему: действие правил артели медленно, и заметно только по долгом времени».¹⁴ Сведений о его творчестве в рассматриваемых письмах крайне мало. Тем не менее сейчас мы имеем возможность ощутить атмосферу времени и событий, непосредственно связанных с созданием его стихов, и привлечь к рассмотрению авторские оценки. Первое упоминание о том, что он «иногда пишет стихи», появляется 1 марта 1817 г. В июньское письмо 1817 г. включен текст «Артельной песни». Это единственное стихотворение в письмах. Следующие упоминания о работе над стихами относятся к 1818 г. — в письмах из Москвы. Так, 1 февраля и 31 марта, говоря о своем московском образе жизни — о новой службе, отношении к «свету», кругу знакомых и взаимоотношениях с родными, — Петр Колошин сообщает и некоторые подробности о своем творчестве: «... я живу порядочно, читаю, пишу стихи, но изредка, ибо молодость, мечты и поэзия исчезли»; а через два месяца: «Теперь уже давно не пишу — занятия по службе отвлекают мысли от брожения и, следственно, от стихотворений». В этих же письмах он обещает Н. Н. Муравьеву прислать свои «бредни», которые отдавал специально переписывать. Но пересылка откладывалась. И в коротеньком письме от 27 октября 1818 г. он обещает, вернувшись в ноябре из Осташева в Москву, «оправдать... грехи и прислать... бредни».¹⁵ Остается неясным, какие стихотворения включал Петр Колошин в это переписываемое собрание и когда они были созданы — в 1817 или 1818 г.¹⁶ К тому времени, когда было послано письмо (31 марта 1818 г.), в руках Н. Н. Муравьева была

¹³ Трудно сказать, когда Петр Колошин начал писать стихи. Неизвестно, к какому времени относил Н. Н. Муравьев свою характеристику: «Он хорошо учился, нрав его тихий, скромный, застенчивый и романтический. Он особенно любит литературные занятия и, будучи душою поэт, легко пишет стихи» (Русский архив, 1885, № 9, с. 30). Возможно, что таким автор увидел его в артели.

¹⁴ ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 7, л. 15.

¹⁵ Там же, кн. 6, л. 42; кн. 7, л. 15; кн. 8, л. 122 об. — В фонде Н. Н. Муравьева-Карского нет списков стихотворений П. И. Колошина (кроме указанного — в письме 15 июня 1817 г.).

¹⁶ В числе этих стихотворений могли быть и известные «Воспоминание и надежда» и «Счастье» (созданные в 1815—1816 гг.), так как они были опубликованы в 1818 г. в «Сыне отечества» (№ 38, 21 сентября, и № 46, 16 ноября). Но Н. Н. Муравьев мог знать их и ранее, особенно первое,

лишь «Артельная песнь». Петр Колошин, очевидно, имел в виду какие-то другие стихи, написанные позже. Московский период, как явствует из писем, был менее плодотворен. Можно думать, что не только служебные обязанности отвлекали «мысли от брожения и, следовательно, от стихотворений». Как известно, вторая половина 1817 г. была для членов Союза Спасения связана с все углубляющейся борьбой течений внутри Союза по вопросам организационной структуры и тактики. Петр Колошин, представлявший оппозицию вместе с Михаилом Муравьевым и Иваном Бурцовым, в Москве входил в умеренное большинство общества, которое составляли М. А. Фонвизин, И. Д. Якушкин, И. Долгоруков, Лопухин и Трубецкой. Вероятно, работа П. И. Колошина над переводом статута Тугендбунда, который был получен осенью 1817 г. через Лопухина и Долгорукова, а зимой 1818 г. — участие в комиссии по составлению устава нового общества, куда Петр Колошин был введен как «умеренный» вместо радикально настроенного Никиты Муравьева, были теми занятиями, которые отвлекали его мысли от стихотворений.¹⁷

Конец петербургского периода жизни Петра Ивановича Колошина ознаменовался созданием «Артельной песни». Текст ее стал известен лишь из рассматриваемых писем. Приводим его здесь полностью с тем небольшим предисловием, которое сделал автор в письме от 15 июня 1817 г.: «По воле Артели и по внушению священного, связующего нас чувства дружбы, я сочинил артельную песнь, список с которой и тебе посылаю.

А р т е л ь н а я п е с н ь

Друзья, стекайтесь в мирну сень,
Да общий стройный хор составим:
Почтим беседою сей день
И пением простым прославим!
Тебе, о дружба, стих сей в дар!
Ты узой щастья нас связала,
Ты в нас влила священный жар
И путь к добру нам указала.

Теперь стремится глас сынов
К тебе, Отечество любезно!
Вели — и всяк из нас готов
Все сделать, что тебе полезно.
О да возможешь ты процвествь!
Твое величье — наша слава,
Твое блаженство — наша честь,
А скорбь твоя — для нас отрава.

К тебе песнь дружбы днесь летит,
О брат, с артелью разлученный:

¹⁷ Сыроечковский Б. Е. Переход Пестеля от монархической концепции к республиканской. — В кн.: Из истории движения декабристов. М., 1969, с. 172, 173, 175; Чернов С. Н. Из работ над «Зеленой книгой». — В кн.: У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960, с. 282; Нечкина М. В. Движение декабристов, т. I, с. 172—173, 188,

Сей глас тебе да возвестит
Паш за тебя обет священный,
Да честь и правота хранит
Тебя в трудах и начинаньях,
А мысль о нас да усладит
Тебя в печалях и страданьях.

Всевышний! днесь благослови
Союз сей дружбы драгоценной,
Да братской сей в душах любви
Во век не гаснет огонь священный!
Тобой хранимы в мире сем,
Мы злым страстям да не уступим
И, правды шествуя путем,
Трудами щастие да купим».¹⁸

Стихотворение было написано, судя по тексту письма, в которое оно включено, незадолго до его отправления, между двумя письмами — 13 мая и 15 июня 1817 г. Это был последний период совместной жизни членов «Священной артели» (май—середина августа). Было ясно, что часть членов переедет надолго в Москву, куда должен был выступить гвардейский отряд. А. Н. Муравьев был назначен начальником штаба отряда. М. Н. Муравьев был уже на службе в Москве, на его место был принят в артель А. В. Семенов. В мае—июне пять членов артели собрались вместе, жизнь ее ненадолго возобновилась. Может быть, чувствуя уже начавшийся распад артели, ее члены, желая подольше сохранить идейное братство, просили своего артельного поэта воспеть ее.

Задумав это произведение как песнь для хорового исполнения во славу артели, поэт придал ему традиционную форму.¹⁹ Посвятив первые строки прославлению дружбы, Петр Колошин выражал далее идейные устремления «Священной артели». По мысли и по словарю «Артельная песнь» близка раннему документу артели — листу «Постоянство», выданному Н. Н. Муравьеву 30 июня 1816 г., когда он уезжал на Кавказ: «Почтенный друг и товарищ! Дружба, постоянство и правота, сущность и основание артели, коея ты еси член, понудили нас, твоих братьев, лист сей тебе послать и тем нашу любовь к тебе и доброжелательство изъявить. Да будет он тебе воспоминанием святого братства и верным залогом дружбы нашея!.. Бог да благословит тебя, честная душа, и любовь к отечеству да руководствует тобою, а воспоминание о неразрывной артели да усладит тебя во всех твоих трудах и начинаниях».²⁰ Идеей любви к отечеству проникнута

¹⁸ ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 5, л. 85 об.—86.

¹⁹ Как видно из писем от 15 июня и 24 августа 1817 г., артель отыскивала композитора, чтобы переложить слова на музыку (там же, л. 85—86 об., 102 об.).

²⁰ Русский архив, 1886, № 4, с. 448.

и «Артельная песнь». Мысли о служении отечеству Петр Колошин и другие сочлены выражали неоднократно; они занимают важное место и в письмах Петра и Павла Колошиных в 1817—1818 гг. «Что же касается до артели, то она все в том же пребывает положении; всякой, занимаясь различно, старается содействовать или готовится к содействию к предположенной цели, к пользе общей», — писал Петр Колошин 1 марта 1817 г. Подобным же образом определял цели Союза Спасения С. П. Трубецкой: «Подвигаться на пользу общую всеми силами...».²¹ Почти одновременно с созданием «Артельной песни» Павел Колошин сформулировал свое понимание «главного правила» артели: «Живучи в артели, необходимо должно переменить свой образ мыслей и принять артельное мнение: быть полезным Отечеству своими занятиями...» (23 марта 1817 г.).²² А позже и сам Петр Колошин напишет об артели: «Главная мысль и причина действий — общая польза, лучшее свойство — взаимная дружба» (31 марта 1818 г.).

Не вызывает сомнения, что на творчество Петра Колошина оказала влияние гражданская лирика первого десятилетия XIX в. С некоторыми стихотворениями этой поры в нем обнаруживается прямая связь. Так, стихотворение Ан. И. Тургенева «К Отечеству», опубликованное в 1803 г. в «Вестнике Европы»²³ и несомненно знакомое П. И. Колошину, могло оказать влияние на «Артельную песнь». Оно посвящено борьбе с внешним врагом отечества. Борьба с внутренними и внешними врагами отечества была нераздельна в декабристском понимании патриотизма, — именно так излагает программу служения отечеству И. Г. Бурцов в письме от 4 декабря 1817 г.²⁴ Стилистическая и смысловая близость этих стихотворений особенно проявляется в тех стихах, которые обращены к отечеству:

Тебе, Отечество святое,
Тебя любить, тебе служить;
Вот наше звание прямое!
Мы жизнь свою купим
Твое готовы благоденство.
Погибель за тебя — блаженство,
И смерть — бессмертие для нас!²⁵

«Артельная песнь» по содержанию во многом предшествует другому, более зрелому произведению этого же автора — посланию «К артельным друзьям».²⁶ Может быть, для Петра Колошина

²¹ ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 5, л. 15 об.; Восстание декабристов, т. 1, с. 24.

²² ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 5, л. 27.

²³ Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971 («Б-ка поэта». Большая серия), с. 238—239.

²⁴ ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 6, л. 5—6.

²⁵ Поэты 1790—1810-х годов, с. 238.

²⁶ Стихотворение «К артельным друзьям» известно в двух списках. Полный список (113 стихов) из тетради И. Е. Великопольского (не позже 1822 г.) опубликован и исследован А. Ю. Вейсом. См.: Литературное наслед-

послание было закономерным развитием темы, начатой по заказу членов артели. Первый исследователь этого стихотворения М. В. Нечкина оценила послание как выдающееся произведение, в идейном отношении близкое пушкинскому посланию «К Чаадаеву». ²⁷

Так же, как и в «Артельной песни», в послании первая строка обращена к членам артели: «Друзья!...». «Артельная песнь» была написана в период последнего сбора всех членов артели, она отражает жизнь организации — дни встреч, которые можно «почтить беседою» и «пением простым прославить». Почти в таких же выражениях Петр Колошин пишет о повседневном быте артели и «пении обычных песен». ²⁸ Второе стихотворение является только воспоминанием автора об артели, покинутой им. Для него уже «не бьет беседы час».

Послание «К артельным друзьям» превосходит «Артельную песнь» и по художественным достоинствам, и по зрелости мысли. В нем отразились философские и исторические взгляды его автора. Вместе с тем оба стихотворения несут живые черты жизни «Священной артели» 1816—1817 гг., что становится ясно при сопоставлении их с эпистолярным материалом. Обращение «Артель святая!» в послании является не просто эпитетом, а указанием на название содружества, постоянно повторяющееся и в письмах. Так, 3 августа 1816 г. Петр Колошин писал: «Святая артель от часу уменьшается...». «По препоручению и именем всей Священной артели пишу к тебе...» (1 марта 1817 г.). ²⁹

Следующие строки стихотворения также находят аналогии в письмах, отражающих внутреннюю жизнь артели:

Чем сердце днешь увеселяешь?
В чем пишу видит ум?
Природы ль зря во всем созданье
Ненарушимый строй,
Ты утопаешь в созерцанье,
Блаженствуя душой?
Иль, окруженная тенями
Из древности седой,
Ты красишь мудрыми гостями

ство. Т. 60, кн. 1. М., 1956, с. 541—554. Второй список принадлежал издателю А. Ф. Воейкову. 28 стихов из него были включены в письмо А. С. Шишкова к Александру I 1824 г. как доказательство его цензурной бдительности (Шишков А. С. Записки, мнения и переписка. Т. II. Берлин, 1870, с. 266—267). Они были опубликованы М. В. Нечкиной (Священная артель, с. 159; Движение декабристов, т. I, с. 129). Эта часть списка А. Ф. Воейкова имеет незначительные особенности по сравнению со списком И. Е. Великопольского: отлична только пунктуация в некоторых местах, впрочем не меняющая смысла, есть одно словарное разночтение. Мы не останавливаемся на характере списка Великопольского, так как А. Ю. Вейс в своем сообщении выяснил его происхождение и убедительно доказал авторство Петра Колошина.

²⁷ Священная артель, с. 160.

²⁸ ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 5, л. 16 об.

²⁹ Там же, кн. 4, л. 37 об.; кн. 5, л. 15.

Свой уголок простой?
Иль, мыслию склоняясь долу
К родимой стороне,
Бродящих дум по произволу
Блуждаешь в сладком сне
Прошедшего в странах блаженных?

Речь здесь идет о политическом и научном самообразовании членов артели, которое получило отражение в основном в письмах Петра и Павла Колошиных. В первой половине 1817 г., когда вся артель была в сборе в Петербурге, в письмах братьев Колошиных с марта по май несколько раз встречаются сведения о характере этих занятий. Письма А. Н. Муравьева подтверждают эти сведения. 23 марта 1817 г. Павел Колошин писал: «... я ныне занимаюсь историею: читая Кондильяка и других».³⁰ Письмо Петра Колошина 27 марта 1817 г. дополняет и расширяет это свидетельство указанием на исторические занятия других членов артели: «Главным занятием артели теперь бытописание; минувшие дела людей преданы теперь суду строгих разбирателей, а строгие разбиратели, часто, при появлении великих мужей древности, оставляют холодной рассудок и принуждены восхищаться сими великанами».³¹ В эти же дни — 21 марта 1817 г. — А. Н. Муравьев советовал брату читать и разбирать древних: «Я желал бы тебе заняться чтением жизни славных мужей, ты не поверишь, какое волшебное они над страждущими производят врачество. — Книгу сию уподобить можно: *beau me de fier-à-bras* Рыцаря Донкишота, излечающему все возможные болезни; — Плутарх, по мнению моему, Ескулап великих мужей!».³² Занятия носили, очевидно, серьезный и целенаправленный характер, так как произведения Кондильяка члены артели изучали несколько месяцев (с марта по май). Занятия историей древних — Греции и Рима — и изучение философских и социально-политических вопросов, как известно, оказали существенное воздействие на формирование идеологии первых русских революционеров. «В это время мы страстно любили древних, — вспоминал И. Д. Якушкин, — Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами».³³ Умонастроения и интеллектуальные интересы артели и всего декабристского лагеря в целом оказывались родственны.

Эпистолярные материалы не дают сведений об одном из самых важных вопросов жизни этой организации — о разговорах, которые велись между членами, и их тематике. Вместе с тем беседы были, очевидно, ежедневной (ежевечерней) формой их общения: «Занимаясь поутру службою и образованием своим, мы проводили ве-

³⁰ Там же, кн. 5, л. 27.

³¹ Там же, л. 34.

³² Там же, л. 28 об. — *Перевод*: «бальзам храбреца» (франц.).

³³ Якушкин И. Д. *Записки*. М., 1926, с. 26.

чера вместе в беседе...».³⁴ О подобных вечерах вспоминают декабристы, посещавшие артель. В конце 1815 и начале 1816 г. встречался с братьями Муравьевыми И. Д. Якушкин и часто и много разговаривал с ними о положении России.³⁵ В середине 1817 г. бывал в артели и участвовал в беседах И. И. Пущин, родственник братьев Колошиных, — речь шла об острых социально-политических вопросах, «о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими в тайне».³⁶ Послание «К артельным друзьям» несомненно отражает проблематику обсуждений и дает почувствовать их политический характер, о котором умалчивали письма. Стихотворение в этом отношении сопоставимо с соответствующими фрагментами из воспоминаний И. Д. Якушкина и И. И. Пущина:

Мечта золотая ранних дней
 Еще от нас далеко.
 Еще в тумане скрыта цель
 Возлюбленных желаний...
 Но час пробьет, услышим мы
 Отчизны призыванья!
 Тогда появятся из тьмы
 Душ пламенных желанья.
 Сплетенные рука с рукой
 На путь мы ступим жизни
 И пылкой полетим душой
 Ко счастью отчизны.
 И кто возможет положить
 Препрады нам в полете?
 Кто для отчизны хочет жить,
 Тот выше бедствий в свете.

Прозвучавшая в стихотворении тоска по утрате артели и незаменимости ее часто повторяется в письмах поэта 1818 г., особенно в письме 21 декабря 1818 г.

Кто ж благотворную артель,
 Источник всех мечтаний;
 Высоких чувств и снов золотых
 Для счастья отчизны, —
 Кто ж в шуме радостей пустых
 Мне заменит в сей жизни?
 Я с вами — и в душе горит
 Добра огонь священный!
 Без вас — иной все кажет вид,
 Столь низкий и презренный.

В письме углубляется эта мысль автора и раскрываются черты его характера: «... в бытность нашу в Петербурге, в золотые времена дружной и щастливой артели, я в полной мере вкушал удовольствие жить с друзьями, постигал всю драгоценность нашего поло-

³⁴ Русский архив, 1886, № 2, с. 142.

³⁵ Якушкин И. Д. Записки, с. 15.

³⁶ Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 68—69.

жепия, соглашался с высокими намерениями наших товарищей, но по свойству моему был всегда в числе отсталых и привычки к такой полезной и вместе приятной жизни был менее всех способен лишиться оной. . . Я могу ужиться только (позволь выразить стихотворно) под теплой полосой неба, могу существовать только тогда, когда знаю, что есть люди меня любящие и мною почитаемые; в кругу друзей. . . я способен к жизни и даже к полезной жизни, один я буду только порываться к хорошему и всегда только желать перемен моего состояния».³⁷ В этом письме П. Колошин дает очень близкую к теме стихотворения оценку влияния на него идейной и дружеской атмосферы артели. Близость стихотворения и писем позволяет, между прочим, использовать последние и для уточнения датировки послания. А. Ю. Вейс, подробно исследовавший его, считал, что дата «1817 г.», приведенная А. С. Шишковым, не вызывает сомнения, и отнес стихотворение к сентябрю этого года, когда, по его мнению, Колошин, приехавший в Москву, был один, без друзей, вдали от артели. Данные писем меняют сложившееся представление о времени и последовательности переезда в Москву М. Н. Муравьева, Петра Колошина и А. Н. Муравьева с гвардейским отрядом. М. Н. Муравьев был переведен в Москву в Училище для колонновожатых и для съемки Московской губернии еще в апреле 1817 г. Колошин переехал из Петербурга в Москву в августе, после участия в маневрах.³⁸ Училище в летние месяцы находилось в Остапеве (Александровском), и он отправился прямо туда. Офицеры и слушатели находились на съемке. Колошин сразу включился в работу и был все это время вместе с М. Н. Муравьевым. Только в октябре вместе с училищем он прибыл в Москву. 24 августа, т. е. через 10—12 дней после приезда Колошина, М. Н. Муравьев из с. Александровского писал брату: «Петруша теперь прикомандирован к батюшке (Н. Н. Муравьеву-старшему, — *И. К.*), мы теперь вдвоем трудимся и часто вспоминаем себе артель. К 1-м числам сентября и Александр (Муравьев, — *И. К.*) будет в Москву, где он проведет всю зиму. . . Никита Муравьев с ним же будет, итак артель наша частью соберется в Москве».³⁹ Упоминание об артели в этом письме как будто поддерживает традиционную датировку стихотворения 1817 г. Однако в самом послании Колошин пишет о владеющем им чувстве одиночества:

Здесь все так хладно, безответно,
Все душу робкую страшит;

³⁷ ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 9, л. 40—40 об.

³⁸ По письму И. Г. Бурцова от 10 августа 1817 г. известно, что маневры начались 28 июля и продолжались четыре дня. По письмам Петра Колошина ясно, что он прибыл в Москву в десятых числах августа 1817 г. (письма 24 августа 1817 г. и 1 февраля 1818 г.): там же, кн. 5, л. 99—100, 102 об.; кн. 6, л. 41—42.

³⁹ ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 5, л. 102—102 об.

Здесь время спом тяжелым спит
И жизнь влачится неприметно...

Эти настроения отразились в более поздних письмах — от февраля—марта 1818 г., когда Колошин жил в Москве в кругу семьи. На протяжении весны нарастает его разлад с родными, находящийся себе яркое выражение в письме от 21 декабря 1818 г.: «Жить вместе и не жить так, как мы живали в артели, есть состояние, которое я тебе и выразить не могу. Я тысячу раз желал быть лучше один, нежелал во всем зависеть от людей, которых почитал, но с коими ни одной мысли не имел общей» (21 декабря 1818 г.).

Нам представляется, что время написания послания следует пересмотреть в сторону более поздней датировки. Тогда обращение к артели будет оправдано — оно будет относиться не только к членам ее, оставшимся в Петербурге, но и к «первоначальной» артели 1816—начала 1817 г. «Московская часть» артели фактически распалась весной 1818 г., что, конечно, обострило чувство одиночества. Более позднюю дату написания в какой-то мере подтверждает и письмо Д. А. Бобарькина⁴⁰ Н. Н. Муравьеву 6 марта 1819 г. из Орла: «Я виделся в Москве с Петром Колошиным, был у него и в полчаса моего пребывания я познакомился с ним более, чем во все время в Петрограде, и знаешь отчего: я прочел его *Послание к артели*, расчувствовался, и он меня полюбил. Я выпишу это послание, и мы будем его с тобой читать. Верь мне, что сие препровождение времени доставит нам несколько минут приятных».⁴¹ Не вызывает сомнения, что речь идет о послании «К артельным друзьям», а не об «Артельной песне», которую Н. Н. Муравьев получил от самого автора в 1817 г. и мог тогда же познакомить с ней Д. А. Бобарькина, с которым жил вместе в тифлисской артели и служил у А. П. Ермолова.⁴²

Итак, весной 1819 г. послание уже читается, хотя для членов артели еще является новинкой. Все это заставляет нас принимать 1818 г., и скорее всего весну этого года, как наиболее вероятную дату его создания.

Письма Петра Колошина представляют собой важный источник для изучения политической и литературной деятельности их автора и внутренней жизни «Священной артели» 1816—1818 гг. «Священная артель» определила развитие взглядов Колошина;

⁴⁰ Д. А. Бобарькин, офицер свиты е. в. по квартирмейстерской части, был в дружеских отношениях с И. Г. Бурцовым и Муравьевым; он был частым гостем «Священной артели» в 1815—1816 г. В 1816 г. вместе с Н. Н. Муравьевым он был командирован в посольство в Иран. Затем остался на Кавказе в качестве адъютанта А. П. Ермолова.

⁴¹ По письму Д. А. Бобарькина от 5 марта 1819 г. известно, что он был в Москве со 2 по 10 февраля 1819 г. и тогда же посетил П. Колошина (ГИМ ОПИ, ф. 254, кн. 9, л. 86, 80—81 об. — Курсив мой, — И. К.).

⁴² Русский архив, 1886, кн. 4, с. 462, 474.

дух артели, ее идейная жизнь запечатлелись в его поэтическом творчестве.

Приведенные материалы расширяют наше представление об этом творчестве и обогащают скудно документированную картину формирования ранних преддекабристских организаций.

Л. Н. ЛУЗЯНИНА

ЭПИГРАММА НА КАРАМЗИНА

В числе псевдопушкинских эпиграмм на Карамзина некоторое время фигурировала следующая:

Решившись хамом стать пред самовластья урной,
Он нам старался доказать,
Что можно думать очень дурно
И очень хорошо писать.

Эпиграмма эта не принадлежала к числу самых распространенных в рукописных сборниках, и уже Н. В. Гербель в 1861 г. с уверенностью утверждал, что она «написана не Пушкиным».¹ Это мнение Гербеля было в дальнейшем принято, и эпиграмма не включалась в советские собрания сочинений Пушкина. Б. В. Томашевский, посвятивший пушкинским эпиграммам на Карамзина специальную статью, наиболее решительно сформулировал негативный вывод: «Конечно, ни „Решившись хамом стать...“, ни „На плаху истину влача...“ Пушкину не принадлежат, несмотря на упорное хождение их под именем Пушкина по страницам рукописных сборников».²

Вопрос о возможном авторе этой резкой эпиграммы, несомненно явившейся в свет в период наибольшего обострения борьбы вокруг социально-политической концепции «Истории государства Российского», в пушкиноведении поставлен не был. Между тем он имеет свою историю. Эта эпиграмма была напечатана, — конечно, с соответствующими изменениями, — еще при жизни Карамзина, в 1823 г., в «Благонамеренном», где она звучала так:

К портрету N. N.

Благих законов враг, добра противник бурный,
Умел он ясно доказать,
Что можно думать очень дурно
И очень хорошо писать.

В.³

¹ См.: Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Берлин, 1861, с. XI.

² Томашевский Б. В. Эпиграммы Пушкина на Карамзина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. I. М.—Л., 1956, с. 213.

³ Благонамеренный, 1823, № 9, с. 215.

Нет никаких сомнений, что политический характер исходной эпиграммы издателю «Благонамеренного» А. Е. Измайлову известен не был; конечно, он не подозревал и об истинном адресате. Начиная с первых номеров, журнал берет под защиту Карамзина как прозаика и историка, нападая на «славянофилов»⁴ и затем откликаясь на полемику вокруг «Истории»; в 1818 г. он косвенно задевает либеральных критиков первого тома, выражая свое полное согласие с направленной против них статьей В. В. Измайлова «Московский бродяга».⁵ В дальнейшем позиция журнала не меняется; в 1820 и 1821 гг. мы находим здесь сообщение о восторженном приеме отрывков из IX тома, читанных Карамзиным в заседании Российской академии,⁶ и язвительные выпады П. Л. Яковлева по адресу мелочных фактографических критик;⁷ в посланиях Карамзину на страницах «Благонамеренного» выражение «наш Тацит» становится обычным.⁸

Таким образом, на страницах «Благонамеренного» эпиграмма потеряла адрес и, по-видимому, автора и как бы получила вторую жизнь, лишенную социального наполнения. В 1828 г. она была перепечатана в «Опыте русской анфологии» М. Л. Яковлева наряду со стихотворениями самого Карамзина.

В 1912 г. С. Н. Браиловский, редактор собрания стихотворений В. И. Туманского, разыскал эпиграмму в журнальном варианте и на основании подписи «В.», которой пользовался и Туманский, включил в сборник, с примечанием: «Трудно сказать, кого имел в виду Туманский. Очень походит портрет на Ф. В. Булгарина или на А. Ф. Воейкова».⁹

Несмотря на произвольность атрибуции, весьма характерную вообще в эдиционной практике Браиловского, авторство Туманского на первый взгляд довольно вероятно: В пачале 20-х годов Туманский близок к декабристам, общается с Рылевым, Кюхельбекером и Бестужевым и находится под влиянием их идей.

⁴ О. Н. . . . Ответ и совет. — Там же, 1818, № 1, с. 23—24.

⁵ Там же, № 6, с. 366—367;

⁶ Там же, 1820, № 1, с. 64—65; 1821, № 3, приб. с. 15.

⁷ Там же, 1820, № 15, с. 144.

⁸ Федоров Б. К Эльмине. — Там же, № 17, с. 328; Балдауф Ф.

К Н. Ф. Ф. — Там же, № 19, с. 39. — То, что эпиграмма не воспринималась как антикарамзинская, следует еще из одного обстоятельства: в № 3 того же журнала за 1823 г. (с. 240) было опубликовано четверостишие Н. Яковлева, адресованное непосредственно историку.

Зоилв пережив, он, славою покрытый,
В потомство позднее преидет:
История его переживет граниты,
И он — в истории народов не умрет.

Позиция журнала в данном случае совершенно ясна.

⁹ Туманский В. И. Стихотворения и письма, СПб., 1912, с. 341.

Инициалом «В.» он подписывался передко и одно время был активным участником «Благонамеренного», хотя как раз в 1823 г. этот журнал развертывает критическую кампанию против поэтов «новой школы» и пестрит нападками на Туманского. Главным же, что противоречит авторству Туманского, является, однако, не это — хотя и существенное — обстоятельство, а некоторые особенности идейного содержания и фразеологии эпиграммы, на которые в свое время не было обращено достаточного внимания.

К числу их прежде всего относится словечко «хам» в исходном (рукописном) тексте. Совершенно неуместное в отношении Карамзина, оно находит себе объяснение только в кружковой фразеологии младших Тургеневых. Н. И. Тургенев обозначал так ретроградов и крепостников. В письме С. И. Тургеневу из Франкфурта 4 (16) июня 1816 г. он применил этот эпитет к Карамзину. «По самым суждениям брата (т. е. А. И. Тургенева, — Л. Л.) о его истории, — писал он, — заключаю мало о пей выгодного, т. е. хорошего, либерального и следовательно полезного. Брат пишет: «в ней нет рассуждений»; «может со временем послужить основанием *возможной русской конституции*». Вот его похвала. Я понимаю опую так: автор видел, что рассуждать хорошо трудно, а иногда опасно; и потому молчал. Второй же период «со временем», *возможной* да еще и русской делает Карамзина в глазах моих хамом».¹⁰ Близость к этому письму заставила в свое время выдвинуть предположение, что эпиграмма вышла из тургеневского кружка,¹¹ т. е. принадлежала кому-то из людей, знакомых с политическим жаргоном сравнительно узкой группы. Однако здесь возможны дальнейшие уточняющие сопоставления. В июне 1816 г. Н. И. Тургенев судил об «Истории» Карамзина еще понаслышке; в ноябре 1816 г., уже в Петербурге, он вступает с самим Карамзиным в политические споры. К этому времени «История» начинает печататься, и хотя Тургенев, как и ранее, не знает еще самого текста, круг его сведений о позиции Карамзина расширился. К осени 1817 г. Тургенев — уже член «Арзамаса» и предпринимает попытки придать обществу политическое направление. В письме брату от 14 ноября 1817 г. он рассказывает о своей неудовлетворенности этими попытками, замечая о прочих членах «Арзамаса»: они «лучше нас пишут, но не лучше думают, т. е. думают более всего о литературе».¹²

Эта формула, определившаяся в письме, составляет «пуанту» эпиграммы на Карамзина. Две автореминисценции позволяют

¹⁰ Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.—Л., 1936, с. 182.

¹¹ Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Связь «умственные плотины». М., 1972, с. 59.

¹² Декабрист Н. И. Тургенев, с. 238—239.

предположительно указать на самого Н. И. Тургенева как на наиболее вероятного автора эпитаграммы.

Вместе с тем такое предположение неизбежно влечет за собою целый ряд дополнительных вопросов, связанных с эволюцией отношения Тургенева к «Истории» Карамзина и, следовательно, с датировкой эпитаграммы.

Оценка Н. И. Тургеневым «Истории государства Российского» не оставалась неизменной. За упомянутым выше письмом из Франкфурта, в котором Карамзин назван «хамом», последовало письмо от 30 ноября 1816 г., написанное уже в Петербурге. «Карамзина история началась печататься. Многие, в особенности брат Александр Иванович, очень ее хвалят. Что касается до меня, то я ничего еще не читал, но, посмотрев на Карамзина, думаю, что мы будем лучше знать *la cista* русской истории, но не надеюсь, чтобы сие важное для России творение распространило у нас либеральные идеи; боюсь даже противно. Карамзин, сколько я заметил, думает и доказывает, что Россия стояла и возвычилась деспотизмом, что здесь называют самодержавием...»¹³ В это время Н. И. Тургенев не разделяет еще понятия «деспотизм» и «самодержавие», и разговоры с Карамзиным вызывают в сознании либерально настроенного Тургенева некую априорную оценку труда историка. «Думает» Карамзин «дурно» — это несомненно для Тургенева летом и осенью 1816 г., и это впечатление остается, по-видимому, до того момента, пока он не прочел первых томов вышедшей «Истории», т. е. до весны 1818 г. С этого времени очевидна перемена тона в оценке «Истории». Тургенева поразила прежде всего тщательность Карамзина в отборе летописного материала и та необычайная сила эмоционального воздействия «Истории», которой он, по-видимому, от нее не ожидал. «Я удивляюсь,— пишет Тургенев 29 мая 1818 г. брату,— что тебе не понравился 2-й т. Карамзина. Надобно прежде всего знать, что все, что есть в летописи, есть и в Карамзине». Но сии источники редко достаточны. Начальные междоусобия в России гадки, но описаны удивительно: все это читается, как роман. Не понравится тебе, что и здесь нам не нравится, его правила о самодержавии в последних томах. Но это один важный в нем недостаток. Оригинальность сего творения также достойная замечания и уважения; а какой слог!»¹⁴

На первый взгляд это письмо соответствует афористической антитезе эпитаграммы:

... что можно думать очень дурно
и очень хорошо писать.

Но Тургенев, как это явствует из его дневниковых записей и других писем 1818 г., при чтении первых томов еще не полемизи-

¹³ Там же, с. 203.

¹⁴ Там же, с. 261—262.

рует с историком. Так, читая V том и зная, что в «последних» будут «ирепечестивые рассуждения о самодержавии», Тургенев все же с удовлетворением отмечает: «А я по сию пору чрезвычайно доволен историею».¹⁵ Вдумчивость и серьезность отношения к Карамзину в это время исключают резкость первой части эпиграммы, да и вторая ее часть в контексте писем этой поры кажется слишком прямолинейной и упрощенной. Повествование Карамзина подводило Тургенева к горькой мысли, родившейся при чтении VI тома: «История россиян для нас исчезает. Прежде мы ее имели, хотя и несчастную, теперь не имеем: вольность народа послужила основанием, на котором самодержавие воздвигло колосс Российский».¹⁶

В 1818 г. Тургенев уже не отождествляет самодержавие и деспотизм, как не отождествлял их и Карамзин; расхождения с историком шли теперь по линии конкретной интерпретации той или иной эпохи. Полемика, носившая глубоко принципиальный характер, не исключала постепенно возрастающего уважения к историку. В письме от 26 сентября 1818 г. Тургенев с горечью пишет о том, как мало людей вселяют в него надежду на лучшее будущее: «Карамзин, умнейший человек, всегда более отмечает сию надежду, а о других и говорить нечего. . .».¹⁷

Но справедливому утверждению С. С. Ланды, Н. И. Тургенев постепенно отходит от просветительских концепций прогресса, нашедших яркое воплощение в «Записке» Н. М. Муравьева и в письмах М. Ф. Орлова к Вяземскому.¹⁸ Поэтому углуоляются и его критицизм в отношении социальной природы карамзинских «рассуждений».¹⁹ Нельзя не согласиться с мнением исследователя, что и в 1822—1823 гг. позиция Тургенева в отношении Карамзину вполне определена: «Всякий может думать о Карамзине как хочет,— пишет Н. И. Тургенев,— но я ни в каком случае не хочу быть поводом какой-либо против него критики».²⁰

Эти факты находят свое объяснение в контексте декабристского движения той поры. Нам же важно одно весьма любопытное обстоятельство, связанное с датировкой эпиграммы. Если она действительно принадлежит Н. И. Тургеневу, то, по-видимому, написана она еще до чтения «Истории», т. е. либо осенью 1817, либо в первые месяцы 1818 г. Более резкая, чем другая, тоже «априорная», пушкинская эпиграмма — «Послушайте, я сказку вам начну», — она несомненно отразила то скептическое отношение к замыслу Карамзина, которое строилось на представлениях

¹⁵ Там же, с. 256.

¹⁶ Архив братьев Тургеневых. Вып. 5, т. III. Пг., 1921, с. 123.

¹⁷ Декабрист Н. И. Тургенев, с. 265.

¹⁸ См.: Ланда С. С. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России 1816—1821 гг. — В кн.: Пушкин и его время. Вып. 1. Л., 1962, с. 104.

¹⁹ Там же, с. 107.

²⁰ Там же, с. 108.

о его прошлой писательской практике и его политических взглядах, отличавшихся консерватизмом. Появление «Истории государства Российского» стало для переломной дворянской интеллигенции событием огромной важности. В споре с Карамзинским мужала и зрела историческая мысль не одного Н. И. Тургенева.

В. Э. ВАЦУРО

«СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ НАРОДОВ»

Публикуемое ниже стихотворение под этим названием хранится в Центральном гос. архиве Октябрьской революции, в архивной единице, заключающей, кроме него, два автографа Ф. Глинки — письмо к А. Ф. Воейкову и прозаический этюд «Осенние сумерки в городе».¹ В печати оно не известно; атрибутировано Глинке на основании карандашной подписи: «Ф. Глинка».

Внешние признаки рукописи — несомненно белого автографа с небольшой правкой, — казалось бы, не вызывают сомнений в авторстве. Однако это лишь первое впечатление. Прежде всего, мнимой оказывается подпись — карандашная и, насколько можно судить, сделанная не автором рукописи, хотя, быть может, и современная ей. По существу, это не подпись, а атрибутирующая помета (которая может читаться, кстати сказать, и как «Ф. Глинки»).

Атрибуция эта ошибочна, так как ни почерк рукописи, ни почерк пометы не принадлежат Ф. Глинке. Таким образом, вопрос об авторе этого весьма примечательного стихотворения возникает запово.

Здесь нам приходится обратить внимание на то обстоятельство, что стихотворение под этим заглавием полавал в Вольное общество любителей российской словесности В. И. Туманский. Оно было прочитано 11 декабря 1822 г., «одобрено» и избрано большинством голосов,² однако опубликовано не было, и текст его остался не известен. Почерк Туманского и интересующего нас автографа идентичен. Несомненно, перед нами известное до сих пор лишь по названию стихотворение Туманского.

«Священный союз народов» не есть оригинальное произведение. Это довольно близкий перевод широко известного «La Saint Alliance des peuples» Беранже — поэта, чья политическая лирика получает в это время особую популярность в декабристском окружении. В. И. Туманский, переводчик стихотворения, является в начале 20-х годов одним из наиболее видных поэ-

¹ ЦГАОРСС, ф. 728, оп. 1, № 1570.

² Базанов В. Ученая республика. М.—Л., 1964 (в дальнейшем: Базанов), с. 425.

тов ближайшей декабристской периферии и принадлежит к левому крылу Вольного общества любителей российской словесности; он тесно связан с Бестужевым и Рылевым и в 1823—1824 гг. выступает как один из эмиссаров «Полярной звезды». Уже одно это заставляет нас предположить, что обнаруженный текст вводит нас в сферу литературно-политической борьбы в «ученой республике» в ее «декабристский» период; как мы стараемся показать далее, стихотворение осмысливается только в этом контексте и является не только литературным, но и социальным и идеологическим фактом.

Чтобы это стало очевидным, нам следует восстановить с возможно большей полнотой ранние этапы литературно-общественной биографии Туманского, обратив особое внимание на роль декабристов в его творческом формировании. Это тем более необходимо сделать, что о раннем Туманском мы почти ничего не знаем.³

Начало литературной деятельности Туманского связано с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств; первые его выступления в печати относятся к 1817 г. Среди членов общества мы можем указать лишь на одно лицо, с которым Туманский был связан несомненно: это О. М. Сомов, земляк начинающего поэта; ему Туманский в 1818 г. посвятил свое стихотворение «Тоска по родине». Ю. Н. Тынянов предполагал возможность знакомства Туманского и с Кюхельбекером — однако в достаточно осторожной форме.⁴ Оба этих лица важны для интересующего нас периода биографии Туманского; в особенности интересны нам ранние взаимоотношения его с Кюхельбекером. Об их знакомстве если не в 1817, то в 1818 г. мы можем говорить более определенно. Из протоколов «михайловского общества» явствует, что Кюхельбекер был избран действительным членом 11 октября 1817 г.; 14 марта 1818 г. был избран и Туманский. 25 апреля и 30 мая 1818 г. они оба присутствуют на весьма немногочисленных заседаниях общества (в первый день кроме них было 4, а во второй 8 членов) и оба выступают со стихами.⁵ В этих условиях знакомство должно было состояться неизбежно.

³ Наиболее полной биографией Туманского является очерк С. Н. Браиловского в кн.: Туманский В. И. Сочинения и письма. СПб., 1912 (в дальнейшем: Туманский). Данные о деятельности Туманского в Вольном обществе любителей российской словесности см.: Базанов; сводку фактических материалов о его позиции в 1823—1825 гг. см.: Боровой С. Я. Мицкевич накануне восстания декабристов. — В кн.: Литературное наследство. Т. 60, кн. 1. М., 1956, с. 436—439.

⁴ Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968, с. 313.

⁵ Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. А. М. Горького в ЛГУ. Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, № 199. — За 1819 г. протоколы не сохранились. 25 апреля Кюхельбекер читал «Послание к Пушкину» (видимо, «К Пушкину» — «Счастлив, о Пушкин, кому высокую душу Природа...», 1818), Туманский — басню О. Сомова «Тыква и Желудь»; 30 мая Кюхельбекер читал «К соловью», «Отмщенный Геркулес» и стих. Плетнева «Воспоминания», Туманский — элегию

Существует и другой документ, характеризующий литературное общение Туманского и Кюхельбекера в Петербурге в 1818—1820 гг. Это — мемуарные записи Н. А. Маркевича, в то время ученика Кюхельбекера по Благородному пансиону при Главном педагогическом институте. Маркевич вступил в пансион 7 сентября 1817 г. и окончил его 2 февраля 1820 г. Близкий к Кюхельбекеру, Маркевич был связан с Туманскими; соседи по имениям, семьи общались, и в дневниках Маркевича сохранились следы довольно короткого знакомства, в частности, с Софьей Григорьевной Туманской, кухней и предметом давнего и длительного увлечения поэта; список знакомых Маркевича включает почти всех ближайших родственников Туманского.⁶ С самим поэтом Маркевич познакомился позже; однако свидетельства его о восприятии стихов Туманского Кюхельбекером принадлежат интересующему нас времени и, по-видимому, вполне достоверны. Приводим целиком этот неизвестный в печати фрагмент.

«Василия Ивановича Туманского я тогда не знал, — рассказывает Маркевич. — Но стихи его приносил мне Кюхельбекер, и я их очень любил. Об нем-то Пушкин сказал:

Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал.

Правда, что первые попытки его отдаются то Жуковским, то Батюшковым. Я помню, сколько весь класс смеялся, когда в мае месяца, в 1818 году, подал мне Кюхельбекер элегию Туманского „Монастырь“. Я начал читать:

В туманной влаге вод потух луч золотой,
Уж пурпурный восток сереет;
Клубится легкий пар над дремлющей водой
И ночи пелена чернеет.
И тишина кругом. Лишь изредка совы
Унылый крик страну безмолвну пробуждает;
Лишь резвый ветерок листочками играет
Иссохшие травы.
Я здесь, на сих скалах, всяющих над водой,
В священном сумраке дубравы,
Задумчиво брожу и вижу пред собой
Следы протекших лет и славы:
Обломки, грозный вал, поросший злаком ров,
Столбы и ветхий мост с чугунными цепями,

«К друзьям детства» и песни «Всесельный час», «Земные блага», «Счастливым путем», «Воспоминания». С. Н. Браиловский ошибочно полагал, что избрание Туманского не состоялось из-за отъезда за границу (см.: Туманский, с. 10).

⁶ ИРЛИ, ф. 488, № 35, л. 12 об.—13 (майские записи 1820 г.) и № 48, л. 21 об. — Маркевич называет Аппу Ивановну Туманскую, ур. Вишневу, Ольгу Ивановну (в замужестве Сатину), Софью и Ульяну Григорьевну, Ивана Григорьевича, Василия Осиповича, Владимира, Михаила и Василия Ивановичей (там же, № 37, л. 115 об., 127 об.).

Твердые мшистые с гранитными звуками
И длинный ряд гробов.

— Что? Что Вы, Маркевич, а...а...а... Читаете? — кричал Кюхельбекер. Масальский, который знал наизусть всего Батюшкова, вспрыгнул, подскочил, посмотрел — передо мной лежала только пьеса Туманского; но первая строфа была его, а вторая Батюшкова. — „Эта, которую я прочитал, благозвучнее, — сказал я, — и потому я ее предпочитаю. А впрочем картина одна и та же; угодно, я прочту Туманского?“ — Прочитайте, прочитайте, — кричали Кюхельбекер, Вилламов, Жерве, Масальский. Я продолжал:

В мечтанье я сижу на сей скале седой,
Угрюмым дубом осененный,
И вижу древности остатки пред собой
Тяжелым прахом покровенны.
Расседшую стену, врата железны, вал,
Развалины столбов, помост, подземны ходы,
Поросшие травой, — а древле, в славны годы
Здесь монастырь стоял.

Оглушительный хохот раздался. „Действительно, картина одна и та же, только стихи Батюшкова благозвучнее“, — говорил Кюхельбекер. Я думаю, не скоро мы стали бы приятелями, если б Туманскому пересказали о моей фарсе с „Монастырем“.

Еще хуже впечатление произвела на меня ода (Агатону), каким-то диавольским размером написанная. „На, Струков, прочитай, — сказал я Струкову. — Нужно быть Гнедичу или Семеновой, чтоб уметь прочитать это“ — и не захотел читать громко. Струков прочел оду. Но дорого он пошлатился за эту самонадеянность. Долго три имени у нас были нераздельны: Струков, Гнедич и Семенова.

В 1819 году Туманский присылал стихи свои из Вены, из Парижа. „К Юлии“ были уже совершенно другого покрою; это прекрасная пьеса, стих вольный, звучный, и уже не заимствованный. В путешествии, довольно продолжительном, талант Туманского образовался, и я потом читал их всегда с большим удовольствием. Лет шесть после выпуска моего из Пансиона я познакомился с Туманским в Ярославце, а потом и сблизился с ним.⁷

Воспоминания Маркевича интересны для нас не столько как доказательство критической проницательности юного литератора с пансионской скамьи, сколько как свидетельство заинтересованного, хотя и не лишеного критицизма, отношения Кюхельбекера к Туманскому в 1818—1820 гг. Кюхельбекер приносит пансионерам стихи Туманского, появившиеся в мартовской книжке «Благонамеренного» за 1818 г. и в июньской — за 1819 г. Все это существенно как хронологические вехи и, кажется, не оставляет сомнения в личном общении поэтов. В позднем дневнике Кюхельбе-

⁷ ИРЛИ, ф. 488, № 82, л. 66—67.

кер ещё раз с похвалой отзовется и о первом стихотворении Туманского «Бородинское поле», появившемся в 1817 г.⁸

Эти факты объясняют и ту не вполне обычную скорость, с которой произошло сближение Туманского с Кюхельбекером в их заграничном путешествии; оно и должно явиться теперь предметом нашего внимания.

В 1819 г. молодой Туманский отправился за границу вместе с сенатором кн. П. П. Щербатовым.⁹ 8 (20) сентября он был в Вене. В этот день Д. М. Княжевич, живший в Вене, записал в своем дневнике: «Поутру, едва пришел в Комиссию, как подали мне записку, извещавшую меня о приезде князя Павла Петровича Щербатова. В 12-м часу я пошел к нему и познакомился там с Андреем Константиновичем Свешниковым, Васильем Ивановичем Туманским и Орестом Михайловичем Сомовым. Потом ходил я со всеми ими и с клязем по улицам. Заходили в лавки и в Августинскую церковь».¹⁰

Это единственное указание на тесное общение Туманского за границей с О. Сомовым — и оно важно. Вместе с Сомовым он остается в Париже и проводит здесь около полугода или даже более, — в апреле 1820 г. Сомов уже — на пути в Россию.¹¹

Корреспонденции Сомова — в «Благонамеренном», «Сыне отечества», «Соревнователе» — вместе с письмом самого Туманского А. Е. Измайлову очерчивают, таким образом, круг их общих впечатлений, более всего бытовых и художественных.¹² Туманский слушает лекции Араго и Кузена в Collège de France и становится завсегдатаем театров, концертов, художественных выставок. В его «Картине Жиродета» (1820) отразились эти увлечения художественными новинками; на этого художника обратили внимание и Сомов, и позднее Кюхельбекер.¹³

⁸ Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929, с. 125—126.

⁹ Литературное наследство, т. 60, кн. 1, с. 559.

¹⁰ Княжевич Д. М. Мой журнал.— ЦГАЛИ, ф. 337, оп. 1, № 102, л. 60.

¹¹ В письме к А. Р. Шидловскому (Сын отечества, 1820, № 51, с. 204) от 16 (28) декабря 1819 г. Сомов пишет, что находится в Париже «более двух месяцев», — другими словами, с начала октября. Его январские письма 1820 г. к кн. Н. А. Цертелеву еще носят помету «Париж»; 5 (17) апреля он отправляет Ф. Н. Глинке письмо уже из Дрездена (см.: Кирилук З. В. О. М. Сомов — критик та белетрист пушкинської епохи. Київ, 1965, с. 148). 10 мая 1820 г. он уже присутствует на заседании «соревнователей» (Базанов, с. 378).

¹² Библиографию этих статей Сомова см.: Кирилук З. В. О. М. Сомов. . . , с. 148; статью Туманского, датированную 14 ноября 1819 г., см.: Благонамеренный, 1819, № 23—24, с. 339—344. — Ряд статей этого времени, возможно принадлежащих Туманскому, перечисляет С. Н. Бравловский (Туманский, с. 402—404); среди них обратим внимание на перевод из сочинения Савари о Греции, которым интересовался и Сомов.

¹³ См.: Поэты 1820-х—1830-х годов. Т. I. Л., 1972 («Б-ка поэта». Большая серия), с. 727.

По-видимому, значительно меньшее место в этот период принадлежит социально-политическим интересам. Позиция Сомова в 1819—1820 гг. очень умеренна; он с осуждением пишет о Лувеле, о «развращении нравов» во время революции.¹⁴ В стихах его звучит преимущественно анакреонтическая тема. Вместе с тем она ближайшим образом подводит его к восприятию поэзии Беранже; хотя к самому творчеству Беранже Сомов не обращается, он переводит гедонистические стихи его ближайших предшественников (Армана Гуффе) и даже соратников по «Погребку» (Le Caveau): его привлекают песни Дезожье, одного из учителей и друзей Беранже, весьма близкого ему по методу и литературной ориентации.¹⁵ Восприятие раннего Беранже как шаловливого песенника-эпикурейца в эти годы довольно обычно, в особенности у поэтов и критиков «Благонамеренного».

О том, что делал Туманский в течение года — с апреля 1820 по апрель 1821 г., — у нас нет даже косвенных данных. В апреле же 1821 г. в Париж приезжает Кюхельбекер, и прежнее знакомство перерастает в дружбу. Едва ли не европейские революции 1820—1821 гг. способствовали этому быстрому сближению. Во всяком случае, Кюхельбекер находит в Туманском своего единомышленника. Здесь же, в Париже, он посвящает ему свои филэллинистические стихи с призывом к борьбе за свободу — «К Ахатесу». В ноябре 1821 г., уже находясь в Грузии, он обращает к Туманскому свои инвективы против крепостного права.¹⁶ Нет сомнения, что его парижские знакомства являются одновременно и знакомствами Туманского.¹⁷

Знакомства эти — Б. Констан, Жуи и другие, отмеченные Кюхельбекером в лаконичных записях парижского дневника, — очерчивают совершенно определенную литературно-общественную среду. Это группа издателей «Минервы», куда входили также Тиссо, Лакретель, Этьенн, Э. Дюмулен и Же. Именно со страниц «Минервы» шла настойчивая и усиленная пропаганда Беранже как литератора преимущественно политического направления; здесь печатаются знаменитые впоследствии песни Беранже «Мещанин» (Le vilain), «Моя старушка» (La bonne vieille), «Священный союз» (La Sainte Alliance), «Мой фрак» (Mon habit) и др. Стихами Беранже открывались книжки журнала; он был признанным поэтом группы и ее политическим единомышленником;

¹⁴ Извлечение из письма г. действительного члена О. М. Сомова к г. действительному же члену князю Н. А. Цертелеву. — Благонамеренный, 1820, № 6, с. 357 (датировано 6 (18) января 1820 г.).

¹⁵ Новый Нарцисс. (Подражание Ваде). — Там же, 1819, № 11, с. 284; Bibi или Пьяный латинист. (Подражание французскому. Genuit Armand Gouffe. Reproduxit Orestes Somow). — Там же, 1821, № 5, с. 272; Невыгоды богатства. (Подражание Дезожье). — Там же, № 9, с. 78; Охотник до лакомого стола. (Подражание Дезожье). — Сын отечества, 1822, № 17, с. 126.

¹⁶ Русская старина, 1890, № 8, с. 383.

¹⁷ Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники, с. 308 и след.

позднее, когда журнал прекратил свое существование, его политическую линию унаследовали такие органы либеральной партии, как «*Constitutionnel*» и «*Revue encyclopédique*», издатель которого, Жюльен, также упомянутый Кюхельбекером, впоследствии был связан с либеральным крылом русской литературы, в частности с «Московским телеграфом». Что касается «Минервы», то уже в 1818 г. ее усиленно читают в России: повышенный интерес проявляет к ней Н. И. Тургенев, Вяземский определяет ее как «катехизис друзей положительной свободы».¹⁸ К 1821 г., ко времени приезда Кюхельбекера, эта группа взяла в свои руки руководство обществом «Атений».

Выступление Кюхельбекера в «Атение» с лекциями по русской литературе, наполненными политическими аллюзиями, конечно, не прошли мимо внимания Туманского. Текст сохранившейся первой (июньской) лекции 1821 г. и текст переведенного Туманским стихотворения Беранже имеют весьма симптоматичные точки соприкосновения; в них отражается близость некоторых политических суждений, — а это в известной степени объясняет выбор стихов для перевода.

Прежде всего, оказывается важной самая тема. Кюхельбекер начал свою первую лекцию призывом к единению народов на основе идей, порожденных «веком и просвещением», которые предвещают «еще более значительную всеобщую перемену». Торжество этой «перемены» неизбежно — вопреки минутному торжеству «несправедливости», «насилия» и «приуждения». Избегая напоминаний о войне, он недвусмысленно выразил свое отношение к насилию и деспотизму вообще, чтобы отсюда перейти к внутриполитическому «угнетению» в России. Именно эта позиция должна была быть наиболее приемлемой для либеральной партии, в частности для кружка «Минервы»: наиболее авторитетные публицисты журнала не отождествляли Наполеона как личность с Наполеоном-политиком, — отдавая дань «наполеоновской легенде» (в особенности возродившейся после смерти Наполеона 21 апреля (5 мая) 1821 г.), они резко вооружались против «деспотизма». Такова была позиция Б. Константа. Совершенно то же самое писал Беранже в «Священном союзе народов»: не касаясь личности императора, которая оставалась для него предметом поклонения, он ведет речь об историческом прецеденте, о «властителях» (*potentats*), «неблагодарных королях» — завоевателях, налагающих ярмо на народ.

Второй проблемой был «Священный союз». Она также не решалась однозначно. Противник триумvirата, Беранже саркастич-

¹⁸ Письмо Н. И. Тургенева к С. И. Тургеневу от 13 октября 1818 г. — В кн.: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.—Л., 1936, с. 266; письмо Вяземского А. И. Тургеневу от 3 декабря 1818 г. — В кн.: Остафьевский архив. Т. I. СПб., 1899, с. 161. — О связях Беранже с «Минервой» см.: Touchard J. La gloire de Béranger. Vol. 1. Paris, 1968, p. 270 et suiv.

чески изобразил его в виде «святого союза варваров», королей «Алжира, Марокко и Туниса», несущего народам рабство и религию в виде «корапа, Бональда и Феррана» и включающего в индекс запрещенных книг сочинения «Вольтера и его котерии». В условиях Франции и в устах поэта с бонапартистскими симпатиями такая оценка была естественной. Иначе обстояло дело в России. В том же 1816 г., когда написано стихотворение Беранже, «Священный союз» и Библейское общество поддерживаются не только русской официальной прессой, защищавшей вместе с тем и умеренно конституционалистские идеи, — но и, например, будущим главой Союза Благоденствия Н. И. Тургеневым; неприятие его есть скорее показатель клерикальной ортодоксии (как, например, это было у Ж. де Местра).¹⁹ Репутация Союза начинает падать, однако, к 20-м годам. Декларация трех монархов, подписанная на конгрессе в Троппау в декабре 1820 г., прямо говорила о мерах, предпринимаемых против революционных движений Европы; в марте 1821 г. Кюхельбекер был свидетелем волнений в Ницце. Он покинул Италию в тревожном ожидании всеобщего восстания и вторжения «ненавистных тудесков», — а 12 (24) марта австрийские войска вступили в Неаполь. Охранительная роль «Священного союза» для Кюхельбекера более чем очевидна — и в первой же парижской лекции он прямо намекает на нее, когда бросает слова осуждения «политическим сделкам» (*transactions politiques*) как «чуждым русскому народу».²⁰ Здесь вторично речь Кюхельбекера соприкасается со стихотворением Беранже, где «священному союзу монархов» противопоставляется «священный союз народов».

Итак, у нас есть все основания предполагать, что предпосылки к выбору для перевода стихотворения Беранже определились у Туманского уже под влиянием парижских впечатлений и общения с Кюхельбекером в 1821 г. Однако самый перевод был, вероятно, сделан позже: он был прочитан лишь в конце следующего года. Туманский возвращается в Россию вместе с Кюхельбекером через Варшаву в августе 1821 г.; некоторое время друзья проводят в Петербурге. Данные об их общении в это время, хотя и скудные, показывают все же, что оба поэта продолжают жить европейскими впечатлениями, среди которых судьба восставшей Греции занимает важное место. 14 августа Кюхельбекер вписывает в альбом П. И. Кешпена стихи из «Греческой песни» («К Румыю!»), с комментарием, прямо перекликающимся с началом его парижской речи: «Ничто, ничто не утопает В реке ка-

¹⁹ См.: Ш е б у н и н А. П. Братья Тургеневы и дворянское общество александровской эпохи. — В кн.: Декабрист Н. И. Тургенев, с. 27; см. также: Ш е б у н и н А. Н. Европейская контрреволюция в первой половине XIX века. Л., 1925, с. 115—118.

²⁰ Лекция Кюхельбекера о русской литературе и языке, прочитанная в Париже в 1821 г. Публ. и предисл. П. С. Бейсова. Статья Б. В. Томашевского. — В кн.: Литературное наследство. Т. 59. М., 1954, с. 345—380.

тящихся веков... Эта мысль одна может подкрепить истинного друга человечества, когда глядит он на временный неуспех, на временную гибель всего высокого и прекрасного!». 29 августа Туманский читает эти стихи в заседании общества, вместе со стихотворением «К другу», — копечно, «К Туманскому» («К Ахатесу»); замена заглавия в этих условиях совершенно понятна.²¹ Оба стихотворения — прямой призыв к борьбе за свободу Греции — остаются ненапечатанными в бумагах Кюхельбекера. Вместе поэты присутствуют и на заседаниях «Михайловского общества» 11 и 25 августа, где Кюхельбекер читает свои отрывки из путешествия во Францию.²²

В сентябре 1821 г. Туманский уезжает на Украину; его прощальное письмо секретарю общества А. А. Никитину сохраняет следы тех же конституционных настроений, под знаком которых прошли предшествующие месяцы; он желает, чтобы устав общества, «как благодетельная конституция порядка и равенства», охранялся от всех изменений.²³ Через несколько месяцев покидает Петербург и Кюхельбекер.

Той же осенью имя Беранже привлекает к себе всеобщее внимание парижан. 25 октября 1821 г. выходит в продажу двухтомное собрание его песен, а 27 октября королевский прокурор возбуждает судебное дело по обвинению автора в оскорблении добрых нравов (песни «Вакханка», «Моя бабушка», «Марго»), общественной и религиозной морали («Мой кюре», «Капуцины», «Добрый бог» и др.), оскорблении величества (седьмой куплет «Принца Наваррского», четвертый — «Доброго бога», последний — «Белой кокарды»), в «подстрекательстве к открытому пошению внешних знаков объединения, не санкционированных законами» (бонапартистское «Старое знамя»). 8 декабря, при обильном стечении народа, отмеченном и газетами, Беранже предстал перед судом присяжных департамента Сены. Процесс носил бурный политический характер; 19 декабря Беранже был заключен в тюрьму Сен-Пелажи; тем временем его адвокат, Дюпен-стапшпий, весьма популярный среди либералов, опубликовал материалы обвинения и защиты, которые в свою очередь стали предметом

²¹ Базапов, с. 216—217, 401; Кюхельбекер В. К. Избранные произведения в двух томах. Т. I. М.—Л., 1967 («Б-ка поэта», Большая серия), с. 620.

²² Архив Вольного общества, № 199. — Кюхельбекер читал также стихи «Продавательница цветов» и «Средиземное море», Туманский — «Воспоминания» (25 августа).

²³ Туманский, с. 11. — Накануне, 1 сентября, стихи Туманского читались в Михайловском обществе. Автор сам присутствовал: А. Е. Измайлов прочел «Блаженство», а также надпись к Рафаэлевой Мадонне, «Счастливую смерть» и «Истину» (Архив Вольного общества). Два последних стихотворения известны и малозначительны; одно из них напечатано впервые по автографу С. Н. Браиловским (Туманский, с. 221) с датой 1822, ныне уточняемой; другое помещено в «Благонамеренном» (1821, № 15, с. 159, с подписью В. Т.).

судебного преследования. Этот второй процесс состоялся 14 марта 1822 г., а 18 марта Бераиже покинул стены тюрьмы. За эти месяцы в Сен-Пелажи перебивали с визитами десятки сочувствующих литераторов; в печати появились стихи и поэмы, написанные в честь узника. Имя Бераиже приобретает широчайшую известность.²⁴

Такова была обстановка, непосредственно предшествовавшая чтению «Священного союза народов» в «ученой республике». Вместе с тем французские дела и впечатления составляли как бы предысторию перевода; средой его возникновения оказывается русская политическая жизнь. Уже к середине 1822 г. становится очевидным, что «Священный союз» не намерен поддержать освободительную борьбу греков; в августе навсегда покидает Россию граф Каподистрия. Эта отставка знаменовала торжество меттерниховской политики. В сентябре она была прокламирована на Веронском конгрессе, который потребовал от Испании прекращения «смут».

Как оценивалась эта ситуация в русском обществе — об этом красноречиво говорят уже цитированные нами мемуары Маркевича.

«Это было время конгрессов, — писал Маркевич. — Агамемнон, вождь царей, как называли на Западе Александра, ездил в Верону, ездил в Лайбах, Священный союз процветал. Священный союз этот был не что иное, как заговор царей против народов. Окончив конгресс, царь с триумфом возвращался на родину, и Пушкин пел:

Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот!

В то же время Бераиже на Западе откликался знаменитой песнью:

Christophe est mort, et du royaume
La noblesse a recours à vous:
François, Alexandre, Guillaume,
Ayez aussi pitié de nous, —

или „La Sainte Alliance des peuples“».²⁵

Воспоминания Маркевича датируются началом 20-х годов; хронологические смещения в пределах года или двух для него обычны. Однако нам важна в них не столько хронология, сколько общее восприятие политической атмосферы. Он вспоминает по-

²⁴ Touchard J. La gloire de Béranger, vol. I, p. 389—398.

²⁵ ИРЛИ, ф. 488 № 82, л. 48 об. — Ср.: Воспоминания Н. А. Маркевича о встречах с Кюхельбекером в 1817—1820 гг. Публ. и комм. Н. Г. Розенблюма. Предисл. А. А. Орловой. — В кн.: Литературное наследство, т. 59, с. 504 (Цит. по рукописи, так как интересующие нас фрагменты в публикацию не вошли). *Перевод*: «Кристоф мертв, и дворянство страны ждет вашей помощи. Франц, Александр, Вильгельм, — сжальтесь над нами!» (*франц.*).¹

зицию Александра I в отношении Польши: «Он Польшу простил, но прислал туда Новосильцова и Пеликана», — и далее ссылается на «Дядю» Мицкевича, как дающих точную характеристику александровских наместников. Он описывает Аракчеева, тайные аресты в полках. «Я застал уже, — пишет он, — что мысль о свободе и конституции была в разгаре. Кюхельбекер ее проповедовал на кафедре русского языка: Ал. Пушкин написал свою оду „Вольность“, другую пьесу — „Кинжал“, „Деревня“. Все это я имел через Кюхельбекера и через Льва Пушкина».²⁶ Далее он переходит к революционизирующим воздействиям с Запада — и это место важно. «Наполеон великий доживал век на острове св. Елены <...>. Цари отдыхали. Но на душе тяготела у них ужасная мысль: подлая Англия могла спустить с цепи Наполеона. Беранже пел свои бессмертные песни, народ их повторял от Кале до Тулона и от Атлантического океана до Рейна. „Les Missionnaires“, „Les révérends pères“, „Les Mirmidons“, „La Censure“, „L'opinion de ces demoiselles“ и до нас доходили; но „La Saint Alliance Barbaresque“ приводила всех в восторг:

Ces rois, dans leur Sainte-Alliance,
Trouvant tout bon pour leur puissance,
Jurent de se mettre en commun
Bravement toujours vingt contre un.
On dit qu'ils adjoindront Christophe,
Malgré la couleur de l'étoffe.
Vivent les Rois qui sont unis!
Vivent Alger, Maroc et Tunis!

До школьных скамей долетали эти гениальные напевы француза, вечно поющего и беззаботного».²⁷

Приведенный нами фрагмент особенно интересен тем, что он является своеобразным комментарием к переводу Туманского, включая упоминания о «Священном союзе», о политической поэзии Беранже и даже давая хронологическую веку (Веронский конгресс). К свидетельству Маркевича мы можем добавить и другие: так, в начале 20-х годов в Варшаве Вяземский резко нападает на политику «Священного союза» и распевает «Смерть короля Христофа»: «Vive un congrès! Deux, trois congrès! Quatre congrès! Cinq congrès! dix congrès!»; тайный агент доносит об этом цесаревичу Константину; секретное донесение отправляется в Петербург и играет свою роль в числе политических обвинений против Вяземского. Другие тексты Беранже Вяземский переписыв-

²⁶ ИРЛИ, ф. 488, № 82, л. 50 об.

²⁷ ИРЛИ, ф. 488 № 82, л. 54 об. — 55. — *Перевод*: «Миссионеры», «Святые отцы», «Мирмидоны», «Цензура», «Мнение этих девиц», «Священный союз варваров». «Эти короли, найдя в своем Священном союзе все нужное для своего могущества, почли за благо объединиться: они всегда смелы, когда их двадцать против одного. Говорят, к ним присоединится Христоф, несмотря на разницу в цвете кожи. Да здравствуют объединившиеся короли! Да здравствует Алжир, Марокко и Тунис!».

вает в свою записную книжку — в числе их есть и «Священный союз народов».²⁸

В этих условиях совершенно закономерно появляется интересующий нас перевод, сделанный, вне сомнения, по тексту из второго тома сборника 1821 г., вызвавшего столь бурную реакцию французских властей. Чтение перевода в обществе в дни, когда Александр I находился на пути из Вероны в Россию, было своего рода политической акцией; впрочем, он отлично включался в круг других антидеспотических стихов Туманского 1822 г.: через 10 дней, 21 декабря, он читает в Обществе любителей словесности, наук и художеств свою псалмодическую инвективу «Гимн богу».²⁹ «Священный союз народов» был одобрен «большинством голосов»; на следующем заседании, 18 декабря, Туманский избирается действительным членом «ученой республики».

«Священный союз народов» не был, конечно, в прямом смысле слова антиправительственным стихотворением; иначе Туманский и не мог бы огласить его публично. Однако, как мы пытались показать выше, его проблематика прямо соприкасалась с теми идеями, которые оживленно дебатировались в оппозиционных кругах. К ним можно добавить еще одну — идею «вечного мира» аббата Сен-Пьера, ставшую предметом горячих споров Пушкина и М. Ф. Орлова в кишиневском декабристском гнезде в 1821 г. Напомним, что запись Пушкина «о вечном мире» отправляется от тех же посылок, какие нашли себе место и в интересующих нас стихах: со временем люди уразумеют «смешную жестокость войны»; великие страсти и воинские таланты должны наказываться гильотиной, как несущие в себе антиобщественные начала.³⁰ В этих спорах возникал вопрос и о роли правительств и революций в приближении эры всеобщего мира, — и, конечно, должна была подвергнуться обсуждению деятельность «Священного союза», которую некоторые современные политики воспринимали как частичное осуществление утопий Сен-Пьера.³¹ У Беранже — Туманского инициатором являются «народы»; «цари», «склоняя слух» к требованиям века, следуют за ними пассивно. Любопытна здесь прямая аллюзия: у Беранже участниками «священного союза народов» являются «Français, Anglais, Belge, Russe, ou Germain»; у Туманского «бельгиец» заменен «сарматом», — вопрос о положении Польши был животрепещущим после известной конституционалистской речи Александра на заседании сейма; настроения польской столицы Туманский имел случай наблюдать

²⁸ Русский архив, 1888, кн. 3, с. 171—173; Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., 1963, с. 358, 382—383. — Свод материалов см. в кн.: Старицына З. А. Беранже в России. XIX век. М., 1969, с. 10 и др. — *Перевод*: «Да здравствует конгресс! Два, три конгресса! Четыре конгресса! Пять конгрессов! десять конгрессов!» (*франц.*).

²⁹ Архив Вольного общества, № 199.

³⁰ Пушкин. Полное собр. соч. Т. 12. М., 1949, с. 480.

³¹ См. подробно: Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972, с. 160—207.

воочию, так как, возвращаясь в Россию, провёл несколько дней в Варшаве вместе с Кюхельбекером.³² Как мы видели, Маркевич, характеризуя эпоху «конгрессов», также не забыл упомянуть и о Польше. И в этом случае правительственная инициатива в стихотворении оказывается приглушенной; на первый план выходит народ, нация. Но, пожалуй, наиболее интересны изменения, которые Туманский вводит в четвертую строфу. В подлиннике она читается:

Des potentats, dans vos cités enflammes,
Osent du but de leur sceptre insolent
Marquer; compter et recompter les âmes
Que leur adjuge un triomphe sanglant.
Faibles troupeaux, vous passez sans défense,
D'un joug pesant, sous un joug inhumain.
Peuples, formez une sainte alliance,
Et donnez-vous la main.³³

(«Властители, в ваших объятых пламенем городах осмеливаются концом своего наглого скипетра метить, считать и пересчитывать души, которые обрек им кровавый триумф. Слабое стадо, вы бредете без защиты от тяжкого ярма к ярму бесчеловечному. Народы, составьте священный союз и дайте другу другу руки»).

Здесь Туманский дважды меняет метафорические перифразы Беранже, — и едва ли не намеренно. Строка «считать, клеймить, как собственность, людей», конечно, не передает мысль о подсчете военнопленных или убитых (âmes), — зато она воспринимается в контексте русской антикрепостнической поэзии. Формула «люди — собственность» была очень устойчива в сознании либеральных и радикальных мыслителей 20-х годов; она вызывала совершенно конкретный круг ассоциаций, — в период же расцвета аллюзионной поэзии вряд ли это отклонение было случайной неточностью перевода. Еще важнее, однако, что Туманский меняет концовку. Уподобление народа «стаду», бредущему от одного ярма к другому, для Туманского невозможно. Он предпочитает ослабить художественную образность, «остановив» метафору Беранже в самом начале развертывания и передав общий смысл традиционным «высоким» поэтизмом в духе гражданской лирики («на жертву обреченны, Вы цепь на цепь меняете стократ»). Это особенно любопытно, если вспомнить, что метафора «народ — стадо» уже кристаллизуется в стихотворной переписке Пушкина и В. Ф. Раевского в том же 1822 г. — и окончательно оформляется в наброске «Мое беспечное незнание...» и знаменитом стихотворении «Свободы сеятель пустынный...» (ноябрь 1823 г.). Стихи Пушкина принадлежат эпохе известного «кризиса 1823 года», возникшего как результат разочарования в европейских революционных движениях и охватившего, как мы знаем, не только перифе-

³² Русская старина, 1872, с. 470.

³³ Chansons, par M. J. P. de Béranger. Tome II. A Paris, 1824, p. 167.

рию декабристской литературы, по и многих идеологов. Туманского он обходит стороной — не только в 1822 г., но и в последующие годы. Идея приоритета народа выдерживается у него последовательно — и еще раз скажется в 1823—1824 гг. в стихах, посвященных греческому восстанию.

«Священный союз народов» в интерпретации Туманского проникнут историческим оптимизмом просветительского свойства, придающим ему несколько идиллический оттенок. Чтобы уловить подлинный характер этой идиллии, нужно поставить ее в некоторый исторический контекст, что мы и постарались сделать выше. Вместе с тем приходится обратить внимание и на художественное время стихотворения. Оно представляет собою «видение», оно развивается в мыслимом, идеальном времени, накладываясь на противоречащую ему реальную действительность. Это — социальная утопия, носящая учительный характер, что подчеркнуто и принадлежащим самому переводчику, отсутствующим в подлиннике жанровым обозначением «гимн».

По своей проблематике, антидеспотическому звучанию, прямой аллюзионности, даже по стилю — с характерными «словами-сигналами» и повышено эмоциональным лексическим строем — стихотворение Туманского полностью соответствовало тем эстетическим и идеологическим требованиям, которые предъявляло литературе декабристское крыло «ученой республики». Неудивительно поэтому, что уже в 1823 г. мы находим Туманского в кругу Бестужева и Рылеева и в числе ближайших участников «Полярной звезды».

Литературная ретроспектива, которую раскрывает нам повонайденный текст, ведет в бурную политическую жизнь Франции начала 20-х годов, к политическим идеям, провозглашенным Кюхельбекером с кафедры парижского «Атенея»; перспектива — в дифференциацию внутри Вольного общества любителей российской словесности, к формирующейся декабристской в собственном смысле литературе. Этой последней принадлежит уже и публикуемое, во многих отношениях примечательное произведение.

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ НАРОДОВ

Г и м н

Я видел мир, на землю нисходящий,
Как сеял он колосья и цветы,
Все ожило, и Марсов гром горящий
Забывтый гас средь бранной пустоты.
Он нам вещал: войной изнеможены
Германец, галл, и русский, и сармат!
Народы — в славный круг! Как с братом брат,
Воздвигните союз священный!

О смертные! вражда вас утомила,
И ваша жизнь — как вечный шум сует;
Равно землей судьба вас наделила

И всех равно вас греет солнца свет.
Но силою могущих увлеченны,
Не видите вы милых сердцу трат;
Народы — в славный круг! Как с братом брат,
 Воздвигните союз священный!

К соседям вы врываетесь с пожаром,
Поднялся ветер — и ваш же край горит;
Там бились вы, там убивали даром,
А праздный плуг ваш в поле позабыт.
Пределы царств, в крови запечатленны,
О бедственных разбоях говорят.
Народы — в славный круг! Как с братом брат,
 Воздвигните союз священный!

При зареве горящих ваших кущей
Воители, в свирепости своей,
Осмелились десницею могущей
Считать, клеймить, как собственность, людей.
Бессильные, на жертву обреченны,
Вы цепь на цепь меняете стократ.
Народы — в славный круг! Как с братом брат,
 Воздвигните союз священный!

Да грозный Марс утихнет не напрасно,
Да осенят вас правда и закон;
Да ваша кровь не льется повсечасно
По манию насильственных знамен.
Земных светил явления мгновенны,
Сверкнув на миг, лишь миг они страшат.
Народы — в славный круг! Как с братом брат,
 Воздвигните союз священный!

Да отдохнет в свободе мир усталый;
Засейте вновь забытые поля,
На прошлое набросьте покрывало,
И песнями утешится земля.
Улыбкою надежды оживленны,
К святым трудам граждане поспешат.
Народы — в славный круг! Как с братом брат,
 Воздвигните союз священный!

Так говорил сей юноша прекрасный,
К его словам цари склоняли слух,
Был весел мир и небо было ясно;
И к нам любовь сошла как давний друг.
Мудрец земли в душе успокоенной
Уже встречал счастливым дней возврат.
Народы — в славный круг! Как с братом брат,
 Воздвигните союз священный!

КРИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «КОМЕТА» В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА
И В. Ф. ОДОЕВСКОГО

20-е годы XIX в. в истории русской литературы ознаменованы интенсивным интересом к критике, сознанием необходимости упрочить ее место в журналах. «Критики», «Взгляды», «Нечто», «Антикритики», письма к издателю пачинают наводнять все журналы, так что в своем «Обзрении русской литературы в 1824 году» Н. А. Полевой писал: «В прошлом году критика занимала по крайней мере третью часть пространства наших литературных журналов».¹

Особенно многочисленны были полемические статьи и заметки, в которых между прочим обсуждалась и современная литература. «Представьте себе, — описывал Полевой такую типичную полемическую схватку, — что кто-нибудь написал какую-нибудь статью и поместил ее в журнале; другой на эту статью делает замечание; первый отвечает, оправдывается, острится, выписывает слова своего противника, опровергает их — другой отвечает тем же, и так далее, пока антикритика или литературный мячик не превратится в камень, и тогда начинают бросать его уже не в статью, а в самого сочинителя: вот изображение большей части журнальных переговоров прошлого года — и подобным переговорам конца не было!»²

Литературные и политические разногласия и личные счеты литераторов, принимающих участие в полемиках, придают определенный тон современным журналам, превращая их в воиствующие лагеря. «Большая часть их журналов, — писал П. А. Вяземский, — ... напоминает мне Олимпийские игры, из коих изгнаны Музы и где остались одни бойцы».³ Постепенно образовалась ситуация, при которой писатель и критик или не желал печатать свои произведения в журнале своих противников, или не верил в беспристрастность издателей и не надеялся увидеть свое произведение напечатанным в таком журнале. Приходилось обращаться к издателям посредственных журналов, до того времени не привлекавших к себе интереса. В таком положении, например, очутился Вяземский после своих «романтических» битв. Будучи в конце концов вынужден напечатать свою статью о «мистификациях» в «Дамском журнале», он включил в нее следующее обращение к издателю П. И. Шаликову: «Знаю, что прилагаемая у сего статья по содержанию своему не принадлежит „Дамскому журналу“, но знаете и вы, м. г., как ограничена наша способность к возражениям. В надежде на вашу беспристрастную независи-

¹ Московский телеграф, 1825, № 3, с. 259.

² Там же.

³ Письмо из Парижа. — Там же, № 19, с. 261.

мость прошу покорнейше уделить, хотя и не у места, но по крайней мере в пору, несколько страниц в первой книжке журнала вашего...».⁴

На фоне литературной борьбы этого времени особый интерес представляет попытка В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского найти выход из создавшегося положения, придать некоторую последовательность полемике, создать порядок, ограничить личные выпады и в то же время предоставить возможность выражать в печати самые противоположные точки зрения и подходы к литературе.

В 1824—1825 гг. Кюхельбекер и Одоевский издавали альманах «Мнемозина», вокруг которого разгорелась бурная полемика. Разборы альманаха и антикритики печатались во всех журналах, и сами издатели возражали в статьях и заметках, помещая их не только в журналах, но и в особых приложениях к альманаху. Перед издателями сразу же возникла проблема: каким образом представить современному читателю полную и объективную картину борьбы, наглядно показав несправедливость и даже недобросовестность нападок критики.

Вначале издатели хотели внести хоть какой-нибудь порядок в полемические распри. В черновике статьи «Обозрение критик на „Мнемозину“» Одоевский, нарисовав печальную картину современной критики, предлагал довольно оригинальный выход из положения.

Одоевский писал:

«Уже с давнего времени люди благомыслящие с негодованием смотрели на употребляемый у нас способ критики; с некоторого времени и журналисты стали в том соглашаться; все утвердительно говорят, что большая часть наших критиков руководствуются не любовью к истине, но пристрастием, раздражительностью, желанием вступить за друга, или отблагодарить похвалой за похвалу, или наконец желанием отвечать на брань бранью <...> Но до сих пор еще никто не взял на себя труда разобрать подробно и беспристрастно какую-либо литературную борьбу и по окончании оной посмотреть, какими правилами руководствовались воюющие той и другой стороны. Такие разборы были бы, по моему мнению, весьма полезны и немало бы способствовали к уничтожению в нашей словесности тех скучных и бесполезных споров, в коих основательность заменяется эпиграммами, а самый предмет рассуждения — вещами посторонними. Я бы даже желал, чтобы литераторы, согласясь, выбрали между собою *Ревизора*, награжденного от природы необыкновенным терпением и аккуратностью, которого должность состояла бы единственно в описании литературных споров, по окончании каждого.

Журнальные статьи читаются и забываются; надеясь на это, господа критики позволяют себе иногда противоречить собствен-

⁴ О литературных мистификациях. — Дамский журнал, 1824, № 7, с. 33.

ным словам своим, выписывая доказательства противника, пропускать или прибавлять запятые, точки и даже целые слова, наконец выбирать между доказательствами противника слабейшие и оставлять другие без внимания, одним словом позволяют себе все маленькие военные хитрости. Ни одна из таких хитростей не должна была бы укрыться от взоров ревизора; но чтобы отнять у него совершенно возможность быть пристрастным, то законом надлежало бы положить, чтобы г. ревизор не произносил собственного своего суждения о споре им описываемом, а просто представлял бы обстоятельства дела, оставляя на волю читателей, которого из воюющих за употребление средств недостойных литератора наградить полным презрением».⁵

В качестве примера беспристрастной критики Одоевский предлагал представить публике все стороны полемики вокруг «Мнемозины» и взять на себя в данном случае роль ревизора. К сожалению, Одоевский, по-видимому, не выполнил своего намерения — возможно потому, что создание «ревизора» было трудно осуществимо практически. В каком журнале должен был помещать свои статьи и наблюдения ревизор? За недоступностью публикации проблема оставалась неразрешенной.

Предполагая издавать «Мнемозину» и в 1825 г., издатели решили подойти к этой проблеме с несколько другой стороны. В 1825 г. «Мнемозина» должна была выходить в двух частях, которые бы включали «произведения по всем отраслям ума человеческого в отношении к *Изящному*».⁶ Кроме этих двух частей, должны были издаваться «Прибавления к „Мнемозине“». Предполагалось, что «Прибавления» будут в целом состоять не менее как из 24 печатных листов и будут посвящены «благонамеренной и здравомыслящей критике».

Одоевский объяснял необходимость такого периодического издания в «Плане „Мнемозины“ на 1825 год» таким образом:

«Весьма часто случается, что ученые споры, столь необходимые для успехов просвещения, многим остаются непонятными от двух причин: 1-е — оттого, что критика и возражение на оную, будучи напечатаны в двух различных журналах, не попадают в руки одного и того же читателя; 2-е — оттого, что, поелику книжки журналов выходят в определенные сроки, то возражение опаздывает и все относящееся к критике между тем забывается.

Издатель, желая отвратить сии два недостатка, избрал для того средства следующие: он приглашает всех состязающихся присылать для помещения в „Комете“ спорные статьи, по всем отраслям человеческого познания».⁷

⁵ Обзорение критик на «Мнемозину», изданную кн. Одоевским и В. Кюхельбекером. — ИРЛИ, ф. 392, № 1, л. 6—7.

⁶ План периодического издания под названием «Мнемозина» на 1825 год. — ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 47.

⁷ Там же. *Было*: присылать для помещения в «Прибавлениях Мнемозины» всякого рода критики и антикритики, обещаясь наблюдать в сем случае самое строгое беспристрастие.

По-видимому, во время обсуждения плана «Мнемозины» возникла идея просто издавать отдельный журнал, полностью посвященный критике. В плане «Мнемозины» слова «Прибавление к „Мнемозине“» зачеркнуты и надписано: «Комета».

В Рукописном отделе ГПБ хранится черновой набросок плана «Кометы», любопытнейшего издания, к сожалению не вышедшего; он ярко характеризует литературные проблемы времени.

План периодического издания, под названием: *Комета*

Довольно известно, сколь важны, сколь необходимы ученые споры для успехов просвещения. Без противоборства — зыбко основание знаний, мертва деятельность занимающихся науками.

Но с некоторого времени ученые споры, долженствующие иметь единою целию — благородное стремление к истине, обратились в пустую игру слов; вошло в обыкновение вместо ответа на слова своего противника толковать о предметах совершенно не принадлежащих к наукам; *ирония* — внешняя прикраса критики сделалась ее сущностью; остроумие взяло верх над глубокомыслием; жрецы истины превратились в гладиаторов, идущих на посмешище и — имеющих в виду одобрение необразованной толпы; [уничтожалася доверенность и уважение публики к [состязующимся] ученым спорам, с тем вместе простыло и ее внимание к оным].

Такому состоянию критики, столь не совместному с высокою целию учености, немало способствовал обыкновенный образ издания журналов, в коих печатались критические замечания.

Обыкновенно разбор какого-либо сочинения помещался в одном журнале, а возражение в другом; сверх того, сроки, определенные для выхода книжек журнальных, производили то, что *возражение* появлялось в свет спустя долгое время по выходе *разбора*; от сих двух причин, соединенных вместе, происходило следующее: спорные статьи делались непонятными, противники полагались на то, что забывается давно напечатанное в журнале или — что различные журналы не попадают в руки одного и того же читателя, ссылались неверно, заставляли друг друга говорить то, чего совсем не говорили; от сего уничтожались доверенность и уважение публики к ученым спорам и с тем вместе простывало ее внимание.

Издатель, желая отвратить сии два недостатка, избрал для того средства следующие:

1. он приглашает всех состязующихся присылать для помещения в *Комете* спорные статьи по всем отраслям человеческих познаний. 2. №№ *Кометы* не должны выходить в срочное время, как другие журналы, но по мере того, как будут присылаемы рецензии и ответы на оные, как напр. если бы ответ на критику прислан был к издателю на другой день по выходе книжки, то тот-

час же, по рассмотрении цензурой и поступила бы в печать. Таким образом чрез три дни по выходе в свет рецензии может раздаваться подписчикам и ответ на оную.

Издатель обещается наблюдать во всех случаях самое строгое беспристрастие, но в особенности будут приниматься для помещения статьи, имеющие целию решение какой-либо важной задачи в науках или литературе.

Польза такого образа издавания Критического Журнала может быть неисчислима: вышесказанные условия доставляют всем вообще читателям способ сличать мнения состязующихся, отнимают возможность толковать по воле слова своего противника, ссылаясь на него неверно, и прочее.

Сверх того сей журнал, заключая в себе все, или по крайней мере важнейшую часть ученых споров, происходящих в России, составит как бы некоторый род летописи наших успехов в просвещении.

Для разнообразия Комета разделяется на два отделения: 1-ое будет состоять из разборов сочинений, ответов на оные разборы и вообще из спорных статей. 2-ое под названием *Смеси* будет заключать в себе то, что не могло войти в состав первого; как то краткие повести, анекдоты, выписки, замечания и мелкие стихотворения.

На все издание полагается не менее 24-х печатных листов». ⁸

В данное время, к сожалению, вся информация о «Комете» исчерпывается этим документом. Но в связи с этим вопросом следует пересмотреть еще один документ, который по своему содержанию и по дате относится ко времени возникновения плана «Кометы».

В 1923 г. Б. Томашевский опубликовал «обозрение» Кюхельбекера «Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области российской словесности». ⁹ Томашевский считает это обозрение результатом пристального интереса Кюхельбекера к современной журнальной полемике и планом статьи, которую он готовил к публикации. В истории русской критики преддекабристского периода этот обзор занимает очень важное место. Но что такое «Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области российской словесности»? «Наброски неизданной статьи», как это считает Н. И. Мордовченко? Готовилась ли она, как предполагает Томашевский, для 4-й части «Мнемозины»?

По нашему мнению, вполне вероятно, что этот обзор связан с планом журнала «Комета». Не является ли он планом первого номера «Кометы»? Как уже было замечено Б. В. Томашевским, «Обозрение» написано рукой Кюхельбекера и Одоевского, хотя

⁸ ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 49.

⁹ Кюхельбекер В. Обозрение российской словесности. — В кн.: Литературные портфели. 1. Время Пушкина. Пг., 1923, с. 72—79.

автором принято считать Кюхельбекера, а Одоевскому отводится роль переписчика. Возможно, однако, что «Обозрение» Кюхельбекер и Одоевский составляли вместе, подобно плану «Кометы». Нет сомнения, что в этом последнем принимал участие Кюхельбекер, хотя он весь переписал рукой Одоевского. Сама же идея «Кометы», вполне характерная для непрактичного идеалиста Кюхельбекера, видимо, была поддержана с энтузиазмом его молодым другом.

А. В. АРХИПОВА

«БАРГУЗИНСКАЯ СКАЗКА» В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА

20 января 1836 г., после десятилетнего заключения в разных крепостях, В. К. Кюхельбекер прибыл на поселение в г. Баргузин, где прожил до осени 1839 г., до перевода своего в крепость Акша.

По прибытии в ссылку Кюхельбекер снова предпринял попытки получить разрешение печататься и стремился возобновить свои литературные связи. 13 апреля 1836 г. он пишет Н. И. Гречу с предложением сотрудничать в «Сыне отечества», 9 июля 1836 г. — Н. А. Полевому.¹ 12 февраля и 3 августа 1836 г. Кюхельбекер посылал письма Пушкину и, рассчитывая печататься в «Современнике», отправил статью «Поэзия и проза». Однако все письма и рукописи Кюхельбекера до адресатов не дошли, так как были задержаны III Отделением.

«Баргузинская сказка», как это видно из содержания, также написана в Баргузине. Первое время по прибытии в ссылку Кюхельбекер жил в семье брата Михаила. В январе 1837 г. он женился и обзавелся своим домом. Думается, что «Баргузинская сказка», в основу которой положено местное предание, записанное Кюхельбекером от своего работника, была создана не раньше этого времени.

Произведение это, видимо, предназначалось для печати. На это указывает вступление, написанное в форме письма к издателю некоей литературной газеты, шутливо названной «Метляком». Может быть, Кюхельбекер именуется так «Северную пчелу», куда собирался послать рукопись? Однако «Северная пчела» не была «чисто литературной» газетой (как называет ее Кюхельбекер), поэтому нельзя с уверенностью сказать, о каком печатном органе здесь идет речь.

Мы не располагаем материалом, позволяющим проследить дальнейшую судьбу «Баргузинской сказки». Скорее всего, произ-

¹ См.: Литературное наследство. Т. 59. М., 1954, с. 459—463.

ведение это не было отправлено издателю, но не осталось и случайным наброском в архиве Кюхельбекера. Дошедшие до нас черновые отрывки свидетельствуют о растущем с годами интересе поэта-декабриста к фольклору, о стремлении записать и обработать народные сибирские предания. Теперь он может не только использовать фольклорный материал из различных сборников и публикаций, но и сам заняться его собиравшем, что он сразу же и делает. Вместе с тем Кюхельбекер не пытается сохранить стилистические особенности народного рассказа. Он обрабатывает язык и намеренно отказывается от всякой стилизации. Видимо, она принципиально не устраивала поэта-декабриста, несмотря на то что начинала входить в моду в 30-е годы. На это указывает ироническое упоминание Кюхельбекером сказов В. И. Даля («не ожидайте <...> от меня бойких замашек знаменитого Казака Луганского»). Очевидно, с книгой Даля «Русские сказки из предания народного, из устного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому припоровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Вл. Луганским» (1832) Кюхельбекер к этому времени был знаком.

Примечательно, что Кюхельбекер, всегда с большим интересом относившийся к фольклору, дает чрезвычайно высокую оценку записанной им баргузинской легенде, ставя ее выше античного мифа об Эдипе. Мотив духовного возрождения правдивно погибающей личности (греха и покаяния), распространенный в народном творчестве, произвел сильное впечатление на Кюхельбекера и, возможно, повлиял на окончательную концепцию «Ижорского», завершеного уже в 40-е годы. На это указывает и то обстоятельство, что сама «Баргузинская сказка» в несколько переработанном виде вошла в III часть «Ижорского». Грек Зосима рассказывает аналогичную историю. Строфы 1—6 его рассказа вполне соответствуют содержанию 1-го из дошедших до нас отрывков «Баргузинской сказки», строфы 13—18 — содержанию 2-го отрывка. По строфам 7—12 можно восстановить сюжет не дошедшей до нас центральной части «Баргузинской сказки».² В рассказе Зосимы действие из Сибири перенесено в Грецию, изменены имена и некоторые бытовые детали, однако основой этого вставного эпизода «Ижорского» послужил не греческий миф об Эдипе, а его русский, сибирский вариант с примирающим христианским финалом.

Публикуемые два отрывка чернового автографа занимают один двойной и один одинарный лист. Лист, на котором записано окончание произведения, сохранился плохо; он в пятнах, оборван по краям. Рукопись содержит значительную правку, особенно в начале произведения (в публикации приводятся лишь основные варианты), и местами не поддается прочтению (частично из-за

² См.: Кюхельбекер В. К. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2. Л., 1967 («Б-ка поэта», Большая серия), с. 420—425.

плохой сохранности автографа). Рукопись хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.³

<1-й отрывок. Начало.>

Напишите мне что-нибудь о Баргузине? Да что я напишу Вам о Баргузине? — Об омулевом промысле? — Статья прекрасная, только не для вашей легкой чисто литературной газеты,⁴ а для какой-нибудь тяжеловесной статистики. — Вдобавок омулевый и все прочие промыслы в большом упадке в нашем краю, да я и мало в них знаю толку. О правах и обычаях любезных жителей и жительниц богоспасаемого града Баргузина и окрестных селений? — Эти нравы и обычаи до того грязны, что и упомянуть о них в вашем Метляке значило бы замарать его опрятные красивые крылышки, а ювеналовские возгласы, которыми я поповево приправлял бы свои очерки, усыпили бы ваших читателей. — Лучше расскажу вам Баргузинскую сказку, в ней по моему мнению, смысл глубокий; это история Эдипа, но Эдипа между христианами. Не ожидайте впрочем от меня бойких замашек знаменитого Казака Луганского: я к несчастью не родился простолюдином и если бы даже удалось мне подделаться под слог простонародный, — все бы это было подделкой, мне же кажется, что и самая лучшая подделка никуда не годится! — Но без предисловий.

Жил-был когда-то и где-то или, как говорят в сказках, в некотором царстве в некотором государстве старик, и женился он на молодой жене, и дал им бог сына. Народ же в этом царстве был крещеный, и, как водится в землях христианских, у них были церкви, монастыри и священники. Но водились и ворожеи, ведуны и кликуши, а старик, про которого рассказываем, более многих других держался суеверий прародительских. — Вот почему еще до святого крещения и привел он к зыбке сына старушку-кликушу, чтобы предрекла она судьбу новорожденному.

Завизжала, захохотала кликуша, как только взглянула на младенца, и с хохоту даже на пол упала. — Вот вспрыгнула, поцеловала его в лоб и, приплясывая от радости, стала припевать над ним.

Люблю молодца —
Устукнет <?> отца ⁵
На матери жешится —
Убьет двух попов,
Что не сняли грехов!
Потом переменится! —

³ ГБЛ, ф. 218, № 361.16.

⁴ Было: вашего легкого Метляка.

⁵ Было: Убьет он отца

Только последний стих она пропела жалобно,⁶ да тут же подхватила: пу что же? — и за спасибо будет с вас, божки мои рога-тенькие!

И опрометью выбежала из избы, потому что вошел священник, который водил хлеб-соль с стариком, и нарочно зашел, чтобы наведаться: скоро ли в храм божий понесут крестить ребенка? Не до того уже было несчастному отцу: онемел, ошеломленный зловещим предсказанием, и насилиу понял, зачем к нему священник пожаловал. — Между тем повивальная бабушка распорядилась: ребенка окрестили, расстройство же отца приписали недугу. — Между тем у старика было свое на уме: «Пусть его лучше волки съедят, чем вырасти ему и быть чудовищем!» — вот что думал он о сыне и, дождавшись ночи, несмотря на слезы матери, взял младенца и вынес его в темный лес, где и оставил зверям на съедение. — В наш век это ему не сошло бы с рук: волостное правление, заседатель, исправник, вероятно, вступились бы и по крайней мере спросили бы почтенного старика, куда девался его Иван, Иваном же назван был ребенок при крещении. Но в то время было все проще и никому и в голову не приходило осмотреть пустой гроб, который старик похоронил вместо своего наследника. — Неподалеку от места, куда старик вынес ребенка, был девичий монастырь. Инокниги тогда еще хаживали в лес по грибы и ягоды: вот почему одна из них и нашла Ванюшку в лесу и принесла его в обитель. — Отдали ребенка на руки монастырскому пастуху, и он взрастил его. Вырос мальчик, стал молодец молодцом, и оставаться ему в монастыре уже нельзя было, особенно еще потому, что порою стал засматриваться на хорошеньких белиц обители. Итак, однажды призвала его старушка игуменья, благословила его, снабдила на дорогу деньжонками и отпустила во все четыре стороны.

Шел-шел Ванюшка путем-дорогою и наконец прибрел в то селение, где родился и где еще отец и мать его здравствовали. — Разгульная был Ваня головушка и вскоре по кабакам с добрыми товарищами и по вечеркам с красными девушками спустил дочиста все благословение старушки игуменьи, т. е. денежки, которыми она снабдила его. — Нечего было делать: ведь не пропадать было с голоду, и вот он нанялся к богатому мужику в работники. Случись же такое, что этот мужик был родной его батюшка. Между тем наступила осень; капуста, морковь, репа и прочая овощь у хозяина Иванова родилась славно; только и воры же в этом селении были удалые: так и опустошают огород крестьянина. Вот и приставил⁷

⁶ Было: при последнем стихе она заплакала

⁷ На этом лист кончается. Далее пропуск.

в другой край в какой-то город. «Пойду я к протопопу соборному: недаром он старший над священниками, должен быть умнее». Вот пришел, требует, чтобы тот исповедал его, исповедуется, что же? От протопопа ответ тот же, что от простого попа деревенского. Застрелил Иван протопопа соборного и бежал в другое соседнее государство. А в том царстве давно уже славился своим житием некий старец отшельник. К нему-то напоследок пришел Иван и принес ему он покаяние и прибавил: «Двух попов я убил за то, что не возложили на меня эпитимьи». — «Тяжки, — сказал отшельник, — грехи твои, но неисчерпаемое божие милосердие. Вот, чадо, эпитимья тебе. В трех верстах от моей кельи в лесу запустелая церковь. Давно в ней нет ни икон, ни креста животворящего. Какое-то святотатство в старые годы тут случилось: вот почему и от стен этой церкви откоснулась благодать и получили лукавые духи власть посещать ее и пугать и соблазнять грешников, которые бы зашли туда. — Ступай, поселись в ее развалинах, молись, не принимая пищи, не предаваясь сну, не сдавайся на соблазны, и, если устоишь, так бог тебя помилует и отпустит тебе твои преступления». — И обрадовался Иван, поклонился отшельнику в ноги и поселился в той церкви. — Всячески прельщал страдальца Демон: и пищу ему, голодному, предлагал самую вкусную, и приносил ему, жаждающему, воду студеную и вино сладкое, и пугал его страшными. — Но Иван молился неустанно за успокоение душ отца, матери и убитых священников, не вставая с помоста, лил слезы горячие и взывал к отцу небесному денно и ночью без сна и без пищи. И что же, целый год прошел, и вдруг было видение отшельнику: иди и погребви тело страсто-тернца божия. — Пришел отшельник и пал на колени и просил милосердие и чудотворное всемогущество божие. — Лежал Иван, будто спящий, и лицо его процвело улыбкою и от тела исходило благоухание несказанное. Освятил Иван своим покаянием снова ту церковь и сам спас душу свою. И⁸ вновь храм украсили благолепно. Погребли труженика, и много приходило народу поклоняться мощам его.

— Вот, м. г. А. И.*** наша Баргузинская сказка. — По моему мнению, в ней смысл глубокий, и откровенно признаюсь, я ее ставлю гораздо выше пресловутого мифа об Эдипе, в котором те же ужасы, но вовсе не видно, почему Эдип мог сделаться потом угодником сам небесным.

Рассказал же мне эту сказку мой работник, баргуз⟨инский⟩ мещанин Алекс⟨ей⟩ К⟨нрзб⟩).

⁸ Далее было: славная стала та церковь.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ТЕКСТ А. А. БЕСТУЖЕВА

Публикуемый ниже не известный в печати текст обнаружен нами при разборе и систематизации архива бр. Бестужевых в ИРЛИ, среди черновых автографов А. А. Бестужева (Марлинского), представляющих собою отдельные фрагменты художественных текстов и заготовки к ним (ф. 604, № 7, л. 75, 67, 68).¹ В отличие от всех остальных, этот фрагмент имеет самостоятельное значение и отличается относительной внутренней завершенностью; это сцена, либо принадлежавшая ранней редакции какого-то произведения, либо предназначавшаяся для ненаписанного очерка или повести «кавказского» цикла (1830—1836 гг.). Ни содержание, ни внешние признаки рукописи не дают возможности более точной датировки ее или приурочивания; тем не менее и в дошедшем до нас виде текст представляет значительный интерес.

В литературе о Бестужеве уже было обращено внимание на характерную особенность его позиции в отношении кавказских войн. Начиная с 1831 г. в его письмах и произведениях настойчиво звучит просветительская тема «мирного покорения» Кавказа на основе всестороннего изучения исторических и этнических особенностей кавказских племен. В «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев», в «Аммалат-беке» он устами своих излюбленных героев провозглашает необходимость просвещения, которое нередко противопоставляет «трехгранным доказательствам» штыков. Эта позиция Бестужева вполне соответствовала тому взгляду на кавказские войны, который высказывался и другими декабристами — Н. И. Лорером, А. Е. Розеном;² близкую концепцию мы находим и в «Путешествии в Арзрум» Пушкина и в его «Тазите», где теме «просвещения» Кавказа уделено особое место.³

Вновь обнаруженный текст дает дополнительные материалы для изучения этой темы, столь существенной в общей системе мировоззрения декабристов и, в частности, А. А. Бестужева. Ни в одном из известных нам произведений писателя она не выявилась с такой почти публицистической обнаженностью, как в публикуемой нами сцене. Как это нередко у Бестужева, она

¹ См.: Капелюш Б. Н. Архив братьев Бестужевых. — В кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1972 год. Л., 1974, с. 12—13.

² См. об этом подробнее: Базанов В. Очерки декабристской литературы. Публицистика. Проза. Критика. М., 1953, с. 454 и след.

³ См., например: Комарович В. Л. Вторая кавказская поэма Пушкина. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, 6. М.—Л., 1941, с. 230 и след.; Еремин М. П. Пушкин-публицист. М.—Л., 1963, с. 271—273 и др.

возникает в споре между героями, из которых один выражает авторскую или близкую к авторской позицию. Мы лишены возможности судить о всем диалоге в целом; однако несомненно, что авторские симпатии — на стороне полковника, утверждающего идею просвещения (в уста его противнику — драгунскому капитану — вложена, в частности, мысль о благотворном действии «трехгранной логики», оспоренная, как мы помним, еще в «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев»). Детальное изучение этих проблем не может, естественно, входить в задачи настоящей публикации; ее дело — ввести в оборот не известный ранее материал и обозначить отправные точки для его дальнейшего углубленного изучения.



Наконец мы въехали в самые горы. Все выше и выше вставали великаны Кавказа друг над другом будто затем, чтобы взглянуть на нас. Ущелие, по которому ехали мы, стеснялось впереди и, казалось, задвигало нам путь скалами. Вправе садилось солнце и огненный круг его сиял, как царственный венец над снежною порфирую, накинутою на рамена близнецов Эльбруса.

Дубы, опершись в расселины камней когтистою пятою, едва шевелили листьями, будто роища вечерний намаз, и горные ключи, шипя змейками-серброчешуйками, звучно сливались в ручей, по берегу которого мы ехали. Он одио говорил и плескал, и сверкал посреди общей тишины и недвижности, и вот между небом и землей стала сноваться дымка туманов, опутывая смелый взор человека еще ранее, чем почная тьма скрыла от него красоты природы.

Черкесы, предводимые белидом,⁴ т. е. проводником, ехали впереди и сзади нас с ружьями под рукой ... тихо, осторожно. Кораллы с беспокойством, с нетерпением подъезжает к тому, то к другому из них, уговаривая не выдавать в случае нападения. Полковник рядом с племянником своим ехал передо мною. Со мною об руку рысил гусар. Драгунский Капитан был в замке.

Холмы, как волны зеленого моря, с грядками осенних цветов вместо пены по гребням, исчезали позади, а впереди, падая крутоярами, переходили, наконец, в утесы. На вечерней свежести веяли острее ароматы, живее становились все чувства. Каждый из спутников, любуясь окрестностями, поехал в страну мечтой на любимом коньке своем. Я любовался ими всеми, прислушиваясь к пестрым речам каждого.

«Черт меня возьми, — сказал Драгунский Капитан, подъезжая к полковнику, — на этом возвышении можно бы построить

⁴ Бэлэд (перс.) — проводник, гид, копвой. А. А. Бестужев, вероятно, взял это слово из тюркского языка, отсюда — белид.

славную крепостцу. Она бы стала замком этого ущелия. Правду сказать, с правой стороны ею командует один гребень, да это вздор ... ружейная пуля сюда не хватит, а прежде чем у горцев будут пушки, русские заберутся гораздо далее. Посмотрите, Полковник, воды пей — не хочу, лесу жги — не жалей, и пастбища под самыми пушками, которые так лихо будут обстреливать во все стороны, что вороги не пролетит без спросу!»

«Да, прекрасное местечко, — отвечал Полковник, — этот ручей можно бы запрудить ... под горою ... берега у него круты и каменной для плотины вдоволь...».

«Выдумка хороша, Полковник», — возразил Драгунский Капитан, поворачиваясь во все стороны на седле, — только бесполезна. Нельзя на один раз затопить подошву этого холма, но плотина всегда будет во власти неприятеля, который...»

«Вы очень ошибаетесь, Капитан», — сказал Полковник, — я хочу запрудить ручей для постройки мельницы...».

«Не хотите ли вы молоты на шей костей для гарнизона моей крепости?», — с усмешкой спросил Капитан.

«Не кости и не муку, господин Капитан, я бы устроил здесь пильную мельницу. Оглянитесь кругом, полюбуйтесь на эти леса ... стоит только ударить топором и буковые, дубовые, ореховые деревья покатаются под пилу...».

«А что касается до ореха, здесь чудесный орех ... у большей части Кавказских полков все ружейные ложи из орехового дерева — и загляденсь».

«Вот то-то же, Капитан ... я бы из редких деревьев составил для Кавказа богатую ветвь промышленности — так, что во всей России мы перестали бы на экипажи и мебели выписывать дёрзевь» я за три дорогах из-за тридцати морей».

«Выдумка хороша, Полковник, помилуй бог, как хороша, одна беда: она неисполнима ... За каждой чудесной палкой надобно будет ходить на вылазку и драться за пень, как за провинцию. Не говоря уже о том, что для каждого воза с деревом надобно будет давать почетную стражу».

«Вы всё хотите делать завоевания с огнем и мечом, Капитан».

«Надеюсь, что завоевания иначе не делаются, Полковник».

«Весьма ошибаетесь, почтеннейший, точно так же, как я сам в то время, когда послал военный мундир. Нет, сударь: самые прочные, самые справедливые завоевания бывают с плугом или рублем в руке. Торговля опустает дикаря скорее своими серебряными цепями, чем крепости и пушки и военные линии — и я ставлю того лучшим из завоевателей, кто отнимет у степи поле под посев, набросит свою землю на голый камень или вырубит лес, который лелеял в тени своей гнилые болота, — хранилица разных болезней».

«Очень жаль, Полковник, что горцы не слушают ваших идиллий о прелестьях сельской жизни и вместо того, чтобы пошвейцарски доить гладких коров, холят для наездков боевых ко-

пей. Кавказ самой природою создан для орлов, волков и разбойников... Нет долин для избыточн<ых>,⁵ никаких дорог для привозу, никаких рек для сплаву, что вы тут прикажете делать купцу? Каким образом покатыся взад и вперед деньги по этим ущельям, запертым весною обвалами — зимою снегами, всегда утесами... Горец беден, как церковная мышь, и храбр, как сабля. Стало быть, очень хорошо понимает, что краденое дешевле купленного и иногда он и хотел бы купить да не может, а потом всегда хочет отбить [что] может. Кроме того, он ревнив к своей воле, ибо он боится сам и другим мешает возделывать смежные с нами холмы, избегая опасного соседства. Забавны вы, г<оспо>да Агриколы, со своими новыми методами: не можете уломать русских староверов, чтобы они завели плодоменную методу, а заезжаете со своими сеяльниками да веяльниками к людям, которые любят пахать землю подковами коней и жать чужой хлеб саблями. Черт меня возьми, Полковник, я знаю этот пародец не со вчераш<него> дня... Им понятна одна трехгран<ная> логика, и если вы хотите засеять Кавказ картофелем да кашкой, так засейте его сперва картофью. Дали бы мне волю над этим краем хоть на одно лето, я бы населил Оренбург или Финляндию этими разбойниками-узденями, которых не усовестить ни крестом, ни пестом. Я бы покати́л головой на Аулы и потом милости просим вас, сельских хозяев, межевать горы и садить и рядить как угодно — на пепле всходят чудесные виноградники!..».

«Слава богу, люб<езный> Капитан, что бодливому бог рог не дает.

Что за прелестное место для фермы, — вскричал Полковник, — на этом полуденном скате разостлал<ся> бы у м<еня> виноградн<ик>, на этом песчаном кряже посеял бы поле картофеля. . . Тут подле до<ма?> потяпул<ись> бы гряды со всяк<ими> огор<одными> прихотями. . . Кругом лучами раскипул<ись> бы полосатые нивы с многообразн<ыми> злаками. . . по берегу ручья засеял бы я выгоны с душистой кашкою и шафраном, по которому бродили бы голландс<кие> коровы и от них за полверсты пахло бы швейцар<ским> сыром».

«Какая славная позиция для засады, — воскликнул вновь Драгун<ский> Капитан, при<поднявшись?> на стрем<ени>, — за этим обрывом в балке можно бы скрыть целый батальон пехоты и павести на него хищников так, чтобы сотой не унес души в поле».

«Тише едешь, дальше будешь. Ведь и ястреба ручным делают. . ., а горцы хоть и головорезы, да все же люди. Я бы так стал действовать скромно да мирно».

«Не хотите ли вы быть миссионером, Полковник?..».

⁵ Далее текст испорчен.

«А почему бы и не начать с этого, почтеннейший! Горды не такие фанатики, как прочие мусульмане, и евангельское учение укротило, обуздало бы их бурные нравы, уничтожило бы их разбойничьи привычки».

«А что касается до веры, они очень хладнокровны, и в этом-то вся беда. Английские миссионеры с ка<ких> пор выют здесь из песка веревку — и все даром. Недавно было завелась у горцев преудивительная ревность к чтению священных книг, на их язык переведенных ... Англичане не нахваливались, не пародовались и ... возами требуют книг из библейского общества. Что ж бы вы думали? Во всех стычках с н<а>ми⁶ патроны их были, кажется <?> из дарек<ных> книг».

«Плохо, однако ж не безнадежно. — Упорство их должно увеличить паше терпение, нашу деятельность. Справедливость и кротость наша покорит, наконец, их вероломство. Собствен<ный> пример...».

«Особенно тперешний, — перервал его Капит<ан> смеючись. — Мы, то есть и вы в том числе, подаем прекрасный образец кротости и справед<ливости> горцам, вкрадываясь в их земли для того, чтобы похитить красивенькую девушку от жениха... и, вероятно, не без крови».

Полковник смутился... «Да, конечно, без сомнения» <...>

А. Л. ЛЕВКОВИЧ

К ЦЕНЗУРНОЙ ИСТОРИИ СОЧИНЕНИЙ А. А. БЕСТУЖЕВА

Александр Бестужев погиб в зените своей славы, когда, по выражению Белинского, «все были перед ним на коленях», а издания его повестей «таяли на полках как подмоченный сахар». Однако бывший издатель «Полярной звезды», автор острых, задиристых критик и повестей, завоевавших популярность у «любительниц и любителей отечественной словесности», после разгрома восстания 14 декабря исчез с литературного горизонта. Бывший блестящий адъютант герцога Вюртембергского тянул на Кавказе солдатскую лямку. Рядовому Александру Бестужеву было разрешено выступать в печати, но без указания имени сочинителя. Его небольшие очерки, стихотворения и переводы появлялись в печати без подписи, иногда подпись заменяла помета «Дагестан» и дата, очень редко — инициалы «А. Б.». Большинство же произведений и почти все повести печатались под псевдонимом Марлинский или с инициалами «А. М.». Кто скрывался за именем Марлинского, не могло долго оставаться загадкой для внимательных читателей. Так в начале 20-х годов подписывал неко-

⁶ Далее начато: мы находили [их патроны?] [из] книг.

торые свои статьи начинающий критик А. Бестужев. Тогда же, в ходе полемических споров, идентичность имен Марлинского и Бестужева была установлена. Знатоки словесности, встретив вновь имя Марлинского, могли вспомнить, кому оно принадлежало, к тому же цветистый, романтически приподнятый слог Бестужева одинаково отличал его исторические повести, печатавшиеся в «Полярной звезде», и повести 30-х годов из жизни света или кавказских горцев. Деятельными агентами в распространении известий об авторе «Аммалат-бека» были кавказские офицеры, часто наезжавшие в обе столицы. Кроме того, сам Бестужев всячески старался открыть читателям свое настоящее имя. Так, повесть «Наезды» в «Сыне отечества» (1831, №№ 7—16) была подписана «А. Б.», а когда в 1832 г. стали выходить его «Русские повести и рассказы», он настаивал, чтобы рядом с новыми произведениями Марлинского помещались и старые повести Бестужева.¹ Таким образом, читатели несомненно знали, что Марлинский — это разжалованный декабрист Александр Бестужев, а цензура и III Отделение, не вдаваясь в существо дела, неукоснительно выполняли «высочайшую волю»: настоящее имя сочинителя никогда не упоминалось. «Многие тогда, — вспоминал М. А. Корф, — восхищались произведениями его бойкого, хотя всегда жеманного пера, но никто не смел печатно поднять завесы с его псевдонима».² Однажды, впрочем, имя государственного преступника Бестужева, которому высочайшей милостью было разрешено погибнуть на Кавказе, и популярнейшего писателя, кумира читающей публики Марлинского, соединились.

В начале 1839 г. А. Ф. Смирдин издал первый том альманаха «Сто русских литераторов». Из произведений Бестужева здесь были помещены стихотворение «Сон», неоконченная повесть «Мечь» и заключение повести «Мулла-Нур». Имя «Бестужев» стояло и на титуле альманаха и в оглавлении. В альманахе был помещен также портрет писателя с его факсимиле. Привлекательное открытое лицо, горделивый излом бровей, кавказская бурка — все это соответствовало тому облику идеального автора-героя, страстного искателя приключений и храброго победителя горцев, которому подражали молодые люди 30-х годов, слогом которого они объяснялись с дамами и писали письма. Портрет Смирдин «выпросил» у сестры писателя Елены Александровны.³ Этот портрет был послан ей Бестужевым еще из Якутска перед отъ-

¹ См. его письмо к Е. А. Бестужевой от 11 декабря 1830 г. (Русский вестник, 1861, № 4, с. 433) и Н. И. Гречу от 9 марта 1833 г. (Голос минувшего, 1917, № 1, с. 268—269). В ч. III «Русских повестей и рассказов» (1832) был помещен «Замок Нейгаузен» (впервые в «Полярной звезде» на 1824 г.), в ч. IV (1832) — «Замок Венден» (впервые в «Библиотеке для чтения» за 1823 г., кн. 9) и «Ревельский турнир» (впервые в «Полярной звезде» на 1825 г.).

² Корф М. А. Из записок. — Русская старина, 1899, т. 99, август, с. 8.

³ Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 409.

ездом на Кавказ при письме от 25 марта 1829 г. Сам Бестужев был доволен портретом и несколько раз в письмах запрашивал родных о его получении.⁴ По словам Е. А. Бестужевой, бурку на портрете нарисовала («накинула») она сама непосредственно перед изданием, чтобы изображение несло отпечаток романтического ореола, который окружал автора.

Обнародование портрета вызвало правительственную бурю, закончившуюся увольнением в отставку непосредственного помощника А. Х. Бенкендорфа, управляющего канцелярией III Отделения А. Н. Мордвинова. Свидетельства современников позволяют судить об общественном резонансе, вызванном появлением портрета. Записи об этом эпизоде мы находим в дневниках М. А. Корфа, А. В. Никитенко, Р. М. Зотова, К. Н. Лебедева, И. Г. Головина. В 1843 г. об увольнении Мордвинова напомнил П. А. Вяземский А. И. Тургеневу, когда группа литераторов хотела издать биографию М. Ф. Орлова, также с приложением его портрета.⁵ В 1862 г. эту историю вспомнили чиновники III Отделения в связи с изданием сочинений осужденного на каторгу поэта М. И. Михайлова.⁶ Не только портрет Михайлова, но и само издание были запрещены.⁷

Публикация портрета затмила другой проступок Смирдина. Среди поднявшейся суматохи никто не вспомнил, что в альманахе впервые печатно было заявлено настоящее имя Марлинского. Осторожный Булгарин, рецензируя «Сто русских литераторов» и рассыпаясь в похвалах, не решился упомянуть это имя. «Статьи 5, 6 и 7 Марлинского, — писал он. — Мулла-Нур. Повесть все мы знаем, а это заключение — Месть, отрывок из повести. Эти отрывки то же, что обломки богатой вазы, расписанной великими живописцами. Целого нет и не будет, а потому и отрывки драгоценны любителям. Сон — это испарение души — пийтической, удрученной скорбью. Прекрасное творение!»⁸ Таким образом, можно было хвалить автора, напоминать о его трагической судьбе и даже (что сделал Смирдин и на что не решился Булгарин) раскрыть псевдоним. Решительный запрет налагался только на портрет. Почему именно публикация портрета была серьезным проступком, объясняет в своем дневнике либеральный чиновник и любитель литературы, впоследствии сенатор К. Н. Лебедев. Узнав об «оплошном дозволении напечатать под портретом Марлинского: Бестужев», он записывает: «Преступник, даже тот, которому позволено было издавать свои сочинения, не должен

⁴ См. письма от 10 апреля 1829 г. и 4 апреля 1830 г.: ИРЛИ, Архив Бестужевых, № 5580, л. 81, № 5581, л. 85.

⁵ Письмо от 24 марта 1843 г.: Остафьевский архив. Т. IV. СПб., 1899, с. 234.

⁶ См.: Поляков А. С. О смерти Пушкина. Пб., 1922, с. 75.

⁷ Сводку опубликованных материалов о портрете Бестужева см. в кн.: Алексеев М. П. Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928, с. 12.

⁸ Северная пчела, 1839, № 58, 14 марта, с. 231.

иметь преимущества народной картины; одно снисхождение не дает права для публичной привилегии».⁹ Таким образом, напечатанный и размноженный портрет расценивался как «публичная привилегия».

Документы, относящиеся к публикации портрета, и сам портрет хранятся в архиве III Отделения в «Деле о государственном преступнике Александре Бестужева».¹⁰ Альмапах появился в продаже в конце февраля, а буря грянула 15 марта, когда его увидел Николай I. По воспоминаниям Р. М. Зотова, «книгу привез государю великий князь Михаил Павлович и показал, что вместе с портретом Михайловского-Данилевского здесь был и портрет Бестужева», т. е. «что вместе с генералом поместили и бунтовщика».¹¹ Е. А. Бестужева дополняет этот эпизод словами царя: «Его развесили везде, а он хотел нас перевешать».¹² Царь, как пишет Е. А. Бестужева, «был взбешен», и первым следствием царского гнева явилось письмо Бенкендорфа, посланное 15 марта на имя председателя цензурного комитета С. С. Уварова, в котором сообщалось: «Государь император, усмотрев, что в выпешдем в недавнем времени 1-м томе сочинения „Сто русских литераторов“ помещен портрет Бестужева, крайне чему изволил удивиться и недоумевать, каким образом могло сие быть допущено». Уварову предлагалось уведомить Бенкендорфа, «с чьего разрешения сие сделано и кто в этом случае виноват».¹³ В тот же день, 15 марта, к Уварову был спешно вызван цензор Никитенко. В своем дневнике он записал: «Получен грозный высочайший запрос, кто осмелился пропустить портрет Бестужева — в альманахе Смирдина „Сто русских литераторов“. Книга подписана мною, но портрет пропущен в III Отделении Собственной канцелярии государя. Известно, чем кончится эта суматоха... Говорят, наш министр очень непрочен при дворе».¹⁴ Но «министра», т. е. Уварова, гроза не задела. Получив разъяснение от цензора, успокоенный Уваров на следующий день не без яда отвечал главе III Отделения: «... по истребовании надлежащих по сему предмету сведений, имею честь ответить, что в силу Высочайшего повеления, сделанного мне Вашим сиятельством в декабре 1834 г., сочинения Бестужева (А. Марлинского) не подлежат общим цензурным правилам и дозволяются обыкновенно

⁹ Лебедев К. Н. Из записок. — Русский архив, 1910, кн. 2, с. 396.

¹⁰ ЦГАОРСС, ф. 109, оп. № 1, ед. хр. № 61, г. 1826, ч. 53 (в дальнейшем: Дело).

¹¹ Зотов Р. М. Записки. — Исторический вестник, 1896, № 9, с. 595.

¹² Воспоминания Бестужевых, с. 409. — В воспоминаниях И. Г. Головина слова Николая I переданы иначе: «Ceux qui ont merité d'être pendus vont être suspendus», т. е. «Те, которые заслужили виселицу, ныне заслужили честь вывесить свои портреты» (Император Николай I по характеристике его современника, эмигранта-публициста И. Г. Головина. — Русская старина, 1917, № 9, с. 3).

¹³ Дело, л. 40.

¹⁴ Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. Л., 1955, с. 207.

цензурю не иначе, как по разрешениям III Отделения Собственной его имп. величества канцелярии. Согласно с сим приложенный к 1 тому книги: Сто русских литераторов портрет Бестужева напечатан в сей книге с предварительного разрешения помянутого отделения, как Ваше сиятельство изволит усмотреть из подписи на прилагаемом при сем экземпляре, с которого сделаны оттиски».

Никитенко мог не опасаться кары, так как на «прилагаемом портрете» написанная его рукой обязательная формула «печатать позволяется» сопровождалась словами «на основании разрешения III отделения Канцелярии», а выше записи Никитенко — подпись цензора при III Отделении Евс. Ольдекопа удостоверяла: «Со стороны III отделения нет препятствия к отпечатанию сего портрета». ¹⁵ Очевидно, Ольдекоп, прежде чем подписать разрешение, советовался со своим непосредственным начальником А. Н. Мордвиновым. Хорошо осведомленный Никитенко уже 16 марта знал, что «беда» обрушится на Мордвинова, который «допустил Ольдекопа подписать портрет Бестужева». 18 марта Мордвинов был уволен от службы, а 24 марта должность начальника канцелярии занял Дубельт, от которого и исходят следующие распоряжения, касающиеся отпечатанного портрета: остановить продажу, разыскать и уничтожить нераспроданные экземпляры.

К этому времени в III Отделении уже знали, что тот же портрет Бестужева был помещен и в XI томе «Сочинений» Марлинского. 11 апреля на имя начальников 1-го (Петербург) и 2-го (Москва) округов корпуса жандармов Полозова и Перфильева посылаются распоряжения «войти в изустное сношение с книгопродавцами», «приглашая их частным и негласным образом к себе», и «стараться» также «совершенно частным и негласным образом отобрать у них все портреты Александра Бестужева, находящиеся в книгах под заглавием „Сто русских литераторов“, издаваемой книгопродавцем Смирдиным, и сочинениях Марлинского, издаваемых его сестрою, Г-жею Бестужевой». ¹⁶ Кроме того, от Смирдина было потребовано письменное объяснение, которое также сохранилось в «Деле». Приводим этот любопытный документ:

«Его превосходительству Господину
Генерал-Лейтенанту и Кавалеру
Полозову

Имею честь донести Вашему превосходительству, что портрет Александра Бестужева заказан был мною выгравировать в Лондоне на стали с отпечатанием с него 6500 оттисков, которые мною

¹⁵ Дело, л. 41—42.

¹⁶ Там же, л. 43—46.

и получены, из сего количества мною выдано наследникам Бестужева 2000 экземпляров. Доставлено в III Отделение собственной Его императорского величества канцелярии 2000 экз. При сем представляется 294 экз., а затем остальные 2206 экземпляров розданы подписавшимся при издаваемой мною книге Сто русских литераторов, из подписавшихся получили здешние книгопродавцы, а именно: Илья Иванов Глазунов 200 экз., Василий Петров Поляков 120 экз., Матвей Иванов Заикин 50 экз., Николай Исаев Исаев 20 экз., в Москве тамошние книгопродавцы: Александр Сергеев Ширяев 300 экз., Ксенофонт Алексеев Полевой 100 экз., Василий Васильев Логинов 100 экз., Андрей Васильев Глазунов 25 экз., Николай Николаев Глазунов 25 экз.; в Москве в моем книжном магазине продано до 150 экземпляров, а остальные 1400 экземпляров розданы разным лицам, подписавшимся в С. Петербурге в моем книжном магазине.

Сверх вышеозначенного количества 6500 экз. портрета Бестужева еще было отправлено из Лондона в С. Петербург на купеческом корабле 17 000 оттисков разных картин для книги Сто русских литераторов, в числе коих был и портрет, но количество экземпляров мне неизвестно, корабль сей был разбит бурей и ящик с картинами выброшен на шведский берег, где и продан с аукциона. Картины сии находятся в городе Готенбурге, о чем и было донесено нашим Г. Консулом Лангом департаменту иностранных дел.

Картины эти мне теперь не нужны и вытребовать их оттуда я не памерен.

Гравированная доска портрета Бестужева находится в Лондоне, с которой можно сделать оттисков до 40 тысяч экземпляров. Если будет угодно приказать мне, то я и оную вытребую из Лондона для уничтожения.

Книгопродавец Александр Смирдин -

СПБ.

апреля 12 дня
1839 года».

Вытребовать доску приказали непременно, и на этом же объяснении, ниже подписи, рукой Смирдина приписано обязательство: «Доску с портрета Александра Бестужева по получении из Лондона обязуюсь немедленно доставить его превосходительству Г-ну Генерал-лейтенанту Полозову».¹⁷

Получив сведения у Смирнова, III Отделение предприняло грандиозную попытку изъять из обращения оставшиеся нераспроданными экземпляры. Е. А. Бестужева рассказывала Семейскому: «Ко мне требование об уничтожении. Я было сопротивляться, что не мне же публику обманывать, нет. Пошли в кладо-

¹⁷ Там же, л. 45—46.

вые вырывать. Представила 900 экземпляров по простоте. Все они потом проданы III отд. в Гостиный двор. А надо было мне только 96 отдать. Проста была. Переплетчик не так прост, он украл 70 экз. 1-й части, да на ярмарке и продал». ¹⁸ Кроме этих 900 экземпляров в III Отделение от петербургских книгопродавцев было доставлено, судя по документам «Дела», еще 416 экземпляров (включая 294 экземпляра, о которых пишет Смирдин).

Со своей стороны Перфильев 1 мая доносил Бенкендорфу о результатах «негласных» разговоров с московскими книгопродавцами: «коммерции советник Ширяев доставил пять экземпляров портрета Бестужева, Ксенофонт Полевой семь, Свешников три, Логинов три, Смирдин два, Петр Глазунов один, всего двадцать один, оставшиеся у них за продажей книги под заглавием Сто русских литераторов и Сочинения Марлинского. Так они сами объявили, но, дабы отнять у них возможность иметь после сего в библиотеках своих книги с портретом Бестужева, я признал полезным потребовать у них сведения, кому проданы помянутые книги, и на это с готовностью Ширяев, Полевой, Андрей Глазунов (комиссионер Императорской публичной библиотеки), Логинов, Смирдин и Николай Глазунов доставили мне имена лиц, кому были отправлены книги, а другие, а именно Свешников объявил, что у него было только 11 экземпляров книги Сто русских литераторов и 8 проданы неизвестным лицам, Петр Глазунов, что у него было сей книги 3 экземпляра и 2 проданы неизвестным лицам, книгопродавец Хрусталева, что у него первой книги было 10 экземпляров, а сочинения Марлинского 15 и все распроданы неизвестным лицам.— Прочих же мелочных книгопродавцев в Москве я не почел за нужное приглашать, ибо по сделанному предварительно частным образом разысканию они отозвались, что у них тех книг не было и нет». Донесение заканчивалось обещанием «иметь секретное наблюдение» «за тем, не окажется ли подобных здесь (портретов) в продаже». ¹⁹

К донесению прилагались «списки лицам, получившим от здешних книгопродавцев книги с портретом Бестужева». В списках всего названо 844 жителей Москвы и других городов Российской империи, с указанием звания и количества купленных экземпляров.

Таким образом, пока Дубельт принимал дело канцелярии и велась переписка между столицами, большинство экземпляров, полученных книгопродавцами, было продано. Из 2006 экземпляров, розданных Смирдиным по подписке, в III Отделение поступило только 437.

После амнистии декабристам портреты Бестужева появились в свободной продаже. По словам Е. А. Бестужевой, книгопродавцы покупали их у предусмотрительных чиновников III Отде-

¹⁸ Воспоминания Бестужевых, с. 409.

¹⁹ Дело, л. 49.

ления. Но были еще владельцы, купившие портреты на аукционе в Гетеборге, книгопродавцы, догадавшиеся в своих отчетах сослаться на продажу «неизвестным лицам» и, возможно, также припрятавшие часть портретов. Обладатели альманаха «Сто русских литераторов» покупали портрет и вклеивали его на прежнее место. Такие экземпляры с вырванными и вклеенными портретами часто встречаются в библиотеках. До амнистии «права народной картины» «государственные преступники» были лишены, и только Герцен нарушил этот порядок, поместив профильные изображения пяти казненных декабристов на страницах своей «Полярной звезды».

С. А. Ф О М И Ч Е В

К ИСТОРИИ ТЕКСТА «ГОРЯ ОТ УМА»

Известно, что «Горе от ума» при жизни автора не было опубликовано полностью. В 1824 г. в драматическом альманахе «Русская Талия» были помещены третье действие комедии и 7—10-е явления первого действия — с многочисленными купюрами и искажениями цензурного и издательского характера.

Рукопись окончательной редакции комедии также не дошла до нас. Известен лишь автограф ранней редакции произведения, впоследствии существенно переработанной автором («Музейный автограф»)¹. Сохранилось, однако, огромное количество списков «Горя от ума», каждый из которых содержит искажения авторского текста, внесенные переписчиками.

Вплоть до начала XX в. комедия Грибоедова печаталась по тому или иному списку, который казался редактору наиболее авторитетным или же попросту оказывался у него под рукой. Иногда предпринималась контаминация нескольких списков. Проблема текстологии комедии была решена Н. К. Пиксановым.

¹ Это та рукопись, которую имел в виду Грибоедов в письме к С. Н. Бегичеву (июль 1824): «Кстати, прошу тебя моего манускрипта никому не читать и предать его огню, коли решишься: он так несовершенен, так нечист; представь себе, что я с лишком восемьдесят стихов, или, лучше сказать, рифм переменил, теперь гладко, как стекло. Кроме того, на дороге мне пришло в голову приделать новую развязку; я ее вставил между сценою Чацкого, когда он увидел свою негодяйку со свечою над лестницею, и перед тем, как обличить ее...». В настоящее время рукопись эта хранится в Рукописном отделе Государственного Исторического музея. Впервые Музейный автограф воспроизведен в печати В. Е. Якушкиным (в кн.: Императорский российский исторический музей имени императора Александра III. Описание памятников. Вып. III. Рукопись комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». М., 1903). До нашего времени дошел один список (Бехтеевский) с этой рукописи; хранится в ИРЛИ.

В основу издания 1913 г.² он положил два авторизованных списка, так называемые «Жандровскую рукопись» (правильнее — «список») ³ и «Булгаринский список».⁴

Казалось бы, авторская воля восторжествовала окончательно: для определения ее авторизованные списки так же основательны, как и рукопись. После академического издания «Горя от ума» попытки редакторского произвола по отношению к тексту комедии (а такие попытки были — ср. издания В. Л. Бурцева, П. П. Гнедича, Е. А. Ляцкого) выглядели уже архаичными.⁵

Но если в целом проблема текстологии «Горя от ума» может считаться решенной, то в отдельных деталях до сих пор предлагается несколько взаимоисключающих решений. Достаточно внимательно сравнить между собой различные издания «Горя от ума» последних лет, чтобы убедиться в вариантности некоторых строк произведения.⁶

В основе ее — два обстоятельства. Во-первых, источников текста в данном случае три (Музейный автограф, Жандровский и Булгаринский списки) — и по воле редактора отдается предпочтение

² Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. Т. II. Под ред. и с примеч. Н. К. Пиксанова. СПб., 1913. (Академическая библиотека русских писателей. Вып. 8).

³ Хранится в ГИМ. Воспроизведен в кн.: Горе от ума. Текст Жандровской рукописи, хранящейся в Императорском российском историческом музее имени императора Александра III в Москве. Ред., введ. и примеч. Н. К. Пиксанова. Изд. Л. Э. Бухгейм. М., 1912.

⁴ Хранится в ГИБ. Впервые воспроизведен в кн.: Грибоедов А. С. Горе от ума. Под ред. И. Д. Гарусова. СПб., 1874. — На отдельные неточности данного воспроизведения указано в академическом издании комедии (см. с. 246—247).

⁵ См.: Грибоедов А. С. Горе от ума. Ред. В. Л. Бурцева. Париж, 1919; Грибоедов А. С. Горе от ума. Под ред. П. П. Гнедича Пг., 1919; Грибоедов А. С. Горе от ума. Под ред. Е. А. Ляцкого. Стокгольм, 1920.

⁶ Например, см. строки 384—386 первого действия (1.384—386) в кн.: Грибоедов А. С. Горе от ума. Изд. подготовил Н. К. Пиксанов при участии А. Л. Гришунина. М., 1969. — Они печатаются в следующем виде:

Жить с ними надоест и в ком не сыщешь пятен?
Когда ж постранствуешь, воротисья домой,
И дым Отечества нам сладок и приятен!

Это вариант Булгаринского списка. В Музейном автографе в этих строках мы находим соответственно «сыщем», «постранствуем», «воротимся» — так эти строки напечатаны в кн.: А. С. Грибоедов. Сочинения в стихах. Вступ. статья, подготовка текста и примеч. И. Н. Медведевой. Л., 1967 («Б-ка поэта». Большая серия). В Жандровском списке — «сыщем», «постранствуешь», «воротисья». Этот вариант нам кажется наиболее предпочтительным, так как Жандровский список ввиду наибольшей авторизации должен быть признан основным источником текста «Горя от ума». Что же касается разноречивых глагольных форм в одной фразе, то он не должен нас смущать, ибо в живой речи он вполне возможен. Нам кажется также несомнительным отнесение реплики «Но мудрено из них один скротить как ваш» (I, 416) — Софье (в соответствии с Музейным автографом); в Жандровском и Булгаринском списках это реплика Лизы.

одному из них. Во-вторых, принимая за основу список (а не автограф), редактор может в некоторых случаях предположить ошибку переписчика, не замеченную автором, и обосновать специальным комментарием свое частное исправление. В связи с этим обнаружение третьего авторизованного списка «Горя от ума» могло бы разрешить некоторые частные вопросы текстологии комедии. На первый взгляд, это лишь прекраснодушное мечтание. Однако обследование широкого круга ранних списков комедии убеждает нас в том, что третий авторизованный список «Горя от ума» существовал, а стало быть, не совсем для нас потерян.

Для того чтобы наглядней представить суть проблемы, предположим условно, что авторизованных списков пьесы Грибоедова не существует. Как в таком случае должен устанавливаться подлинный текст «Горя от ума»? Очевидно, для этого существовал бы только один путь: необходимо было бы сравнить между собой большое количество ранних списков комедии, выявив в них различия, и в каждом случае оставить наиболее обоснованный вариант. Стоит ли сейчас предпринимать столь сложную работу? Ведь число дошедших до нас списков комедии достигает, по всей вероятности, тысячи.⁷ Достаточно помножить это число на количество строк комедии (более двух тысяч), чтобы представить возможное обилие вариантов. Конечно, на самом деле их значительно меньше, но сравнение между собой двух первых, взятых на выбор списков сразу же уничтожает надежду на легкое решение вопроса.

И все же широкое обследование списков «Горя от ума» представляется необходимым. Чтобы убедиться в этом, следует взглянуть на выводы, которые предлагаются читателю авторами заметок и статей об отдельных списках грибоедовской пьесы.⁸

⁷ По сведениям П. С. Краснова (см.: Вопросы литературы, 1966, № 10, с. 253—256) в основных архивах Москвы насчитывается около 300 списков «Горя от ума». В Ленинграде их не меньше (только в ИРЛИ — около 100). Немало списков и в других городах.

⁸ См.: Пустынник Горетубанский (Д. Е. Зубарев). Письмо к издателю. — Тифлиссские ведомости, 1832, № 3 (то же: Русская старина, 1874, т. X, № 7, с. 610—614); Грибоедов А. С. Горе от ума. Под ред. И. Д. Гарусова. СПб., 1874; Ильков В. Новые варианты «Горя от ума». — Русская старина, 1879, № 3, с. 567—575; Грибоедов А. С. Горе от ума. Под ред. Д. Г. Эрстова. Тифлис, 1879; Стахович А. А. Ключки воспоминаний. М., 1904, с. 137—140; Протоколы заседаний Историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете за 1904—1905 годы, с. 27—30; Крипский М. Рукопись «Горя от ума». — Русское слово, 1910, № 208, 10 сентября (ср.: О. В.—н. Новый список «Горя от ума». — Речь, 1910, № 252, 14 сентября); А.—ъ Ш.—ъ. Рукопись Грибоедова. — Новое время, 1910, № 12395, 14 сентября); Грибоедов А. С. Горе от ума. Первое действие. Под ред. В. Л. Бурцева. Париж, 1919; Попова О. И. Список «Горя от ума» декабриста А. И. Черкасова. — В кн.: Литературное наследство. Т. 60, кн. 1. М., 1956, с. 497—504 (ср.: Ломунова М. «Разлилась бурным потоком». — Литературная Россия, 1970, № 3, 16 января, с. 15); Богословский П. С. Уральский список «Горя от ума». — Уч. зап. Пермского ун-та, 1929, № 1, вып. 1; Охрименко П. П. Уникальный список комедии «Горе от ума». — Советская культура, 1954, № 18, 11 февраля (ср.: Могилянский А. П.

Обычно вслед за описанием отклонений от канонического текста, с большей или меньшей долей сомнения, авторы данных сообщений считают необходимым высказать предположение о том, что это авторские варианты. При этом вспоминают об отсутствии рукописи комедии, или же пускают в ход тезис о продолжении работы Грибоедова над текстом после 1825 г., или же (это, кстати сказать, наиболее частый аргумент) появляется сакраментальная фраза: «Достаточно сравнить обнаруженный в нашем списке вариант с традиционно принятым, чтобы убедиться в том, что последний менее выразителен...».

Пока списки «Горя от ума» не станут предметом широкого обследования, спорить с подобными утверждениями чрезвычайно сложно. Однако до сих пор такого обследования предпринято не было. Ниже предлагается первая попытка этого рода.

Очевидно, для обоснованности выводов не обязательно исследовать все списки комедии, можно (по крайней мере, на первый случай) взять достаточно большую их группу: например, списки, хранящиеся в каком-либо крупном архивохранилище. Нами с этой целью изучены списки «Горя от ума» из собрания ИРЛИ.

Оговоримся предварительно: нам кажутся необоснованными предположения, что Грибоедов продолжил работу над текстом комедии в последние годы жизни, — сколько-нибудь убедительных аргументов в подтверждение этого до сих пор не предложено. Поэтому из списков комедии нас интересовали лишь наиболее ранние по времени их создания, когда текст «Горя от ума», как это очевидно по Жандровскому списку, находился в процессе авторской доработки.

О происхождении Жандровского списка сохранился рассказ самого А. А. Жандра в передаче Д. А. Смирнова: «Когда Грибоедов приехал в Петербург и в уме своем переделал свою комедию,

По поводу гомельского списка «Горя от ума». — Русская литература, 1963, № 3, с. 163—164); Ениколопов И. К. Еще о кавказском списке «Горя от ума». — Русская литература, 1962, № 1, с. 236—237; Шадури Ваню. Известные варианты «Горя от ума». — Литературная Грузия, 1960, № 10, с. 76—86 (ср.: Находка ученых. Известный автограф «Горя от ума». — Вечерняя Москва, 1960, № 167, 16 июля); Игнатьева А. И. Новый список «Горя от ума». — Вопросы литературы. 1967, № 9, с. 251—254 (ср.: Игнатьева А. И. История текста «Горя от ума» как выражение идейно-художественной эволюции Грибоедова. Автореф. канд. дис. М., 1971); Калугин Ю. Старинный альбом. — Вопросы литературы, 1968, № 8, с. 254; Мартынов П. Н. Полвека в мире книг. Л., 1969, с. 133, 137, 162; Бирюков В. П. Записки уральского краеведа. Челябинск, 1964, с. 61—64; Ласунский О. Власть книги. Рассказы о книгах и книжниках. Воронеж, 1966, с. 170—173 (ср.: В мире книг, 1963, № 10, с. 46); Аристов В. Подарок декабриста (по страницам неизвестных рукописей и забытых книг). Казань, 1970, с. 3—11 (ср.: Казань в истории русской литературы. Сб. 2. Казань, 1968, с. 93—105); Гладыш И. А. и Динесман Т. Г. «Горе от ума». Страницы истории. М., 1971 (ср. рецензию П. С. Краснова: В мире книг, 1971, № 12, с. 45); Васильев А. «Горе от ума» издавалось в Осташкове. — Калининская правда, 1970, № 14, 18 января.

он написал такие ужасные брешьны, что разобраться было невозможно. Видя, что гениальнейшее создание чуть не гибнет, я у него выпросил его полулисты. Он их отдал с совершенною беспечностью. У меня была под руками целая канцелярия; она списала „Горе от ума“ и обогатилась, потому что требовали множество списков. Главный список, поправленный рукою самого Грибоедова, находится у меня».⁹

Отметим важнейшие приметы «главного», т. е. Жандровского, списка, существенные для наших последующих выводов.

Во-первых, это список, тщательно выправленный автором, который пастойчиво устранял все, даже мельчайшие ошибки переписчика. В частности, драматург вписал своею рукою некоторые пропущенные копиистом слова и целые строки: например, IV, 67 (действие IV, строка 67) — «Ругай меня, я сам кляню свое рожденье». Отметим, однако, что ряд описок все же не был замечен писателем, а в немногих случаях исправления сделаны карандашом неизвестно кем именно (возможно, не Грибоедовым).

Во-вторых, в списке была продолжена автором работа над текстом. Многие слова и целые строки Грибоедовым зачеркнуты и вместо них вписаны новые варианты: например, в II, 56 — «А? бунт? [я] ну так и жду садама».¹⁰

И, наконец, два листа списка были заменены драматургом другими, на которых авторской рукою написаны новые варианты двух монологов, в отмену прежних, существовавших первоначально на их месте. Это рассказ Софьи о своем «сне» (I, 154—172) и начало последнего монолога Чацкого (IV, 463—493), причем если на месте «сна» в Жандровском списке сначала существовал вариант (как можно судить по оставшимся на предыдущей странице и перечеркнутым строкам), сохранившийся в Музейном автографе, то начало последнего монолога Чацкого

⁹ Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929, с. 274.

¹⁰ В печатном воспроизведении Жандровского списка (М., 1912) данное исправление отражено не совсем точно. Укажем, кстати, и на другие неточности издания, никогда в печати не отмечавшиеся (курсив в вариантах мой, — С. Ф.):

- | | | |
|----------|---|--|
| I, 54 | Чуть дверью скрипнешь... | (напечатано «скрипнешь») |
| I, 106 | ...чтобь был обманут | (напечатано «чтобы») |
| I, 201 | ...не накопились их | (напечатано «накопились») |
| I, 345 | В семнадцать лет... | (напечатано «семнадцать») |
| III, 123 | Чужих и вкривь... | (напечатано «вкривь»
в соответствии с более поздним —
синими чернилами — исправлением) |
| III, 292 | Эх! братец! [Кровь была не та,
теперь зостыла] | (напечатано «остыла») |
| III, 16 | — Кто более вам мил? — Родные (поверх строки написаны
карандашом слова «Есть многие», — в издании не отмеченные) | |
| III, 505 | [Тех] так назовет он подлецом (авторское исправление
не воспроизведено) | |

в Жандровском списке было сначала переписано в редакции, значительно отличавшейся от той, которую мы находим в Музейном автографе.

Если бы приведенный рассказ Жандра был точен, можно было бы ожидать, что при просмотре неавторизованных списков «Горя от ума» мы должны обнаружить такие, в которых указанных авторских исправлений не содержалось бы (ср.: «она (канцелярия, — С. Ф.) списала „Горе от ума“ и обогатилась, потому что требовали множество списков»).

С этой целью нами были просмотрены списки комедии, хранящиеся в Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина, в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина, в Государственном Историческом музее, в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, в Пушкинском доме — всего несколько сотен списков. Ни в одном из них не было зафиксировано «сна» Софьи в первоначальной редакции и большинства других вариантов, соответствующих первому слою Жандровского списка. Это позволяет сделать вывод, что рассказ Жандра о том, что одновременно было изготовлено множество списков с «брульонов» Грибоедова, неверен (возможно, беллетризован Д. А. Смирновым). Допустимо, на первый взгляд, вообразить, что списки, изготовленные в канцелярии Жандра, не попали в крупнейшие архивохранилища. Однако то, что в этих архивах не оказалось и копий с данных гипотетических списков, может означать только одно: *множества списков, изготовленных одновременно с Жандровским, — не существовало вообще.*

Без помощи автора «брульоны» Грибоедова, очевидно, не могли быть скопированы. Автор же мог работать лишь с одним переписчиком. Следовательно, с «брульонов» первоначально был сделан только один список. Это и понятно. Приехав в Петербург 1 июня 1824 г., Грибоедов надеялся провести свою комедию в печать и не был поэтому заинтересован в распространении рукописных копий пьесы. Только в середине октября того же года, когда последовал решительный отказ М. Я. фон-Фока опубликовать произведение,¹¹ писатель стал поощрять создание списков «Горя от ума». 17 октября 1824 г. он пишет Катенину: «Сам не отстаю от толпы пишущих собратий. А. А. везет к тебе мои рифмы, прочти, рассмейся, заметь, что не по тебе, орфография от себя дополни, переписывал кто-то в Преображенском полку».¹² Более раннего упоминания о списках «Горя от ума» ни в письмах Грибоедова, ни в переписке его современников мы не знаем.

¹¹ См. об этом в записке Грибоедова Н. И. Гречу от 24 октября 1824 г.: Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. Т. III. Пг., 1917, с. 164.

¹² Там же, с. 162.

Была ли к этому времени окончательно завершена авторская работа над текстом комедии? Можно с уверенностью сказать, что нет. До нашего времени дошло большое количество таких списков «Горя от ума», в которых последний монолог Чацкого существует в «посредствующей» (термин Н. К. Пиксанова) редакции, отличающейся и от Музейного автографа, и от Жандровского списка. Именно эта редакция позволяет выделить из существующих списков комедии наиболее ранние (вместе с копиями, восходящими к наиболее ранним спискам).¹³

Приведем текст этого монолога в посредствующей редакции, указав в примечании встречающиеся в ряде списков варианты отдельных строк:

- 1* Не образумлюсь, виноват!
 Не знаю, как я невпопад
 Представил вас себе одной из хладнокровных
 Искательниц фортуны и женихов чиновных,
 5* Которой красоте едва дано расцвести,
 Уж глубоко натвержено искусство
 Не сердцем поискать, а взвесить, и расцесть,
 И торговать собой в замужство.
 Нет, нет, ошибся я. — Намечен был у вас
 10* Любезник миленький, которого подчас
 Могли бы, несмотря что в возрасте он зрелом,
 Беречь, и пеленать, и посылать за делом. —
 Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей,
 Высокий идеал московских всех мужей!
 15* Но боже мой! кого себе избрали?
 Когда размыслию я, кого вы предпочли?
 За что меня взмапили, завлекли,
 Повергли в бездну зол, мучений и печали?
 Слепец! я в ком искал награду всех трудов? —
 20* Спешил, летел, дрожал, вот счастье думал близко,
 Пред кем я давиче так страстно и так низко
 Был расточитель нежных слов!!
 Но что? наказаны вы горем справедливым.
 А вы, сударь отец, вы жертвуйте чинам
 25* Собой и дочерью; желаю быть счастливым,
 Я сватаньем моим не угрожаю вам.¹⁴
- IV, 496
-

¹³ Из 37 списков «Горя от ума», хранящихся в ГИМ, 14 списков содержат монолог в посредствующей редакции. В Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина таких списков 20 (из 49). В ИРЛИ — 24 (из 100); ниже перечисляются их шифры: 9647/LVIIб.7; 9650/LVIIб.10; 9651/LVIIб.11; 9652/LVIIб.12; 14476/LXXXIVб.6; 18041/CXIIIб.11; 24141/CLXIб; 24142/CLXIб; 24145/CLXIa; 24146/CLXIa (в дальнейшем при ссылках на эти списки указываются начальные, арабские цифры шифра); ф. 496 (Н. К. Пиксанова), оп. 2, № 5, 6, 7, 9, 18, 19, 26, 31, 32, 46, 53, 57, 63; Р. III, оп. 1, № 890 (при ссылках на эти списки указываются номера единиц хранения). Кроме того, в списках 9643/LVIIб.3; 9648/LVIIб.8; Ф.496, оп. 2, № 4, 28, 41 — последний монолог Чацкого сконтаминирован из двух редакций: посредствующей и окончательной.

¹⁴ Варианты:

- 10* *Любовник* миленький. 14476, 18, 46, 63
 11* *Могла* бы. 9647, 9

Во многих списках, в которых содержится посредствующая редакция, две предпоследние строки имеют вариант:

24* А вы, сударь отец, вы страстные к чинам,
Желаю вам дремать в неведеньи счастливом¹⁵

В Жандровском списке на с. 252 мы находим шесть последних строк посредствующей редакции (предыдущие страницы 240—241 представляют собою автограф Грибоедова на вставленном позже листе); из этих шести строк первые три зачеркнуты, а две следующие переделаны автором в указанный выше вид. Именно это позволяет окончательно удостовериться в том, что во многих списках мы имеем дело с посредствующей грибоедовской редакцией монолога, впоследствии удаленной автором из Жандровского списка и замененной окончательной редакцией.

В посредствующей редакции монолог публиковался в бесцензурных изданиях «Горя от ума»¹⁶ и в первом полном издании комедии, предпринятом Н. Тибленом в 1862 г., — следовательно, в основе данных изданий лежат ранние списки «Горя от ума». Является ли это обстоятельство показателем авторитетности названных изданий? Нет, не является. Обследуя списки «Горя от ума», мы установили, что довольно большое их количество содержит монолог Чацкого в посредствующей редакции, но далеко не все из них были созданы в 1824—1825 гг., когда комедия существовала именно в таком виде. Для иллюстрации укажем на Осташковский список «Горя от ума».¹⁷ На титуле его значится: «Горе от ума. Комедия в четырех действиях в стихах. Сочинение А. С. Грибоедова. 1827 года. Переписана А. М. Герасимовым». Бумага списка — 1832 г. Таким образом, перед нами по крайней мере третичная копия, хотя и восходящая к раннему списку (в чем удостоверяет посредствующая редакция монолога), но снятая в 30-х годах со вторичного списка 1827 г. На самом

12* ... и спсылать за делом	24145, 19, 890
14* Вот идеал...	9650, 18, 57
16* Когда размышлю я...	24146, 32
17* За что меня <i>еманили</i> ...	24141, 24145, 9, 32, 890
За что меня <i>манили</i> ...	9650, 57
19* Слепец! <i>в ком я</i> ...	9651, 9652, 7, 9, 26, 53
21* ... я <i>давича</i> ...	9651, 9652, 14476, 24146, 5, 6, 18, 32, 53
... и <i>давиче</i> ...	24141, 24142, 24145, 31, 890
23* ... <i>все</i> горем...	14476, 5, 7, 9

Варианты, встречающиеся только в одном из списков, здесь не учитываются.

¹⁵ 9650, 9651, 9652, 14476, 24145, 9, 26, 31, 57.

¹⁶ Лейпциг, 1858; Берлин, 1858; см. также: Горе от ума. Комедия в четырех действиях. Сочинение Александра Грибоедова. [Б. м.], [б. г.]. (Хранится в Грибоедовском собрании Н. К. Пиксанова).

¹⁷ Оригинал хранится в Краеведческом музее г. Осташкова Калининской области, ксерокопия — в ИРЛИ.

же деле количество промежуточных копий могло быть во много раз больше.

Мы привели этот пример, чтобы показать, что посредствующая редакция монолога во многих случаях не является показателем действительно раннего изготовления списка. Но все же в конечном счете копия с этой приметой восходит к одному из ранних списков, изготовленному в то время, когда авторская работа над текстом комедии еще не была завершена. Стало быть, каждый список такого рода (будь он даже «копией с перекопии») интересен в ряду подобных — в целях выявления авторских вариантов отдельных строк, не зарегистрированных, возможно, Жандровским списком; ведь случилось же так с большим — в 20 строк — фрагментом последнего монолога Чацкого.

Однако, изучив эти списки, мы выявили — кроме указанного фрагмента — лишь несколько строк, повторяемых неоднократно в таком виде, который отличается от окончательного авторского текста:

- I, 306 «Что же ради?.. (вместо «раде»)
- I, 318 Вы ради?.. («раде»)
- I, 343 ... чуть скрипнет... («скрипнет»)
- II, 29 ... у вдовы, у докторши... («вдове», «докторше»)
- II, 86 Упал в другой раз... («вдругоредь»)
- II, 156 А бунт? я так и жду садома («ну так»)
- III, 16 Вот спросы пречудные («Есть многие, родные»)
- IV, 65 Брани меня... («Ругай меня...»)
- IV, 508 Все гонят, все вредят... (... «все клянут»...)
- IV, 513 Дряхлеющих над выдумками вздоров («вздором»)

В остальных случаях отклонения от Жандровского списка не подтверждаются большинством обследованных списков, а следовательно, с уверенностью могут быть отнесены на счет искажений, внесенных отдельными переписчиками.

Каждый же из указанных здесь вариантов требует особого текстологического комментария.

Слово «ради» (рады) в строках I, 306 и I, 318 вместо старомосковского «раде», которое стоит в Музейном автографе и в Жандровском списке, мы находим во всех без исключения обследованных списках. Если хотя бы в некоторых из списков (а переписчик иногда тщательно копировал текст, не смущаясь его ненормативностью) мы нашли бы варианты, соответствующие Жандровскому списку, можно было бы считать слово «ради» лишь вполне понятной опiskой. Однако устойчивость данного варианта (как и в некоторых других строках) позволяет высказать предположение, которое мы сформулируем ниже — в комментарии к строке IV, 65.

Слово «скрипнет» вместо «скрипнет» в строке I, 343 соответствует просторечному произношению грибоедовского времени (ср. в «Молодых супругах» А. С. Грибоедова: «Меж тем учитель ей подлаживает скришкой»). Очевидно, написание данного слова через «ы» в указанной строке объясняется ошибкой переписчи-

ков. Интересно, однако, другое. Как в Музейном автографе, так и в Жандровском списке то же слово в реплике Лизы (I, 54—«Чуть дверью скрыпнешь, чуть пепнешь») написано через «ы». Нам кажется, что в данном случае Грибоедов вносит специально штрих в речевую характеристику персонажей: образованный Чацкий говорит «скрипнет» (I, 343), Лиза же — «скрыпнешь» (I, 54). Такая вариантность в произношении отдельных слов не необычна для «Горя от ума». Например, Софья говорит, согласно московской норме: «Хотите вы? Пойду любезничать *сквозь слез*» (II, 528), в авторской же ремарке читаем: «*сквозь слезы*» (I, 107).

Ни в одном из обследованных списков мы не находим старомосковских «у вдове, у докторше» (II, 29). Объяснение этого отклонения от авторской нормы нам кажется аналогичным строкам I, 306 и I, 318.

«В другой раз» в строке II, 86 восходит к промежуточному варианту этой строки, зафиксированному во втором слое Жандровского списка («в другореть» исправлено на «в другой раз», окончательно — «вдругоредь»). Однако в списках «Горя от ума» перед нами, очевидно, не всегда действительно грибоедовский промежуточный вариант. В некоторых случаях слово «вдругоредь» оказалось непонятным (или представлялось неправильным) переписчику, который произвольно преобразовывал его в более обычные слова «в другой раз» по принципу «народной этимологии». Заметим, что подобных случаев в различных списках множество. Подлинным камнем преткновения оказалась для копиистов строка IV, 8 («Бесценный душечка, *Попош*, что так уныло?»), давшая большое число вариантов: «что смотришь» (в списках 9651, 24146, 7, 9, 18), «папаш» (31, 32, 9652), «Платон» (14704, 57), «Папош» (24145, 19), «потешь» (14476, 18041), «почто ж» (63), «папам» (890), «на что ж» (6), «попаш» (41), «по ком» (5), «что ж» (46), «поешь» (9647), «потом» (24141), в одном списке (53) каверзное слово вообще пропущено, и только в единственном случае находим «попош» (24142) — с маленькой буквы, к тому же позже это слово исправлено на «что смотришь так». Ввиду большой вариантности этой строки в списках она может служить одной из существенных примет для определения отдельных ветвей списков «Горя от ума». С другой стороны, данная строка может быть и превосходной «лакусовой бумажкой» для отвода более или менее настоящих утверждений по поводу того или иного списка, что он якобы просмотрен автором или изготовлен под его наблюдением. Такие утверждения встречаются нередко.

Вариант «и Москву» в строке II, 369 восходит к первому слою Жандровского списка (во втором слое — «*всю* Москву»). Вариант этот прослеживается в подавляющем большинстве обследованных нами списков, за исключением четырех — 9652, 5, 6, 53. Описывая балетомана в монологе «А судьи кто?», Грибое-

дов имел в виду конкретное лицо: рязанского помещика Ржевского, который в 1823 г. привез в Москву на продажу «две дюжины» крепостных танцовщиц; они участвовали в спектаклях итальянской оперы в Москве.¹⁸ Таким образом, речь шла о провинциале, тепшившем и Москву своим крепостным балетом. Однако в 1825 г. история Ржевского была уже забыта, и Грибоедов приглушил в окончательном тексте намеки на провинциала.

Вариант «Вот спросы пречудные» (III, 16) соответствует также первому слою Жандровского списка. В обследованных нами списках он встречается довольно редко (списки 9647, 18041, 24141, 24142, 24145, 19) — это самые ранние списки из собрания ИРЛИ или же копии, восходящие к таким спискам. Время таких списков определяется довольно точно: октябрём—декабрём 1824 г. Ранее октября, как указано выше, списки не распространялись, в декабре же строка приняла другой вид («Есть многие, родные») и напечатана так в альманахе «Русская Талия».¹⁹

Следовательно, в течение первых двух месяцев распространения списков их было изготовлено немало. Работа же над текстом продолжалась автором и позже, так как многие из указанных выше вариантов строк более устойчивы, чем ранний вариант III, 16. Крайний срок окончательной доработки текста — май 1825 г., когда Грибоедов оставил Петербург, передав авторизованный список на хранение Жандру. Интересно, однако, что в отличие от первопечатного текста Жандровский список во втором слое имеет вариант III, 16 «Родные» (в «Русской Талии»: «Есть многие родные») — его мы находим только в четырех из обследованных списков (9651, 9652, 24146, 63). Кстати сказать, переписывая текст комедии после выхода альманаха, переписчики порой корректировали ее текст по «Русской Талии» — это наблюдается, например, в списках 14476, 5, 7, 26, 32, 57, 890, где строка I, 370 имеет вид: «Со всей вселенной породнятся» (в Жандровском списке соответственно: «... со всей Европой...»). Вариант III, 16 «Есть многие, родные» мог быть переписчиками взят оттуда же.

Вариант IV, 65 «*Брани* меня, я сам клянусь свое рожденье» мы обнаруживаем во всех, за тремя исключениями, обследованных списках «Горя от ума». Столь последовательно проведенный через ранние списки комедии вариант можно объяснить только тем, что в основе их — *некий один список*, в котором переписчиком было допущено искажение. В этом основном списке содержались указанные выше варианты строк I, 306, I, 318, II, 29, а также соответствующий первому слою Жандровской рукописи вариант II, 156 «А бунт? я так и жду садома» —

¹⁸ См.: Литературное наследство. Т. 47—48. М., 1946, с. 234.

¹⁹ Ср.: «Декабря 15 вышел в свет первый в России драматический альманах... „Русская Талия“» (СПб. ведомости, 1824, № 101, 16 декабря).

во всех наших списках эти строки содержатся именно в таком виде.

Теперь мы можем уточнить общую картину первоначального распространения списков «Горя от ума».

Сначала с «брульонов» был сделан лишь один список, который Грибоедов держал у себя, внося в него некоторые доработки. Когда надежда на опубликование пьесы у автора пропала, он заказал копию текста, содержащегося в его рабочем списке и в основном, кроме начала последнего монолога Чацкого и некоторых отдельных строк, уже переработанного автором. Именно с этого списка (назовем его *Посредствующим*) было приготовлено подавляющее большинство списков комедии того времени, причем *Посредствующий* список был после изготовления также тщательно исправлен драматургом, который и впоследствии по мере доработки вносил в него изменения, появляющиеся в Жандровском списке. В строке III, 16 в *Посредствующем* списке последовательно существовали варианты: «Вот спросы пречудныс» — «Родные» — «Есть многие, родные».

Только в одном из списков (9647) мы обнаружили вариант (соответствующий первому слою Жандровского списка) строк III, 325—326 (орфография списка):

Eh! bon soir! comment vont les rubans les guirlandes
Toujour le desespoir de ceus, qui vous attendent

Этот список, следовательно, можно считать самым ранним в собрании ИРЛИ. Сюда он поступил в составе фонда Ефремова. Написан он на бумаге 1822 г. Несмотря на раннюю пору его изготовления, список этот, однако, в текстологическом отношении почти бесполезен, так как наполнен огромным количеством ошибок и искажений переписчика. Между прочим, Ефремовский список позволяет высказать предположение, что *Посредствующий* список (в отличие от Жандровского) был изготовлен непрофессиональным переписчиком, имеющим крайне неразборчивый почерк. Иначе трудно объяснить имеющиеся в Ефремовском списке нелепые ошибки, особенно в именах собственных: «мадам Русье» (вместо «Розье»), «И где не воскресят Клеона иностранцы» («клиенты-иностранцы»), «А гельем француз» («А Гельоме француз»), «Созвездие менервов и мазурки» («маневров»), «по всей розеии» («России»), «вернулся Альсуатом» («алеутом»). По той же причине в Ефремовском списке только и могли появиться откровенно нелепые строки: I, 459 «Я чай надеждами ве нешся» (т. е. «занеся»), II, 405 «Все так прилежно («прилажено») и толь и («талья») все так узки», IV, 412 «Ах, как идару («игру») судьбы постичь», и пр. Возможно, неразборчивостью почерка в *Посредствующем* списке объясняется большое количество искажений (конечно, не всегда столь грубых, как приведенные выше), которое мы находим в списках «Горя от ума». Когда за переписку пьесы брался человек добросове-

стный, он в сомнительных случаях домысливал новые, не предусмотренные автором варианты — иногда довольно удачные.

Среди обследованных нами списков мы нашли только три, которые восходят не к Посредствующему, а к Жандровскому списку, — 6, 18 и 57, — в которых строка IV, 67 читается: «Ругай, я сам клянусь свое рождение». Интересно отметить, что строка II, 287 во всех этих списках читается: «Ведь столбовые все, в ус никому не дуют» (в Жандровском списке — «никого», но на полях около этой строки рукою Жандра помечено: «Я думаю никому»).

Что же касается всех остальных отклонений от канонического текста, которые мы находим в ряде строк обследованных списков, они с полной уверенностью должны быть оценены как ошибки переписчиков, как бы широко данные варианты ни были распространены.²⁰ Во всех подобных случаях необходимо для сравнения обращаться к Музейному автографу, и если строка отсюда идентична соответствующей в Жандровском списке, все разговоры о каком-либо ином авторском варианте следует считать беспочвенными. Предположение на этот счет можно, очевидно, высказывать только в том случае, если Музейный автограф данного текста не содержит, как это случилось, например, в вариантах начала посредствующей редакции последнего монолога Чацкого, а также в строках IV, 508 и IV, 513.

Главный результат нашего исследования мы видим в том, что оно подтверждает точность установленных Н. К. Пиксановым принципов текстологии «Горя от ума», которые порой подвергаются сомнению. Канонический текст комедии не может быть поставлен под сомнение на основании неавторизованных списков, так как в основе самых ранних (а потому и более авторитетных) из них лежит или Жандровский список, или Посредствующий список, восходящий к Жандровскому.

Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН

«О ПРЕЕМНИКЕ АЛЕКСАНДРА»

В Отделе рукописей ИРЛИ находится интересный рукописный сборник, составленный в 20-х годах Николаем Степановичем Алексеевым, близким приятелем Пушкина по Кишиневу и

²⁰ Например, вариант III, 615 «Чтоб умный, добрый наш народ» мы находим в большинстве обследованных нами списков (в 17 из 24); несмотря на это, его следует оценить как ошибочный (не авторский), возникший на основании ассоциативности данных эпитетов и закреплённый в последующих копиях.

Одессе.¹ Рукопись, поступившую в Пушкинский дом в 1916 г. от потомков Н. С. Алексеева,² составляют пять неспшитых, вложенных друг в друга двойных листов с водяными знаками 1822 г. Сборник явно сохранился не полностью: отсутствует по меньшей мере один, а возможно и большее число листов.

Из семи документов, аккуратно скопированных рукою Н. С. Алексеева, шесть относятся к историческим событиям 1812—1822 гг., но, очевидно, записаны в 1820—1823 гг.: копия произведения Пушкина, озаглавленного в рукописи «Некоторые исторические замечания» (и публикуемого ныне под условным заглавием «Замечания по русской истории XVIII века»); «Мнение о науке естественного права г-на Магницкого»; два письма Александра I адмиралу П. В. Чичагову; «Декларация» Лайбахского конгресса «Священного союза»; речь Александра I при открытии польского сейма в 1818 г.

Анализ этой части сборника Н. С. Алексеева был произведен мною в другой работе,³ где отмечалась связь алексеевских копий с некоторыми кишиневскими работами и замыслами Пушкина.

Предметом же данной публикации является текст, завершающий алексеевский сборник⁴ и в ряде отношений выделяющийся из предшествующего «пушкинского» комплекса документов.

Du successeur d'Alexandre

Alexandre n'est plus, et son trône est resté vacant, comme si chacun avait frêmi de recevoir un si grand héritage. Interrogat singulier, que lui même a provoqué par un acte auquel on ne devait pas s'attendre.

Ce Monarque, après avoir consacré toute sa vie à fonder les doctrines de la légitimité a brisé lui-même ces doctrines en acceptant d'avance la renonciation qu'on a faite au droit du trône son héritier légitime, pour en revêtir un autre, sans songer que la légitimité n'était quelque chose qu'autant qu'elle n'était pas au pouvoir des humains.

Placée au-dessus des sociétés, elle existe par elle-même, et ne permet par conséquent ni choix ni préférence de leur part, car si elle les admettait, elle changerait de nature, et rentrerait dans les domaines des volontés et des événemens humains, dont on a voulu la bannir.

Or, c'est ce qu'Alexandre vient de faire, et le danger n'a pas tardé à s'en faire sentir. Un instant de doute à cet égard a troublé tout l'Empire et les salves qui ont annoncé l'avènement de son nou-

¹ ИРЛИ, ф. 244, оп. 6, № 24.

² Отчет о деятельности Отд. русского языка и словесности имп. АИ за 1916 г. СПб., 1916, с. 14.

³ Эйдельман Н. «По смерти Петра I...». — В кн.: Прометей. Кн. 10. М., 1974, с. 302—354.

⁴ ИРЛИ, ф. 244, оп. 6, № 24, л. 9—10.

veau Souverain ont inondé de sang les marches du trône où il allait prendre place.

Augure qui effraie l'imagination des peuples ébranlés, qu'elle est encore par les suites funestes d'un autre augure dont ses vertus n'ont pas préserver la victime.

Augure dont l'imagination se frappe d'autant plus qu'il s'est passé en un lieu où s'est imprimé depuis longtems un caractère tragique, fruit d'une civilisation, qui appartient à la fois à l'Europe et à l'Asie.

Mais il y a plus que l'effet d'une légitimité douteuse dans cet événement, plus qu'une hésitation dans l'ordre des sermens, que la Russie devait prêter à cette légitimité. Un manifeste vient d'apprendre qu'un dessein était formé pour obtenir du nouveau souverain des constitutions et des garanties nationales contre la volonté absolue du pouvoir autocratique.

De nombreuses arrestations s'en sont suivies, et l'on a dressé, au moyen des enquêtes sevéres qui ont eu lieu une statistique des conspirateurs, auxquels on attribue de criminels projets; statistique qu'en les divisant en nombreuses catégories, montre qu'il y avait en Russie une opposition formidable contre le système d'Alexandre, et par conséquent une opinion prononcée pour en obtenir un autre, dans lequel cette opinion eut des organes légaux pour se manifester.

Ainsi la grande race Slave, sur l'obéissance passive de laquelle on avait fondé les garanties du continent, cette race s'emeut et s'ébranle pour entrer dans le mouvement spontané de la civilisation sur le vaste espace, compris entre le Danube et le Zône glaciale.

Sans doute que ses peuples sont encore loin d'en être arrivés au point de se soulever en masse à l'exemple des Français pour obtenir les bienfaits d'un ordre social que faute de le connaître ils ne sauraient apprécier. Mais par cela même aussi que ces peuples sont plus en retard, l'aristocratie qui en possède les grands intérêts y exerce plus d'empire et représente seule la nation politique.

Dès lors c'est dans cette classe qu'il faut chercher la puissance morale de cette nation et en étudier les effets.

Or, devons nous admettre que la grande pensée de changer les institution de l'Empire de Russie ne soit venue qu' à une cotérie de jeunes officiers sans autres titres pour la faire valoir que leur dévouement à cette opinion? Ne doit-on pas admettre plutôt qu'ils n'ont été les enfants perdus, et perdus en effet de cette opinion, que le tems a fait naître en Russie, qui n'y est pas mûre encore, mais dont la seule apparition a changé aux yeux de tous la situation de cet Empire.

Ces enfants perdus ont été des conspirateurs sans doute et nous voyons même qu'ils l'ont été avec un grand concert et un profond secret, puisqu'ils ont déjoué la surveillance et la police de ce gouvernement qu'on avait tant vantée. Mais c'est précisément cette police et sa sévérité, qui oblige les opinions et partout où elles règnent à se changer en conspiration, parce qu'étant poursuivies comme

opinion, il ne leur reste d'autre moyen pour échapper que celui de s'organiser en Franc-maçonneries, c'est-à-dire, en communications mystérieuses entre elles.

Dès lors ces opinions pronnent un caractère coupable, parcequ'il est secret et contraire aux lois de pays. Ce ne sont plus de prosélytes qu'elles attirent, ce sont des adeptes qu'elles s'affilient. Déjà criminels par cet acte seul, ces adeptes sont forcés à mettre leur salut dans la destruction du régime par lequel ils sont déjà condamnés. Ce régime produit ainsi le crime en proscriant la libre émission des opinions et des pensées, tandis que là, où elle est permisé, ces mêmes opinions n'ont d'autres soins à prendre que celui d'acquérir par la persuasion la majorité, dont les voeux s'accomplissent sans se rendre coupable. La publicité détruit le crime et ce que proscrie le régime absolu devient ailleurs le plus puissant levier de l'Etat.

Ainsi, plus la statistique qu'on nous a donnée des conspirateurs de la Russie est étendue, plus elle nous montre l'étendue de l'opinion qu'avait pris cette forme. Cette statistique apprend ainsi que la marche politique de cet Empire qui n'était que l'expression d'une seule volonté, va se compliquer par l'effet d'une opposition placée dans les notabilités du pays. Alors cette marche sera désormais inévitablement soumise à la nécessité de se mesurer sans cesse avec celle d'une opposition avec laquelle le gouvernement sera condamné à vivre.

Il y sera condamné parcequ'on ne peut pas reléguer une opinion en Sibérie; on y envoie sans doute des individus, et rien n'est si facile à un gouvernement au moment du succès. Mais cette opinion est la force morale de ces moeurs, que les Souverains ont pris tant de soins à développer depuis un siècle parmi les Boyards de la Russie: c'est ce qui a reposé sous la barbe que Pierre le Grand leur avait fait couper.

Après leur avoir donné ces moeurs, ils en ont pris l'esprit et les besoins. Le gouvernement a voulu plus tard arrêter cet esprit et changer ces besoins et il a créé l'opposition qu'il voudrait briser aujourd'hui.

Mais il y aura d'autant plus de peine qu'outre la rigueur il faut qu'il exerce contre elle une contrainte morale, qui devient une offense pour cette aristocratie; car je le répète, rien ne blesse autant ceux qui ont acquis une civilisation copieuse que de leur défendre d'en faire usage, de refuser des livres à ceux qui ont appris à lire et la parole à ceux qui ont appris à parler.

Rien ne blesse davantage une nation à la quelle on a donné à la fois des lumières et de la gloire, autant que d'être écartés de toute action politique et de toute influence dans les affaires de son pays, ainsi qu'il en a été dans le dernier régime autocratique de la Russie.

Rien ne la blesse davantage que de voir les intérêts de sa politique confiés à des étrangers, venus pour les diriger de tous les points du globe, sans autre mission que le besoin qu'ils ont de chercher fortune.

Les Russes ont dépassés l'époque où il leur falloit chercher au dehors les agens de leur civilisation, agens toujours fidèles au pouvoir qui les met en oeuvres et toujours étrangers à l'avenir du pays qui les emploie.

Que peuvent être les derniers événemens de la Russie, si ce n'est la révélation de ces circonstances qui nous étaient voilées par le régime politique de l'Empire? Si ce n'est la révélation de ce besoin qu'éprouve son aristocratie d'occuper la place et de jouer le rôle que sa civilisation lui assigne? Elle marchera lentement peut-être vers le terme qu'elle se propose d'atteindre; mais elle y est poussée par sa force morale, et elle marchera sans relache; car nous avons vû que cette marche dépend de l'impulsion de ces inévitables nécessités que le tems amène et détruit tour-à-tour.

Placée aujourd'hui en leur présence, qui peut faire le Prince auquel Alexandre a légué le poids de son héritage. Héritage qui renferme non seulement la Russie, mais la domination que les événemens lui avaient donnée sur le continent, mais le rang de Chef du système politique, sur lequel s'était fondé cette domination.

Par delà son Empire s'en est élevé un autre qui commande sur les mers et dans les autres parties du monde. Empire auquel se rattache la civilisation moderne de ce globe, tandis que l'héritier d'Alexandre a été chargé par lui du soin d'arrêter la marche de cette civilisation.

Avec quelle force ce Prince remplira-t-il de si lourdes charges et portera-t-il cette effrayante responsabilité? Est-ce avec sa force personnelle ou avec celle de son Empire?

Sa force personnelle! On n'a jamais contesté les intentions ni les vertus de ce jeune Souverain; mais par cela même qu'il est jeune il ne peut pas donner au monde des garanties que ce monde ne reçoit que par les épreuves que fait subir l'expérience. Il a passé beaucoup de revues, mais il n'a pas gagné des batailles. Il n'a pas refusé de paix; il n'en a pas conclu. Il n'a jamais tenu le sort du monde dans ces mains et personne ainsi ne peut savoir ce qu'il en aurait fait, si ce sort lui avait été confié par les événemens.

C'est donc en vain que ce nouveau Souverain promet et promettra à ce monde de lui donner les mêmes garanties qui lui avaient été offertes Alexandre. Ses intentions à cet égard ne lui suffisent pas, parcequ'il n'a pu hériter de ce Prince que de ce qui était transmissible, mais non de ce qui ne l'était pas; c'est-à-dire: de son caractère, de ses expériences et des faits qui leur avaient servi des preuves.

La force de son Empire? Mais cette force qui était immense, lorsqu'elle n'était que matérielle et soumise à une seule volonté s'est affaiblie en se divisant. La puissance d'un autre force sociale a compliqué son action et porté ses effets jusque dans les rangs de cette force matérielle qu'on croyait être invulnérable.

Il n'y a donc plus rien qui soit tel dans ce monde: ni les doctrines sur lesquelles on avait voulu fonder les trônes, ni les forces qui devaient les appuyer.

Toujours en présence d'un danger qui demande toute sa surveillance, le gouvernement Russe ne pourra plus offrir à l'association continentale les garanties qu'elle lui avait donnée, parcequ'il n'obtiendra plus d'elle la même confiance et qu'il ne lui donnera pas les mêmes secours. Son rôle a été changé avec sa situation.

Перевод:

О преемнике Александра

Александра более нет, а трон остается пустующим, как будто мысль о получении столь великого наследства приводит каждого в содрогание. Свообразное положение, которому он сам причиною, ибо вызвал его действием, которого никто не мог ожидать.

Сей монарх, посвятивший всю жизнь свою созданию теорий легитимизма, — сам и разбил их, заранее приняв отречение законного наследника от престола, дабы передать эту роль другому, не думая о том, что законность есть нечто, превышающее человеческую власть.

Находящаяся над обществом, она существует уже сама по себе, — следовательно, не допускает ни выбора, ни предпочтения со стороны общества, ибо если допустить последнее, то законность изменит своей сущности и окажется в области людской прихоти и случая, откуда должно ее изгнать.

Именно таково было содеянное Александром, и опасность не замедлила дать себя почувствовать. Одно мгновение сомнения на этот счет потрясло всю Империю, и залпы, возвестившие восшествие на престол нового государя, потопили в крови ступени, по которым он шел к трону.

Предзнаменование, страшщее воображение потрясенных народов, которые еще испытывают мрачные последствия иного знаменья, достоинства которого не смогли предотвратить жертвы.

Предзнаменование, поражающее воображение тем более, что появилось оно в месте, где запечатлелась уже давно трагическая черта, плод цивилизации, принадлежащей одновременно Европе и Азии.

Однако это событие — не только следствие сомнительного права на престол и колебания в порядке проведения присяги, которую Россия должна была принести. Только что Манифест оповестил о существовании заговора для того, чтобы добиться от нового государя конституции, а также предохранить нацию от действий абсолютной власти неограниченного самодержавия. За сим последовали многочисленные аресты; путем жестоких расследований была составлена статистика заговорщиков, которым приписывали преступные замыслы; статистика, которая, разделив их всех на многочисленные категории, показала, что в России существовала огромная оппозиция к системе Александра, и следовательно, общественное мнение высказалось за иную систему, при которой оно могло бы выражаться в законных формах.

Так великая славянская раса, на пассивной безропотности которой основывались гарантии благополучия всего материка, — дрогнула и пошатнулась, включаясь в стихийное движение цивилизации, на огромном пространстве от Дуная до зоны вечного льда.

Несомненно, эти народы, в отличие от французов, далеки еще от стадии массового движения за новое социальное устройство, которое в силу незнания они не сумели бы оценить.

Но именно благодаря отсталости этих народов аристократия, находящая в этом выгоду, имеет над ними большую власть и она только одна представляет политическое лицо нации. Именно в аристократическом классе общества следует искать духовную мощь этой нации и изучать ее возможности.

Однако должны ли мы признать, что великая мысль о смене учрежденной Российской Империи пришла лишь союзу молодых офицеров, единственная привилегия которых была в их преданности этой идее? Не справедливее ли признать, что они были обреченным авангардом (*enfants perdus*), захваченным гибельной идеей, время которой в России пришло, но которая еще не созрела. Однако появление этой идеи изменило в глазах у всех положение этой империи.

Эти *enfants perdus*, конечно, были заговорщиками, и мы видим даже, как все у них было согласовано и хранилось в глубочайшей тайне, так как им удавалось обмануть бдительность хвальной полиции правительства. Но именно эта полиция с ее суровостью вынуждает подобные воззрения — повсеместно, где они существуют, — превращаться в заговор, потому что взглядом преследуемым не остается ничего другого для спасения, как объединяться в франкмасонские, иначе говоря, тайные союзы.

С этого момента эти взгляды принимают характер преступный, ибо они секретны и противоречат государственным законам. Они уже не присоединяют новообращенных; в члены принимаются посвященные в тайну. Преступные уже одним вступлением, эти последние пригуждены внести вклад в дело уничтожения режима, которым они уже приговорены. Таким образом, этот строй порождает преступление уже одним запрещением свободы воззрений и идей, тогда как там, где они дозволены, эти же идеи не имеют другой заботы, как только снискасть признание большинства, мнения которого реализуются, не становясь преступными.

Гласность исключает преступление, и то, что подвергается гонениям со стороны абсолютистской власти, становится в другом месте сильнее рычагом государственного устройства.

Чем обширнее статистика российских заговорщиков, тем яснее указывает она на масштабы идеи, принявшей подобную форму. Эта статистика означает, что политический курс империи, бывшей до сих пор лишь выражением единовластия, осложнится существованием оппозиции в дворянских кругах страны. Итак, этот курс отныне неизбежно и беспрестанно должен будет считаться с оппозицией, с которой правительство приговорено жить бок о бок.

«Приговорено» потому, что невозможно сослать в Сибирь существующее воззрение; спору нет, туда ссылаются отдельные лица — нет ничего проще этой меры для государства в момент успеха. Но это воззрение есть нравственная основа тех обычаев, распространению которых среди бояр на протяжении века изо всех сил способствовали самодержцы: это то, что покоилось под бородами, которые сбрил боярам Петр Великий.

Усвоив эти обычаи, бояре усвоили также их новый дух и новые потребности. Позже правительство пожелало остановить развитие этого духа и изменить эти потребности — и оно породило оппозицию, которую сегодня силится уничтожить.

Но гораздо труднее будет вводить, помимо усмирения физического, принуждение нравственное, которое оскорбляет дворянство, ибо — повторяю — ничто так не оскорбляет достигших высшей степени цивилизованности, как запрещение пользоваться ею, как отказать в книгах научившимся читать и обречь на немоту уже заговоривших.

Ничто так не оскорбляет нацию, которой разом дали просвещение и славу, как быть отстраненной от всякой политической деятельности, от всякого влияния на дела своей страны, как это было при последнем самодержавном режиме в России.

Ничто так не оскорбляет, как видеть интересы отечественной политики доверенными иностранцам, пришедшим со всех земель править ими с одной только целью обогащения.

Русские перешагнули время, когда им приходилось искать во вне деятелей их цивилизации, деятелей, всегда преданных власти, их привлечей, и всегда равнодушных к будущему страны, их использующей.

Что такое последние события в России, как не обнаружение обстоятельств, которые были скрыты от нас политическим режимом Империи?

Как не обнаружение потребности, которую испытывает ее аристократия — занять то место и играть ту роль, которые ей предназначают ее цивилизованность? Она, может быть, долго будет идти к желаемой цели — но ею движет ее духовная сила, и она будет идти беспрерывно: ибо мы видели в этой поступи давление исторической необходимости, которую время чередом являет и сбрасывает со счетов.

Поставленный ныне пред ее лицом, что может сделать великий князь, которому Александр завещал всю тяжесть наследства — наследства, которое составляет не одна Россия, но господство на континенте, обретенное волею обстоятельств, но место Главы политической системы, на которой основывается это господство. Близ его Империи поднялась другая, распоряжающаяся на морях и в других частях мира. Империя, с которой связана новейшая цивилизация на земле, тогда как на преемника Александра было им возложено бремя заботы препятствовать ее распространению.

Достанет ли сил у великого князя вынести это тяжелое бремя, и вынесет ли он ужаснейшую за то ответственность? Достанет ли ему сил его собственных, или же понадобится помощь Империи?

Собственные силы его! Никто никогда не оспаривал ни намерений, ни добродетелей юного самодержца: но хотя бы из-за своей юности он не может предоставить миру гарантии, которой мир сей не получит иным путем, кроме как доказательством, которое приносит опыт. Наследник провел множество смотров и парадов, но не выиграл битв. Он не отвергал мира, но он его и не заключал. Никогда не держал он судьбы мира в руках, а потому никто не может знать, что стал бы он делать, попади она ему волею судьбы.

Потому напрасно новый государь обещает и будет обещать миру те же гарантии, что даны были Александром. Одних только намерений на этот счет недостаточно, ибо преемник Александра волен лишь в том, что передается: но Александр не завещал ему ни характера своего, ни опыта, ни их подтверждающих обстоятельств.

Сила его Империи? Но сила эта, могучая, лишь пока была вещественной и подчиненной единой воле, — ослабела, разделившись. Моць другой социальной силы осложнила ее деятельность и ударила в ее ряды, считавшиеся неуязвимыми.

Итак, нет ничего прочного в этом мире: ни теорий, на которых зиждились бы троны, ни сил, желающих их поддерживать.

Вечно в присутствии опасности, требующей предельной бдительности, правительство России более не сможет поставлять континентальной Европе гарантии, ранее ею доставлявшиеся, ибо к России уже нет прежнего доверия, она уже не окажет прежней помощи. Вслед за переменной ситуации также переменилась и ее роль.

Работа «О преемнике Александра» вряд ли могла быть написана позже 1826 г.: о царском манифесте, объявлявшем приговор декабристам (13 июля 1826 г.), говорится как о совсем недавнем факте («только что манифест оповестил о существовании заговора...»). События нового царствования не столько анализируются, сколько предсказываются (восстание относится к «последним событиям в России»).

Документ этот весьма загадочен, неизвестно кем составлен. Рассмотрим возможность авторства самого Н. С. Алексеева.

30 октября 1826 г. он имел основание вспомнить в письме к Пушкину: «Мы некогда жили вместе; часто одно думали, одно делали и почти — одно любили».⁵

⁵ Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах. Т. 13. М.—Л., 1937 (в дальнейшем: Пушкин), с. 300.

Н. С. Алексеев известен как близкий, преданный Пушкину товарищ, как адресат некоторых его стихов, обладатель одного из лучших собраний запрещенной пушкинианы (к сожалению, почти полностью утраченной). Близость его к южным, особенно кишиневским декабристам не раз констатировалась исследователями: Алексеев был в дружбе с «первым декабристом» В. Ф. Раевским, 26 мая 1821 г. приезжал к Пушкину вместе с Пестелем, состоял казначеем известной кишиневской масонской ложи «Овидий», членами которой были Пушкин и ряд декабристов.⁶

Документы, составившие рассматриваемый рукописный сборник, также в известной степени освещают фигуру самого собирателя, хранителя. Независимо от неясного вопроса о том, был ли Н. С. Алексеев формально членом тайного союза, он смело может быть причислен к кишиневским декабристам. Только недоступность для следственного комитета 1825—1826 гг. некоторых существенных подробностей о кишиневской ячейке избавила Алексеева, вместе с рядом его друзей, от прямых преследований и репрессий. Сожаление же о пострадавших товарищах Алексеев выразил между прочим в цитированном письме к Пушкину от 30 октября 1826 г., применив к ситуации известные строчки Жуковского:

Сколь многих взор наш не найдет
Меж нашими рядами.⁷

Однако при всей радикальности своих воззрений Алексеев не был ни литератором, ни публицистом; правда, в 1835 г. он писал Пушкину о составляемых им записках, но, судя по воспоминаниям современников, преимущественно собирал и сохранял образцы не предназначенной для печати литературы, созданной друзьями, единомышленниками (иногда — противниками).

По тому, что известно об Алексееве, а также исходя из содержания статьи «Du successeur...», следует признать крайне маловероятным авторство самого обладателя сборника. Некоторые места из статьи позволяют предположить, что она написана каким-то внимательным иностранным (французским?) наблюдателем: о России и славянах говорится как бы «со стороны» и подчеркивается, между прочим, что «эти народы, в отличие от французов, далеки еще от стадии массового движения...».

В исследовательской литературе отмечены две различные оценки (сочувственная и враждебная), характерные для большинства сочинений о декабризме, появившихся на западе непо-

⁶ Сводку данных о Н. С. Алексееве см.: Эйдельман Н. «По смерти Петра I...» (на основании работ П. В. Анненкова, Б. В. Томашевского, П. А. Садикова, В. Г. Базанова и других исследователей, а также по архивным материалам).

⁷ Пушкин, т. 13, с. 300.

средственно после восстания.⁸ С работами типа книги Обернона⁹ статью «Du successeur...» сближает как сочувственный интерес к деятельности русских тайных обществ, так и некоторые другие мысли, свойственные части западных публицистов: автор-аноним, как и Обернон, почти игнорирует вопрос о крепостном праве и связи декабристской программы с народными потребностями; для него восстание — в основном дело прогрессивной аристократии, цивилизованных «бояр». Однако из всех известных первых статей о декабризме анонимная работа из сборника Алексеева отличается сильной и последовательной аналитической логикой, основанной на принципах «естественного права» и утверждающей неизбежность новых общественных выступлений и коренных перемен в России. Эта особенность публикуемого текста позволяет предположить, что он мог быть написан и каким-то неизвестным нам русским (или находящимся в России) публицистом.

В 1826 г., как и в последующие несколько лет, Н. С. Алексеев продолжал службу в аппарате новороссийского наместника М. С. Воронцова, и скорее всего статья была скопирована или написана в Одессе. В любом случае сборник Н. С. Алексеева сохранил произведение исключительно яркое и сильное, по духу, глубине, логике и страстности во многом близкое к более поздним знаменитым сибирским статьям и письмам декабриста Михаила Лунина и, кажется, не имеющее аналогий в публицистике конца 20-х годов. Само по себе даже копирование такого документа вскоре после завершения суда и следствия над декабристами, в условиях страха и усталости, распространившихся в обществе, было немалым подвигом.

Н. С. Алексеев переписал этот текст не раньше чем через 2 года после того, как Пушкин был отправлен с юга в Михайловское. Однако имеется определенная закономерность в том, что рукою друга Пушкина, рядом с противоположительственными «Заметками» по истории XVIII в. самого Пушкина и другими политическими материалами, переписано неизвестное сочинение, посвященное анализу событий 14 декабря с позиций, отнюдь не совпадающих с официальным и обязательным «Донесением следственной комиссии». Вольно или невольно состав алексеевского сборника после внесения работы «О преемнике Александра» отразил разные этапы общественного движения того времени: замечательная пушкинская «предыстория», доведенная до начала XIX в.; документы, большей частью неопубликованные, характеризующие и политическую реакцию 20-х годов (Записка Магницкого, лайбахская резолюция), и «конституцион-

⁸ См.: Крестова Л. В. Движение декабристов в освещении иностранных публицистов. — Исторические записки, 1942, № 13, с. 222—229.

⁹ A u b e r n o n. Considerations historique et politique sur la Russie. Paris, 1827.

ные мечтания» (варшавская речь Александра), и важный для декабристов Восточный вопрос (письма к Чичагову), и, наконец, «эпилог»: работа, подводящая печальный итог событиям и в то же время опровергающая окончательное торжество установившегося порядка.

Надо думать, что Алексеев, продолжая службу на юге, считал своим долгом сохранение важных сведений, воспоминаний, материалов о том свободомыслии, к которому сам имел прямое касательство. 30 октября 1826 г. Алексеев констатирует: «Теперь сцена кишиневская опустела, и я остался один на месте, чтоб, как очевидный свидетель всего бывшего, мог со временем передать потомству мысли и дела наши».¹⁰ Сохранение текста «Du successeur d'Alexandre» было, очевидно, частью этого плана. Известно, что Алексеев не держал под спудом свое собрание: в начале 50-х годов с его сборником знакомится П. В. Анненков, а также Е. И. Якушкин, А. Н. Афанасьев и другие первые публикаторы потаенных страниц пушкинского и декабристского наследия.

Надо думать, что в годы полного молчания о декабристской борьбе определенный круг людей знал и сохраненный другом Пушкина текст загадочного для нас сочинения «О преемнике Александра».

Р. В. ИЕЗУИТОВА

К ИСТОРИИ ССЫЛКИ Ф. Н. ГЛИНКИ (1826—1834)

По архивным материалам

1

Многообразная деятельность Ф. Глинка — участника Отечественной войны 1812 г., одного из видных руководителей тайных декабристских обществ, известного поэта и публициста — обеспечивает ему видное место в истории декабризма.

Представитель умеренного крыла в декабристском движении, Ф. Глинка, как известно, не принял прямого участия в событиях 14 декабря 1825 г., но был привлечен к следствию «о злоумышленных обществах», разделив вместе с другими декабристами их участь: арест, заключение в Петропавловскую крепость и последовавшую за этим ссылку. По докладу следственной комиссии 15 июня 1826 г. Ф. Глинка был отнесен к числу «прикосновенных» лиц, «из коих одни принадлежали к тайным обществам, а другие обличены в содействии и знании об оных», но которые

¹⁰ Пушкин, т. 13, с. 300.

«вовсе не участвовали в неистовых намерениях, а многие скоро оставили общества, и все вообще в поступках своих показывают истинное раскаяние».¹ Вследствие этого Глинка не был предан Верховному суду, и его освободили из-под ареста. При выходе из Петропавловской крепости ему была возвращена шпага. «Командант Сукин, — писал Ф. Глинка А. А. Ивановскому, — расцеловал меня и поздравил со свободой».² Однако Глинку впереди ожидала отнюдь не свобода, а ссылка в Петрозаводск, в глухую и окраинную Олонецкую губернию. Личный приказ Николая I в отношении Ф. Глинки гласил: «Состоящий по армии полковник Глинка 1-й отставляется от военной службы и ссылается на жительство в г. Петрозаводск; во уважение же прежней его службы и недостаточного состояния, дозволяется употреблять его там по гражданской части с чином коллежского советника».³ 30 июня 1826 г. Ф. Глинка был доставлен с фельдъегерем в Петрозаводск. Здесь для него начались годы ссылки, продолжавшиеся в общей сложности 8 лет, из которых более трех лет он провел в Петрозаводске, два года в Твери и около двух лет в Орле. Изучение биографии ссыльного декабриста началось лишь в советское время. Дореволюционные биографы Ф. Глинки (А. К. Жизневский, А. П. Милюков и др.),⁴ не располагавшие никакими архивными материалами, ограничивались коротким перечнем тех мест, где служил Ф. Глинка в последекабрьские годы. Начало научному изучению последекабрьского периода жизни литератора-декабриста положил В. Г. Базанов в статье, посвященной олонецкой ссылке Ф. Глинки⁵ и основанной на многочисленных документах из архива Министерства внутренних дел и III Отделения «собственной его величества канцелярии». Опираясь на эти материалы и широко привлекая переписку Глинки, воспоминания современников и не известные ранее его произведения, исследователь воссоздал исполненную глубокого внутреннего драматизма картину жизни ссыльного декабриста, не сломленного суровыми условиями жизни в Олонецкой губернии и нашедшего в себе силы продолжать интенсивную литературную работу, принимая живое участие в литературном движении своего времени.

Гораздо в меньшей мере оказались освещенными в научной литературе годы жизни Ф. Глинки, проведенные им в Твери и Орле. Между тем сохранились ценные архивные материалы, позволяющие ввести в научный оборот ряд новых фактов и сведений, относящихся к этому времени. В Центральном государственном

¹ Русский инвалид, или Военные ведомости, 1826, 22 июля, № 175.

² Русская старина, 1889, т. 63, № 7—9, с. 119.

³ Русский инвалид, или Военные ведомости, 1826, 22 июля, № 175.

⁴ Жизневский А. К. Федор Николаевич Глинка. Тверь, 1890, с. 7—9; Милюков А. П. Ф. Н. Глинка. Биография. — Исторический вестник, 1880, № 7, с. 472—475.

⁵ Базанов В. Г. Поэт-декабрист Ф. Н. Глинка в ссылке в Петрозаводске. — В кн.: Карелия. Петрозаводск, 1938, с. 205—224.

архиве Октябрьской революции в составе документов III Отделения хранится «Дело о прикосновенном к делу о государственных преступниках Ф. Глинке», начатое 5 июля 1826 г. и законченное 16 января 1846 г. Оно содержит 59 листов документов по «тайному надзору» над ссыльным декабристом: официальную переписку лиц, ведавших секретными делами (М. Я. Фон-Фока, А. X. Бенкендорфа, А. Н. Мордвинова, Н. П. Новосильцева, А. Ф. Орлова и др.), видных сановников, министров, военачальников, осуществлявших управление николаевской Россией (Дибича, А. А. Закревского, Д. Н. Блудова и др.), подлинные письма и прошения Ф. Глинки, его жены А. П. Глинки, ответные письма-уведомления Бенкендорфа, его официальные резолюции, указания на личные распоряжения Николая I относительно Ф. Н. Глинки.⁶ Круг лиц, вовлеченных в эту обширную переписку, показывает, какое огромное, поистине государственное значение придавал Николай I контролю над бывшими членами «злоумышленных обществ». Документы «Дела» III Отделения о Ф. Глинке, относящиеся к олонекской ссылке, были опубликованы (как указывалось) В. Г. Базановым в работе «Поэт-декабрист Ф. Н. Глинка в ссылке в Петрозаводске».

В настоящей статье, не претендующей на полное освещение биографии Ф. Глинки последекабрьских лет, будет продолжена публикация документов из этого дела, связанных по преимуществу с пребыванием декабриста в Твери и Орле, дополненная разысканиями новых материалов о поэте в ряде ленинградских архивов.

2

9 августа 1826 г. олонекский гражданский губернатор Тимофей Ефремович Фан-дер Флит; отвечая на секретное предписание управляющего Министерством внутренних дел Ланского — установить за сосланным Ф. Н. Глинкой «бдительный тайный надзор», — сообщал, что «коллежский советник Глинка доставлен в Петрозаводск 30 числа минувшего июня» и что секретный надзор за ним поручен «петрозаводскому городничему».⁷ Однако никаких иных «донесений» о декабристе за все время пребывания Фан-дер Флита на посту губернатора Олонекского края в Петербург не поступило, и обязанности по тайному надзору за поэтом-декабристом ограничились этим единственным чисто формальным ответом.⁸ С самого начала отношения Фан-дер Флита и Глинки пошли совершенно по иному руслу. Есть все основания полагать, что этот ничем не примечательный чиновник, не оставивший заметного следа

⁶ ЦГАОРСС, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 61, ч. 186, л. 1—59.

⁷ Базанов В. Г. Поэт-декабрист Федор Глинка в ссылке в Петрозаводске, с. 217.

⁸ Совсем иначе повел себя Лачинов, исполнявший обязанности олонекского губернатора после отъезда Фан-дер Флита из Петрозаводска (подробнее о его «доносе» на Федора Глинку см.: там же, с. 219—220).

в истории николаевской бюрократии, сыграл благотворную роль в жизни сослупного Глинки.

К сожалению, мы располагаем слишком скудными сведениями об олонецком губернаторе. Известно, что он занимал этот пост в 1825—1827 г. «Гербовник» сообщает о нем следующее: в 1790 г. Т. Е. Фан-дер Флит вступил на гражданскую службу, в 1811 г. получил чин коллежского советника, в начале 20-х годов был уже статским советником, а 2 ноября 1828 г. был пожалован «на дворянское достоинство дипломом, с коего копия хранится в герольдии».⁹ Какого рода деятельность скрывалась за этим весьма коротким и неполным перечнем, мы не знаем, однако можем догадываться о ее общем направлении и характере, так как ценные (хотя и лаконичные) свидетельства о Фан-дер Флите оставил никто иной, как сам Ф. Глинка. В «Корреспонденции» из Петрозаводска, написанной вскоре после приезда туда (13 сентября 1826 г.) и напечатанной в «Северной пчеле», он заявил, что губернатора Т. Е. Фан-дер Флита «в городе уважают и любят».¹⁰ Глубокое уважение внушил губернатор и Ф. Глинке, отличающемуся высотой гражданско-этических принципов. Известно, как тяжело переживал сосланный пост-декабрист свою отъединенность «от сообщений с живым гражданским миром»,¹¹ как он тяготился унылой прозой канцелярского существования. Будничная бюрократическая работа в губернском правлении (на должности советника) глубоко не удовлетворяла Глинку, писавшего в своих письмах о том, что «здесь много грамотеев и множество ябедников: за всякий толчок ссора, за всякую копейку спор и тяжба! От сего присутственные места завалены бумагами, чиновники в денно-нощной работе и народ в бесконечной хлопотливости».¹² На фоне подобных жалоб, наполнявших письма Ф. Глинки из Петрозаводска, представляются особенно значительными неизменно доброжелательные и теплые отзывы его о Фан-дер Флите, сумевшем несколько скрасить для него нестерпимый «прозаизм должности по губернскому правлению».¹³

Не ограничиваясь служебными отношениями, губернатор стал принимать Глинку в своем доме, где в лице жены Фан-дер Флита, Татьяны Федоровны, и всей его семьи декабрист встретил участие и сердечную доброту, так не хватавших ему вдали «от всего знакомого, милого, родного и привычного».¹⁴ Через год после своего появления в Петрозаводске Глинка напишет в письме А. А. Ива-

⁹ Гербовник, т. X, с. 136.

¹⁰ Северная пчела, 1826, № 115, 25 сентября. — Корреспонденция посвящена описанию трехдневного праздника в городе Петрозаводске по случаю коронавания Николая I.

¹¹ Письмо к Н. И. Гнедичу от 24 марта 1829 г.: Отчет имп. Публичной библиотеки за 1895 г. СПб., 1898, с. 37.

¹² Письмо к В. В. Измайлову от 26 февраля 1827 г.: Московское обозрение, 1877, № 16, с. 419.

¹³ Там же, с. 421.

¹⁴ Русская старина, 1889, № 7, с. 118.

новскому 16 августа 1827 г.: «С отъездом отсюда в столицу здешнего почтенного губернатора Тимофея Ефремовича Фан-дер Флита, его ангельской супруги и милого семейства я лишился последней опоры, последнего утешения».¹⁵ В тот же день он поделится своими горестями и с другим литератором — В. В. Измайловым: «Ваше письмо застало меня в чувствах скорби. Здешний гражданский губернатор Фан-дер Флит, человек семейный, у которого я имел приют и отраду, уехал недавно в С.-Петербург для восстановления здоровья, потерянного в приказно-бумажном мире, при сидячей жизни. Вот любезные плоды развития нашей гражданственности!».¹⁶

Остаются неизвестными причины отъезда Фан-дер Флита из Петрозаводска. В своем прошении на имя Николая I «об увольнении» от должности олонецкого гражданского губернатора Фан-дер Флит ссылался на «совершенно расстроенное здоровье».¹⁷

Вероятнее всего, он стремился, покинув тяготившую его службу в окраинной губернии, устроиться на новую должность в Петербурге, однако очевидно одно: пост губернатора покидал человек несомненно честный и благородный. Сразу же после его отъезда в петрозаводском губернском правлении, где служил Глинка, «разгорелись страсти». Интриги, возглавляемые губернским прокурором Федором Михайловичем Желябужским,¹⁸ имели целью скомпрометировать уехавшего губернатора. Желая предупредить Фан-дер Флита о грозящих ему неприятностях, подробно информировав о происходящем в его отсутствие, Глинка отправляет в Петербург с А. А. Нуромским (личным секретарем Фан-дер Флита)¹⁹ письмо, которое до сих пор в печати известно не было и обнаружено нами в рукописном отделе Института русской литературы. Оно представляет немалый интерес для характеристики общественно-гражданского облика Ф. Глинки первых последекабрьских лет, так как в нем несомненно звучит голос «великодушного гражданина», как назвал Глинку Пушкин в своем послании к нему. Глинка сообщает Фан-дер Флиту: «Прокурор Желябужский въехал в губернию, как разбойник, и свирепствует, как моровая язва. Получив предписание с Высочайшею Волею, он ставит себя *выше* всех и всего. Совершенное отвержение законного порядка сопровождает все его действия. — В день усекновения главы С. Предтечи, в сей день пролития честной крови начал он свои кровавые подвиги. Вашему превосходительству непременно должно действовать и действовать решительно. По мнению моему надлежало бы вам явиться сюда, дабы возбудить дух, мо-

¹⁵ Там же, с. 118.

¹⁶ Московское обозрение, 1877, № 16, с. 422.

¹⁷ Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 2. М.—Л., 1936, с. 333.

¹⁸ Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1827 г., ч. II, с. 40.

¹⁹ Там же, с. 39.

гущий упасть в бедных чиновниках. Но если найдете за нужное оставаться в С.-Петербурге, то действуйте там и не считайте безделицею случая, в котором дело идет о предмете столь же важном, как жизнь, — о чести. — Желябужский при первом появлении привлек к себе всех негодяев; все мерзавцы, примкнув к нему, составили с ним одну смрадную единицу. Чего же можно ожидать от дружины ябедников, клеветников, порочных, кляузных и вечно полупьяных людей?

Губернское правление отбивается — как может. Ал. А. привезет вам копию со всего состоявшегося; ничто не упущено, что могло быть сделано в столь тесных обстоятельствах. <...>

30 августа 1827 г.²⁰

Наиболее замечателен в этом документе пронизывающий его пафос негодования по отношению к «дружине ябедников, клеветников» и вечно полупьяных людей», возглавляемых Желябужским. Нельзя не вспомнить при этом той борьбы против «злоупотреблений» на попрание правосудия, которую вел Глинка еще в Петербурге.²¹ Вместе с тем новонайденное письмо позволяет сделать вывод о значительной близости Глинки к Фан-дер Флиту, которому он посылает не только тщательно собранные сведения о «незаконной» деятельности Желябужского, но и проект письма на имя Николая I. За весьма короткое время пребывания в Петрозаводске Ф. Глинка сумел стать «доверенным лицом» губернатора, направляя его внимание на борьбу с теми, кто, подобно губернскому прокурору, чинил самоуправство и произвол.

На письме Ф. Глинки имеются пометы, сделанные рукой Фан-дер Флита (имевшего обыкновение отмечать дату получения письма и дату ответа на него): «Получено 1-го сентября 1827 г. с Алексеем Александровичем Нуромским. Ответил с ним 5-го сентября 1827 года».²² Этот ответ в печати не известен, зато опубликован не менее важный документ, адресованный также Ф. Глинке и написанный на следующий день. Это «Подлинный аттестат от Фан-дер Флита», который губернатор, решившийся оставить свою должность в Петрозаводске, высылал Глинке, отмечая его «неусыпные труды, примерную деятельность и благородные поступки».²³ Для томившегося в ссылке декабриста получение такого «аттестата» означало очень многое. Официальный документ, в котором он был назван «ревностным», «благородномыслящим», «испытанной нравственности» сотрудником, был не только весьма важен в виду предстоявшего Глинке утверждения в Сенате на должность советника губернского правления (на которой он несколько месяцев находился сверх штата), но и позволял со вре-

²⁰ ИРЛИ, Р. 1, оп. 5, № 47.

²¹ См.: Чернов С. К истории «Союза Благоденствия» (из бумаг Ф. Глинки). — Каторга и ссылка, 1926, № 2, с. 120—132.

²² ИРЛИ, Р. 1, оп. 5, № 47, л. 1.

²³ Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 2, с. 333.

менем надеяться на какие-то изменения в своей дальнейшей судьбе. Неслучайно в числе целого ряда подобных бумаг «аттестат от Фан-дер Флита» был позднее представлен в Министерство внутренних дел, которое (вместе с III Отделением) решало вопрос о переводе Глинки из Петрозаводска. Покидая пост губернатора Олонецкой губернии и «готовясь расстаться с г. г. чиновниками», состоящими в его ведомстве, Фан-дер Флит обращался к Ф. Н. Глинке со следующими словами: «Лишенный возможности ходатайствовать о наградах, я не могу быть равнодушным к превосходным качествам ума и сердца. — Следовательно, не могу равнодушно расстаться с вами».²⁴ С отъездом Фан-дер Флита в Петербург его отношения с Ф. Глинкой не прервались. Уже в ноябре 1827 г. поэт обращается с настойчивой просьбой к А. А. Ивановскому, издававшему альманах «Альбом северных муз» (для которого Глинка послал несколько своих произведений), — доставить в Петербурге экземпляр альманаха в «Пантелеймоновский переулочек, в дом Небабиной, е. п. Тимофею Ефремовичу Фан-дер Флиту, бывшему нашему губернатору». Письмо к А. А. Ивановскому заканчивается знаменательными строчками: «Препровождаю вам аттестат, данный мне губернатором; нынешний же управляющий губернию также аттестовал меня в сенате отлично».²⁵ Зная о живейшем участии А. А. Ивановского в делах ссыльного Ф. Глинки, можно думать, что аттестат Фан-дер Флита должен был сыграть какую-то роль в хлопотах о декабристе.²⁶ Позднее, уже в 1831 г., копия аттестата (в числе прочих подобных бумаг) была выслана Глинкой (уже из Твери) А. С. Пушкину, также взявшемуся похлопотать о Ф. Глинке.

Уехав из Петрозаводска, Фан-дер Флит окончательно обосновался в Петербурге, где со временем купил собственный дом и поступил на службу по контрольному ведомству. При этом его отношения с Ф. Глинкой не только не прекратились, но даже укрепились еще больше благодаря регулярной переписке и личному общению Фан-дер Флита с петербургскими друзьями поэта. Надо полагать, что появление бывшего олонечкого губернатора в литературных кругах Петербурга, интересовавшихся делами ссыльного Глинки, не обошлось без содействия последнего. На это прямо указывает письмо А. Ф. Воейкова к Глинке от 25 апреля 1828 г., в котором сообщается: «Я выдаюсь также нередко с почтеннейшим вашим экс-губернатором Тимофеем Ефремовичем Фан-дер Флитом, и он часто говорит о вас, о вашем житье-бытье, о ваших набожных занятиях. Маленькая его дочка Сашенька сердечно к вам привязана».²⁷ Видимо, Фан-дер Флит тоже

²⁴ Там же, с. 333.

²⁵ Русская старина, 1889, т. 63, № 7, с. 123, 124.

²⁶ Об отношении А. А. Ивановского к Ф. Глинке см. в кн.: В о ц у р о В. Э., Г и л л е л ь с о н М. И. Сквозь «умственные плотины» М., 1972, с. 13, 17.

²⁷ Русская старина, 1908, № 1, с. 235.

посещал Воейкова и других литераторов, близких Глинке. Из письма к Н. И. Гнедичу от 24 марта 1829 г. становится известным, что Фан-дер Флит бывал на литературных вечерах В. А. Жуковского в Шепелевском дворце. В этой связи Глинка писал Н. И. Гнедичу: «Приятель мой Де-Роберти и бывший здесь гражданским губернатором Т. Е. Фан-дер Флит уведомляют меня, что будучи у В. А. Жуковского, видели они одного из первых наших поэтов, с жаром сердечного красноречия говорившего в мою пользу. Из их радушного описания я узнал почтительно-любезного Николая Ивановича».²⁸ К сожалению, упоминаемое Глинкой письмо к нему Фан-дер Флита в печати не известно. Не дошли до нас и другие его письма к декабристу (а судя по имеющимся сведениям, их было немало), зато многие письма Глинки к Фан-дер Флиту сохранились, хотя в печати до сих пор был известен лишь небольшой отрывок из письма от 27 августа 1830 г., касающийся Пушкина.²⁹ Между тем в рукописном отделе ИРЛИ, кроме письма от 30 августа 1827 г. (приведенного выше), имеются еще два подлинных письма Глинки к Фан-дер Флиту, написанные уже из Твери. Первое из них воскрешает ранний эпизод биографии Глинки, связанный с его участием в Отечественной войне 1812 г. Обращаясь к Фан-дер Флиту, Глинка писал: «Между тем, усматривается из письма Вашего, что Вы изволите обращать внимание на дело мое. Я, всеусерднейше за сие благодаря, всепокорнейше прошу Ваше превосходительство поговорить с П. И. Бибиковым. Между означенными претензиями 4,504 р., подлежащие к получению *поручику Глинке*, принадлежат точно мне, ибо в 1812-м году я был именно поручиком и из моего имения *села Суток и деревни Белого Холма* (Духовищенского уезда, Смол. губ.) забрапы вещи под квитанции. В сообщении Олонецкого губернского правления (при коем послано и *мое прошение*) во временную контрольную комиссию, сим и доказательно означен переход мой из чина *поручика* (с 1812 года) в звание коллежского советника; сообщение сие и мое прошение должны быть при деле. Я прошу всемерно постараться, чтобы 4,504 рубля мне теперь сии выдали, а на остальные, чтобы снабдили видом».³⁰

Суть «дела», о котором Ф. Глинка пишет Фан-дер Флиту, сводится к следующему. Начало войны 1812 г. застало Ф. Глинку в Смоленской губернии, где по выходе в отставку он проживал в своем имении Сутоках Духовищенского уезда (расположенного в 7 верстах от города Духовщина и 45 верстах от Смоленска). С приближением французов к Смоленску этот уезд стал одним из районов по снабжению русской армии фуражом и продовольст-

²⁸ Отчет имп. Публичной библиотеки за 1895 г., с. 37.

²⁹ Пушкин и его современники. Вып. XVI. СПб., 1912, с. 1—2.

³⁰ ИРЛИ, Р. I, оп. 5. № 48. — Верхняя помета на л. 1 рукою Фан-дер Флита — «16 марта 1831. Отвечал 24 марта 1831-го года» — устанавливает дату этого письма: 16 марта 1831 г.

вием.³¹ Об этом писал и сам Ф. Глинка в «Письмах русского офицера»: «Войска получают наилучшее продовольствие. Дворяне жертвуют всем. Со всех сторон везут печеный хлеб, гонят скот и доставляют все нужное добрым нашим солдатам, которые горят желанием сразиться у стен Смоленских».³² Отряды, рассеянные для фуражирования, побывали и в его имении Сутоках, и, как это становится очевидным из публикуемого письма, из его имения под залог квитанций были взяты на нужды армии какие-то вещи. Впоследствии эти квитанции (вместе с другими документами такого же рода) оказались в распоряжении «Временной контрольной комиссии по части провиантской», возглавляемой в начале 30-х годов П. И. Бибиковым, служившим в одном ведомстве с Фан-дер Флитом, который в эти годы был управляющим «Государственной экспедицией для ревизии счетов».³³ Этим и объясняется просьба Ф. Глинки, обращенная к Фан-дер Флиту.

В письме к Фан-дер Флиту затронут вопрос о воинском чине писателя в 1812 г. Начав войну в чине поручика,³⁴ Ф. Глинка закончил ее капитаном.³⁵ Ко времени декабрьских событий 1825 г. он был уже полковником Генерального штаба. По окончании следствия над декабристами Ф. Глинка, не будучи формально разжалованным, был отставлен от службы и лишен своего воинского звания,³⁶ а при переводе в Петрозаводск, как указывалось выше, принят на гражданскую службу и «переименован» в коллежские советники. На эту цепь бюрократических превращений и намекает Ф. Глинка в своем письме Фан-дер Флиту.

Прожив в Олонецкой губернии более трех лет, Ф. Глинка 23 декабря 1829 г. обратился с прошением на имя Бенкендорфа о переводе в другую губернию. Текст этого прошения и официальное решение Николая I по докладу Бенкендорфа от 29 января 1830 г. о переводе Ф. Глинки в Тверь приведен в статье «Поэт-декабрист Ф. Н. Глинка в ссылке в Петрозаводске», где указы-

³¹ «В районах, прилегающих к Смоленской дороге <...> никаких чрезвычайных запасов заготовлено не было, и снабжение войск основывалось исключительно на пользовании местными средствами», — сообщается в очерке «Главное интендантское управление» (Столетие военного министерства. 1802—1902. Ч. 1. СПб., 1903, с. 418). При отступлении от Смоленска в начале августа 1812 г. «обозы и транспорты» I русской армии были отправлены на Дорогобуж через Духовщину, а «раненые и тяжести» — через Духовщину на Вязьмы (см. подробнее: Отечественная война и русское общество. 1812—1912. Т. III. М., 1912, с. 200).

³² Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. Ч. I. М., 1870, с. 7.

³³ Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1831 год, ч. 1, с. 611—612.

³⁴ Письма русского офицера, с. 40.

³⁵ См. «Автобиографию» Ф. Н. Глинки в кн.: Глинка Федор. Избранное. Петрозаводск, 1949, с. 7.

³⁶ По выходе из Петропавловской крепости Ф. Глинка писал А. А. Ивановскому в связи с предстоящим отъездом в Петрозаводск: «13-недельное сидение без света и воздуха и снятие двух чинов не столько огорчает, как этот отъезд» (Русская старина, т. 63, № 7, с. 418).

вается, что за этот перевод «усиленно хлопотали Воейков, Гнедич и Жуковский».³⁷ О помощи этих лиц мы узнаем из письма Глинки к Н. И. Гнедичу (от 24 марта 1829 г.), которого тот благодарил за «участие», а Жуковского «за деятельность к освобождению бедной души из чистилища»³⁸ (так он образно называл свою жизнь в олонецкой ссылке). В чем же конкретно заключалась эта «деятельность»?

В архиве Жуковского, хранящемся в Государственной Публичной библиотеке, нами обнаружены два документа, которые позволяют проследить, по каким каналам действовал Жуковский и в чем проявилась его помощь сосланному декабристу. Это подлинное черновое письмо («проект») Ф. Глинки на имя генерал-губернатора архангельского, вологодского и олонецкого С. П. Милицкого и беловая копия этого письма рукой Жуковского. Приведем полный текст этого письма по черновику Ф. Глинки:

«Проект письма к Г<осподи>ну Г<енера>л Г<убернато>ру Архангельскому, Вологодскому и Олонецкому.

В<аше> В<ысо>ко Пр<евосходительст>во,

Милостивый Государь!

После известного несчастнейшего переворота в судьбе моей Всемилостивейшему Государю нашему благоугодно было включить меня в число тех, коих он искупил у своего правосудия своим милосердием, с тех пор я находился и нахожусь еще в Г<оро>де Петрозаводске, сначала без звания, ныне в звании старшего советника Олонецкого губернского правления. — В течение сего времени вашему в<ысокопревосходительст>ву как начальнику всеобъемлющему по вверенным Вам губерниям, конечно, подробно известны образы моей печальной жизни, мои действия, поступки и почти самые чувствования и мысли мои. Посему полагая, что продолжительное страдание душевное может подать мне если не право, по крайней мере, повод искать великодушного посредства Вашего, я, со всею полнотою чувств, какие только может внушить несчастье, осмеливаюсь просить Вас удостоить меня благодетельным ходатайством Вашим у государя, к которому питаю беспредельное усердие, если не о полной перемене, то хотя о некотором изменении моего настоящего положения. —

Совершенное сиротство; крайняя дороговизна, несоответственная моей бедности (доходящей даже до нищеты) и слишком острый воздух с неутомимым соблезнованием не столько о потере прежних благ, сколько о том великом несчастии, что я нахожусь под гневом государя, коим благоденствует отечество, все сие вместе действует на ум, чувства и здоровье мое. С каждым днем я чувствую утрату прежнего. Настоящее положение, неопреде-

³⁷ Карелия, с. 224.

³⁸ Отчет имп. Публичной библиотеки за 1895 г., с. 38.

ленное, безотрадное, почти безжизненное, производит во мне всегдашнее уныние, сопровождаемое по временам припадками ипохондрии и утратою сил и внутреннюю болезнь. Между тем я могу опереться, с надеждою, на засвидетельствование (о моем поведении, о моих занятиях по службе) как бывшего гражданского губернатора, коего аттестат имею честь у сего представить, так всех особ, находившихся здесь по высочайшему повелению, и в особенности г. г. флигель-адъютантов князей: Ливена и Голицына 5-го, с коими я производил здесь следствия по разным обстоятельствам. Изъяснив сие, убеждаюсь трудить Вас, в бытность Вашу ныне в столицу испросить мне у Всемилостивейшего государя перемещение в такое место, *где бы я мог найти по бедности удобнейшие средства к жизни, воздух не столь суровый и лучшие врачебные пособия.* — Впрочем, смею удостоверить, что я ищу восстановления духа и сил не для собственного спокойствия, но для того единственно, чтобы посвятить весь ум, все способности, всю душу мою верноподданнейшей службе государя нашего, где оно может быть виднее и действительнее, по какой бы части ни соизволил употребить меня мой государь и благодетель. —

Если глубочайшее смирение, способное изменить человека в самом существе его, и приверженность искреннейшая, основанная на живейшей любви и благодарности к государю, могут что-нибудь сказать устами Вашими, в пользу моего несчастья, то я еще смею надеяться, что высочайшее милосердие пойдет меня и в настоящем положении, сколь ни кажется оно мне томительным и недоступным утешению.

За сим, вполне поручаю судьбу мою и остатки почти разрушенного моего гражданского бытия великодушному ходатайству Вашему.

С отличным высокопочитанием и совершенною преданностию имею честь быть

Вашего превосходительства,
Милостивый государь,

покорнейшим слугою

Ф. Глинка». ³⁹

Ни проект письма Ф. Глинка, ни копия Жуковского не имеют даты. Однако документы поддаются приблизительной датировке на основании ряда косвенных данных. Письмо к Миницкому имеет прямые текстуальные совпадения с текстом прошения Ф. Глинка на имя Бенкендорфа и написано несомненно раньше (в противном случае обращение к Миницкому теряет смысл).

³⁹ ГПБ, ф. 286, оп. 2, № 385. — Копия Жуковского не дает никаких различий по сравнению с письмом Ф. Глинка, и поэтому нет необходимости приводить здесь ее текст.

Кроме того, письмо к Милицкому — лишь черновой проект, который Ф. Глинка выслал Жуковскому, желая, по-видимому, согласовать с ним текст своего прошения. Прощение же на имя Бенкендорфа — официальный документ, сохранившийся в делах III Отделения. Таким образом, прежде чем обратиться к Бенкендорфу, Ф. Н. Глинка пытался добиться перевода из Петрозаводска, действуя через генерал-губернатора Милицкого.

К какому именно времени относится это прошение? Уточнить время его написания позволяет дошедшее до нас письмо Жуковского Ф. Глинке от 19 марта 1829 г., в котором как раз и идет речь о пребывании Милицкого в Петербурге, о переговорах Жуковского с ним о делах Глинки, а главное — о представлении различных документов о службе Глинки в Петрозаводске министру внутренних дел А. А. Закревскому, который должен был исходатайствовать разрешение на перевод у Николая I. Напомним текст этого письма: «Спешу сказать вам о том, что сделано. Г. Милицкий представил о вас министру внутренних дел и *сообщил* ему при предписании ваше письмо в оригинале. Министр готов ходатайствовать у государя Императора; он это сказал мне, и я нынче опять писал к нему, изъясняя в письме своем то, что было бы всего лучше для вас сделать. Не знаю, когда будет он иметь аудиенцию у его величества: он сам болен. Однако твердо надеюсь: государь удивительно расположен „к милости“». ⁴⁰

Из этого письма становится очевидным, что Жуковский принял на себя посредничество в переговорах с Милицким и Закревским, с которыми, как видим, общался и лично. Письмо Ф. Глинки, сообщенное Жуковским Милицкому «в оригинале», — это, конечно, опубликованное выше прошение на имя генерал-губернатора Архангельского, Вологодского и Олонецкого. ⁴¹ Вместе с этим письмом министру внутренних дел были представлены и документы с места службы Глинки: упомянутый выше «Подлинный аттестат от Фан-дер Флита», а также «засвидетельствования» о «поведении и занятиях по службе» Глинки со стороны тех лиц, которых он упоминает в своем прошении: прибывших из Петербурга в Петрозаводск для произведения рекрутского набора и

⁴⁰ Литературный вестник, 1902, т. III, № 3, с. 260. — Это письмо, имеющее только число (год указывается в публикации предположительно: 1829 или 1830), не могло быть написано в 1830 г., так как в марте этого года Глинка уже перебрался в Тверь. Следовательно, оно могло относиться лишь к 19 марта 1829 г., когда хлопоты о переводе Глинки из Петрозаводска лишь начались.

⁴¹ Следует напомнить, что Ф. Глинка состоял в переписке с С. П. Милицким (осуществлявшим общее управление тремя губерниями крайнего Севера европейской части Российского государства). Известно (см.: Пушкин, Временник Пушкинской комиссии, т. 2, с. 333), что Ф. Глинка обращался к Милицкому из Петрозаводска 3 июля 1828 г. и в феврале 1830 г. (уже после того, как вопрос о переводе поэта в Тверь был решен). Эти письма в печати не известны. Ответы С. Милицкого Ф. Глинке см.: там же, с. 329, 334.

служебных ревизий флигель-адъютантов В. С. Голицына и А. К. Ливена,⁴² а также сенатора Д. О. Баранова.⁴³

Несмотря на усилия многих весьма влиятельных особ, вопрос о переводе Глинки весной 1829 г. решен не был. По-видимому, посредничества Миницкого и Закревского оказалось недостаточно, так как Глинка был не просто чиновником, ходатайствующим о служебном переводе, а политическим ссыльным, дела которого находились в ведении III Отделения. Но хлопоты Жуковского и Миницкого, добивавшихся этого перевода через министра внутренних дел, несомненно подготовили почву для обращения Ф. Глинки непосредственно к Бенкендорфу. Из письма Ф. Глинки к Бенкендорфу от 24 августа 1831 г., написанного уже из Твери, мы узнаем некоторые новые подробности. Глинка писал: «За год пред сим Вы приняли на себя ходатайство о переводе меня из Петрозаводска».⁴⁴ Это позволяет предположить, что официальному обращению в III Отделение предшествовало доведенное до сведения Ф. Глинки известие о готовности Бенкендорфа принять и рассмотреть его прошение. Прямая заинтересованность III Отделения в «деле» сосланного декабриста объясняет подобную «инициативу» Бенкендорфа. Свою роль сыграли, по-видимому, и хлопоты Жуковского, имевшего, как известно, прямой доступ к царской семье и неоднократно использовавшего его для ходатайства за осужденных декабристов.⁴⁵ На это, вероятнее всего, намекает А. Ф. Воейков, писавший Глинке 12 июня 1830 г.: «Смею Вас уверить, что Василий Андреевич Жуковский всегда принимал в вашем несчастии самое живое участие и, без всякого сомнения, вы ему много обязаны».⁴⁶

Прошение о переводе Ф. Глинки переадресовал Бенкендорфу, обратившись к нему с письмом от 23 декабря 1829 г. 24 января 1830 г. по докладу шефа жандармов состоялось «высочайшее решение» о переводе Глинки в Тверь.⁴⁷ Об этом ему сообщил Бенкендорф в своем письме от 29 января 1830 г., в котором писал:

**«Милостивый государь
Федор Николаевич!**

Просьбу Вашу о переводе Вашем из Петрозаводска в другую губернию имел счастье докладывать всеподданнейше государю

⁴² Князь В. С. Голицын 5-й (1794—1836) — л.-гв. гусарского полка полковник (Месяцеслов... на 1828 г., ч. 1, с. 129). Князь А. К. Ливен (1801—1880) — флигель-адъютант Николая I, участник турецких и польских кампаний.

⁴³ В своем прошении Глинка упомянул и сенатора Д. О. Баранова, но затем зачеркнул его имя.

⁴⁴ ЦГАОРСС, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 61, ч. 186, л. 24.

⁴⁵ Дубровин Н. Ф. Василий Андреевич Жуковский и его отношение к декабристам. — Русская старина, 1902, № 4, с. 45—119.

⁴⁶ Литературный вестник, 1902, кн. 8, с. 348.

⁴⁷ См.: ЦГАОРСС, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 61, л. 15.

императору, и его императорское величество милостивейше повелеть изволил перевести вас на службу в Тверь. Объявляя высочайшую волю для исполнения министру внутренних дел, вмещаю себе в приятную обязанность уведомить о сем Вас, милостивый государь». ⁴⁸

Получив это уведомление, Глинка ответил Бенкендорфу благодарственным письмом:

«Милостивое извещение Вашего Высокопревосходительства, о перемене моего жребия, имел я счастье получить сего 8-го февраля <...> Не знаю, что ожидает меня в Твери; но перевод в сей город принимаю с глубочайшим благоговением. Сие назначение тем более для меня драгоценно, что оно сделано Всемилоостивейшим государем нашим! При настоящем случае, все мысли мои сливаются в одну: заслужить, по возможности, милость, даруемую мне государем, к которому, поистине, питаю столько любви и верноподданнической преданности, сколько оных может вместить мера души человеческой. Скорое и милостивое извещение Ваше пробудило оцепеневшие чувства мои и согрело душу новою жизнью <...>

1830-го февраля 10-го.

Г. Петрозаводск». ⁴⁹

Несмотря на преувеличенно восторженный тон письма (иным оно и не могло быть), в нем сквозит разочарование: Глинка мечтал о разрешении вернуться в Петербург, заняться там литературной деятельностью, надеялся на «полное прощение», но убедился, что ссылка еще не кончилась.

III Отделение продолжало решать дальнейшую участь декабриста. Одновременно с письмом к Ф. Глинке Бенкендорф обратился с официальным предписанием к министру внутренних дел А. А. Закревскому — отдать «зависящее» от него распоряжение, касающееся не только перевода Глинки в Тверь, но и о продолжении секретного надзора за ним. ⁵⁰ Закревский ответил ему письмом от 8 февраля 1830 г., в котором запрашивал, «может ли Глинка перемещен быть в Тверь на том же основании, как он первоначально определен был в Олонецкое губернское правление, то есть: до открытия вакансии сверх штата с присвоенным сему месту жалованием по 1500 рублей в год, или с перемещением его в Тверь, надлежит перевести ныне же одного из советников Тверского губернского правления в таковое же Олонецкое». ⁵¹ Рассмотрев это письмо 10 февраля 1830 г., Бенкендорф вынес следующую резолюцию, послужившую основой официального

⁴⁸ Там же, л. 17.

⁴⁹ Там же, л. 18.

⁵⁰ См.: Б а з а н о в В. Г. Поэт-декабрист Ф. Н. Глинка в ссылке в Петрозаводске, с. 224.

⁵¹ См.: ЦГАОРСС, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 69, ч. 186, л. 19—20.

ответа Закревскому: «Можно было бы ждать вакансии, но так как сия милость государя сделана для облегчения его здоровья, то нужно исполнить на том основании, как было прежде».⁵² Сообщая Закревскому, что Глинка «должен быть определен советником в Тверское губернское правление до открытия первой вакансии на том самом основании, на котором был он помещен первоначально, в Олонецком правлении»,⁵³ Бенкендорф окончательно определил условия службы Глинки на новом месте: перевод в Тверь в сущности явился новой ссылкой, так как никаких изменений ни в положении, ни в занимаемой должности у Глинки не произошло. Оказанная Николаем I «милость» свелась к простому «перемещению» ссылылого декабриста. На примере «Дела» о Ф. Глинке мы явственно видим постепенное расширение функций III Отделения. Не ограничиваясь рамками «секретного надзора», оно по существу решило вопрос о служебном переводе Глинки, а Министерству внутренних дел оставалось лишь оформить этот перевод по установленной форме.

Тверь была не слишком большим, но вполне культурным губернским городом, к тому же расположенным на почтовом тракте, соединяющем Москву и Петербург. «Кто не ездит в Москву из Петербурга и обратно? — писал в этой связи Глинке Дельвиг, — кто из добрых людей не посмотрит на вас и не привезет к нам об вас весточки?»⁵⁴ Дельвиг не ошибся: не успел Глинка перебраться в Тверь (в марте 1830 г.), как возобновилось личное его общение с петербургскими и московскими друзьями. В августе 1830 г. его посетили Пушкин и Вяземский,⁵⁵ а 27 ноября 1831 г. проездом в Москву у Глинки побывал Жуковский, отметивший в своем «Дневнике»: «Ужин в Твери. Глинка. Губернатор. Вице-губернатор».⁵⁶

В Твери Глинку ожидала важная перемена в его личной жизни — женитьба на Авдотье Павловне Голенищевой-Кутузовой. Об этом Глинка сообщил Н. И. Гнедичу в письме от 30 января 1831 г.:

«Почтенный и любезный Николай Иванович!

Я получил ваше прекрасное обязательное письмо вскоре по прибытии моем в Тверь. Чрез несколько времени получил я и *Илиаду*, которая переселила меня совершенно в незапамятно прошедшее. Веки воскресли, лица оживились, и я жил несколько времени, как у себя, в мире греков, в стенах Трои... Это все сбылось волшебством вашего гексаметра и чудесного красотою перевода.⁵⁷

⁵² Там же, л. 19.

⁵³ Там же, л. 21.

⁵⁴ Дельвиг А. Сочинения. СПб., 1893, с. 170.

⁵⁵ Вяземский П. Сочинения. Т. IX. СПб., 1884, с. 137.

⁵⁶ Дневники В. А. Жуковского. СПб., 1903, с. 215.

⁵⁷ «Илиада» Гомера в переводе Н. Гнедича была издана в Петербурге в самом начале 1829 г.

Я живу в Твери. Вручитель сего письма, отчасти, может сказать вам, как я живу. Я почти женюсь, по крайней мере помолвлен. Когда невеста моя читает (прекрасно!) ваши гексаметры и играет на арфе, тогда я думаю: зачем, для полноты счастья, здесь нет любезнейшего, почтеннейшего Николая Ивановича! Как бы усердно я обнял его!

Вы, я думаю, уже слышали, что я женюсь на Авдотье Павловне Кутузовой. Она любит литературу, музыкантша и сама пишет стихи». ⁵⁸

Женитьба потребовала устройства материальных дел жены, имения которой (доставшиеся ей по наследству) находились в Орловской и Тамбовской губернии. Во время своего пребывания в Москве летом 1831 г. А. П. Глинка решилась лично обратиться к Бенкендорфу (сопровождая Николая I в его поездке в Москву) с просьбой предоставить се мужу четырехмесячный отпуск для деловых хлопот по имениям. Об этом она напоминала в своем письме к Бенкендорфу от 14 августа 1832 г.: «В прошлом году, когда Вы были в Москве, брат мой Гаврила Гаврилович Бибиков доставил мне случай видеть и просить вас за мужа моего советника Глинку, имеющего чрезвычайное уважение к благородству Ваших правил, к нежной и возвышенной душе Вашей. Ваш прием был обязателен, слова Ваши меня утешили. И вслед за тем, чрез Ваше ходатайство, превосходнейший государь наш пожаловал мужу моему 4-х месячный отпуск, в течение которого успели мы хотя немного устроить хозяйственные дела свои и лично стараться по наследственному процессу». ⁵⁹

Несмотря на то, что Глинке, прослужившему уже более пяти лет на гражданской службе, полагался законный отпуск, он не мог подать официального прошения об отпуске без его предварительного согласования с Бенкендорфом. 24 августа 1831 г. он обратился к шефу жандармов со следующим письмом:

«Ваше превосходительство
Милостивый Государь!

За год перед сим, с редким великодушием, Вы приняли на себя ходатайство о переводе меня из Петрозаводска. Бог милосердия, в чьей руке почует сердце монарха, благоволил увенчать ходатайство Ваше счастливым успехом и расположил Всемилоостивейшего Государя назначить к пребыванию моему Тверь, где ожидало меня семейственное благополучие. Я вступил в брак с девицею чрезвычайного образования — дочерью покойного тайного Советника Голенищева-Кутузова. ⁶⁰ <...> Но домашние об-

⁵⁸ ПД, ф. 93, оп. 4, № 9. — А. П. Кутузова-Глинка была переводчицей «Песни о колоколе» Шиллера, изданной отдельной книгой в 1832 г.

⁵⁹ ЦГАОРСС, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 61, ч. 186, л. 34—35.

⁶⁰ П. И. Голенищев-Кутузов — видный масон, попечитель Московского университета, литературный противник Н. М. Карамзина.

стоятельства мои не могут устроиться без *нового* содействия *Вашего*. Жене моей досталось *два* имения, из коих на *одном* — в Орловской губернии — лежит большой *казенный* долг; а другое — Тамбовское — находится *в процессе*, по которому нужно иметь личное ходатайство на *месте* и подать апелляцию. Такое стесненное положение домашних дел убеждает меня, с полной верою в благородство Вашей души, просить опять ходатайства *Вашего* о дозволении мне отлучиться в Орел и Тамбов, по важнейшим семейственным делам; ибо жена моя, слабая здоровьем и не знающая служебных обрядов, не может решиться *одна* на дальнюю поездку и подвергается опасности потерять все свое наследственное имение.

По званию старшего советника, при полном одобрении от всех начальников губерний, с которыми я имел честь служить в течение 5-ти лет, мне не предстоит никаких препятствий просить *по установленной форме законного отпуска на IV-ре* месяца. Но я не решаюсь подать такового прошения без *предварительного* соизволения *Вашего* Высокопревосходительства». ⁶¹

О прошении Глинки Бенкендорф доложил 9 октября 1831 г. лично Николаю I, давшему согласие на «увольнение коллежского советника Глинки в отпуск на 4 месяца», ⁶² и только после этого Глинке было «дозволено» подать официальное прошение. Бенкендорф информировал Глинку об этом в своем письме от 24 октября 1831 г., где писал:

«Милостивый Государь Федор Николаевич!

О содержании письма *Вашего* от 24-го августа имел я счастье докладывать Государю Императору, и его величество изъявил всеилостивейшее согласие на увольнение вас на 4 месяца в отпуск в Орловскую и Тамбовскую губернии. О сем имею честь вас уведомить, с тем однако же, чтобы Вы, когда вы вознамеритесь ехать, обратились о том установленным порядком с просьбою по начальству». ⁶³ В тот же день в отношении на имя управляющего Министерством внутренних дел Н. П. Новосильцева Бенкендорф уведомлял о необходимости сделать «зависящее» от него «распоряжение, когда коллежский советник Глинка войдет по начальству о помянутом отпуске». ⁶⁴

Официальное прошение об отпуске Ф. Глинка подал в январе 1832 г., так как уже 28 января 1832 г. Н. П. Новосильцев ставил в известность Бенкендорфа о том, что «уволил Глинку в отпуск» на основании «донесения тверского гражданского губернатора» и «высочайшего повеления вашим превосходительством от 25 минувшего октября мне объявленного». ⁶⁵

⁶¹ ЦГАОРСС, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 69, ч. 186, л. 24—25.

⁶² Там же, л. 26.

⁶³ Там же, л. 28.

⁶⁴ Там же, л. 27.

⁶⁵ Там же, л. 29.

Несмотря на то что разрешение Глинке на отпуск было дано Николаем I еще 9 октября 1831 г., а оформление дела об отпуске началось в январе 1832 г., уехать из Твери в Тамбовскую и Орловскую губернии Глинка смог лишь в мае 1832 г. Сразу же после его отъезда возник вопрос о тайном надзоре, отразившийся в ряде документов «Дела» III Отделения о Ф. Глинке. Тверской гражданский губернатор запрашивал министра внутренних дел Д. Н. Блудова (назначенного на этот пост в феврале 1832 г.), «не пужно ли сообщить местным начальствам Орловской и Тамбовской губерний о продолжении секретного надзора за Глинкою во время отпуска».⁶⁶ Блудов в своем письме от 26 мая 1832 г. переадресовал этот запрос шефу жандармов, незамедлительно получив от него ответ. В своем официальном письме министру внутренних дел от 9 июня 1832 г. Бенкендорф сообщал, что «над советником Тверского губ<ернского> правления Глинкою, уволенным ныне в отпуск в Орловскую и Тамбовскую губернии, надлежит иметь секретный надзор и во время пребы<вания> его в сих губерниях».⁶⁷ Таким образом, находясь в отпуске, Глинка не избежал бдительнейшего тайного надзора высших властей, но «местные пачальники» так и не смогли сообщить в III Отделение никаких подзрительных сведений о нем.

В конце августа 1832 г. Глинка вернулся в Тверь, а 31 августа обратился с письмом к Т. Е. Фан-дер Флиту, в котором коснулся своей поездки, в частности пребывания в Москве. Глинка сообщает: «На днях возвратился я из путешествия в Москву, Орел и другие места по делам доставшегося мне имения. В этой-то дороге захватил я простуду. По Мценской деревне у нас ближайший сосед (в 2-х верстах) братец Татьяны Федоровны».⁶⁸ Другой сосед наш — Алексей Иванович Веревкин (моряк, славный человек) знает вас и Татьяну Федоровну и очень предан вам. Г. г. Ладыженские, наши знакомые из Твери, также привозили мне известия о вас. Теперь сии строки пишу с Г-м подполковником Леонтьевым,⁶⁹ который проезжает в С.-Петербург для приискания службы. Он желает поместиться *по контролю*, и в сем случае никто не может быть ему полезнее Вашего Превосходительства и по доброте Вашего сердца и по влиянию на контрольную часть. Московские знакомые ходатайствуют за Г-на Леонтьева, и я, памятуя вашу готовность к добру, не смог отказать ему в рекомендации».⁷⁰

Пока Глинка находился в отпуске, петербургские друзья предприняли еще одну попытку несколько улучшить его служебное положение. На этот раз за ссыльного декабриста ходатайствовал Д. В. Дашков (один из ближайших друзей Жуковского),

⁶⁶ Там же, л. 30.

⁶⁷ Там же, л. 31.

⁶⁸ Жены Фан-дер Флита.

⁶⁹ Примечание Фан-дер Флита: «Петр Алексеевич».

⁷⁰ ИРЛИ, Р. I, оп. 5, л. 48.

ставший в 1832 г. министром юстиции, а до этого бывший товарищем министра юстиции. 2 июня 1832 г. он написал на имя Бенкендорфа следующее секретное письмо:

«В Тверской губернии имеется ваканция губернского прокурора. К занятию места сего необходимо нужен человек честный и умный. Озабочиваясь выбором таковых свойств чиновника, я преимущественно имею в виду, в числе других кандидатов, коллежского советника Глинку, служащего Советником в Тверском губернском правлении. Но прежде нежели приступить к каким-либо распоряжениям, я желал бы знать, какого, Ваше Высокопревосходительство, изволите быть об нем мнения и вообще не встречается ли препятствия к употреблению коллежского советника Глинки на службу в должности прокурора; почему покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, почтить меня об оном Вашим уведомлением».⁷¹

9 июня 1832 г. Бенкендорф ответил Дашкову письмом, весьма выразительно раскрывающим «причины», не позволяющие шефу жандармов выступить с ходатайством перед Николаем I о назначении Ф. Глинки на должность губернского прокурора. Сообщая Дашкову, что все полученные III Отделением отзывы «о коллежском советнике» Ф. Глинке во время его нахождения советником Олонедкого и потом Тверского губернских правлений были весьма удовлетворительны и свидетельствуют, что он человек «умный, честный и способный к делам», Бенкендорф напоминал о политическом прошлом декабриста: «Но, как чиновник сей, как и Вашему пр<евосходительст>ву известно, был несколько прикосновенен к происшествию 14 декабря, то на счет определения его губернским прокурором и с моей стороны [никакого] решительно заключения сделать не могу, а полагаю, что не рассудит ли Ваше пр<евосходительст>во доложить о сем Государю Императору, повергнув на всемилостивейшее его величества усмотрение и сей мой на счет г<осподина> Глинки отзыв».⁷²

По существу это письмо означало отказ шефа жандармов от личного ходатайства за Ф. Глинку. Уяснив ситуацию, Дашков также не решился обратиться к Николаю I, и определение Глинки на новую должность не состоялось. Несмотря на множество отличных аттестаций и рекомендаций, вопрос о служебной карьере Глинки был предрешен, и дальнейшая служебная деятельность потеряла всякий смысл.

В этих условиях мысль об отставке становилась неизбежной. Она была связана со все возрастающим разочарованием Ф. Глинки в чиновничье-бюрократической службе и с тяготившей его необходимостью отдавать отчет в каждом своем поступке. Еще осенью 1831 г. он начал предварительные переговоры с Бенкендорфом. Об этом мы узнаем из письма Ф. Глинки к нему от 11 ноября 1831 г., в котором читаем: «Ваше превосходительство

⁷¹ Там же, л. 32.

⁷² Там же, л. 33.

изволили почтить меня двумя извещениями, сперва о благодетельном намерении исходатайствовать мне отпуск, а затем и о всемилостивейшем соизволении дабы я испрашивал оный по установленной форме, — писал Ф. Глинка Бенкендорфу. — Я бы остался виновным пред самим собою, если бы не изъяснил Вам, Милостивый Государь! хотя в пемногих словах, той совершенной признательности, которую более можно чувствовать, нежели выразить. Мне остается только молить святое провидение, чтобы оно благоволило осчастливить меня возможностью доказать, хотя отчасти, на самом деле то беспредельное чувство верноподданнического усердия, которым проникнута душа моя к единственному Государю нашему <...>».⁷³

Это письмо снабжено резолюцией Бенкендорфа («через несколько времени пусть напишет ко мне, я доложу государю, а теперь должно ему повременить»), которая представляется весьма загадочной: ведь вопрос об отпуске Ф. Глинки был решен Николаем I еще 9 октября 1831 г. Между тем в своем ответном письме от 20 ноября 1831 г. Бенкендорф снова повторяет:

«На ваше письмо от 11-го сего ноября имею честь уведомить, что по некоторым обстоятельствам я не пахожу удобным представлять ныне Государю императору о просимом вами отпуске, опасаясь тем сделать вам более вреда, чем пользы, а по прошествии некоторого времени прошу Вас повторить письмо ваше ко мне и тогда я за удовольствие себе поставлю повергнуть оное всемилостивейшему воззрению Государя императора».⁷⁴ Возникшее недоумение легко устраняется, если допустить, что вместе с благодарственным письмом в связи с получением разрешения об отпуске Глинка прислал и свое прошение об отставке, на которое отвечает Бенкендорф и в своей резолюции, и в письме от 20 ноября. Прощение это, надо полагать, было возвращено Глинке вместе с сопровождающим его ответом Бенкендорфа.

Почему шеф жандармов не захотел дать «ход» делу об отставке Ф. Глинки? Точные мотивы его отказа нам не известны, однако некоторые предположения напрашиваются сами собой. Зная личный характер Николая I (только что давшего согласие на увольнение Глинки в четырехмесячный отпуск), Бенкендорф не надеялся на успех нового прошения.

13 декабря 1832 г. Ф. Глинка снова обратился в официальные инстанции с прошением об отставке. В письме на имя А. Н. Мордвинова (ставшего после смерти М. Я. Фон-Фока управляющим III Отделением) Ф. Глинка писал:

«Милостивый Государь
Александр Николаевич!

За год перед сим утруждал я его превосходительство Александра Христофоровича прошением о исходатайствовании мне

⁷³ Там же, л. 22.

⁷⁴ Там же, л. 38.

дозволения просить, по установленной форме, увольнения от службы по болезни и домашним обстоятельствам. Его высокопревосходительство изволил мне дать знать письменно из Москвы (1831, от 20 ноября), что он желает, дабы я повторил письмо мое к нему через несколько времени. С тех пор истекает уже год, болезненное состояние мое не уменьшается; а между тем процесс по имению, доставшемуся жене моей в приданое, и другие домашние обстоятельства требуют неотложно личного присутствия моего в разных местах, в особенности в Москве и Орловской губернии. Сии обстоятельства настоятельно побуждают меня повторить мое прошение об отставке и просить благодетельного ходатайства его превосходительства Александра Христофоровича.

Ум и сердце Вашего превосходительства мне известны. Вы были ко мне милостивы, а посему я и осмеливаюсь просить Вас убедительнейше войти в мое положение и содействовать, зависящими от Вас средствами, успеху моего прошения к его высокопревосходительству Александру Христофоровичу.

Письмо сие доставит вам двоюродный брат мой В. А. Глинка, состоящий при Государе. Он объяснит Вашему превосходительству мои семейные обстоятельства. И ваше доброе благородное сердце, конечно, не откажется обязать человека, издавна Вам преданного».⁷⁵

Глинка, как видим, привлек к участию в этом деле своего влиятельного родственника — Владимира Андреевича Глинку, «состоящего при государе» (как он указывает в письме к Мордвинову) и занимавшего в эти года ряд видных военных постов.⁷⁶ На этот раз прошение было принято и на его основе составлен «Всеподданнейший доклад об увольнении от службы коллежского советника Глинки или о переводе его на службу в Орловскую губернию», состоявшийся 19 ноября 1832 г.⁷⁷ Предварительная формулировка решения по прошению об отставке, предложенная Бенкендорфом, отражает его колебание между окончательной отставкой (к которой стремился Глинка) и служебным переводом в Орел. Николай I остановился на втором варианте. Таким образом, вместо того, чтобы, уволившись со службы, получить относительную свободу и независимость, Глинка вынужден был, покинув удобное для себя местожительство в Твери, отправиться на службу в захолустный город Орел. Как это было в 1830 г. при переводе в Тверь, новое назначение породило обширную переписку III Отделения и лично Бенкендорфа с разными служебными инстанциями, в ведомстве которых состоял Ф. Глинка. Условия определения на новую службу остались прежними: сверхштатным советником губернского правления г. Орла с прежним

⁷⁵ Там же, л. 36—37.

⁷⁶ В. А. Глинка был в эти годы генералом и состоял в свите Николая I, сопровождая его в поездках в действующую армию.

⁷⁷ См.: ЦГАОРСС, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 69, ч. 186, л. 39.

окладом (1500 руб.) и с прежним чином.⁷⁸ Многочисленные ходатайства и прекрасные аттестации всех «начальников», с которыми Глинке довелось служить, не помогли его продвижению по службе, однако, по-видимому, сыграли свою роль при решении вопроса о секретном надзоре за бывшим декабристом. В ответ на запрос министра внутренних дел Д. Н. Блудова по поводу этого надзора от 24 ноября 1832 г. Бенкендорф сообщил в своем письме от 30 ноября того же года следующее:

«На отношении Вашего превосходительства от 24 ноября № 509 честь имею ответить, что так как во все время нахождения коллежского советника Глинки под секретным надзором в бытность его Советником в Олонецком и потом в Тверском губернском правлении ничего предосудительного в его поведении не замечено, то, по моему мнению, ныне не предстоит более надобности продолжать за ним какое-либо особое наблюдение, кроме того, которое всякое начальство обязано иметь за своими подчиненными».⁷⁹

Служба Глинки в Орле ввиду официального прекращения секретного надзора над ним никак не отразилась в «Деле» III Отделения, и только через два с лишним года в этом деле появляются новые весьма важные документы. 7 февраля 1834 г. Ф. Глинка вновь обратился к Бенкендорфу с прошением об отставке. Он писал:

«В течение восьми лет ваше сиятельство были моим лучшим, смею сказать, единственным благодетелем. Сердце мое привыкло называть Вас сим именем. Теперь предстоит еще один случай увеличить, в отношении ко мне, Ваши благодеяния и доставить мне средства возратить потерянное здоровье, без которого не могу быть ни к чему полезным. В 8-м лет службы по трем губернским правлениям, при обширных и непрерывных занятиях, лишился я совершенно здоровья и прежней свежести умственных способностей. К припадкам, происходящим от деловой сидячей жизни, присоединились ревматические боли — остатки прежних походов. Все сие вместе сильно подействовало на организм. Теперь *слух* и *зрение* видимо слабеют и разные признаки показывают большое расстройство в нервах. Но врачи уверяют, что при употреблении *приличных* вод и перемене образа жизни можно получить облегчение. Сиятельный граф! Провидение поставило Вас у престола истинно мудрого и столь же милосердного государя! Устойте, еще раз, употребить Ваше сильное ходатайство пред его величеством и благоволите испросить высочайшее соизволение на то, чтобы я мог, по команде и установленной для чиновников форме,

⁷⁸ Как показывают документы публикуемого «Дела», в 1832 г. Глинка все еще оставался коллежским советником, а в 1834 г. он был уже статским советником, однако это не отразилось на его служебном положении. В новом чине он по-прежнему оставался советником губернского правления.

⁷⁹ ЦГАОРСС, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 69, ч. 186, л. 45.

подать *прошение в отставку*. По возвращении здоровья, я готов, если могу быть найден к чему-либо способным, посвятить всего себя с живейшею ревностью на служение всякого рода. Время же отставки, между попечением о восстановлении сил и способностей, употреблю я на приведение в порядок записок об незабвенной войне 1812-го года, обязан притом будучи продолжать переписку и длительное хождение по имению жены моей *χ. . .*».⁸⁰

Это (уже третье по счету!) прошение было удовлетворено. 24 февраля 1834 г. по «всепопданейшему докладу» Бенкендорфа Николай I уволил, наконец, Ф. Глинку в долгожданную отставку, о чем Бенкендорф сообщил ему 28 февраля, уведомляя одновременно и министра внутренних дел Блудова.⁸¹

По установившейся в России традиции чиновник при увольнении в отставку получал в качестве своеобразного вознаграждения за свою службу следующий чин. Вопрос о присвоении такого чина возник и в связи с выходом в отставку Ф. Глинки, вызвав особую переписку министра внутренних дел с Бенкендорфом. Для получения чина действительного статского советника снова понадобилось личное разрешение Николая I, данное им по особому докладу Бенкендорфа «О награждении статского советника Ф. Глинки следующим чином» 8 июля 1834 г.⁸²

Последняя группа документов, завершающих драматические эпизоды жизни Ф. Глинки как политического ссыльного и связанных с деятельностью III Отделения, относится уже к 1846 г., когда по личному ходатайству упомянутого выше В. А. Глинки был поставлен вопрос о разрешении «действительному статскому советнику Федору Глинке въезда в Петербург». Ходатайство было обращено к преемнику Бенкендорфа, графу А. Ф. Орлову, для которого, по-видимому, и была составлена сохранившаяся в «Деле» «Записка для памяти», в которой читаем:

«Глинка, в чине полковника, оказался прикосновенным к происшествию 14 декабря 1825 года, был взят на службу по гражданской части в Петрозаводске, потом переведен в Тверь, а оттуда в Орел; получил на службе чин статского советника и в 1834 году уволен в отставку с чином действительного статского советника. Воспрещения же Глинке о въезде в столицы не было».⁸³

⁸⁰ Там же, л. 46, 47. — Письмо имеет резолюцию Бенкендорфа «С делом о нем доложить» и служебную помету, отражающую дальнейшее прохождение этого дела: «Докладная записка предст. 24 февр. п. 28 февр. Г. Глинке № 818, Министру вн. дел № 818».

⁸¹ Там же, л. 49 (сообщение министру внутренних дел) и л. 50 (письмо Ф. Глинке, разрешающее подать официальное прошение об отставке).

⁸² Там же, л. 54.

⁸³ Там же, л. 56. — Далее (л. 57, 58) находятся выписки: из «Дела» следственной комиссии 1826 г. о причастности Ф. Глинки к тайному обществу; из решения о Глинке по докладу следственной комиссии от 14 июня 1826 г., а также из приказа Николая I о переводе Глинки на гражданскую службу в Петрозаводск. Выписки эти, по-видимому, были состав-

Автор «Записки для памяти» (вероятно, чиновник III Отделения) был прав: формального запрещения о въезде в столицу Глинке не было. Он был сослан в Петрозаводск «безвыездно», но по существу уже в Твери (по согласованию с Бенкендорфом) и в особенности в Орле пользовался правом выезда из этих губерний. Бывал он и в Москве, где поселился в 1835 г. Новое ходатайство должно было узаконить право Ф. Глинки на въезд и в другую столицу — Петербург. В этой связи А. Ф. Орлов писал В. А. Глинке:

«М. г. Владимир Андреевич! По ходатайству Вашего превосходительства о родственнике Вашем действительном статском советнике Федоре Глинке, я имел счастье всеподданнейше докладывать Государю императору, и его В<еличест>во Все<милостивей>ше соизволил ответственность, что так как Федору Глинке не был воспрещен въезд в столицу, то нет препятствия и к въезду его в Петербург.

Поспешая уведомить о сем ваше превосходительство для извещения г<осподина> действительного статского Советника Глинки, я остаюсь в полной уверенности, что он во время приезда его в С. Петербург сможет оправдать оказываемую ему доверенность и будет вести себя прилично его званию».⁸⁴

Этим пожеланием «вести себя прилично его званию» и закончилась двадцатилетняя история взаимоотношений с III Отделением бывшего декабриста и политического ссыльного Ф. Глинки, в полной мере испытавшего унижительную и угнетающую власть самодержавно-полицейских порядков николаевской России.

В. С. КИСЕЛЕВ-СЕРГЕНИН

ЦЕНЗУРНО-ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТЕРРОР В ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 Г. ПО МЕМУАРАМ М. А. ДМИТРИЕВА

Мемуарная проза М. А. Дмитриева дошла до нас в виде двух авторских рукописей. На титульном листе первой обозначено: «Записки»; вторая имеет название: «Главы из воспоминаний моей жизни». Лишь отдельные эпизоды из этих мемуаров были внесены в книгу писателя «Мелочи из запаса моей памяти», вышедшую двумя изданиями — в 1854 и 1869 гг.¹ Небольшие извлечения

лены для Орлова, в отличие от Бенкендорфа не знавшего всех обстоятельств декабристского прошлого Ф. Глинки; самые же дела эти, вероятно, были подняты в связи с ходатайством о въезде Ф. Глинки в Петербург.

⁸⁴ Там же, л. 59.

¹ Первоначально это своеобразное *rot-rougi* забытых и неизвестных публике фактов литературы, литературного и общественного быта России появилось на страницах журнала «Москвитянин» (1853, т. 6, № 23; 1854, т. 1—4, № 1, 2, 6, 12, 16).

из первой рукописи были использованы в статье А. Г. Грум-Гржимайло и В. В. Сорокина «Общество любителей громкого смеха».²

Если в «Записках» Дмитриев доводит свое повествование до начала 20-х годов, то «Главы из воспоминаний» являются в сущности обзорением литературной и общественной жизни России в эпоху царствования Николая I. К сожалению, первые пять глав рукописи (главы 10—14) не известны. Вероятно, они были отделены от нее с какой-то определенной целью. Судя по аннотированному оглавлению, это, наверное, была самая интересная часть рукописи. Вот как раскрывается в нем содержание первых трех глав:

Глава 10. Московская литература. Театральные знакомства. Литературная ссора с кн. Вяземским. Глава 11. Примирение с дядей. Открытие театра. Служба под начальством Д. В. Голицына. Кончина Александра. Бунт. Николай Павлович. Глава 12. Коронация государя Николая Павловича. Праздники и балы. Записка о нуждах дворянства. Учреждение тайной полиции».³

Появление декабристской темы в мемуарах Дмитриева далеко не случайно. Установлено, что автор их имел личные контакты с рядом участников декабристского движения. Так, еще зимой 1819/20 г., будучи одним из учредителей студенческого кружка под названием «Общество любителей громкого смеха», Дмитриев познакомился с М. А. Фонвизиним, Ф. А. Шаховским и А. А. Муравьевым. Все трое присоединились к кружку с целью вовлечь молодых людей в тайное общество. Как вспоминал Дмитриев, они, «убедившись в незрелости его (т. е. кружка, — В. К.-С) членов, отступились от своего намерения».⁴ Из тех же «Записок» мы узнаем, что Дмитриев состоял в переписке с А. О. Корниловичем, а также с А. А. Бестужевым и Рылеевым. «В 1823 году, от 28 апреля, — рассказывает он, — получил я в Симбирске письмо от издателей этого альманаха — Бестужева и Рылеева (из которых впоследствии первый был сослан, а второй повешен). Они отыскиали меня в моем уединении и просили моих стихов для будущей книжки своего альманаха».⁵ Известно, что по рекомендации Рылеева Дмитриев как подающий надежды молодой поэт был принят в петербургское «Общество любителей российской словесности».

Тесные связи с бывшими деятелями ранних декабристских организаций Дмитриев поддерживал и позднее. В числе его близких знакомых были поэт Ф. Н. Глинка, генерал М. Ф. Орлов и П. Я. Чаадаев.

Какое бы впечатление не произвели на Дмитриева вести о 14 декабря 1825 г., ясно одно — что вся история и предыстория

² См.: Декабристы в Москве. Сборник статей. М., 1963 (Труды Музея истории и реконструкции Москвы, вып. VIII), с. 143—149.

³ ГБЛ, ф. 178, № 8184/2. — Дядя — И. И. Дмитриев.

⁴ ГИМ, ф. 445, л. 385 об.

⁵ Там же, л. 508 об.

этого события объединились в его сознании с судьбой просвещенного дворянства России вообще. В «Главах из воспоминаний» разгром декабристского движения выглядит как зловещий пролог ко всему царствованию Николая I.

«С самого начала царствования, — пишет мемуарист, — Николай Павлович смотрел неблагоприятно на литераторов как на людей мыслящих, следовательно опасных деспотизму, а вследствие этого почитал опасною и литературу. Бунт 14 декабря 1825 года, произведенный заговорщиками, имевшими в рядах своих лучших и просвещеннейших людей России, так перепутал его понятия о просвещении вообще, что оно не отделялось в его голове от мысли о бунте, а бунтом почитал он всякую мысль, противную деспотизму. И потому малейший повод к толкованиям служил уже к подозрению, а жандармы и другие услужливые люди не упускали случая наводить его на такие подозрения из желания услужить его любимой мысли, угодить его тревожной подозрительности и доказать самодержцу, что они берегут его особу».⁶

По мысли Дмитриева, Николай I до конца своих дней так и не уверился в том, что с декабристами покончено, Вселившийся в него дух подозрительности и недоверия определял всю внутреннюю политику правительства, нанеся огромный ущерб литературе. «Цензура была сама по себе, — продолжает Дмитриев, — но, кроме цензуры, установленной законом, и кроме безотчетных действий цензоров, была еще тайная бдительная власть над всеми литераторами и над всеми произведениями литературы: эта власть сосредоточивалась в жандармском отделении собственной канцелярии государя и действовала всегда мимо Министерства просвещения и часто без его ведома».⁷

Положение литературы в последекабрьский период Дмитриев иллюстрирует на нескольких типичных происшествиях, в свое время получивших широкий общественный резонанс. Факты цензурно-полицейского террора, о которых с возмущением рассказывает Дмитриев, уже освещались в печати, поэтому полное воспроизведение тех страниц мемуаров, которые посвящены этим эпизодам, в настоящей публикации нецелесообразно. Тем не менее не лишен интереса авторский комментарий к ним, как мнение современника-очевидца; безусловно отразившее и мнение определенных кругов общества, возмущенных жестокой расправой властей с деятелями литературы. Дмитриев, в частности, останавливается на трех репрессиях III Отделения, санкционированных самим царем. «Первый пример, который я помню, — пишет он, — оказался в 1830 году. В альманахе М. А. Максимовича „Денница“ напечатаны были стихи девицы Тепловоу на смерть утопившегося какого-то молодого человека. Вот эта элегия, состоящая вся из осми стихов».⁸ Приведа текст стихотворения Тепловоу, он говорит

⁶ Там же, л. 62 об.—63.

⁷ Там же, л. 63.

⁸ Там же, л. 63—63 об.

далее: «Проницательные люди донесли, что в этих стихах дело идет о Рылееве, содержавшемся перед казнию в каземате Петропавловской крепости, омываемой волнами. Довольно было этого имени, чтобы поднять тревогу в душе Николая Павловича и воздвигнуть бурю».⁹ Московский цензор С. Н. Глинка, пропустивший стихи Теплового в печать, был по «высочайшему повелению» посажен на гауптвахту. Разнесшиеся по Москве слухи об этом наказании вызвали прилив сочувствия к пострадавшему со стороны его многочисленных знакомых и даже людей, лишь понаслышке знавших его. Рассказ о посещении Дмитриевым арестованного Глинки был использован во втором, «дополненном по авторской рукописи» издании «Мелочей из запаса моей памяти», но с цензурными заменами и изъятиями. Так, например, в этой книге была выпущена следующая тирада мемуариста, идущая вслед за описанием грязного и сырого помещения гауптвахты — места заключения Глинки:

«Наши цари, привыкшие к удобствам и роскоши своих дворцов, никогда, вероятно, и не заглядывали в эти сырые вертепы, где содержатся жертвы их деспотической власти. Старик, муж и отец семейства, может сгнить, забытый в этой сырости и грязи, бедная жена и несчастная дочь переселились к нему и разделяют его позор и страдание, и все это без малейшей его вины, по одному пустому подозрению, по одним доносам подлых угодников; а деспот думает, что он отправляет правосудие, пьет и спит покойно в теплом, светлом и роскошном дворце своем. И все это происходит оттого, что они далеки от своего народа, что они ему чужие, не знают, как живут и что терпят русские люди даже в обыкновенной их жизни, не только в этих вертепах и подземельях! Много будет отвечать Николай Павлович и за свою природную жестокость и за свое обманчивое мнимое правосудие! О ненавистных свойствах русского правительства, деспотизм и слепога в деле правды!»¹⁰

Переходя к следующей «проделке деспотизма» Николай I, Дмитриев пишет: «Этот второй случай был в 1832 году. Журнал „Европеец“, который только что начал издавать Ив. Вас. Киреевский, был запрещен на второй книжке. Причины запрещения изложены были в отношении графа Бепкендорфа к тогдашнему министру просвещения, помнится князю Ливену, которого кто-то назвал в одной эпиграмме „ливнем просвещения“, потому что в его министерство так и лились как из ведра нападки на литературу и литераторов. Эти причины запрещения „Европейца“ так оригинальны по высочайшему толкованию самых обыкновенных выражений, употребляемых в литературе, что я решаюсь переписать здесь всю эту официальную бумагу с копии, данной мне тогда же цензором С. Т. Аксаковым. Вот это запрещение в том

⁹ Там же, л. 63 об.

¹⁰ Там же, л. 64—64 об.

виде, как оно было прислано министром к попечителю Московского университета». Прочитав полностью этот документ, Дмитриев продолжает: «К этому прибавить нечего. Высочайшее толкование слов: *просвещение, деятельность разума и искусство отысканная средина*, которые будто бы означают *свободу, революцию и конституцию*, достаточно объясняют, какому паническому страху подвержен был ум этого государя при малейшем подозрении...».¹¹

Публикация «Философического письма» Чаадаева, высочайшее объявление его автора сумасшедшим, разгром «Телескопа» — вся эта история развертывалась буквально на глазах у Дмитриева. Тогда же — неведомо каким путем — он сумел снять копии с нескольких официальных бумаг по этому делу, выдержки из которых приводятся им в «Главах из воспоминаний». Вот что сообщает Дмитриев о Чаадаеве.

«Я встречался с ним у Левашовых, но не искал его знакомства именно потому, что не хотел показать себя заискивающим внимания этой тогдашней знаменитости. Однажды Катерина Гавриловна Левашова (у которой во флигеле он жил) позвала меня обедать, сказала мне, что ее просил Чаадаев сблизить его со мною и что они приглашают меня именно для этого. От такого предупредительного вызова отказаться было нельзя и не было причины. Мы согласились, и это было одно из самых приятных и прочных знакомств моих.

Чем же был знаменит в Москве Чаадаев? Умом, не говоря о других его качествах и чистоте жизни. Вопреки мелочной зависти, которая у нас так сильна в обществе, и вопреки предубеждения против людей светских, пример Чаадаева доказывает, что и у нас достоинства человека знают цену. Чаадаев был небогат, незнатен, а не было известного лица, приезжающего в Москву, не было путешественника, который бы не явился к нему просто как к человеку, известному своим умом, своим просвещением. Это была в Москве умственная власть».¹²

По словам Дмитриева, Чаадаев был «решительно неспособен к практической жизни, например, к занятиям службою гражданской или к другой какой-нибудь общественной деятельности. Такова у нас, впрочем, участь всех людей, выходящих мыслию и просвещением из уровня посредственности: они делаются бесполезными мыслителями, живущими в сфере идеальной, редко кому передающими свои идеи и никогда не находящими возможным применить их к делу. Чаадаев мог быть счастливым собою, но ему недоставало свободного воздуха в окружавшей его атмосфере. Он искал и не находил под ногами твердой почвы. Русскую жизнь был он недоволен, да и нечем и быть довольным,

¹¹ Там же, л. 65 об.—66 об.

¹² Там же, л. 67—67 об.

а европейство не прилагалось к русскому быту и ни к чему, чего желал он для России.

Под влиянием этих настроений своего духа изложил он свой образ мыслей и свой взгляд на Россию вообще в нескольких философских письмах, писанных им на французском языке к одной даме, г-же Пановой. Я читал все эти письма в рукописи: он давал мне их французский подлинник. Но я никогда не думал, чтоб их можно было напечатать. Первое письмо было особенно замечательно: в нем было много горькой правды, сказанной резко и красноречиво, хотя и не всегда верно.

Однажды Катерина Гавриловна Левашова просила меня приехать к ней и обратилась ко мне вот с какою просьбою. От нее узнал я, что философические письма переведены Кетчером¹³ и что их хотят печатать в „Телескопе“, журнале профессора Надеждина. Она предвидела последствия и боялась их; зная некоторое влияние мое на Чаадаева, она просила меня уговорить его не издавать этих писем, как содержащих в себе такие мнения, которые для него лично могли быть опасны. Но ничто не помогло, и первое письмо было напечатано в 15-й книжке „Телескопа“ 1836 года...¹⁴

Далее следует рассказ о циркуляре Бенкендорфа к московскому военному генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну от 23 октября 1836 г. по поводу публикации «Философического письма». Почти полностью выписав текст этого знаменитого документа, Дмитриев говорит: «Одним словом, Чаадаев, один из умнейших людей Москвы, объявлен был по высочайшему повелению сумасшедшим <...> Эта высочайшая ирония принята была Москвою еще с большим негодованием, чем история Глинки. Само собою разумеется, что все бросились навещать Чаадаева, и деспотизм произвел действие, совершенно противное намерению деспота. Все были на стороне угнетенного, и никто не похвалил насилия власти, что тем замечательнее, что перед этим многие сами винули Чаадаева, но жестокость власти заставила их перейти на его сторону.

Но этим дело не кончилось. Велено было произвести следствие <...>

Но Чаадаев (чего от него никак нельзя было ожидать) оказал некоторую слабость духа. Выслушав объявление высочайшего повеления, он сказал, „что заключение, сделанное о нем, весьма

¹³ Еще одно свидетельство современника, подтверждающее версию о том, что переводчиком «Философического письма» был Н. Х. Кетчер. То же говорит хорошо осведомленный биограф Кетчера А. В. Станкевич (см. его мемуарный очерк: Н. Х. Кетчер. Воспоминания. М., 1887, с. 12). На иной версии, не подкрепленной сколько-нибудь веской аргументацией, настаивает П. С. Шкуринов, утверждающий, что переводчиком будто бы был Белинский (см.: Шкуринов П. С. П. Я. Чаадаев. Жизнь, деятельность, мировоззрение. М., 1960, с. 24—26).

¹⁴ ГИМ, ф. 445, л. 68 об.—69.

справедливо, ибо при сочинении им назад тому шесть лет философических писем он чувствовал себя действительно нездоровым и расстроенным во всем физическом организме, что в то время хотя он и мыслил так, как изъяснил в письмах, но по прошествии столь долгого времени образ его мыслей теперь изменился и он предполагал даже против оных написать опровержение, что он никогда не имел намерения печатать сих писем и не может самому себе дать отчет, каким образом он был вовлечен в сие и согласился на дозволение напечатать оные в журнале Надеждина, и что, накопец, он ни в каком случае не предполагал, что цензура могла сию статью пропустить“.

В объяснении своем с попечителем Университета графом Строгановым (если верить донесению обер-полицмейстера) Чаадаев объявил, что его статья „напечатана вопреки его желанию“. Но это несправедливо. Я сказал уже, что Левашова заранее просила меня уговорить Чаадаева не печатать своих писем, но что он не согласился. Если действительно было такое отречение Чаадаева, то это доказывает только, как и самые сильные умы, попавшие в руки деспотизма, уступают страху и неотразимой силе власти.

Для нас, современников всех этих людей, знавших их лично, знавших коротко и качества их сердца и умственные их способности, для нас, говорю, не может казаться невозмутительным еще то обстоятельство, что следствие об оценке мнений философа о споре европейства с Русью, хотя бы отчасти и ошибочных, производил невежда, взяточник, солдат и лошадиный охотник, не только не слышавший о науке, но не знающий даже ни одного иностранного языка, одним словом, обер-полицмейстер Цынский, вышедший в люди тем, что управлял конным заводом графа Алексея Федоровича Орлова. Только у нас наука и философия попадают в такие лапы! О Русь!»¹⁵

Несколько строк в своих мемуарах Дмитриев посвящает опальному М. Ф. Орлову: «Чаадаев, — пишет он, — познакомил со мною Михаила Федоровича Орлова. Начавши свое поприще самым блестящим образом в гвардии и дослужась до чина генерал-майора, он оканчивал свой век в Москве, так сказать в почетном изгнании. Красавец собой, человек большого ума и обширного просвещения, он был употребляем императором Александром Павловичем в многих немаловажных случаях и между прочим для переговоров с Талейраном о сдаче Парижа; но он был замешан в истории четырнадцатого декабря, то есть принадлежал к тайным обществам, и Николай пощадил его только из любви к брату его Алексею Федоровичу, который после сделан был графом. А Михаила Федорович между тем написал на французском языке книгу о финансах и занимался живописью. Он был

¹⁵ Там же, л. 69 об.—71.

друг Чаадаева и мог бы быть полезным государственным человеком, но Николаю Павловичу не нужны были умные люди». ¹⁶

Подводя итог своим размышлениям об эпохе царствования Николая I, Дмитриев утверждал: «После 30-летнего царствования государя, которого при жизни пазывали в глаза великим и мудрым, не остается ни одного государственного человека, ни одного генерала... После Николая остались финансы, которые держатся поборами со всякой мелочи, с табаку, с сигар, с путешествующих в чужих краях, осталось расстроенное земледелие, пародопаселение, уничтоженное ежегодными рекрутскими наборами, бедность дворянства от низкой цены на хлеб, упавшего от новой системы винной продажи; ничтожность талаптов от угнетения ума цензурою и страхом правительства, разрушение всех связей от боязни доносов и шпионства; словом, убит дух, убиты доходы, убиты таланты». ¹⁷

Работа над «Главами из воспоминаний» протекала в основном в последние три года жизни писателя, т. е. в 1864—1866 гг. (согласно указанию автора). Следует заметить, что взгляды Дмитриева тех лет вовсе не были каким-то новым этапом в его идейном развитии. Напротив, они явились естественным завершением тех настроений, которые стали овладевать им, по-видимому, еще в конце 20-х годов.

Михаил Дмитриев несомненно принадлежал к тем кругам культурного родовитого дворянства, которые цепко держались за свои привилегии, за патриархальные начала русской жизни и питали вражду к демократическому лагерю. Но это был консерватизм оппозиционного свойства, оппозиционный прежде всего по отношению к верховной власти. Не принимавший никакого участия в декабристском движении Дмитриев хорошо понимал, что усиление диктатуры самодержавия в последекабрьский период ведет к подавлению социальной активности дворянской интеллигенции. При Николае I страна все больше принимала облик казарменного, полицейско-бюрократического государства, где вся система управления держалась на принципе бездумного исполнения монаршей воли. В таких условиях ум, знание, талапт, смелость, энергия — то, что издавна составляло преимущество лучших представителей дворянских родов России, — все это обесценивалось, не находя практического применения в жизни. В бюрократическом штате империи стали доминировать чиновники нового склада, главными отличительными свойствами которых были угодливость и раболепие перед начальством. Все это не укрылось от внимания Дмитриева, много лет прослужившего в органах Министерства юстиции и московском отделении

¹⁶ Там же, л. 146 об.—147.

¹⁷ Там же, л. 210.

Сената. Вкусив сполна прелести казенной службы, он писал: «Служба не даст оканчивать не только воспитания, но и учения; она делает человека машиной, она не дает заниматься ничем умственным, она делает человека пустым дельцом, ничтожным формалистом, равнодушным интриганом и эгоистом». И далее: «Она выделяет из человека такое существо, которого и душа затянута в форму, как тело в мундир. А много ли пользы от этого отечеству? Отечество требует живых людей, а не бюрократов; ему нужны живые души, а не эти автоматы, которых первое условие отказаться от своего собственного ума и позабыть свою душу».¹⁸

Целая портретная галерея невежественных, трусливых и продажных чиновников обрисована Дмитриевым в его воспоминаниях. Весь этот довольно обширный материал дает возможность отчетливо проследить истоки оппозиционных взглядов писателя, нашедших, кстати говоря, определенное выражение и в его поэтическом творчестве.¹⁹ Обращение к этим мемуарам заставляет пересмотреть распространенное представление о Михаиле Дмитриеве как панегиристе самодержавия и ретроградном литераторе.²⁰ Вместе с тем это позволяет внести несколько штрихов в картину идеологической борьбы, происходившей в последекабрьскую пору жизни русского общества.

3. И. В Л А С О В А

ДЕКАБРИСТЫ В НЕИЗДААННЫХ МЕМУАРАХ А. И. ШТУКЕНБЕРГА

Автор публикуемых ниже мемуаров Антон Иванович Штукенберг (1816—1887) был выдающимся инженером путей сообщения. Он участвовал в изысканиях для строительства Кругобайкальской дороги в Восточной Сибири и Петербургско-Московской железной дороги и в течение двух лет работал по строительству военных дорог в Крыму во время Севастопольской кампании. Ему принадлежат статьи и исследования по теории и практике железнодорожного строительства в России.

А. И. Штукенберг был строителем и профессором архитектуры. Им были построены старые Каменноостровский и Крестовский

¹⁸ Там же, л. 182.

¹⁹ Подразумеваются стихотворения, запечатлевшие критическое отношение Дмитриева к современной России (см.: Поэты 1820—1830-х годов. Т. 2. Л., 1972 («Б-ка поэта». Большая серия), с. 36, 58—62).

²⁰ Это говорится, к примеру, в уже упомянутой статье «Общество любителей громкого смеха», где читаем: «...в начальный период своей деятельности он был либералом», а «после разгрома декабристского восстания М. А. Дмитриев явно перешел на позиции официальной правительственной идеологии и был известен как крайний реакционер» (Декабристы в Москве, с. 146).

мосты, он был членом строительной комиссии по сооружению Литейного моста и руководил его постройкой; создал проект по улучшению канализации Петербурга. Его многочисленные научные труды издавались книгами и брошюрами, публиковались в виде статей в «Журнале Министерства путей сообщения», «Хозяйственном строителе», «Инженерном журнале», «Деятельности», «Северной пчеле», «Сыне отечества», «Зрителе».

А. И. Штукенберг был писателем и поэтом. Ему принадлежат сборники стихов «Сибирские мелодии» (СПб., 1846), «Мелодии» (СПб., 1852), «Осенние листья» (СПб., 1866, под псевдонимом Антония Крутогорова), комедия «Уголовное дело» (СПб., 1855), биографии О. И. Корицкого и И. Ф. Штукенберга. Его стихотворения и литературные статьи печатались в «Русской старине», «Литературной газете», «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» и др.

Первый сборник стихов Штукенберга был очень сурово припят Вал. Майковым, опубликовавшим рецензию на него в «Отечественных записках». «Природа, любовь, дружба, игры, пляски — вот из каких тонов сливаются сибирские мелодии. Слава чародею, воскресившему аркадскую поэзию на пустынных берегах Ангары и Индигирки! Вдали от искушений современности, чуждый интересов падающего человечества, сибирский Орфей довольствуется самым простым содержанием для своих вдохновенных песен»,¹ — прощически замечал рецензент.

Более положительно была встречена комедия Штукенберга «Уголовное дело». Она получила хороший отзыв у известного актера Ф. А. Бурдина, была одобрена к постановке Театральным комитетом, но представление ее было запрещено цензурой.

В 80-х годах стихи Штукенберга о Сибири привлекли внимание сибирского литературоведа и этнографа Н. М. Ядринцева. Рассматривая сборник «Сибирские мелодии», изданный без имени автора, Ядринцев писал о нем: «Очевидно, это был ссыльный. По крайней мере, во многих стихах своих он выражает свои изгнаннические чувства и свою тоску».² На ошибку Ядринцева указал М. К. Азадовский, отметив среди сибирской лирики Штукенберга произведения, представляющие «вспышки подлинного поэтического чувства». «С большой силой передает он суровый колорит сибирского пейзажа, — писал Азадовский. — Автор не был в Сибири невольным изгнанником, но, видимо, те четыре года, что он провел в ней, воспринимались им как ссылка, как добровольное изгнание <...> Восприятие Сибири и ее природы через призму изгнанника отразилось и на характере тех образов, в которых он передает свои впечатления, и это составляет особую прелесть этих пьес. С этой стороны его творчество созвучно ли-

¹ Майков Вал. П. Критические опыты (1845—1847). СПб., 1889, с. 179.

² Сибиряк «Ядринцев Н. М.». Судьбы сибирской поэзии и старшие поэты Сибири. — В кн.: Литературный сборник. СПб., 1885, с. 415.

рике декабристов Одоевского и Кюхельбекера».³ Лучшими среди сибирских стихов Штукенберга Азадовский считал «Воспоминания о Селенгинске» и «Воспоминания о Монголии». Он отмечает в его лирике тему былого величия Сибири, характерную для сибирской поэзии 20—30-х годов. Лирика Штукенберга, по мнению Азадовского, — «последний отзвук романтических восприятий Сибири».

О существовании мемуаров Штукенберга было давно известно. М. И. Семевский заканчивает свою заметку о нем в альбоме «Знакомые» следующим упоминанием: «Вел свои мемуары с 1836 г., которые лежат под спудом».⁴ Авторы статей о Штукенберге в «Русском биографическом словаре» и «Энциклопедическом словаре» (изд. Брокгауза—Ефрона) отметили: «Он оставил неизданными свои мемуары, которые вел с 1836 г.».⁵

С вопросом о судьбе мемуаров автор данной заметки обратился к внучке А. И. Штукенберга Виргинии Сильвиевне Квашпиной. Она сообщила, что после смерти мемуариста они долгое время хранились в семье, а впоследствии были переданы в библиотеку Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (поскольку автор их был его воспитанником), где хранятся и в настоящее время.

Мемуары составляют три больших тома в старинных переплетках (1048 страниц, листы in folio). На титульном листе первого тома крупный заголовок черпилами: «Мемуары Антона Штукенберга». Ниже помечено: «Начаты в 1836 г.». Это год окончания А. И. Штукенбергом Института путей сообщения и отъезда его на изыскательскую работу в Восточную Сибирь в чине подпоручика.

Он пробыл в Сибири четыре года, занимаясь изысканиями для строительства дорог в Забайкальских горах и Кругобайкальской дороги. Впоследствии он получил за эти труды крест св. Анны третьей степени.

По долгу службы А. И. Штукенбергу приходилось жить в Иркутске и Селенгинске, бывать в Петровском заводе, Верхнеудинске, Посольске. Он не только встречался, но и подружился со многими ссыльными декабристами. Встречи и беседы с декабристами произвели большое впечатление на 20-летнего инженера и в известной мере определили особый изгнанныческий тон и образную систему его сибирских стихотворений:

И вас я чту моим помином,
Вас, гор безлесные хребты,

³ Азадовский М. Бурятия в русской лирике. — Жизнь Бурятии, 1925, № 1, стр. 17—19. (Азадовский ошибочно приписывал упомянутую выше статью В. Н. Майкова о Штукенберге В. Г. Белинскому).

⁴ Знакомые. Альбом М. И. Семевского. 1867—1888. СПб., 1888, с. 214.

⁵ Ястребцев Е. Штукенберг А. И. — В кн.: Русский биографический словарь. Т. Шебанов—Шютц. СПб., 1911, с. 450; Энциклопедический словарь изд. Брокгауза—Ефрона. Т. XXXIXа. СПб., 1903, с. 935.

Восставших там тюремным тыном,
Как стражей вечной темноты;
И вас, картины век живые;
Когда увидел я впервые
Сквозь пыль, метели и туман
Песком ряд хижин занесенных,
Как ураганом погребенных
В степи верблюдов караван!

(«Воспоминание о Селенгинске») ⁶

В Сибири будущий поэт начал записывать свои впечатления о малоизвестном крае. В письме к матери из Иркутска от 1 марта 1837 г. он сообщает: «Я был в Кяхте, видел китайцев с их бытом, видел Иакинфа и с ним довольно говорил и пишу об этом порядочную тетрадку, которую окончу, так же как и поездку за Байкал, написанную до половины».

А. И. Штукекберг упоминает в своих мемуарах, что на основе сибирских заметок им были написаны очерки (судьба их не известна).

Мемуары были переписаны набело в 1861 г. одним лицом, о котором на с. 699 говорится: «Переписывал Иван Сергеевич Петропавловский, мой литературный дядька». На страницах имеются карандашные пометы рукой А. И. Штукекберга. К предпоследней странице первого тома приклеено упоминавшееся письмо А. И. Штукекберга к матери.

Содержание томов составляют заметки об истории семьи Штукекбергов, воспоминания о детстве в Вышнем Волочке и годах учения в Петербурге, о работе и жизни в Сибири, встречах с декабристами и поэтом Ф. И. Бальдауфом, о строительстве Петербурго-Московской железной дороги, двухлетнем пребывании в Крыму и возвращении в Петербург. Мемуары заканчиваются 1861 годом.

При жизни А. И. Штукекберг опубликовал из мемуаров три отрывка.⁷ Публикуемые ниже воспоминания его о встречах и дружбе с некоторыми декабристами оставались до настоящего времени неизвестными. Они начинаются 1836 г., когда А. И. Штукекберг поселился в Иркутске в доме В. Ф. Раевского, и заканчиваются 1839 г. В конце этого года Штукекберг уехал в Петербург, испропостав себе отпуск. Мемуары о декабристах заканчиваются рассказом о встрече в Петербурге с женой А. З. Муравьева, которая помогла Штукекбергу добиться перемены места службы, чтобы не возвращаться в Сибирь.⁸

⁶ Мелодии. СПб., 1852, с. 10—11.

⁷ Штукекберг А. И. 1) Воспоминания о постройке Николаевской железной дороги. — Русская старина, 1885, № 5—6, с. 309—322; 2) Николаевская железная дорога. Заметки к очерку ее сооружения. — Там же, 1886, № 5, с. 443—448; 3) Пастор Зейдер до и после его ссылки в Сибирь. — Там же, 1887, № 1, с. 251—262.

⁸ Автор выражает глубокую благодарность В. С. Квашиной и внуку А. И. Штукекберга В. С. Данини за ценные указания и помощь в работе.

А. И. Штукенберг. Из мемуаров

... Мы с товарищем переехали подальше в улицу, в дом ссыльного Раевского,⁹ человека очень замечательного. Он был прежде где-то начальником школы кантонистов и еще до бунта 14 декабря 1825 г. действовал в этом же духе, сочиняя для своих школьников либеральные прописи и проч. и проч. Его из майоров разжаловали и сослали на поселение. Будучи человеком умным, дельным и оборотливым, он нажил разными спекуляциями денег и завел себе двухэтажный деревянный домишко, женился на простой девушке, и бог благословил его большим семейством — все прехорошенькими малютками.

Как сейчас помню эту бледную и исхудалую физиономию с озлобленным выражением лица и рысьими глазами, в которых видно было много внутренней жизни. В его-то доме наверху квартировали мы рядом с хозяином...

Вскоре я познакомился с начальником завода, горным капитаном Александром Ильичом Арсеньевым и комендантом Лепарским.¹⁰ Осмотрев выплавку чугуна и выделку железа и наслушавшись досыта стука ужасных молотов, раздававшегося как мерный подземный гул из кузницы вулкана и преследовавшего всюду, — я пожелал познакомиться и с декабристами. Персин¹¹ был у них давно вхож и пользовался полной доверенностью.

Сперва показали мне с высоты горы, смежной с заводом, на четырехугольную желтую казарму с большим, замкнутым ею двором, расположенную у подошвы этой горы, где содержались или просто жили несчастные узники. Видно было, как некоторые из них расхаживали по двору, радуясь тем, что у них хоть не отняли воздух; но потом я встречал многих и по улицам; их пускали прогуливаться, но всегда с конвоем, состоявшим из двух или трех солдат, которые шли сзади поодаль. Женатым, у которых жены поселились на заводе, было дозволено проводить дома и по несколько дней, но неразлучно с провожатыми, которые их преследовали, как тень, оставаясь в доме же, и за ними зорко сторожили, впрочем, совершенно напрасно; они сами при-

⁹ Раевский Владимир Федосеевич (1795—1872) — член Союза Благочестия и Южного общества, за пропаганду в войсках и школе юнкеров был арестован (1822) и после 6-летнего заключения сослан на поселение в Сибирь (с. Олонки около Иркутска), где занимался земледелием, торговал хлебом и брал подряды на разные работы; был женат на олонской крестьянке Е. М. Середкиной, имел трех сыновей и трех дочерей.

¹⁰ Арсеньев Александр Ильич — начальник Петровского завода, горный инженер, друг и покровитель декабристов, которые сочинили в его честь два шуточных гимна (Воспоминания Бестужевых. М. — Л., 1951, с. 170—172). Лепарский Степан Романович (1754—1837) — комендант Нерчинских рудников и Петровского завода с июля 1826 г.

¹¹ Персин Иван Сергеевич — «медико-хирург», врач Пограничного управления Иркутской губ. Орлов Александр Иванович, упоминаемый далее, — медик при Кяхтинской таможне.

сматривали друг за другом, зная, что побег одного сделал бы положение других во сто раз хуже. Так, было, задумывал бежать на Амур Ивашев;¹² по его остановили, как мне известно, его товарищи.

Прежде всего познакомил меня Персин с Юшневским,¹³ бывшим генерал-интендантом Южной армии, жепатым на племяннице нашего инженера К. Я. Рейхеля. У Юшневого сходились все: Трубецкой, Волконский, Бестужевы Николай и Михаил, Якубович, Ватковский, Барятинский и др. Разумеется, общество их было для меня чрезвычайно любопытно, и я не проронил ни одного слова из их разговора. Это были все люди, принадлежащие истории, это были люди, составлявшие некогда блеск и цвет Петербургского лучшего общества и знати — не этой вялой, раболепной знати, но свободной, самостоятельной, пошедшей смело за свои, хотя пересоленные, идеи в Сибирь и не потерявшей бодрость духа и гордость свою, хотя имена их были опозорены, смешаны с грязью, а шпаги изломаны руками палача. Вина их в том, что идея их явилась преждевременно; но не тем ли Петр I сделался великим? Они оправдывают исторический вывод, что Россия развивается не постепенно, а скачками: Петр I — скачок, потом застой: Екатерина II — скачок, потом застой; Александр I — скачок, потом застой; Александр II — скачок — и великий! (30 марта 1861 г.).

В России новых идей вообще не любят, и только царям подбавляет их провозглашать, а другим за это стягивают шею или срывают голову. Взгляните в историю: с кого началось приписываемое Петру преобразование России? Вы удивитесь, если я скажу, что с Дмитрия Самозванца. . .

Политических мнений декабристов я не разделял, и как ни был молод, а хорошо понимал, что в их предприятии, несвоевременном и, главное, преувеличенном, было более донкихотства, нежели обдуманности, но донкихотства, кончившегося тем, что они завоевали себе замки (а пожалуй, и замки) крепче волшебных и были суждены первые испытать их крепость. Теперь непостижимо, как могли они не понять, что такого рода предприятие без участия парода или кого-нибудь из пользующихся особою популярностью — пустая химера; а мог ли участвовать народ в том, чего он не понимал?

Декабристы, не имея почти никакого основания сделать что-нибудь для России доброе, подготовили ей много бед страшным произведенным впечатлением на характер императора Николая,

¹² Ивашев Василий Петрович (1794—1840) — член Южного общества; в 1830 г. задумал побег из Читинского острога; П. А. Муханов и П. В. Барсгарин усиленно отговаривали его. Осуществить побег помешало известие о возможном приезде в Сибирь невесты Ивашева — К. П. Ле-Дантю (Буланова О. К. Роман декабриста. Декабрист В. П. Ивашев и его семья. Из семейного архива. М., 1933, с. 126—130).

¹³ Юшневский Алексей Петрович (1786—1844) — член Союза Благоденствия и Южного общества, один из активнейших его организаторов, генерал-интендант Второй армии.

так что все последующие 30 лет его царствования прошли под их тяжким влиянием. Характер его сделался подозрительным, ему стали постоянно чудиться заговоры. Он тоже стал похож на известного рыцаря, сражавшегося с привидениями, только это не смешно было для народа. И правимая таким машинистом, Россия, как поезд по железной дороге, опасаясь толчков спереди, пошла на всех парах задним ходом!!!

Словом сказать, декабристы, избравшие своей звездой полярную звезду, отодвинули нас к цепенеющему полюсу; только с Александром II взошла для нас другая звезда, только на развалинах Севастополя мы заметили наш задний ход и быстро его переменяли.

Впрочем о политических мнениях своих господа действители неудавшегося переворота мало со мною говорили, считая меня слишком молодым и, вероятно, несколько опасаясь; зато очень много рассказывали случаев из своего заключения и прежней жизни в большом свете. Постараюсь кое-что передать.

Прежде всего их посадили в крепости Петропавловскую и Шлиссельбургскую, где некоторые высидели до 10 лет, между прочим Поджио.¹⁴ Николай Александрович Бестужев сидел в Шлиссельбурге. Потом большинство отправили в Нерчинские рудники, где они провели тяжких полтора года.

Начальником Нерчинских заводов был тогда Бурнашев, обходившийся с ними немилосердно и грубым обращением оскорблявший их на каждом шагу; например, — вечером, когда они возвращались в казарму, им не давали даже свечей. Положение их улучшилось, когда жены некоторых, пожертвовав петербургским спокойствием и титулами, решились разделить участь своих мужей и усладить их положение. Эти достойные женщины были: Марья Николаевна Волконская, Екатерина Ивановна Трубецкая, Марья Казимировна Юшневская (урожденная Рейхель) и даже одна приехала сюда невестой. Это была сестра нашего офицера Ледантю.¹⁵ Живя гувернанткой у родителей Ивашева,¹⁶ симбирского помещика, в богатом барском доме, она понравилась старшему сыну, молодому кавалергарду; но отец Ивашева ни за что не позволял ему на ней жениться, пока наконец грянул над ними декабрьский гром 1825 года и сын, хоть очень слегка замешанный

¹⁴ Поджио Иосиф Викторович (1792—1848) — член Южного общества, был узником Шлиссельбургской крепости с 1827 по 1834 г.

¹⁵ Камилла Петровна Ле-Дантю — сестра Евгения Петровича Ле-Дантю, получившего одновременно с Штукенбергом назначение в Восточную Сибирь, где они вместе занимались изысканиями для строительства Кругобайкальской дороги (Мемуары Антона Штукенберга, т. 1). О них упоминает С. И. Черепанов: «Молодые инженеры путей сообщения Ле-Дантю и Штукенберг <...> изыскивали улучшить дорогу вокруг Байкала» (Отрывки из воспоминаний сибирского казака С. И. Черепанова. — Древняя и новая Россия, 1876, № 7, с. 259).

¹⁶ Гувернанткой в доме Ивашевых была не сестра, а мать Е. П. Ледантю, Мария Петровна. С нею жили дочери Луиза и Камилла, воспитыв-

в заговор, был также сослан.¹⁶ Тогда бедная девушка вполне выказала свою прекрасную душу, оставшись верною сердцу. Она письмом просила дозволения государя ехать к своему жениху, получив заранее согласие родителей, на что Царь отвечал, что не имеет права ее удерживать. Они обвенчались в Нерчинском заводе, и при венчании жених был в капдалах. Часто толкуют о брачных узах; на теперешний раз это была не метафора, а бряк цепей сопровождал их свадебный обет, — не правда ли? Из этого можно составить целый роман!

Я видел их через три года, при выезде на поселение; у них уже было двое детей; она кормила маленького и очень исхудала.¹⁷

Как я уже сказал, жены, прибыв на место заключения, много содействовали улучшению положения вообще всех заключенных: таково влияние женщин — оно благотворно, как теплота, — конечно, женщин добродетельных. Они энергически восстали против худого обращения, разными путями стали сообщать об этом в Петербург, где между самыми приближенными к императору лицами были близкие родственники сосланных: Волконский, Чернышев (зять Ватковского), и проч. и проч. и, хотя им было от Николая строжайше запрещено даже говорить о своих злополучных родственниках, но все же они могли говорить другим, имевшим влияние, как Бенкендорфу (кажется и ему были родственники) и прочим.

Бурнашев был сменин и назначен другой, кажется, Татарinov — человек мягкий, сострадательный и не считавший обязанностью, в угоду правительству, тиранить безответных, отданных ему на жертву людей.

Потом устроили для них на Петровском заводе, как я уже сказал, особую казарму, а для работы — какую-то мельницу, куда их ежедневно водили на работу на несколько часов; но это было более для виду, нежели для дела.

Заключение оставило резкие следы на гордых и благородных лицах участников знаменитого заговора, и только задушевный разговор увлекал их и смягчал на время морщины.

Они рассказывали, что когда сидели в петербургской крепости, то придумали разговорный язык посредством стука в оконные решетки их темниц и, объясняясь числом ударов, довели это до такого совершенства, что свободно обо всем передавали друг другу мысли — и это им много помогало согласно отвечать при допросах, даже нередко переданные этим путем острота или каламбур вдруг возбуждали дружный общий смех во всех казематах, отделенных толстыми стенами, так что это приводило в изумление стоявших внизу около стен часовых. Тут рассказал

вавшиеся вместе с сестрами В. П. Ивашева. О тайной любви К. П. к В. П. Ивашеву его родителям стало известно в 1830 г. (Буланова О. К. Роман декабриста, с. 112—121).

¹⁷ При выезде на поселение у К. П. Ивашевой была одна дочь Мария полутора лет. В 1837 г. у нее родился сын Петр.

мне Николай Александрович Бестужев, что он читал после того о подобной же выдумке заключенных в одной тюрьме во Франции: «Les beaux esprits se rencontrent».¹⁸

Тяжелее всего было заключение в Шлиссельбурге: перед глазами только небо да обширное озеро с вечным прибоем волн. В 1857 г. я был в этой знаменитой крепости и смотрел на этот самый вид с верха стен и вспоминал, что мне рассказывали. Об этом, впрочем, скажу потом.

Более всего я сошелся с Николаем Александровичем Бестужевым и Якубовичем, или вернее, они более всего рассказывали: Якубович — про Кавказ, а Бестужев — про Петербург. Странно и крайне занимательно было слушать этих людей, вырванных из общества, но еще столь полных жизни.

Недавно (в 1860 г.) вышли в свет мемуары Бестужева «Записки старого моряка», и я с наслаждением их перечитывал и думал, что, если бы он сделался писателем вовремя, то далеко превзошел бы своего братца Марлинского, натянутого фразера, которому я, впрочем, в юности так любил подражать.¹⁹

Николай Александрович имел, можно сказать, золотые руки и гениальную голову. Не было ремесла или искусства, которого бы он не знал и не изучил почти в совершенстве и, главное, не по одной теории, но и на деле.

Начать со смешного — он превосходно шил башмаки, делал серьги, кольца и пр. как лучший ювелир, делал ружья и придумал даже свое — пистонное с ударом, на манер детских ружей, имеющих виштовую пружину на продолжении ствола, с затравкой, ввинченной в казенник А, так что снаружи никакого замка не видно, и ружье било в полтора раза далее, так как воспламеняло и удар пороха и всего взрыва происходил прямо по направлению дула, а не с боку. Ружье это было сделано превосходно. Он также превосходно рисовал миниатюрные портреты, которые нельзя было отличить от работы знаменитого Изабэ.

Все эти разнообразные произведения его таланта я видел сам и удивлялся им вдвойне. Все это делалось в каземате казармы Петровского завода кое-какими инструментами у окна с железной решеткой — и я думал: что бы мог сделать этот человек на свободе! Всем, приезжавшим к ним, дарились железные кольца из оков, оправленные золотом. Гениальный Николай Александрович рассказывал мне для шутки, что в Петербурге сестра его, большая модница, выписала из Варшавы башмаки, считавшиеся тогда лучшими, и один дорогой попортился. Николай Александрович взялся сделать новый; все смеялись его самохвальству, но когда он принес готовый башмак и его сложили вместе с другим, то никто не мог отличить, который подделан Бестужевым.

¹⁸ Перевод: Великие умы сходятся (франц.).

¹⁹ Точное название книги Н. Бестужева (не мемуаров, а сборника новелл и очерков) — «Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева» (М., 1860).

Но, кроме всего этого, будучи двадцати пяти лет, он был сделан историографом русского флота, — что, верно, произошло не даром.

В 1838 г., занимаясь в Селенгинске проектом Кругобайкальской дороги, я ездил урывками в гости в Верхнеудинск и в один из таких приездов нашел здесь всех декабристов, которым кончился урок заключения, и их развозили на поселения. Все они через Персина познакомились с Орловым и не раз у него обедали. Здесь показал мне Николай Александрович портреты его работы со всех своих товарищей по заключению, сделанные на бристольской бумаге: лица длиною дюйма два. Я еще посоветовал их все разложить вместе на столе. «Вот сейчас видно знатока!» — сказал он мне. Работа была исполнена акварелью с удивительной топкостью.²⁰

Очень любопытна история, как после 14 декабря 1825 г. захватили Николая Александровича, помешав ему улизнуть за границу. Передам по его рассказу.

«Как только несчастный день прошел, столь для нас неудачно, я тотчас же удалился в Кропштадт, где служил и имел свое жилище, — говорил мне Николай Александрович. — Дело было окончательно проиграно и оставалось одно — спастись: я задумал бежать за границу и для того отправиться сперва в Ревель, а оттуда на купеческом корабле в Любек и т. д. Сообразив, что скоро будет известно мое участие в заговоре и что меня здесь (в Кропштадте) все знали, я задумал преобразиться и парадиться — кем бы вы думали? — старушкой; мастерски нарисов морщины и приняв новый, хотя вместе и старый вид, я отправился в контору за получением паспорта, которые раздавал хорошо меня знавший чиновник. Но он был в больших хлопотах и, не узнав меня, выдал мне паспорт. Получив таким образом отпускную, с сильным затаенным волнением в душе и биением сердца, я спешил к пристани, чтобы переправиться в лодке на корабль и таким образом оторваться от родной земли, за которую должен был погибнуть. Но тут, в ожидании, когда лодка наполнится должным числом седоков, я совершенно забыл новую роль и принял свое настоящее лицо. На беду мою в эту же лодку попала одна женщина — жена служившего у меня матроса, которому я еще вдобавок покровительствовал. Узнав меня, она вдруг всплеснула руками и воскликнула: „Батюшка ты паш, Николай Александрович! Тебя ли это я вижу? Что с тобой, родимый?“ Я был ужасно испуган ее возгласом и не знал — что делать;

²⁰ О деятельности Н. А. Бестужева в Сибири см.: Барановская М. Ю. Декабрист Николай Бестужев. М., 1954; Зильберштейн И. С. Николай Бестужев и его живописное наследие. — В кн.: Литературное наследство. Т. 60, кн. 2. М., 1956. — О ружье, усовершенствованном Н. А. Бестужевым, см. специальную статью: Мавродий Вал. В. Ружейный замок декабриста Николая Бестужева. — В кн.: Освободительное движение в России. Вып. 2. Саратов, 1971, с. 104—107.

а, в это время уже было дано знать о моем побеге и приказе схватить меня, где пайдут, и доставить в Петербург. Поэтому сыщики бродили тут по пристани и, слыша мое имя, поспешили ко мне. В одну минуту я был выведен из лодки и окружен и, кроме досады на неудачу, был страшно смущен своим новым одеянием.

— Куда вы поведете меня теперь? — было моим первым вопросом.

— Прямо в Зимний дворец к Государю, — отвечали мне». (Бедный Бестужев! Один раз в жизни, может быть, он был бабой — и тут попался!)

«Насилу-то умолил я, — продолжал Николай Александрович, — чтобы меня завели домой и позволили переодеться в настоящее платье. На это согласились, и меня, уже в капитанлейтенантском мундире, но со связанными руками, в тот же день к вечеру представили пред лицо грозного царя.

— И ты в комплекте? — закричал он мне.

— Да, — отвечал я.

— Ну, рассказывай, как у вас было? — продолжал император.

— Прежде чем буду рассказывать, прикажите, Ваше величество, меня накормить: я два дня не ел.

Меня отвели в другую комнату, и мигом явился поднос с разными вкусными закусками, и два генерала прислуживали, не давая мне самому есть, а разрезали и клали мне в рот куски, опасаясь вооружить меня вилкой и ножом, тем более, что руки мои были связаны. Когда я насытился, то снова привели меня перед цареви грозные очи.

— Ну, теперь говори!

— Прежде чем буду говорить, прикажите развязать мне руки, ведь я не в полиции, — смело сказал я.

Руки развязали, и разговор начался и долго продолжался.²¹

Лицо у Николая Александровича было чрезвычайно выразительное, особенно профиль, — что он хорошо знал и потому свой портрет сделал так, что он срисовывает себя в зеркало, в котором виднелся в профиль, а рисовался в три четверти оборота. Он имел отчасти орлиный нос, высокий лоб, тонкие губы, выдающийся подбородок и чрезвычайно подвижные черты лица, придававшие

²¹ Об аресте Н. А. Бестужева существует множество почти легендарных рассказов (мемуары Н. И. Греча, Д. И. Завалишина, А. Е. Розена, С. П. Трубецкого, В. И. Штейнгеля, И. Д. Якушкина и др.). Легендарный характер имеет и рассказ А. И. Штукенберга. М. К. Азадовский заметил, что рассказы об аресте Н. А. Бестужева «превратились в своеобразный фольклор»: «Все эти сообщения, как и запись М. А. Бестужева, восходят несомненно к рассказу самого Н. Бестужева, и однако все они противоречивы, что объясняется длительностью времени, прошедшего от самого события до записи его мемуаристами» (Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 716—717).

ему особенную занимательность и вполне выражавшие его многосторонние способности, которыми он умел услаждать свое заключение и сохранить себя морально и физически. На поселении он жил с братом Михаилом в Посольске у Байкала, где я у них также бывал. Позднее его перевели в Селенгинск, где он и скопчался за два месяца до прощенья, т. е. 15 лет после того, как я его знал. Вот опять сюжет для трагедии!

И пока на Руси такие люди будут изнывать в темной неизвестности, окруженные или крепостными стенами или пустынею, а бездарные — всем двигать, — не идти ей, родимой, вперед, а только сидеть сиднем — как Илье Муромцу, в ожидании, что бог даст ноги.

Якубович был совсем другая личность. Хоть не такой людоед, каким его выставляли как в современном описании бупта по донесению следственной комиссии, так и в недавно вышедшем (1860 г.) сочинении барона Корфа;²² но все же, можно сказать, он был страшен на вид, хотя имел не совсем черствую душу.

Ростом высокий, худощавый, бодрый мужчина, с большим открытым лицом, загорелым и огрубелым, как у цыгана, — с большими совершенно навывкате глазами, налитыми кровью, подбородком, необыкновенно выдавшимся вперед и раздвоенным, как рукоятка у черкасского ятагана, которым он так хорошо владел на Кавказе, — говорил он увлекательно и в один час мог заставить рассмеяться и расплакаться. Каламбуры и остроты сыпались у него изо рта, как батальный огонь. Служил он прежде уланским ротмистром и был сослан на Кавказ за дуэль; там своей отчаянной храбростью скоро сделался он известным и даже любимцем Ермолова, который держал его при себе и пазывал «моя собственность». На черкесов он навел такой ужас, что они в горах пугали им детей, говоря: «Якуб идет».

На Кавказе он имел еще дуэль с знаменитым Грибоедовым, которая так похожа на известный рассказ Пушкина «Выстрел», что не знаю, что было чему основанием, и боюсь, не выдумал ли Якубович. Подобная же история есть на немецком языке: «Der Schutz».

Только вот рассказ самого Якубовича:

«Мы с Грибоедовым жестоко поссорились — и я вызвал его на дуэль, которая и состоялась. Но когда Грибоедов, стреляя первый, дал промах, — я отложил свой выстрел, сказав, что приду за ним в другое время, когда узнаю, что он будет более дорожить жизнью, нежели теперь. Мы расстались. Я ждал с год, следя за Грибоедовым издали, и наконец узнал, что он женился и наслаждался полным счастьем. Теперь, думал я, настала моя очередь послать противнику свой выстрел, который должен быть роковым, так как все знали, что я не делаю промаху. Боясь, что

²² Барон Корф М. А. Восшествие на престол императора Николая I СПб., 1857. (Об А. И. Якубовиче см. с. 140—141).

меня не примут или назовут настоящим имепем, я оделся черкесом и назвал себя каким-то князем из кунаков Грибоедова. Явившись к нему в дом, велел о себе доложить, зная, что он в это время был дома и занимается в своем кабинете один. Велено меня просить. Я вошел в кабинет, и первым моим делом было замкнуть за собою на ключ дверь и ключ спрятать в карман. Хозяин был чрезвычайно изумлен, но все понял, когда я обратился к нему лицом и он пристально взглянул мне в глаза, и когда я ему сказал, что пришел за своим выстрелом. Делать было нечего, мы стали по кошмам комнаты — и я начал медленно наводить свой пистолет, желая этим помучить и подразнить своего противника, так что он пришел в сильное волнение и просил скорее покопчить. Но вдруг я понизил пистолет, раздался выстрел, Грибоедов вскрикнул, и когда рассеялся дым, я увидел, что попал, куда хотел: я раздробил ему два большие пальца на правой руке, зная, что он страстно любил играть на фортепьяно и что лишение этого будет для него ужасно. — Вот Вам на память! — воскликнул я, отмыкая дверь и выходя из дому.

На выстрел и крик сбежались жена и люди; но я свободно вышел, пользуясь общим смущением, своим костюмом и блестящими за поясом кипжалом и пистолетами».

Якубович уверял меня, что когда потом Грибоедова убили в Тегеране, то изуеченное тело его только и узнали по двум отшибенным им, Якубовичем, пальцам. Правда или нет — не могу заверить.²³

На лбу Якубовича был глубокий шрам после раны, полученной на Кавказе. Эта рана была отчасти виновата, что он попал в заговор. На Кавказ он был удален с тем, чтобы его не производить в чины и не увольнять в отпуск; по после этой раны он получил за отличие крест св. Владимира с бантом и дозволение ехать лечиться в Петербург (что, наоборот, делают раненые в Петербурге, приезжая лечиться на Кавказ). Возвратясь в столицу, он пашел в молодежи новое настроение и даже тайное общество и попал в заговор.

Он мне рассказывал про свою двуличную роль в самый день 14 декабря, когда император поймал его на площади и, считая в числе преданных, велел состоять при себе. Государь беспрепятственно посылал Якубовича к толпе бунтовщиков, чтобы их уговаривать. Якубович посылся по воле царя, но не для воли его, на своем коне, в фуражке, по праву раненого, и с черной повязкой через лоб; по вместо исполнения приказания, наоборот, уговаривал и подстрекал бунтовщиков не сдаваться. «Смелее, ребята! — кричал он им вполголоса. Вот это-то именно и было

²³ Рассказ о дуэли А. С. Грибоедова с А. И. Якубовичем близок к легенде. Дуэль состоялась в 1818 г., жепитьба Грибоедова — в 1828 г., когда Якубович находился в Сибири. Сведения о дуэли см. в рассказе П. Н. Муравьева-Карского, бывшего секундантом Якубовича (А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929, с. 58—64).

причиной того озлобления и омерзения к Якубовичу, которое почувствовал государь, когда узнал о фальшивости своего случайного ординарца. Якубович воспитывался в Московском университете и очень бойко и мило писал, а еще лучше рисовал акварелью — более всего черкесов и из кавказского быта.

От раны у него часто болела голова; тогда он часто тосковал, и никто не смел к нему подступиться. «Теперь не тропьте меня, — говорил он, — я герцог Тоскапский!» Каламбуры сыпались у него, как я уже сказал; впрочем, часто видясь с ним, можно было встретить между ними много старых знакомых. Потом поговорю о моем знакомстве с ним в 1839 году, когда Якубович был поселен по близости Иркутска.

... Скоро были в Иркутске.

Здесь пошла снова обычная жизнь, обновленная тем, что многие из декабристов поселились в окрестности — Трубецкие и Муравьевы в Урике (18 верст от Иркутска) на истоке Лены. Я часто у них бывал с Персиным. Здесь я познакомился с семейством Трубецкого и его добродушной, удивительно простой в обращении супругой Катериной Ивановной и с Волконским и его еще и тогда красивой супругой Марьей Николаевной, урожденной Раевской. Она хорошо пела.

Сохранив привычку своего счастливого времени, они любили лакомо покушать, и многие умели сами готовить самые лакомые блюда, и особенным искусником в этом был называвшийся в другое время людоедом Якубович. Я часто бывал у них на их дружеских обедах, сготовленных бывшими вельможами и петербургскими львами; за столом они же сами и прислуживали, особенно любил обносить блюда и угощать Волконский.

Спросят: откуда они брали средства? Конечно, многие бедствовали, не имея богатых родных, и особенно бедствия эти вступали в силу, когда кончилось заключение и узники разбрелись в разные стороны из Петровского завода, где жили общественно, друг другу помогая; потом это сделалось и труднее к исполнению и легче для отказа; эгоизм брал свое.

Им вообще было дозволено получать из дому от родных не более 2000 р. ассигн. в год; но Трубецкой проживал тысяч 30, так как она, урожденная графиня Лаваль или Борх, имела огромное состояние. Чтобы не присылать деньгами, им присылали из Петербурга все, что только возможно для жизни, — вещами, даже чай, и многое, что они продавали, — шелковые материи и проч., чтобы выручать деньги. Часто им посылали и деньги при случае, тайком; но от этого их отучили добрые люди, обманывая самым подлым образом.

Между декабристами был один — Артамон Захарович Муравьев, занимавшийся от нечего делать медициной и так хорошо изучивший ее, что Персин часто у него советовался.

Жена этого Муравьева Вера Алексеевна жила в Петербурге и по болезни не могла разделить участь мужа, но часто ему писала. Она была близкая родственница нашему генералу Деявтинину,²⁴ игравшему при графе Толе (1836 г.) большую роль. Артамон Захарович сказал мне, что если мне что-нибудь нужно выхлопотать у Деявтина — только бы я сказал, и он все сделает через жену. Я принял это к сведению и, как увидим после, этой дивной женщине обязал я своим освобождением из Сибири.

Впрочем, этим господам, еще наводившим и тогда ужас своим именем, было запрещено жить в Иркутске; но Якубович иногда под вечер приезжал ко мне тайком на лодке с угольщиками. Бывало, иногда сидишь себе под вечер у окна и любишься, как пред глазами несется мимо величавая река (я жил тогда на берегу), как вдруг пристанет черная лодочка, из ней выйдет еще чернее человеческая фигура — и через минуту предо мною является отставной кавказец «Якуб — большая голова», как его там звали, — и всегда у него на устах или острова или каламбур. «Я к вам явился как настоящий карбонарей», — говорил он. Тотчас мною посылался гонец за друзьями: Яшей Безносиковым, Пауфом;²⁵ заводилась беседа с самым скромным угощением, и иногда только рассветный крик петухов разгонял наше оригинальное общество, в котором, по воле магического рассказчика, все то смеялись гомерическим смехом, то волновались гневом и печалью.

И этот замечательный человек, оставленный под конец друзьями и родными, дошел до того, что жил тем, что помогал рыбакам тянуть невод или ходил на охоту. Но это было позднее, а в мое время и он иногда приглашал нас к себе и угощал им самим стоговленным изысканным обедом из рыбы и дичи, им самим добытых.

Еще был один из них Давыдов. Никогда не забуду его малютку-сына, имевшего удивительную способность к рисованию. Где-то он теперь?²⁶

Странно, что у всех женатых декабристов, например Трубского, Волкопского, Давыдова, когда они жили в России в довольстве, не было детей, а здесь бог награждал их каждый год, чтобы

²⁴ Деявтин Александр Петрович — генерал-лейтенант, директор департамента путей сообщения.

²⁵ Безносиков Яков Иванович — адъютант В. Я. Руперта, военного генерал-губернатора Восточной Сибири; в молодости писал стихи; впоследствии золотопромышленник и владелец пароходства на Амуре. Сведений о Пауфе обнаружить не удалось.

²⁶ Давыдов Василий Львович (1792—1855) — один из выдающихся деятелей декабристского движения, член Южного общества, близкий друг А. С. Пушкина, поэт. Был женат на А. И. Потаповой, последовавшей за ним в Сибирь, где у них родилось четыре сына и три дочери. Старший, Василий, о котором, по-видимому, говорит А. И. Штукенберг, в 1843 г. был определен в Московский кадетский корпус.

уладить их горькую судьбу, — и никогда слово «наградил» не бывало более кстати.

На дорогу я запасся письмецом от Артамона Захаровича Муравьева к его жене, где он обязывал ее сделать для меня все, что только она может, как бы для него самого, и это письмецо, как увидим после, спасло меня от неотразимого без того возвращения в Сибирь опять.

Итак, 7 ноября 1839 г. мы уселись в огромный рогожный крытый возок...

Отец и я — мы стали бросаться во все стороны и умолять, чтобы меня оставили (в Петербурге, — *З. В.*). Он просил похлопотать Крафта, я допекал Логинова,²⁷ который служил при нашем штабе, но все было тщетно.

Всеми делами тогда управлял генерал Девятнин, товарищ главноуправляющего, данный ему для руководства, как к дикому слону приставляют ручного. Девятнин этот — иезуит и старый враг моего отца — вымещал свою ненависть и на мне. Латравер,²⁸ бывший здесь, тоже просил и все безуспешно, так что я и родители сильно приуныли. Но светлый луч блеснул, и я был спасен!

Я вспомнил про письмо Артамона Захаровича Муравьева к жене его, Вере Алексеевне, родственнице Девятнина, — и полетел к ней, как к своей избавительнице, извинясь сперва, что ранее не доставил письма. Она приняла меня очень ласково. В ее нежных болезненных чертах лица живо выражались все страдания, которые она перенесла из-за мужа. Стены были увешаны картинами, изображавшими темницы с несчастными заключенными, истязания и проч. При ней была молодая девушка, очень хорошенькая, такая же нежная, как ее дама.

Прочтя письмо, Вера Алексеевна сделалась еще ласковее и смотрела на меня с таким участием, что я увидел, будто в зеркале, в ее лице отражение всего хорошего, что было писано в мою пользу. Она долго меня расспрашивала о муже и потом спросила, что для меня может сделать. Я рассказал ей в коротких словах, что желаю не ехать в Сибирь и остаться или в Петербурге или поблизости.

— Извините, — сказала она слабым голосом, — я больна и стала очень забывчива. Напишите коротенькую записку, чего вы просите. Александр Петрович Девятнин у меня часто бывает — и это будет непременно исполнено.

²⁷ Полковники Крафт Николай Осипович и Логинов Александр Матвеевич служили чиновниками по особым поручениям при Карле Федоровиче Толе, главноуправляющем путями сообщения.

²⁸ Латраверс Яков Николаевич — подполковник, член департамента по рассмотрению проектов и смет при Главном управлении путей сообщения.

Ее наперсница подала мне почтовый листок и чернила, записка была готова, и я раскланялся. Не прошло трех дней, как за мной прислал Девятнин и встретил меня с весьма недовольным лицом.

— Где это вы познакомились с Муравьевым? — спросил он сразу.

Я рассказал.

— Ступайте. Я постараюсь исполнить желание Веры Алексеевны.

Этим, конечно, он дал мне почувствовать, что если что делается, то не для меня, а для ней.

Не прошло еще трех дней, как вышел приказ, что я назначаюсь в первый округ, которого резиденция тогда была в Новгороде.

Л. М. АРИНШТЕЙН

АНГЛИЙСКАЯ ПОЭМА О ДЕКАБРИСТАХ

1

Широкий отклик, который вызвало движение декабристов в странах Западной Европы, не раз отмечался в научной литературе. Справочно-библиографические издания по истории декабристского движения приводят обширный перечень иностранных книг и статей о декабристах. В наиболее подробном из таких изданий — указателе Н. М. Ченцова — зафиксировано 130 названий на иностранных языках, причем английские материалы учтены здесь далеко не полностью.¹ Различным аспектам восприятия декабризма в Англии посвящены работы В. Александренко, И. Завича, Ю. Ковалева, Е. Догель и др.² Существенно расширяет пред-

¹ Восстание декабристов. Библиография. М. — Л., 1929, с. 195—196; дополнено справочником: Движение декабристов. Указатель литературы, 1928—1959. (Сост. Р. Г. Эймонтова и др.). М., 1960; ср.: Межов В. И. Сибирская библиография. Т. 2. СПб., 1891, с. 95 и сл. — На неполноту английских материалов в этих изданиях указывает М. П. Алексеев (Английские мемуары о декабристах). — В кн.: Исследования по отечественному источниковедению. М. — Л., 1964, с. 243.

² Александренко В. Н. Россия и Англия в начале царствования императора Николая I. — Русская старина, 1907, № 9, с. 525—536; Завич И. Восстание 14 декабря и английское общественное мнение. — Печать и революция, 1925, кн. 8, с. 31—52; см. его же публикацию в кн.: Тайные общества в России в начале XIX столетия. М., 1926, с. 88—102; Ковалев Ю. В. Статья о декабристах в чартистском журнале. — Вопросы истории, 1954, № 12, с. 119—125; Догель Е. В. Неизвестная статья о Пушкине в чартистском журнале «Рабочий». — Докл. и сообщ. филологического ин-та ЛГУ, 1951, вып. 3, с. 189—203.

ставление об английской литературе на эту тему исследование М. П. Алексеева «Английские мемуары о декабристах».³

В названных работах обследуется дипломатическая и частная переписка, сообщения периодической печати, литература исторического, публицистического и мемуарного характера; в двух случаях речь идет о художественных произведениях,⁴ но хотя еще в 1909 г. Д. К. Петров высказал предположение о существовании английских поэтических произведений о декабристах,⁵ нам не известно, чтобы кем-либо из исследователей такое произведение было названо.

Между тем по крайней мере одно такое произведение действительно существует. Это поэма Джона Бруса Глейзера «Империя против Свободы. Патриотам Пестелю, Рылееву, Муравьеву, Бестужеву и Каховскому, казненным по приказу царя Николая 25 июля 1826 г. перед крепостью в Санкт-Петербурге» (*Empire against Liberty: to the Patriots Pestel, Ryelieff, Mouravieff, Bestoujeff, and Kahoffski, executed before the Citadel, St. Petersburg, July, 25, 1826, by Tsar Nicholas*).

Поэма написана в 1880 г. и впервые опубликована сорок лет спустя в сборнике политической лирики Глейзера «На пути к Свободе».⁶

2

Сообщения, появившиеся в Англии вскоре после событий 14 декабря и в последующие месяцы, содержали богатый фактический материал, немало интересных подробностей и наблюдений, позволявших составить довольно полное представление о событийной стороне декабристского движения.⁷ Интерпретация событий не отмечалась глубиной. Долгое время английская пресса всматривала в событиях 14 декабря лишь неудавшуюся попытку вмешательства гвардии в борьбу за престол между Николаем и Константином. Лишь позже, в основном когда стали известны материалы следственного комитета, приговор и получены сообщения о казни пятерых участников восстания, о декабризме заговорили как о попытке дворянской революции с целью создания конституционной монархии по западному образцу.⁸

³ См. прим. 1.

⁴ Имеются в виду романы: Jones E. *The Romance of a People*. 1848; Frost T. *A Student of St. Petersburg*. 1849.

⁵ См.: Петров Д. К. *Россия и Николай I в стихотворениях Эспронседы и Россетти*. СПб., 1909, с. 81—82, прим.

⁶ Glasier J. B. *On the Road to Liberty. Poems and Ballads*. Nat. Lab. press. Manchester, [1921], p. 96—100.

⁷ М. П. Алексеев в работе «Английские мемуары о декабристах» отмечает, что осведомленность английских газет... обо всем, что касалось декабристов, приводила в недоумение и даже тревожила русское правительство» (с. 244).

⁸ З в а в и ч И. *Восстание 14 декабря*. . . , с. 40—44, 47—52.

С осени 1826 г. интерес к этой теме ослабевает, и в большинстве сочинений о России, появившихся в последующие 25 лет, о декабристах говорится крайне бегло, глухими полунамеками.⁹ Нам известен только один относящийся к этому периоду труд, в котором обстоятельно — на протяжении пятидесяти с лишним страниц — говорится о «тайном обществе русских дворян и восстании 26 <так!> декабря 1825 г.». Это книга Чарлза Хеннингсена «Открытие России», изданная анонимно в 1844 г. Обнаруживая весьма глубокое понимание декабризма, автор пишет: «Сравнивая это выступление с заговором, который возвел на трон Александра, можно понять следующее: первое — это попытка народной революции (attempt at a national revolution) с целью свергнуть систему, хотя для этого сейчас в России крайне мало возможностей; второй — всего лишь замена одного деспота другим».¹⁰ В начале 50-х годов к теме декабризма обратились чартисты, которые увидели в русских революционерах своих единомышленников, чрезвычайно высоко их оценили и заговорили о них в полный голос.¹¹ Не случайно единственные в те годы художественные произведения, в которых идет речь о декабристах, возникли именно в чартистской среде.

В середине 50-х годов о декабристах заговорила и «большая литература»; за три с половиной года появилось семь книг, в которых шла речь о декабристах: Р. Ли, Э. Михельсена, С. Хилла, Э. Турнерелли, Т. Милнера, перевод с русского книги барона М. А. Корфа и воспоминания Дж. Пейтерсона.¹² То, что появление этих книг совпало с Крымской войной, едва ли было случайностью. Сопутствующие войне антирусские настроения располагали к тому, чтобы напомнить о неблагополучии в лагере

⁹ См.: Morton E. Travels in Russia, and a Residence at St. Petersburg and Odessa in the Years 1827—1829... London, 1830; [anon.] Pushkin and Rilæev. — Foreign Quarterly Review, 1832, v. 9, May, p. 398—418; Lee R. The Last Days of Alexander. — Athenaeum, 1845, № 927, p. 766—768, № 928, p. 792—795; Shaw T. B. Pushkin, the Russian Poet. — Blackwood's Edinburgh magazine, 1845, v. 57, June, p. 657—658, v. 58, July, p. 28—43, Aug., p. 140—156.

¹⁰ [Henningesen Ch. F.]. Revelations of Russia: or the Emperor Nicholas and his Empire in 1844. By one who has seen and describes. In 2 vols., London, 1844, vol. I, p. 297.

¹¹ Исчерпывающие материалы на этот счет содержатся в работах учеников М. П. Алексева — Ю. В. Ковалева и Е. В. Догель (см. прим. 2) — и работе самого М. П. Алексева «Английские мемуары о декабристах».

¹² Lee R. The Last Days of Alexander and the first Days of Nicholas (Emperors of Russia). London, 1854; Michelsen E. H. The Life of Nicholas I, Emperor of all the Russias. London, 1854; Hill S. S. Travels in Siberia. In 2 vols. London, 1854; Turnerelli E. T. What I know of the Late Emperor Nicholas and his Family. London, 1855; Milner T. Russia: Its Rise and Progress, Tragedies and Revolutions. London, 1856; Baron Korff M. The Accession of Nicholas the First. Transl. from Russian. London, 1857; Paterson J. The Book for Every Land: Reminiscences of Labour and Adventure... in the North of Europe and in Russia. London, 1857.

противника.¹³ В этом смысле показательна эволюция работы Р. Ли. Оттиск своей статьи о последних днях Александра I, опубликованной в 1845 г. в «Athenaeum» (о декабристах в ней не сказано ни слова), Ли преподнес Николаю со следующей дарственной надписью: «Его Императорскому Величеству с глубочайшим почтением от его покорнейшего и преданнейшего слуги».¹⁴ Теперь, в 1854 г., Ли переработал статью в книгу, ввел в нее материалы о декабристах, а свое отношение к Николаю сформулировал следующим образом: «Ни Юлий Цезарь, ни Александр Македонский, ни даже Тамерлан не принесли человечеству больших бедствий, чем нынешний император Николай».¹⁵

Впрочем, даже военное столкновение с николаевской Россией не заставило английские господствующие классы трезво оценить движение декабристов: ненависть к революционным движениям оказалась сильнее вражды между государствами, и в глазах английского высшего общества декабристы по-прежнему оставались мятежниками, посягнувшими на законную власть монарха. Именно так интерпретируют декабрьское восстание Р. Ли, Э. Михельсен и Э. Турнерелли, смыкаясь в этом отношении с бароном Корфом, книгу которого А. И. Герцен назвал «Безграмотным текстом, отталкивающим по своему... раболепию, по своему канцелярскому подбострастию, по своей уничтожающей лести».¹⁶ Как известно, Герцен с Огаревым ответили на появление книги Корфа сборником «14 декабря 1825 г. и Император Николай».¹⁷

Важную роль в утверждении объективного взгляда на движение декабристов сыграла работа Герцена «О развитии революционных идей в России». Написанная и опубликованная в Лондоне на французском языке в 1853 и 1858 гг., эта работа вскоре приобрела известность в Англии. Она положена в основу и широко цитируется (в английском переводе) в двух анонимных статьях о русской литературе в журнале «National Review» в 1858 и 1860 гг.: гражданственные мотивы поэзии Пушкина и Лермонтова рассматриваются здесь в связи с идеологией декабристов.¹⁸ Не исключено влияние герценовской работы и на книгу «Россия: подъем и развитие, трагедии и революции» Т. Милнера, который (как, впрочем, и Дж. Пейтерсон) весьма объективно пишет о декабристах.

¹³ Ср.: Gleason J. H. The Genesis of Russophobia in Great Britain. Harvard Univ. press, 1950.

¹⁴ Этот экземпляр хранится теперь в ГПБ; ср. прим. 10.

¹⁵ Lee R. The Last Days... p. 210.

¹⁶ Герцен А. И. Соч. Т. 14. М., 1958, с. 35.

¹⁷ Сборник был издан Вольной русской типографией в Лондоне в 1858 г. на русском языке; вскоре был переведен на немецкий язык, но на английский не переведился.

¹⁸ Russian Literature and Alexander Pushkin. — National Review, 1858, № 14, Oct., p. 363, 368; Russian Literature: Michael Lermontoff. — Ibid., 1860, № 22, Oct., p. 335. — Как нам удалось установить, обе статьи написаны М. Мейзенбуг при участии Герцена. Подробнее см.: Временник Пушкинской комиссии, 1973. Л., 1975.

В последующие два десятилетия (1858—1877) произведения, содержащие материалы о декабристах, стали появляться несколько реже, что дало повод обозревателю «Edinburgh Review» заметить в 1870 г.: «Декабристы. Это слово незнакомо нынешнему поколению, а события, которые вызвали его появление, до сих пор еще недостаточно хорошо известны».¹⁹ Замечание не вполне справедливо. В 1862—1863 гг. Вольная русская типография в Лондоне опубликовала подготовленные А. И. Герценом два выпуска «Записок декабристов»; хотя последние и не переводились на английский язык, английская пресса не замедлила откликнуться на эту публикацию.²⁰ В первой половине 60-х годов появилось несколько серьезных работ, в которых объективно и доброжелательно говорилось о декабристах: это и социально-исторические труды «Русские у себя дома» Г. Сазерлэнд-Эдвардса (1861) и «Развитие науки, искусства и литературы в России» Ф. Р. Грэма (1865), и воспоминания супругов Аткинсон об их путешествии по Сибири: «Путешествие на Верхний и Нижний Амур и по русским владениям близ границ Индии и Китая» Томаса Аткинсона (1860) и «Воспоминания о татарских степях» миссис Люси Аткинсон (1863).²¹ В 1868 г. вышел очередной том рукописного наследия герцога Веллингтона, содержащий, в частности, письма и отчеты о его поездке в Петербург в качестве личного представителя британской короны в феврале—апреле 1826 г. Здесь немало материалов, относящихся к декабристам, включая отчет о конфиденциальной беседе с Николаем I по этому поводу.²² Через полтора года после обзора в Эдинбургском журнале вышел перевод «Воспоминаний» вернувшегося из сибирской ссылки декабриста барона А. Е. Розена — первое на английском языке произведение, автором которого был непосредственный участник восстания на Сенатской площади;²³ сам обзор в «Edinburgh Review», посвященный немецкому изданию той же книги Розена, свидетельствовал о весьма устойчивом интересе английского общества к этой теме.

На рубеже 70—80-х годов и далее в 80-е годы XIX в. в Англии складывается более глубокое понимание русского революционного движения и — ретроспективно — декабризма. Англо-рус-

¹⁹ Edinburgh Review, 1870, v. 132, Oct., p. 363.

²⁰ Saturday Review, 1863, 27 June, 1 Aug.

²¹ Sutherland-Edwards, H. The Russians at Home. London, 1861; Graham F. R. The Progress of Science, Art and Literature in Russia. London [1865]; Atkinson T. W. Travels in the regions of the upper and lower Amour and the Russian Acquisitions on the confines of India and China. London, 1860; Mrs. Atkinson. Recollections of Tartar Steppes and their Inhabitants. London, 1863.

²² Wellington A. Despatches, Correspondence, and Memoranda. Ed. by his son, v. 3 [new ser.]: Dec. 1825—May 1827. London, 1868, p. 151—152.

²³ [Rosen A. E.] Russian Conspirators in Siberia. A personal narrative by Baron R—, a Russian dekabrist. Transl. from German by E. Mildmay. London, 1872.

ский конфликт 1877—1878 годов, который едва не привел к новому военному столкновению между двумя странами, имел своим следствием чрезвычайное оживление интереса англичан к России. Десятилетие между 1878 и 1888 г. стало рекордным по числу посвященных России книг и статей, охватывающих проблемы экономики, политики, культуры, дипломатии, военной мощи. Видное, едва ли не центральное место в большинстве этих книг и статей заняли вопросы развития в России революционного движения и его история. Русскому революционному движению посвящены значительная часть двухтомного труда Г. Сазерленд-Эдвардса «Русские дома и за рубежом» (1879, переработанный и расширенный вариант книги 1861 г.); перевод книги Юлиуса Экарта «Россия до и после войны» (1880), исследование Эдмунда Нобла «Русская революция: ее причины, условия, перспективы» (1885);²⁴ с середины 80-х годов в Англии систематически издаются переводы книг русских революционных эмигрантов С. Степняка, П. Кропоткина, Л. Тихомирова. В радикальной прессе, а с возникновением в 1883—1884 годах социалистических групп в их печатных органах — «Justice», «Commonweal», «To-day» — тема русского революционного движения становится постоянной.²⁵

С начала 80-х годов появляются также художественные произведения, особенно поэтические, в которых о русских революционерах говорится с нескрываемой симпатией. О. Уайлд пишет пьесу «Вера, или Нигилисты» (*Vera: or the Nihilistes. A drama in a prologue and four acts*, 1881), У. Россетти включает в цикл «Демократических сонетов» (1881—1882) несколько сонетов о России, в том числе о русском революционном движении.²⁶ Джеймс Томсон создает лирический монолог «Деспотизм, усмирный динамитом» (*Despotism Tempered by Dynamite*, 1882), в котором доминирует мотив обреченности царского самодержавия;²⁷ Х. Эллис посвящает сонет Софье Перовской (*Sophia Perov-*

²⁴ Sutherland-Edwards H. *The Russians at Home and the Russians Abroad*. In 2 vols. London, 1879; [Eckardt J.] *Russia before and after the War*. Transl. from the German by Ed. Fairfax Tailor. London, 1880; Noble E. *The Russian Revolt: its Cause, Condition, and Prospects*. London, 1885.

²⁵ См., например: Hundman H. M. *The Dawn of a Revolution Epoch*. — *Nineteen Century*, 1881, v. 9, Jan., p. 1—18; Joynes J. L. *A Nihilist Novel by Tschernyschewskij*. — *To-Day*, 1884, Febr. № 2, p. 98—109; «What's to be Done» by N. G. Tschernyschewsky. — *Commonweal*, 1886, 10 July; Lipman R. T. *Russian socialism and its Journal*. — *To-Day*, 1886, July, № 31. — В «To-Day» помещались также обзорные рецензии на английские переводы книг Степняка-Кравчинского («*The Russian Stormcloud*» — 1886, July, № 31; «*The Russian Peasantry*» — 1888, July, № 55), Л. Тихомирова («*Russia: Political and Social*» — 1888, Jan., № 50) и т. д. Ср.: Григорьев А. Л. *Социалистические идеи русской литературы в зарубежном восприятии*. — *Русская литература*, 1969, № 3, с. 197, 199—200.

²⁶ Подробнее см. нашу работу: *Русская тема в «Демократических сонетах» Уильяма Россетти*. В кн.: *Россия и Запад*. Л., 1973, с. 79—90.

²⁷ Thomson J. *Poetical Works*. V. 2. London, 1895, p. 98—99.

skaia: Executed 16th April, 1881).²⁸ В стихотворении Фрэнсиса Эдемса «„Святая Русь“» («Holy Russia») из цикла «Песни Армии Ночи» (1888) звучит мотив революционного пробуждения России,²⁹ а еще через год поэт-социалист Джим Коннел в революционном гимне «Красный Флаг» (The Red Flag, 1889) назовет Москву в числе наиболее значительных очагов революционной борьбы.³⁰

В ряду поэтических произведений, приветствовавших русское революционное движение, находится и интересующая нас поэма Глейзера о декабристах.

3

Джон Брус Глейзер (1859—1921) — известный деятель английского социалистического движения конца XIX—начала XX в. и популярный в 80-е годы поэт. Он родился в Шотландии в крестьянской семье; юношей перебрался в Глазго, где работал гравировальщиком на заводе художественного литья. В самом начале 80-х годов, еще до подъема рабочего движения в Англии, Глейзер вел политическую агитацию в духе крайне радикальных идей своего времени. Тогда же начал создавать поэтические произведения, проникнутые пафосом революционной борьбы.

В Шотландии, где социалистическое движение развивалось медленнее, чем в промышленных центрах Англии, Глейзер был одним из первых организаторов социалистических групп. В середине 80-х годов он возглавлял шотландскую секцию «Социалистической Лиги», был близок с У. Моррисом.³¹ К этому времени относится большая часть его поэтических произведений — преимущественно песен, — публиковавшихся в еженедельнике «Лиги» «Commonweal», который издавал и редактировал У. Моррис.³²

Глейзер был весьма плодовитым, хотя и не очень одаренным поэтом. Некоторое представление о характере его поэзии может дать следующий отрывок из песни «Мы перевернем все вверх дном»:

Oh, the world is overburdened
With the idle and the rich!
They bask up in the sunshine

²⁸ To-Day, 1884, Apr., № 4, p. 256.

²⁹ Adams F. W. L. Songs of the Army of the Night. London, 1888, p. 44—45.

³⁰ Justice, 1889, № 310, 21 Dec.

³¹ Подробнее см. воспоминания Глейзера: Glasier J. B. William Morris and the Early Days of the Socialist Movement. London, 1921. — Глейзер написал также брошюру о политической лирике Морриса: Socialism in Song: an appreciation of W. Morris' «Chants for Socialists». Manchester, [1911].

³² «Commonweal: The official Journal of the Socialist League» — выходил в Лондоне с 1885 по 1894 г. (ежемесячно, с мая 1886 г. — еженедельно). Стихотворения Глейзера в «Commonweal»: The Ballad of «Law and Order» (Apr. 1886); We've Come o'er many a Mountain (29 May 1886); When the Revolution Comes (30 June 1888) etc.

While we plod in the ditch;
But, zounds! we'll put some mettle
In their fingers and their thumbs,
When we turn things upside down, my lads,
And the Revolution comes!

(О, мир перегружен бездельниками и богачами! Они нежатся на солнце, пока мы роемся в яме; но, черт побери, зададим же мы им жару, ребята, когда придет революция и мы все перевернем вверх дном!)

Далее следует припев, в котором слова «Мы все перевернем вверх дном» повторяются трижды.³³ В годы, когда английские рабочие жили в напряженном ожидании революционных событий, такого рода песни были весьма типичны.³⁴

После распада «Лиги» Глейзьер активно участвовал в создании «Независимой рабочей партии». В течение ряда последующих лет он был главным редактором официального органа партии — еженедельника «Labour Leader». С 1916 г. тяжелая болезнь приковала Глейзьера к постели, однако до последних дней он продолжал литературную и журналистскую деятельность.

Поэма о декабристах — самое раннее произведение Глейзьера. В ней нашли свое выражение идеалы и настроения революционной демократии той эпохи — ненависть к угнетению, готовность к революционной борьбе во имя торжества свободы. Отсюда, как и у чартистов, исключительно высокая оценка декабристов. Поэт преклоняется перед величием подвига первых русских революционеров:

The dead do in living live, and ye
Are leading now the sons of freedom on! —
The Night is passing quickly, and the dawn
Breaks in the east — the dawn of Liberty!

(Да, мертвые живут в живых, вы и сейчас ведете вперед сынов свободы! Быстро уходит Ночь, на востоке уже занимается заря — заря Свободы!)

Как видно уже из первого четверостишия — всего их в поэме 27, — отсутствие поэтического опыта и, увы! таланта Глейзьер восполняет риторикой — обилием восклицаний, напыщенной речью. Вместе с тем нельзя не отдать должное неподдельности и интенсивности чувств, прорывающихся порой сквозь риторiku:

Your country's sufferings have been your own
Through the long years of dark and cheerless night,
Your souls girt with never-dying life,
Nor dungeon, nor the tomb hath quenched their fire!
Still do they burn with freedom's fierce desire,
Still eager thirst for Freedom's final strife.

³³ Glasier J. B. We'll Turn Things upside down! — *Commonweal*, 1887, 29 oct.

³⁴ Подробнее об этом см. нашу работу: Об эстетическом своеобразии революционной рабочей поэзии (на материале английской поэзии). — Уч. зап. Калининского пединститута, 1969, т. 64, вып. I, ч. 2, с. 103—148.

(В долгие годы беспросветной и безнадежной ночи страдания вашей страны стали вашими страданиями. Ваши сердца бессмертны: ни тюрьма, ни могила не могли погасить их огонь! Они и сейчас горят неутолимой страстью к свободе).

Поэма строится на антитезе светлых сил, представленных героической самоотверженностью русских революционеров, и темных сил — деспотизма, насилия и смерти. Темные силы одерживают временную победу — декабристы казнены, но смерть не властна над ними: героический подвиг обессмертил их дело, их имена. Они и сегодня ведут за собою тех, кто сражается за свободу:

«Ye lead the sons of Freedom on!»

— с этих слов начинаются 5-е, 6-е, 7-е и 8-е четверостишия поэмы. Идея бессмертия подвига декабристов и преемственности в борьбе за свободу утверждается, таким образом, как лейтмотив поэмы.

4

Поскольку художественные достоинства поэмы Глейзера велики, ее значение определяется ее симптоматичностью — тем, что в ней отразилась оценка декабризма, сложившаяся к тому времени в демократических кругах английского общества. В этом плане представляют несомненный интерес два связанных между собой вопроса: о причинах обращения в 80-е годы именно к теме декабризма и об источнике поэмы.

Как отмечалось, на рубеже 70—80-х годов интерес в Англии к русскому революционному движению необычайно возрос. Почему же революционно настроенный поэт обратился не к современности, а к событию пятидесятилетней давности? Дело, по-видимому, заключалось в том, что, хотя в 1880 г. революционное движение в России уже привлекло внимание интенсивностью развития, ярких проявлений оно еще не дало. В следующем, 1881 г., когда развитие движения привело к убийству царя Александра II, это событие оттеснило все остальные на задний план; на него откликнулись стихотворениями Данте Габриэль Россетти, его брат Уильям Россетти, Дж. Томсон, Х. Эллис.³⁵ До марта 1881 г. движение декабристов оставалось в глазах англичан наиболее впечатляющим показателем русской революционной активности.

Менее ясен вопрос об источнике поэмы. Выше было названо без малого два десятка произведений, изданных в Англии между 1825 и 1880 г., каждое из которых могло служить источником — прямым или косвенным — сведений о декабристах. В рассматриваемом случае вероятность непосредственного знакомства автора поэмы с этими источниками представляется весьма сомнитель-

³⁵ См. прим. 26, 27, 28.

ной. Вот что пишет сам Глейзер о доступной ему в те годы литературе: «В то время — до появления общедоступных публичных библиотек — молодые люди из простого народа, в том числе и я сам, практически не имели возможности читать что-нибудь, кроме произведений самых ортодоксальных и популярных авторов тех лет».³⁶ В числе недоступных ему в то время авторов Глейзер называет далее таких как Рёскин, Дж. Ст. Милль и М. Арнольд.

Приведенного свидетельства Глейзера, разумеется, недостаточно, чтобы полностью исключить возможность его знакомства с тем или иным из названных выше источников: какая-то книга или статья могла так или иначе попасть в поле зрения нашего автора. Воспоминания барона Розена, например, изданные незадолго перед тем — в 1872 г. (напомним, что за полтора года до их появления «*Edinburgh Review*» поместил обстоятельный обзор немецкого издания этой книги), вполне могли оказаться у кого-то из радикально настроенных друзей Глейзера, интересовавшихся революционными движениями недавнего прошлого. То же самое относится к весьма известным в те годы книгам о России Т. Милнера и Ф. Р. Грэма.

Существенный материал для решения вопроса об источниках содержат сами эти книги: особенно много в этом отношении дает сопоставление написания фамилий декабристов у Глейзера и в предполагаемом источнике, а также сопоставление отдельных характерных формулировок. Так, Милнер сообщает о казни декабристов в следующих выражениях: «*Ryleief, Pestal, Muravief, Bestujef, and Kakhofski were hanged on the glacis of the Citadel*».³⁷ Ср. в поэме Глейзера: «*Pestel, Ryelieff, Mouravieff, Bestoujeff, and Kahoffski, executed before the Citadel...*».

Как видно из сравнения, написание фамилий у Милнера и у Глейзера существенно различается; последовательность в их перечислении не совпадает; у Милнера в сообщении о казни употреблено выражение: «*were hanged on the glacis...*», у Глейзера — «*executed before the Citadel*».

Не менее существенные различия обнаруживаются при сопоставлении поэмы с книгой Грэма. В сообщении о казни Грэм приводит полные имена декабристов и двойные фамилии (*Constantine (sic!) Ruyliev, Sergius Mouravieff Apostol, Mickail Bestujeff Rumin*), причем написание фамилий опять-таки резко отличается от варианта, принятого Глейзером.³⁸ Наконец, германизованное написание фамилий декабристов в английском переводе книги Розена (*Rylejew, Murawjew, Bestuchew*) заставляет сразу же отвергнуть предположение, что эта книга находилась в поле зрения Глейзера в период работы над поэмой.³⁹

³⁶ Glasier J. B. *William Morris and the Early Days...*, p. 19.

³⁷ Milner T. *Russia...*, p. 499.

³⁸ Graham F. R. *The Progress*, p. 252.

³⁹ [Rosen A. T.]. *Russian Conspirators*, p. 75—76.

То же самое относится к другим книгам. В наиболее близком по времени появления тексте — письмах из Петербурга супруги английского дипломата Дисброу (письма относятся к 1825—1828 гг., но опубликованы в 1878 г.) — имена декабристов перепутаны. По мнению леди Дисброу, Рылеев и Каховский — одно лицо: соответствующую фамилию (Ryleieff-Kahowsky) она пишет через дефис, отделяет от других запятой и даже сообщает некоторые подробности — оказывается, «Рылеев-Каховский» застрелил Милорадовича, за что и казнен. Но казненных декабристов было пятеро — это леди Дисброу знает точно, — и, чтобы сохранить число, она делит фамилию Муравьева-Апостола: появляется Серж Муравьев (Mouravieff) и отдельно, через запятую, некий Apostel. Пестель, видимо по созвучию, превращен в Постеля (Postel); искажена и фамилия Бестужева: Bostayieff Rumine.⁴⁰

Ошибки Дисброу можно понять, если учесть, что ее письмо — первое английское сообщение о казни декабристов, отправленное из Петербурга через день или два после казни. Но вот ошибки в исследовании Эдуарда Михельсена, доктора философии и автора нескольких исторических трудов, менее понятны. Поэт Рылеев превращен у него в лейтенанта Релизева», а от фамилии Бестужева-Рюмина сохранилась только вторая часть (Cl. Pestel, L-C. Marawieff-Apostal, lieutenants Relizeff, Riumin, and Kachowsky were hanged).⁴¹

Существенно отличается от принятого Глейзером написание фамилий декабристов в книгах Ч. Хеннингсена, Дж. Пейтерсона (тот же вариант, что у Грэма)⁴² и в книге барона Корфа (Bestujeff, Ruileeff, Kakhovskii).⁴³

Во всех перечисленных источниках употреблены не те выражения, что у Глейзера. У Глейзера — executed (казнены), во всех книгах — hanged (повешены). У Глейзера крепость передается словами citadel, — у всех других авторов, за исключением Милнера, тоже употребившего слово citadel, использовано слово fortress. У Глейзера место казни — before the citadel (перед крепостью), в большинстве книг — on the glacis of the fortress (на скатах бруствера крепости).

В книгах Т. Мортон, Р. Ли, С. Хилла, Эд. Турнерелли, Г. Сазерлэнд-Эдвардса и супругов Аткинсон о самой казни декабристов не говорится и имена казненных декабристов, за исключением Пестеля и Рылеева, не упоминаются.

Приведенный материал дает основание утверждать, что ни одна из названных выше английских книг не послужила источ-

⁴⁰ Письмо от 13 июля 1826 г. — см. в кн.: [Lady Disbrowe]. Original Letters from Russia, 1825—1828. London, 1878, p. 147.

⁴¹ Michelsen E. The Life of Nicholas I..., p. 116.

⁴² Книга Пейтерсона (см. прим. 12) послужила непосредственным источником для Грэма.

⁴³ Korff M. The Accession of Nicholas..., p. 171—275.

ником — во всяком случае *непосредственным* источником — поэмы Глейзера.

Приведенные рассуждения относятся и к журнальным статьям: большинство английских статей о декабристах представляют отклики на ту или иную книгу; в них сохранялось то же написание, что и в соответствующей книге. В двух известных нам самостоятельных статьях, в которых идет речь о казни декабристов, — «Пестель и русские республиканцы» У. Линтона и «Объединенные славяне» Т. Фроста — несовпадения в написании фамилий декабристов и в фразеологии слишком значительны, чтобы их можно было рассматривать как источники поэмы Глейзера. Ср. имена у Фроста: «Ryleif, Bestoujif, Kakhofski, Pestel and Sergius Mouravieff. . .».⁴⁴ У Линтона: «At 4 o'clock on the morning of the 25th of July 1826 Pestel, Reeleyeff, Mooravieff, Bestujzeff and Kahovski were dragged to the place of execution on the glacis of the fortress of St. Petersburg. . .».⁴⁵

Значительно более велика вероятность устных источников поэмы Глейзера. Среди радикально настроенных друзей Глейзера, с которыми он сблизился в конце 70-х годов, были люди весьма образованные — в их числе Джон Гласс, эдинбургский священник, поэт, впоследствии социалист, друг У. Морриса; Лео Мелье, французский политэмигрант, коммунар, бывший во время Парижской коммуны министром юстиции; близким другом Глейзера был журналист Шоу Максвелл, издававший в начале 80-х годов радикальный еженедельник «The Voice of the People». В своих воспоминаниях Глейзер говорит о знакомстве с русскими революционными эмигрантами. По его словам, он и его мать не раз оказывали в своем доме гостеприимство П. Кропоткину и С. Степняку.⁴⁶ Глейзер упоминает и других революционных эмигрантов из России, не уточняя их фамилий.⁴⁷

К сожалению, Глейзер не называет точной даты своего знакомства с русскими эмигрантами, в частности с Кропоткиным. Возможно, это знакомство относится ко второй половине 80-х годов, когда Кропоткин окончательно поселился в Англии, но не исключены и более ранние контакты: Кропоткин, после бегства из тюремного госпиталя летом 1876 г., переехал через Швецию в северную Англию и, опасаясь быть узнанным в Лондоне, несколько месяцев провел в Эдинбурге и Глазго.⁴⁸

⁴⁴ Frost T. United Slavonians. — Chambers' Papers for the People, 1851, v. 9 (цит. по кн.: Frost T. The Secret Societies of the European Revolution. 1776—1876. London, 1876, v. 2, p. 114. Ср. *ibid.*, p. 99, 115—117).

⁴⁵ Linton W. J. Pestel and the Russian Republicans. — The English Republic, 1851, № 5 (цит. по кн.: Антология чартистской литературы. Сост. Ю. Ковалев. М., 1952, с. 369).

⁴⁶ Glasier G. B. William Morris and the Early Days. . ., p. 99, cf. 117.

⁴⁷ Там же, с. 40.

⁴⁸ См.: Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966, с. 345, 346 и сл.

Так или иначе, приток в Англию русских революционных эмигрантов в конце 70-х годов уже начался, их широкие контакты с радикально настроенными англичанами подтверждаются многочисленными источниками; интерес же к русскому революционному движению и его истории был в это время уже очень велик. Глейзер мог услышать о декабристах или непосредственно от кого-либо из русских эмигрантов, или от одного из своих английских друзей. Сообщение, судя по результатам, живо заинтересовало Глейзера. Он мог даже попросить рассказчика написать ему фамилии декабристов. Возможно, этим и объясняется, что транслитерация фамилий декабристов в поэме, не совпадая с написанием ни в одном из известных английских источников, отличается большей грамотностью и правильностью, чем в любом из них.

А. Н. ИЕЗУИТОВ

К ИСТОРИИ ЭПИГРАФА ЛЕНИНСКОЙ ГАЗЕТЫ «ИСКРА»

В декабре 1900 г. вышел первый номер ленинской газеты «Искра». Эпиграфом к ней стояли слова: «„Из искры возгорится пламя!“ Ответ декабристов Пушкину». Это факт общеизвестный. Но до сих пор так и остается невыясненным вопрос о том источнике, откуда Ленин мог взять эпиграф к «Искре». Чтобы в какой-то мере прояснить этот вопрос, необходимо обратиться к раннему — самарскому — периоду жизни и деятельности Владимира Ильича.

Живя в Самаре (1889—1893 гг.), Ленин не только активно руководил деятельностью подпольных марксистских кружков. Он проявлял самый горячий интерес к настроениям и взглядам широких кругов современного ему самарского общества. В первую очередь здесь следует назвать имя судебного следователя Я. Л. Тейтеля, у которого часто собиралась демократически настроенная городская интеллигенция.¹ В доме Тейтеля Владимир Ильич неоднократно встречался и с председателем Самарского окружного суда с 1878 по 1898 г. Владимиром Ивановичем Анненковым — сыном известного декабриста Ивана Александровича Анненкова. Именно В. И. Анненков был тогда «объединяющим центром» на многих вечерах у Тейтеля. Сохранились любопытные воспоминания старшей дочери В. И. Анненкова, М. В. Анненковой, сравнительно недавно ставшие известными.²

¹ Подробнее о Я. Л. Тейтеле и его «кружке» см.: Оклянский Ю. Шумное захолустье. Из жизни двух писателей. Куйбышев, 1965, с. 140—145.

² Отрывки из воспоминаний М. В. Анненковой «Пусть догорит свеча» впервые были опубликованы Г. Е. Хаитом в работе «Из жизни семьи

«Наш дом,— пишет М. В. Анненкова,— часто посещали молодые люди — судебные следователи, присяжные поверенные и т. д. Отец любил молодые, свежие мысли. Его ближайшим другом был еврей — судебный следователь Яков Львович Тейтель <...> Молодые люди, посещавшие дом Тейтеля, с интересом слушали рассказы отца о декабристах и Сибири.

Был другой молодой человек, посещавший дом Тейтеля, который с глубочайшим интересом относился к истории восстания декабристов [и с которым отец вел долгие беседы]³ <...> Он был не особенно большого роста, все черты его лица носили отпечаток не только обширного ума, но и непреклонной энергии. Он в это время был помощником присяжного поверенного популярного адвоката Хардина. Его имя было Владимир Ильич Ульянов, впоследствии он стал известным миру как Ленин».⁴

В. И. Анненков был весьма демократически настроенным деятелем. Именно он зачислил Ленина в январе 1892 г. помощником присяжного поверенного в Самарский окружной суд. Это по его личному ходатайству и в 1892, и в 1893 гг. Ленину было предоставлено право вести самостоятельные судебные дела. Анненков не мог не знать, что Владимир Ульянов — родной брат «государственного преступника» Александра Ульянова, но несмотря на это он оказывал ему всяческое содействие по службе. О некоторых взглядах В. И. Анненкова в известной мере позволяет судить его письмо к А. Д. Свербееву от 6 апреля 1883 г. Объясняя, почему он не может в ближайшие дни посетить Свербеева, Анненков писал: «Министерство окончательно завалило нас требованиями о доставлении соображений по разным законодательным вопросам. Так, и нынешний вечер назначен мною для рассмотрения с моими сослуживцами нового проекта Уложения о наказаниях, которым, между прочим, предполагается удержать за каторжными имуществомные права и открыть им (по истечении известного срока) доступ в государственную службу. Еще ли это не прогресс, только вряд ли ведущий ко благой цели».⁵ В заключение письма Анненков обещает зайти к Свербееву, как только немного отделается «от докучливых требований высшего начальства».⁶ Обращает на себя внимание, что Анненков проявляет явно обостренный интерес к вопросу о каторжных. И это не случайно. Сын государственного преступника-каторжанина, он очень хорошо испытал на себе несправедливость и тяжесть прежнего законодательства о каторжных. Сосланные на каторгу и их дети ли-

Ульяновых в Казани и Самаре» (Новый мир, 1957, № 4), а затем, в несколько расширенном виде, — Ю. Окляским в книге «Шумное захоlustье».

³ Эти слова, зачеркнутые в рукописи, приведены Ю. Окляским в его книге «Шумное захоlustье» (с. 146).

⁴ Новый мир, 1957, № 4, с. 152.

⁵ ИРЛИ, Архив А. Д. Свербеева, ф. 598, оп. 1, № 44, л. 1 и 1 об.

⁶ Там же, л. 2.

шались всех своих прежних имущественных и сословных прав.⁷ Лишь по высочайшему повелению и в качестве величайшей милости декабристы, отбывшие каторгу, могли поступать на государственную службу. Так произошло с И. А. Анненковым в 1839 г.⁸ После долгих хлопот и самому В. И. Анненкову, уже окончившему гимназию, было высочайше разрешено начать в 1849 г. государственную службу с должности канцелярского писца.⁹ «Еще ли это не прогресс», — так отзывался Анненков о новом проекте. В то же время он весьма скептически относится к тому, что в руках «высшего начальства» этот проект приведет к благой цели. В замечании Анненкова проглядывает также своего рода оппозиционность автора письма, который не очень-то верит в мудрость и справедливость высоких властей.

Самое же главное: из письма Анненкова видно, что история (декабризм) и современность были для него связаны живой и тесной связью, что современность постоянно напоминала ему о прошлом, а прошлое непосредственно вторгалось в современность, жило в ней.¹⁰ Для Анненкова декабристы вовсе не были отдаленной историей, поэтому он так часто и охотно рассказывал в 90-е годы другим людям, в первую очередь молодежи, о декабристах. Вопрос о декабристах представлял тогда особенно острый интерес в связи с тем, что в конце века перед многими демократически настроенными людьми вставала проблема, каким путем им идти дальше, кому и как следовать. Животрепещущей являлась проблема взаимоотношений между революционерами и народом. На памяти многих был героический порыв террористической фракции «Народной воли», возглавляемой А. И. Ульяновым (1887). Чему же можно и нужно в этих условиях учиться у декабристов? Все это, естественно, занимало и самого В. И. Анненкова и его собеседников.

М. В. Анненкова пишет о встречах своего отца с В. И. Ульяновым, который был в то время помощником присяжного поверенного. Так как Ленина зачислили в список помощников присяжного поверенного в январе 1892, а в августе 1893 г. он уже выехал из Самары в Петербург, его встречи с В. И. Анненковым могли происходить между февралем 1892 и августом 1893 г.¹¹ Еще в юности Ленин проявлял большой интерес к декабри-

⁷ См.: Воспоминания Полины Анненковой. Изд. 2-е. М., 1932, с. 139—140. (П. Анненкова — мать В. И. Анненкова).

⁸ Там же, с. 291.

⁹ См.: Воспоминания Полины Анненковой, с. 245—246.

¹⁰ В кабинете В. И. Анненкова на стене висели кандалы, снятые с отца после каторги (Историко-революционные места города Куйбышева и области. Куйбышев, 1967, с. 62).

¹¹ Следует при этом учесть, что с конца июля по сентябрь 1892 г. и с мая по август 1893 г. Ленин жил на даче в Алакаевке.

стам и к литературе, связанной с ними.¹² О чем именно беседовали Ленин с Анненковым и какое место занимали в этих беседах вопросы литературы, позволяет несколько прояснить один прежде неизвестный и чрезвычайно интересный документ. 18 февраля 1926 г. Еленой Константиновной Гагариной — внучкой И. А. Анненкова и дочерью Ольги Ивановны Ивановой, старшей сестры В. И. Анненкова, — была составлена родословная И. А. Анненкова и его потомства и написана объяснительная записка к ней.¹³ В этой записке, рассказывая о жизни И. А. Анненкова и П. Е. Анненковой, Е. К. Гагарина сообщила следующее:

«У них были некоторые картинки и альбом, который я отлично помню и из которого я, шестнадцатилетняя девочка (Е. К. Гагарина родилась в 1855 г., следовательно, это было в 1871 г., — *А. И.*), списала для себя стихи Одоевского „К отцу“, „Кн. Волконской“ („Был край слезам и скорби посвященный“) и „Одичалый“ Батенкова. Стихотворения „Наш ответ“ („Струн вещих. . .“) Одоевского и „Наши желания“ Вадковского переписаны не моей рукой, всегда были у моей матери. Стихи Одоевского моя мать знала наизусть и я тоже с детства.

Альбом моей бабушки — жены декабриста Прасковьи Егоровны после смерти Ив<ана> Алек<с>андровича Анненкова перешел к старшему сыну его Владимиру, а после его смерти — к его старшему сыну Алексею».¹⁴ Таким образом, в 1892—1893 гг. альбом И. А. Анненкова находился у В. И. Анненкова (И. А. Анненков умер в 1878 г.), и мы имеем все основания предположить, что во время своих бесед с Лениным он мог ознакомить Влади-

¹² См.: Ульянова-Елизарова А. И. Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове. — В кн.: Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. Сборник, составленный А. И. Ульяновой-Елизаровой. М.—Л., 1927, с. 57.

¹³ Источник этот достаточно авторитетный, ибо именно Е. К. Гагариной были в полном виде переданы для печати воспоминания П. Анненковой (Полины Гельб), которую по-русски стали звать Прасковьей Егоровной, и ее дочери О. И. Ивановой (см.: Воспоминания Полины Анненковой, с. 6—7). По просьбе редакции журнала «Русская старина» рассказы П. Е. Анненковой были записаны в 1861 г. ее дочерью Ольгой Ивановой в Нижнем Новгороде. Впервые эти рассказы были опубликованы в журнале «Русская старина» (1888, т. LVII, январь—март; т. LVIII, апрель—май).

¹⁴ Архив И. А. Анненкова. Родословная таблица его потомства с объяснительной запиской. (Составлена Гагариной Еленой Константиновной). ИРЛИ, ф. 6, № 17, л. 4. 18 февраля 1926 г., составляя родословную И. А. Анненкова и его потомства, Е. К. Гагарина писала, что ей не известно, жив ли Алексей Владимирович Анненков (род. в 1874 г.) и где он находится в настоящее время. Между тем 11 августа 1926 г. А. В. Анненков, находясь в Ленинграде, передал в дар Пушкинскому дому несколько портретов, ранее находившихся у В. И. Анненкова, в том числе портрет П. Е. Анненковой (Музей ИРЛИ, вход. № 179, инв. № 3171). В годы Великой Отечественной войны этот портрет был утрачен. О судьбе альбома И. А. Анненкова ничего определенного пока сказать нельзя, и на этот счет требуются специальные разыскания.

мира Ильича с содержанием этого альбома.¹⁵ А это значит, что уже в начале 90-х годов Ленин знал по рукописным источникам ряд произведений декабристов.

В этом смысле особый интерес представляет стихотворение А. Одоевского «Наш ответ» («Струн вещих...»). Строка из него «Из искры возгорится пламя...» как раз и послужила эпитафией к ленинской «Искре» в 1900 г. Альбом Анненкова мог быть тем источником, из которого Ленин почерпнул этот эпитафий, запомнив слова поэта еще в 90-е годы прошлого века.

Впервые стихотворение Одоевского было опубликовано Герценом в сборнике «Голоса из России» (кн. 4, Лондон, 1857) под заглавием «Ответ на послание Пушкина». К публикации следовало примечание: «Кто писал ответ на послание — неизвестно».

Как стихотворение, принадлежащее перу Одоевского, оно было напечатано в примечании к стихотворению Пушкина «В Сибирь» в книге «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений».¹⁶ В России оно впервые, хотя и с пропусками, было приведено в статье Г. С. Чирикова «Заметки на новое издание сочинений Пушкина».¹⁷ Полностью произведение Одоевского было напечатано в примечаниях Н. О. Лернера к «Собранию сочинений А. С. Пушкина» под ред. С. А. Венгерова.¹⁸ Вряд ли в 90-е годы Ленин мог знать эти публикации. Можно думать, что Ленин был знаком со сборником «Голоса из России», широко распространенным в революционно настроенных кругах. Однако альбом Анненкова все же остается наиболее вероятным источником первого знакомства Ленина со стихотворением Одоевского. Следует также иметь в виду еще одно обстоятельство. В ленинской «Искре», первый номер которой вышел в 1900 г., слова «Из искры возгорится пламя» сопровождаются таким примечанием: «Ответ декабристов Пушкину», — именно декабристов, а не Одоевского. Между тем в изданиях 1861 и 1881 гг. сказано, что это ответ Одоевского. В публикации Герцена говорилось, что это «ответ на послание Пушкина»; публикатор подчеркивал этим, что ему не известен автор произведения. Лишь в альбоме И. А. Анненкова сказано о стихотворении Одоевского: «Наш ответ», — ибо это был и собственный ответ владельца альбома.¹⁹ Словами «ответ декабристов Пушкину» Ленин хотел подчеркнуть общность ответа всех декабристов, выражаемую Одоевским.

¹⁵ В кабинете В. И. Анненкова хранился большой альбом с фотографиями и автографами почти всех декабристов (Историко-революционные места города Куйбышева и области, стр. 62). Очевидно, это и был альбом И. А. Анненкова.

¹⁶ Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Берлин, 1861, с. 224—225.

¹⁷ Русский архив, 1881, кн. I, с. 200—201.

¹⁸ Пушкин. Под ред. С. А. Венгерова. Т. IV, СПб., 1910, с. XXIII.

¹⁹ Интересно заметить, что в том же альбоме стихотворение Вадковского «Желания» названо Анненковым «Наши желания», ибо в нем выражались желания всех декабристов, в том числе и И. А. Анненкова.

В этом проявилось глубокое и верное понимание Лениным смысла и духа стихотворения: сам Одоевский подчеркивает всем строем своего произведения, его лексикой («наши руки», «наш труд»), что он отвечает от имени всех декабристов, сосланных в Сибирь. Но, возможно, и в данном случае Ленин опирался на название стихотворения «Наш ответ», которое он встретил в альбоме Анненкова.

Из альбома Анненкова уже в начале 90-х годов Ленин мог узнать и другие стихотворения декабристов, в частности «Одичалый» Батенькова и «Желания» Вадковского.

В стихотворении «Одичалый» ярко описывались страдания узника, его одичание в одиночном заключении и в то же время звучала надежда на лучшее будущее и избавление от мук.²⁰

Стихотворение Ф. Ф. Вадковского «Желания» впервые было опубликовано по копии князя А. Б. Лобанова-Ростовского Е. Е. Якушкиным лишь в 1925 г.²¹ При этом публикатор выражал известное сомнение в принадлежности стихотворения Вадковскому. Запись Е. К. Гагариной окончательно устраняет такое сомнение: в альбоме Анненкова оно прямо отнесено к Вадковскому. В стихотворении очень резко, определенно и отчетливо выражена весьма радикальная программа.²² С полным основанием декабрист Анненков назвал стихотворение Вадковского «Наши желания» (ср. «Наш ответ»), ибо все это были и его собственные желания. В свою очередь, Ленин мог знать стихотворение Вадковского из альбома Анненкова уже в 1892—1893 гг.

Интерес Ленина к декабристам в 90-е годы был продиктован прежде всего актуальными задачами времени. Декабризм весьма наглядно обнаруживал тесную и животворную связь политики и литературы в духовной жизни русского общества. Ленину была

²⁰ В этом отношении оно сближается с «Нашим ответом» Одоевского, но в стихотворении Батенькова сильно ощутимы религиозные мотивы:

Пора придет: неживый свет
Блеснет — всем будет обличенье...
Нет! Не напрасно дан завет,
Дано святое наставленье...

См. его полный текст в кн.: Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика. Сост. В. Л. Орлов. М. — Л., 1951, с. 190.

²¹ Красный архив, 1925, т. 3 (10), с. 318—319.

²² В копии А. Б. Лобанова-Ростовского были после текста стихотворения написаны и выделены рукою Вадковского «Требования общества», выраженные им в своем произведении:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Уничтожение самовластья | 7. Свобода книгопечатания |
| *2. Освобождение крестьян | 8. Признание народной власти |
| *3. Преобразования в войске | 9. Палата представителей |
| *4. Равенство перед законом | 10. Общественная рать или стража |
| *5. Уничтожение телесных наказаний | 11. Первоначальное обучение |
| 6. Гласность судопроизводства | 12. Уничтожение сословий |

особенно дорога и в 90-е годы и позднее мысль о преемственности и неразрывности революционного движения в России, а эта идея чрезвычайно ярко, впечатляюще и отчетливо была выражена именно в знаменитом стихотворении Одоевского «Струн вещей пламенные звуки...».²³ Внутреннюю преемственность, связывающую пролетарскую революционность с революционностью прошлого, Ленин подчеркивал в 1900 г., взяв строчку из стихотворения Одоевского эпиграфом к «Искре». В то же время тот факт, что эпиграфом к первой общерусской политической газете были взяты слова из литературного произведения и в названии газеты также был ясно виден литературный источник — стихотворение Одоевского, свидетельствует о признании Лениным огромной революционно-преобразующей и агитационно-политической роли русской литературы, в том числе декабристской.

В статье 1900 г. «Как чуть не потухла „Искра“?», рассказывая о том, как дух истинной революционности в газете едва не был подавлен либеральными шатаниями Плеханова, Ленин уже в самом названии работы употреблял метафору, близкую стихотворению Одоевского. Статья кончалась словами: «Искра начала *подавать надежду* опять разгореться».²⁴ Это ленинское выражение явно перекликалось со строчкой Одоевского, взятой эпиграфом в «Искре»: «Из искры возгорится пламя». Позднее, в статье «Воинствующий милитаризм и антимилитаристская тактика социал-демократии» (1908) Ленин в специфических исторических условиях оригинально использовал ту же строчку Одоевского для глубокой, точной и вместе с тем предельно лаконичной характеристики международной обстановки: «...При сети нынешних явных и тайных договоров, соглашений и т. д., — писал Ленин, — достаточно незначительного щелчка какой-нибудь „державе“, чтобы „из искры возгорелось пламя“».²⁵ Эта формула была внутренне подготовлена и строим предшествующего изложения. Выше Ленин отмечал, что «разгораются страсти», что «горючего материала за последнее время накопилось достаточно, и он все растет». Горючий материал — это нерешенные международные вопросы.

Органическая преемственность в революционном движении, прямая и неразрывная связь разных революционных поколений непосредственно ощущалась Лениным уже в начале 90-х годов XIX в. Ленин был знаком с родным сыном декабриста — дворянского революционера. В конце 80-х годов еще был жив великий революционный демократ Чернышевский, и Ленин послал ему в 1888 г. письмо. Лишь в 1889 г. умер Н. Щедрин, творчество которого Ленин очень любил и высоко ценил. Он хорошо знал русских яacobинцев-бланкистов (Голубеву и др.), сосланных тогда

²³ См.: Декабристы, с. 596.

²⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 352.

²⁵ Там же, т. 17, с. 186.

в Самару,²⁶ его родной брат был героем-народовольцем.²⁷ В то же время в самарских марксистских кружках на его глазах и при его активном содействии уже подрастало поколение пролетарских революционеров. Сам Ленин был достойным наследником и продолжателем великих революционных традиций. Это живое и непосредственное ощущение тесной связи разных поколений революционеров в России питало и углубляло устойчивый интерес Ленина к русскому революционному движению на всем протяжении его исторического развития и позволило Ленину позднее (в статьях «Памяти Герцена», «Из прошлого рабочей печати в России») так выразительно, наглядно и точно охарактеризовать три поколения писателей-революционеров в России, их внутреннюю взаимосвязь. Есть основания сказать, что интерес Ленина к декабристам как «поколению дворянских революционеров», который в дальнейшем неоднократно будет проявляться в его работах, обнаружился еще в начале 90-х годов прошлого столетия. Среди источников, питавших этот интерес, немаловажное место принадлежит литературному наследию декабристов.

²⁶ См. об этом: Ульянова-Елизарова А. И. В. И. Ульянов (Н. Ленин). Краткий очерк жизни и деятельности. М., 1934, с. 27; Семенов (Блан) М. И. Самара и подпольные кружки ленинского периода. — В кн.: В. И. Ленин в Самаре. (Воспоминания современников). Куйбышев, 1960, с. 62; Голубева М. П. Моя первая встреча с Владимиром Ильичом. — В кн.: Воспоминания о В. И. Ленине. Т. 1. М., 1956, с. 96—98.

²⁷ В начале 90-х годов Ленин бывал в тех местах, где вели революционную пропаганду народники 70-х годов, и беседовал с крестьянами, лично знавшими Софью Перовскую и хорошо помнившими ее.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- А. А. 306
 А-ъ Ш-ъ 303
 Август, имп. 103
 Аверинцев С. С. 160
 Аверкиев Д. В. 225
 Агап Иванович («Агап Иванов») 65
 Агапеев И. 92
 Адамс (Adams) Д. 167
 Азадовский М. К. 215, 355, 356; 364
 Акимов 78
 Аксаков С. Т. 349
 Александр I Павлович 41—47, 52, 64, 68, 75, 76, 78—80, 82—84, 87—90, 92—94, 97, 101, 111, 169, 212, 223, 224, 232, 255, 272, 274—276, 313—323, 347, 352, 359, 372, 373
 Александр II 359, 360, 378
 Александр Македонский 373
 Александр Невский 118
 Александренко В. Н. 370
 Алексеев М. П. 276, 296, 370—372
 Алексеев Н. С. 205, 313, 314, 321—323
 Алексей Михайлович, царь 153, 159, 189
 Алексей Петрович, царевич 146
 Альба Ф.-А. де Толедо 44
 Анисимов В. М. 200
 Анна Иоанновна, имп. 101, 154, 155
 Анненков А. В. 385
 Анненков В. И. 382—387
 Анненков И. А. 179, 180, 382—387
 Анненков П. В. 54, 58, 321, 323
 Анненкова М. В. 382—384
 Анненкова П. Е., уродж. Габль 179, 180, 384, 385
 Анненковы 180
 Араго Д.-Ф. 269
 Аракчеев А. А. 37, 44, 46, 93, 97, 275
 Аргамаков А. В. 78, 92
 Ариэнштейн Л. М. 5
 Аристид 62
 Аристов В. В. 304
 Арнольд М. 379
 Арсеньев А. И. 358
 Архипова А. В. 4, 5, 121, 124, 129
 Аткинсон (Atkinson) Л. 374, 380
 Аткинсон (Atkinson) Т.-В. 374, 380
 Афанасьев А. Н. 323
 Ацаркина Э. Н. 185
 Бабкин Д. С. 105
 Базанов В. Г. 9, 50, 56, 98, 100, 103, 114, 118, 124, 129, 144, 146, 265, 266, 269, 273, 290, 321, 324, 325, 336
 Байи Ж.-С. 196
 Байрон Д.-Н.-Г. 10, 11, 15—20, 40, 73, 122, 136, 138, 184, 186
 Балашов А. Д. 68
 Бале де 78
 Бальдауф Ф. И. 261, 357
 Бальзак О. де 192
 Баранов Д. О. 335
 Барановская М. Ю. 363
 Баратынский Е. А. 58, 185, 186, 204
 Баррер Б. 196
 Бартенева П. И. 54, 71, 82, 168, 201
 Барятинский А. П. 359
 Басаргин Н. В. 49, 359
 Басаргина, уродж. Мещерская 49
 Батеньков Г. С. 37, 63, 96, 385, 387
 Батюшков К. Н. 49, 59, 200, 267, 268
 Бахметьев А. Н. 177, 178, 183
 Бахтин Н. И. 37, 38, 40, 124
 Баян 39
 Бегичев С. Н. 301
 Безбородко А. А. 88
 Безносиков Я. И. 368
 Бейсов П. С. 118, 272
 Беккер И. И. 186
 Белицкий В. Г. 15, 69, 221, 222, 224, 231, 232, 235, 238, 294, 351, 356
 Белова Н. Р. 184
 Белоголовый Н. А. 53, 54, 72
 Белосельская-Белозерская А. Г., уродж. Козицкая 170
 Белосельский-Белозерский Э. А. 187
 Белоусов, подпоручик 177
 Бем А. Л. 220
 Бенгтсен Л. Л. 88
 Бенкендорф А. Х. 169, 177, 178, 182, 183, 202, 296, 297, 300, 325, 331, 333—346, 349, 351, 361
 Беранже (Béranger) П.-Ж. 265, 270—277
 Берк Э. 104
 Берх В. Н. 189
 Бестужев (Марлинский) А. А. 5, 13, 30, 34, 40, 92, 103, 106, 119, 128, 262, 266, 278, 290—301, 347, 362
 Бестужев М. А. 9, 63, 359, 364, 365
 Бестужев Н. А. 5, 69, 96, 130, 149, 359—365
 Бестужев-Рюмин М. П. 73, 96, 113, 115, 371, 379—381
 Бестужева Е. А. 295—300
 Бестужевы 9, 63, 66, 69, 196, 290, 295—297, 300, 364
 Бегховен Л., ван 191
 Бехтеев И. П. 301
 Бибииков Г. Г. 338
 Бибииков П. И. 330, 331

- Бибинова Е. И., урожд. Муравьева-Апостол 182
 Бирон Э. И. 154
 Бирюков В. П. 304
 Благой Д. Д. 125, 200
 Блудов Д. Н. 33, 325, 340, 344, 345
 Бобарыкин Д. А. 259
 Бобрисцевы-Пушкины, братья 66
 Богословский П. С. 303
 Бодиско, братья 66
 Бок Т. Е. фон 52
 Бональд Л.-Г.-А. 272
 Бонди С. М. 200, 203
 Борецкая Марфа (Марфа Посадница) 55, 104, 155
 Борисов П. И. 96
 Борисовы, братья 66
 Боровой С. Я. 156, 266
 Борх С. И., урожд. Лаваль 174, 181, 187, 188, 190, 192
 Борщевский С. С. 234
 Бочков Д. В. 178, 183
 Брацловский С. Н. 261, 266, 267, 269, 273
 Бригген А. Ф. 78, 92, 121
 Брикнер А. С. 105
 Брокгауз 207, 356
 Брут Марк Юний 41, 44, 47, 54, 96, 97, 105, 146
 Брюллов А. П. 191, 193
 Брюллов К. П. 185, 189, 193
 Буданова Н. Ф. 227
 Буланова О. К. 359, 361
 Булгаков А. Я. 185, 186
 Булгаков К. Я. 185, 186
 Булгарин Ф. В. 142, 187—189, 261, 296, 302
 Бурбоны 97
 Бурдин Ф. А. 355
 Бурнашев Т. В. 360, 361
 Бурцев В. Л. 302, 303
 Бурцов А. П. 53
 Бурцов И. Г. 248, 250, 252, 254, 258, 259
 Бухгейм Л. Э. 302

 В. 260
 В-н О. 303
 Ваде Ж.-Ж. 270
 Вадковские 66
 Вадковский Ф. Ф. («Ватковский») 359, 361, 385—387
 Вайнштейн А. Л. 4, 185
 Варакин И. И. 78
 Василий Васильевич Темный, вел. кн. 148
 Васильев А. 304
 Васильчиков И. В. 41—43
 Вацуро В. Э. 5, 101, 262, 329
 Вашингтон Д. 105
 Вейс А. Ю. 247, 248, 254, 255, 258
 Великопольский И. Е. 254, 255
 Веллингтон (Wellington) А. 374
 Венгеров С. А. 195, 202, 203, 386
 Веневитинов А. В. 198, 201
 Веневитинов Д. В. 178—180
 Веневитинов М. В. 179
 Веревкин А. И. 340
 Вернадский Г. В. 77
 Верне Г. 189
 Вигель Ф. Ф. 177
 Виельгорский Ю. М. 82
 Вилламов А. Г. 268
 Вильгельм I 274
 Вильдеман 67
 Виньи А.-В. де 181, 185
 Владимиров 154
 Власова З. И. 5
 Воейков А. Ф. 79, 255, 261, 265, 329—331, 335
 Войнаровский А. 22, 23, 121—129, 131—138, 140
 Волк С. С. 90, 130, 144
 Волков А. А. 178, 183
 Волконская З. А., урожд. Белосельская-Белозерская 173, 178, 179
 Волконская М. Н., урожд. Раевская 50, 51, 66, 72, 176, 182, 360, 367
 Волконская М. Ф. 50—51
 Волконская С. Г., урожд. Волконская 51
 Волконские 187
 Волконский П. М. 43, 67, 68, 250, 361
 Волконский С. Г. 50, 51, 66, 68, 72, 166, 174, 359, 367, 368
 Вольтер 60, 96, 145, 146, 150, 160, 196, 272
 Вольцоген К.-А.-А. 46
 Воронов Д. И. 104
 Воронцов А. Р. 107
 Воронцов М. Л. 165
 Воронцов М. С. 322
 Воше К.-А. 173—175, 177—180, 185
 Всеволожский Н. В. 58, 61
 Второв И. А. 84, 86, 93
 Вульф А. Н. 197
 Вяземская В. Ф. 185, 198
 Вяземские 168
 Вяземский П. А. 4, 30, 35, 45, 73, 79, 82, 98, 102, 115, 126, 168, 184, 185, 196, 198, 202, 217, 264, 271, 275, 276, 280, 296, 337, 347
 Гагарин И. С. 231
 Гагарина Е. К. 385, 387
 Галаган Г. Я. 236
 Гальстер (Galster) Б. 124, 130
 Гаррисон М. А. 178
 Гарусов И. Д. 302, 303

- Гашинский К. 181
 Геерен А.-Г.-Л. 148
 Гено А. 83
 Георгий Дмитриевич Галицкий 148
 Герасимов А. М. 308
 Гербель Н. В. 260
 Герман Ф. И. 103
 Герцен А. И. 7, 9, 13, 43, 46, 69, 223, 224, 226—228, 232, 233, 238—240, 301, 373, 374, 386, 389
 Гершензон М. О. 50
 Гизо Ф.-П.-Г. 151, 155
 Гиллельсон М. И. 101, 185, 218, 262, 329
 Гладыш И. А. 304
 Глазунов А. В. 299, 300
 Глазунов И. И. 299
 Глазунов Н. Н. 299, 300
 Глазунов П. И. 300
 Гласс Дж. 381
 Гласе А. 5
 Глейзьер (Glasier) Д. Б. 371, 376—382
 Глинка А. П., урожд. Голенищева-Кутузова 325, 337—339
 Глинка В. А. 343, 345, 346
 Глинка М. И. 210
 Глинка С. Н. 50, 349
 Глинка Ф. Н. 5, 12, 13, 39, 57, 59, 61, 109, 110, 119, 265, 269, 323—347, 351
 Гнедич Н. И. 11, 15, 101, 102, 119, 184, 268, 326, 330, 332, 337, 338
 Гнедич П. П. 302
 Гоголь Н. В. 39, 234
 Годунов Борис Федорович 127, 211
 Гоя Ф.-Х. де 206
 Голенищев-Кутузов П. Н. 338
 Голиков И. И. 161
 Голицын А. М. 170
 Голицын А. Н. 46, 172, 173
 Голицын В. С. 333, 335
 Голицын Д. В. 183, 347, 351
 Голицын Н. Б. 168
 Голицыца Н. П., урожд. Чернышева 168
 Головин И. Г. 296, 297
 Головин Н. Н. 62
 Голубева М. П. 388, 389
 Гомер 184, 337
 Гончаров И. А. 245
 Горбачевский И. И. 92, 116
 Гофман В. 105, 119
 Гракхи 71
 Гренвиль (Grenvilles) 167
 Греч Н. И. 79, 187, 285, 295, 306, 364
 Грибовский А. М. 105
 Грибоедов А. С. 4, 9, 27, 30, 31, 37, 44, 51, 60—63, 65, 69, 184—186, 198, 219—225, 227, 228, 230, 231, 233—235, 238, 239, 244, 245, 301—313, 365, 366
 Григорович Д. В. 238
 Григорьев А. А. 221, 222, 224
 Григорьев А. Л. 375
 Грипунин А. Л. 302
 Гроссман Л. П. 59
 Груздев 77
 Грузинская, урожд. Бахметьева 178
 Грузинские 182
 Грузинский Г. А. 173, 177, 178, 183
 Грузинский И. Г. 178
 Грум-Гржимайло А. Г. 61, 143, 144, 146, 151, 347
 Грушевский А. 130
 Грэм (Grahame) Ф.-Р. 374, 379, 380
 Гуковский Г. А. 14—17, 103, 107, 117
 Гуревич А. М. 125—131
 Гурко Л. О. 92
 Гуффе (Gouffé) А. 270
 Гюго В. 185, 192
 Даву Л.-Н. 68
 Давыдов, почтдиректор 173
 Давыдов А. Л. 198
 Давыдов В. В. 368
 Давыдов В. Л. 66, 368
 Давыдов Д. В. 6, 53, 59, 65, 66, 73
 Даль В. И. 286, 287
 Данини В. С. 357
 Дашков Д. В. 340, 341
 Дашкова Е. Р. 145
 Де-Бре Ф. Г. 168
 Де-Роберти П. М. 330
 Деятин А. П. 368—370
 Дезожье М.-А.-М. 270
 Деллинггаузен И. Ф. 67
 Делольм Ж.-Л. 89
 Дельвиг А. А. 31—33, 185, 188, 196, 197, 209, 213, 215, 216, 337
 Демидов 67
 Демидовы 154
 Демосфен 104, 105
 Державин Г. Р. 11, 77, 87, 89
 Державин К. Н. 145
 Державины 62
 Дибич И. И. 177, 325
 Дивов П. Г. 170
 Динесман Т. Г. 304
 Дисброу (Disbrowe) 380
 Дмитриев И. И. 347
 Дмитриев М. А. 5, 61, 346—354
 Дмитриев-Мамонов М. А. («Мамонов») 67
 Дмитрий Самозванец 125, 127, 359
 Добролюбов Н. А. 221, 222, 224
 Догель Е. В. 370, 372
 Долгоруков И. А. 50, 252
 Долгоруков Я. Ф. 213

- Долгорукова П. Б., урожд. Шереметьева 49, 50
 Долинин А. С. 223, 238
 Достоевские, братья 222
 Достоевский А. М. 237
 Достоевский Ф. М. 5, 39, 72, 219, 220, 222—246
 Дубельт Л. В. 298, 300
 Дубровин Н. Ф. 335
 Дурново Н. Д. 66—69
 Дюма А., отец 192
 Дюмулен Е. 270
 Дюпен А, старший 273
- Екатерина II 75—78, 83, 86—88, 94, 95, 101, 104—106, 111, 165, 359
 Елизавета Петровна, имп. 101
 Ениколопов И. К. 304
 Еремин М. П. 290
 Ермолов А. П. 259, 365
 Ефремов П. А. 126, 312
 Ефрон И. А. 207, 356
- Жандр А. А. 302, 304—313
 Жанен Ж.-Г. 192
 Же А. 270
 Желябужский Ф. М. 327, 328
 Жерве 268
 Жизневский А. К. 324
 Жирмунский В. М. 15
 Жихарев М. 42
 Жомини Г. 65
 Жуи В.-Ж.-Э. де 270
 Жуковский В. А. 32, 33, 51, 63, 69, 169, 174, 184, 185, 189, 204, 205, 207, 267, 321, 330, 332—335, 337, 340
 Жульен де Пари М.-А. 271
 Жульени 175
- Завалишин Д. И. 32, 37, 39, 63—65, 69, 364
 Загоскин М. Н. 185, 186, 188
 Загряжская Н. К., урожд. Разумовская 174
 Заикин М. И. 299
 Закревская А. Ф., урожд. Толстая 79, 174
 Закревский А. А. 68, 325, 334—337
 Завд К.-Л. 93
 Звевич И. 370, 371
 Зейдер, пастор 357
 Зелинский В. А. 73
 Зильберштейн И. С. 363
 Зотов Р. М. 296, 297
 Зубарев Д. Е. (Пустынник Горетубанский) 303
 Зубков В. П. 198
 Зубов В. А. 54
 Зубов П. А. 54, 78, 81, 89
- Макиф (Никита Яковлевич Бичурин) 357
 Иван IV Васильевич Грозный 22, 90
 Иванов Н. К. 193
 Иванова О. И. 385
 Ивановский А. А. 324, 326—327, 329, 331
 Ивашев В. П. 359—361
 Ивашев П. В. 361
 Ивашев П. Н. 360
 Ивашева М. В. 361
 Игнатьева А. И. 304
 Иезуитов А. Н. 5
 Иезуитова Р. В. 5, 205
 Изабэ Ж.-Б. 362
 Измайлов А. Е. 261, 269, 273
 Измайлов В. В. 261, 326, 327
 Измайлов Н. В. 206
 Ильков В. 303
 Исаев Н. И. 299
- Каверин П. П. 64
 Кайсаров А. С. 43, 103, 112
 Калантырская И. С. 4
 Калигула Гай Цезарь 85, 96
 Калло Ж. 206
 Калугин Ю. 304
 Каменская М. Ф., урожд. Толстая 167, 170
 Каменский Н. М. («Каменские») 12
 Капеллош Б. Н. 5, 290
 Капнист В. В. 35
 Каподистрия И. А. 274
 Каразин В. Н. 43, 79, 102
 Карамзин Александр Н. 184
 Карамзин Андрей Н. 184
 Карамзин Н. М. 4, 12, 33, 34, 45—47, 54, 59, 75, 79, 88, 89, 92, 101, 119, 143, 145, 147—150, 152, 153, 157, 167, 168, 245, 260—265, 338
 Карамзина Е. А. 167, 209
 Карамзина Е. Н. 209, 213, 214
 Карамзины 209, 213
 Карл XII 137
 Карнович Е. П. 166
 Кассий Вецеллин Спурий 97, 105
 Катенин П. А. 37—40, 94, 124, 131, 306
 Катилина 103
 Катон Младший, Марк Порций Утический 39, 55, 62, 96, 97, 124, 131
 Кафенгауз Б. Б. 144
 Каховский П. Г. 96, 196, 199, 200, 371, 379—381
 Квашнина В. С. 356, 357
 Квирига А. 105, 205
 Кеппен П. И. 272
 Керн А. П. 212
 Кетчер Н. Х. 351
 Кийко Е. И. 222

- Кипренский О. А. 213
 Киреевский И. В. 349
 Кириллук Э. В. 269
 Кирпотин В. Я. 222, 237, 240
 Киселев Н. Д. 94
 Киселев-Сергенин В. С. 5
 Кларк Е.-Д. 80
 Клингер Ф.-М. 81, 89
 Княжевич Д. М. 269
 Княжин Я. В. 90, 91
 Ковалев Ю. В. 370, 372, 381
 Козицкая Д. И., урожд. Мясникова
 166, 174
 Козлов И. И. 174, 184, 185, 189, 190
 Колесников В. П. 78
 Кологривов И. Н. 166, 171
 Колошин М. И. 249, 250
 Колошин Павел И. 248—250, 254, 256
 Колошин Петр И. 68, 247—260
 Колошина М. Н. 250
 Колошины 257
 Колумб Х. 188
 Колупанов Н. П. 178
 Комарович В. Л. 290
 Комаровская С. В., урожд. Венев-
 тинова 178
 Кондильяк Э.-Б. 256
 Коннел Дж. 376
 Констан Б. 189, 270, 271
 Константин Павлович, вел. кн. 43,
 54, 64, 88, 232, 375, 371
 Кошьев А. Д. 78
 Корицкий О. И. 355
 Корнилович А. О. 3, 121, 128, 142—
 164, 169, 196, 347
 Корнилович М. О. 150
 Королева Н. В. 146
 Корочаров 54
 Корсаков И. Е. 162
 Корф (Korff) М. А. 295, 296, 365,
 372, 373, 380
 Коссаковская А. И., урожд. Лаваль
 181, 185, 186, 192, 193
 Котляревский Н. А. 123, 124
 Коцебу А.-Ф.-Ф., фон 78, 80—82, 88,
 89
 Кочеткова Н. Д. 3
 Кочубей В. П. 46
 Кошелев А. И. 167, 178, 184
 Краснов П. С. 303, 304
 Крафт Н. О. 369
 Крестова Л. В. 203, 322
 Кринский М. 303
 Кропоткин П. А. 375, 381
 Крылов И. А. 101, 184, 185
 Кубалов В. Г. 175, 182
 Кузен В. 269
 Куницын А. П. 107
 Курбский А. М. 22
 Кутузов П. И. 92
 Кутузов-Смоленский М. И. 12, 48,
 109, 208
 Кюстин А. де 181, 182
 Кюхельбекер В. К. 4, 5, 9, 15, 33,
 112, 118, 169, 196—199, 210, 215,
 216, 262, 266—275, 277, 278, 280—
 282, 284—289, 356
 Кюхельбекер М. К. 285
 Кюхельбекеры, братья 66
 Лаваль А. Г., урожд. Козицкая 4,
 165—168, 170, 172—176, 179, 182—
 187, 190—194
 Лаваль В. И. 169, 173, 175
 Лаваль И. С. 4, 165—194, 204
 Лавинский А. С. 175, 182, 183
 Ладьяженские 340
 Лакретель Ж.-Ш.-Д. 270
 Ламартин А. де 184, 185
 Ланг, консул 299
 Ланда С. С. 97, 98, 149, 152, 264
 Ланжерон А.-Ф. 88, 89
 Ланской С. С. 325
 Ласунский О. Г. 304
 Латраверс Я. Н. 369
 Лафонтен Ж. де 184
 Лачинов 325
 Ле-Дантю Е. П. 360
 Ле-Дантю К. П., в замужестве Ива-
 шева 358—361
 Ле-Дантю Л. П. 360
 Ле-Дантю М. П. 360
 Лебедев А. А. 41, 42, 44
 Лебедев К. Н. 296, 297
 Лебрен Э. 97
 Лебцельгерн Э. И., урожд. Лаваль
 170—172, 174, 176, 189, 193, 194
 Лебцельгерн Л. 170, 172
 Левашева Е. Г., урожд. Решетова
 350—352
 Левашевы 350
 Левик В. В. 45
 Левкович Я. Л. 5, 161
 Лелевель И. 143, 152
 Ленин В. И. 5, 7, 13, 14, 382—389
 Ленц В. Ф. 191
 Леонардо да Винчи 206
 Леонтьев П. А. 340
 Лепарский С. Р. 358
 Лермонтов (Lermontoff) М. Ю. 34,
 40, 51, 226, 228, 245, 373
 Лернер Н. О. 386
 Ли (Lee) Р. 372, 373, 380
 Ливен А. К. 333, 335
 Ливен Д. Х., урожд. Бенкендорф 95
 Ливен К. А. 349
 Ливий Тит 256
 Линтон (Linton) У. 381
 Липранди И. П. 62
 Лобанов-Ростовский А. Б. 89, 387

- Логинов А. М. 369
 Логинов В. В. 299, 300
 Ломоносов М. В. 78, 101, 104, 106,
 107, 116, 120
 Ломунова М. 303
 Лопухин П. П. 252
 Лорер Н. И. 290
 Лотман (Lotman) Ю. М. 4, 25, 30,
 67, 103, 111, 112, 144
 Лувель Л.-П. 270
 Лунин М. С. 28, 53, 54, 70, 93, 170,
 322
 Лунины 66
 Львов Е. А. 80
 Людовик XV 82, 95
 Людовик XVI 91, 95, 97
 Людовик XVIII 165
 Ляцкий Е. А. 302

 Мавродин Вал. В. 363
 Магницкий М. П. 314, 322
 Мазепа И. С. 122—131, 135—138, 141
 Майков В. И. 203
 Майков В. Н. 355, 356
 Макогоненко Г. П. 3, 6, 102
 Максимович М. А. 348
 Максвелл Ш. 381
 Мамонов, см. Дмитриев-Мамонов
 М. А.
 Марин С. Н. 75, 78
 Мария Федоровна, имп. 46
 Маркевич Н. А. 130, 267, 268, 274,
 275, 277
 Мартынов П. Н. 304
 Марфа Посадница см. Борецкая
 Марфа
 Масальский К. П. 268
 Маслов В. И. 124, 129, 139
 Медведева И. Н. 102, 234, 302
 Межев В. И. 370
 Мейзенбург М. 373
 Мелье Л. 381
 Меншиков А. Д. 121
 Мерзляков А. Ф. 44
 Местр Ж. де 272
 Меттерних К.-В.-Л. 170, 274
 Меценат Гай Цильний 103
 Милль Дж. Ст. 379
 Милнер (Milner) Т. 372, 373, 379, 380
 Милонов М. В. 32, 33
 Милорадович М. А. 380
 Милюков А. П. 324
 Минаев Д. Д. 45
 Миницкий С. П. 332—335
 Минье Ф.-А. 91
 Мирабо А.-Б.-Л. 105
 Мирабо О.-Г.-Р. де 104—107, 196
 Митьков М. Ф. 169
 Михаил Павлович, вел. кн. 232, 297
 Михайлов В. А. 181

 Михайлов М. И. 296
 Михайловский Н. К. 228, 229
 Михайловский-Данилевский А. И. 297
 Михельсен (Michelsen) Э. 372, 373,
 380
 Мицкевич А. 184—186, 266, 275
 Мобург гр. 105
 Могилянский А. П. 303
 Модзалевский Б. Л. 56
 Модзалевский Л. Б. 197, 200
 Молоствов П. Х. 64
 Мольер Ж.-Б. 34
 Монтеस्कье Ш. 88, 91, 97, 149, 150,
 158
 Мордвинов А. Н. 213, 232, 296, 298,
 325, 342, 343
 Мордовченко Н. И. 284
 Мори 105
 Моррис (Morris) У. 376, 379, 381
 Мортон Т. 380
 Мостовский Т. А. 102
 Муравьев А. З. 357, 367—370
 Муравьев А. М. 259
 Муравьев А. Н. 68, 247—249, 250,
 253, 256—258
 Муравьев М. Н. 66, 248, 250, 252,
 253, 256—258
 Муравьев Н. М. 12, 62, 63, 71, 103,
 130, 170, 247, 248, 252, 258, 264
 Муравьев Н. Н. 249, 258
 Муравьев-Апостол М. И. 62, 92, 182,
 247, 248
 Муравьев-Апостол С. И. 71, 73, 116,
 171, 182, 197—200, 371, 379—381
 Муравьев-Карский Н. Н. 67, 68,
 247—253, 257, 259, 366
 Муравьева А. Г., урожд. Чернышева
 183, 191—193
 Муравьева В. А., урожд. Горяинова
 357, 368—370
 Муравьева Е. Ф., урожд. Колоколь-
 цева 62
 Муравьевы 66, 67, 71, 250, 257, 367
 Муханов П. А. 70, 121, 359
 Мысловский П. Н. 34, 70, 71
 Мясниковы-Твердышевы 166

 Надеждин Н. И. 351, 352
 Паливайко С. 23, 131, 133—135, 139
 Наполеон I Бонапарт 6, 12, 19, 20,
 34, 39, 68, 70, 71, 95, 107, 113, 129,
 208, 271, 275
 Нарекный В. Т. 39
 Нарышкин М. М. 182
 Нарышкина Е. П., урожд. Коквин-
 цына 182
 Наумов П. 147, 148, 152
 Нащокин П. В. 201
 Пебабина 329
 Нейман Б. В. 125

- Некрасов Н. А. 51, 176, 228
 Нельсон Г. 208
 Неплюев И. И. 157
 Нерон Клавдий Цезарь 85, 93, 96, 103
 Нечаева В. С. 82
 Нечкина М. В. 10, 30, 37, 56, 58, 169, 170, 207, 247, 248, 252, 255
 Нибур Б.-Г. 143
 Никитенко А. В. 296—298
 Никитин А. А. 273
 Никитин Г. Д. 77
 Николаева А. Я. 178, 183
 Николаевский Б. 175
 Николай Михайлович, вел. кн. 90, 166
 Николай I Павлович 43, 66, 68, 73, 156, 170, 172, 173, 175, 177, 180, 181, 201, 202, 209, 214, 217, 218, 235, 297, 324—328, 331, 334, 335, 337—339, 341—343, 345, 347—349, 352, 353, 359, 361, 364, 365, 370—374, 380
 Николев Н. П. 90, 91
 Никольский А. Д. 181
 Нобл (Noble) Э. 375
 Новиков И. А. 200
 Новиков Н. И. 77, 103, 222
 Новосильцев Н. П. 325, 339
 Новосильцов Н. Н. 70, 275
 Нуромский А. А. 327, 328
 Обернон (Auberon) Ж. 322
 Оболенский Е. П. 134, 169
 Обольянинов П. X. 78
 Овчинников 154
 Огарев Н. П. 207, 221, 222, 224, 228, 373
 Одоевская О. С., урожд. Ланская 190—191
 Одоевский А. И. 14
 Одоевский В. Ф. 167, 185, 190—192, 208, 280—282, 284, 285, 356, 385—388
 Окланский Ю. М. 382, 383
 Окунь С. Б. 170
 Оленина В. А. 62, 71
 Ольга, царица 98
 Ольдекоп Е. И. 298
 Онегин А. Ф. 168
 Орлов А. И. 358, 363
 Орлов А. Ф. 66, 325, 345, 346, 352
 Орлов В. Н. 33, 103, 106, 216, 387
 Орлов М. Ф. 27, 61, 66—69, 102, 110, 114, 115, 119, 204, 264, 276, 296, 347, 352
 Орлова А. А. 274
 Орлова Е. Н., урожд. Раевская 66
 Орловы 205
 Осипова П. А. 205, 209
 Оссан 39
 Остерман-Толстой А. И. («Остерман») 168
 Остолопов Н. Ф. 95
 Островский А. Н. 225
 Охрименко П. П. 303
 Павел I 47, 52, 73, 75—99
 Павлова В. П. 4, 185
 Палей С. 135, 137—139
 Пален П. А. 88, 89
 Пальчиков В. П. 198
 Панин Н. И. 88, 94
 Панин Н. П. 88, 89
 Панова Е. Д. 351
 Пауф 358, 368
 Пейтерсон (Paterson) Дж. 372, 373, 380
 Пеликан В. В. 275
 Перикл (Периклес) 44, 47
 Перовская (Perovskaia) С. Л. 375—376, 389
 Персин И. С. 358, 359, 363, 367
 Перфильев С. В. 298, 300
 Пестель П. И. 27, 28, 34, 51, 63, 70, 71, 129, 130, 169, 196—200, 205, 221, 252, 321, 371, 379—381
 Петр I 22, 28, 90, 114, 117, 121, 122, 130, 143—146, 149, 150, 152—154, 156—162, 213, 217—219, 223, 224, 232, 233, 314, 316, 319, 321, 359
 Петр III Федорович 94
 Петрашевский Н. Е. 230, 236, 238, 242
 Петров А. 204
 Петров Д. К. 371
 Петропавловский И. С. 357
 Пигарев К. В. 103, 124
 Пиксанов Н. К. 301, 302, 307, 308, 313
 Писарев Д. И. 226
 Платон 60
 Платон (Левшин), митрополит 117
 Плетнев П. А. 212, 266
 Плеханов Г. В. 388
 Плутарх 96, 143, 160, 256
 Погодин М. П. 155, 201, 202
 Поджио А. В. 92, 93, 184
 Поджио И. В. 360
 Полевой К. А. 79, 299, 300
 Полевой Н. А. 33, 155, 156, 188, 280, 285
 Полежаев А. И. 51
 Полозов Д. П. 298, 299
 Полторацкая Е. П., в замужестве Решко 212
 Полторацкий К. П. 92
 Полторацкий С. Д. 248
 Полуботко П. Л. 130
 Поляков А. С. 296
 Поляков В. П. 299
 Помпадур Ж.-А. де Пуассон 189

- Понятовский С.-А. 83
 Попова О. И. 303
 Потапов А. Н. 178
 Потапова А. И. 368
 Потемкин С. П. 178
 Потемкина Е. П., урожд. Трубецкая
 178, 179, 182, 183
 Потемкина Т. Б. 170
 Предтеченский А. В. 52, 87
 Привалова Е. П. 96
 Прокопенко Э. Т. 234, 245
 Прокопович Феофан 100, 106, 114
 Прудков Н. И. 241
 Пугачев В. В. 103, 112, 113
 Пугачев Е. И. 202
 Путята Н. В. 204, 209, 250
 Пушкин (Pouchkin, Pushkin) А. С.
 4—6, 9—12, 14—21, 24, 29, 30, 32—
 34, 39, 41, 52, 53, 55—60, 62—65,
 69, 71—73, 80, 93, 97, 98, 102, 103,
 111, 113, 122, 124, 129, 131, 132,
 136, 138, 139, 146, 149, 155—157,
 161—164, 168, 169, 181, 184—187,
 189, 192, 195—218, 224, 226, 227,
 234, 238—240, 243—245, 248, 255,
 257, 260, 264, 266, 267, 269, 270,
 274—276, 280, 284, 285, 290, 296,
 313, 314, 320—323, 327—330, 337,
 368, 370, 372, 373, 382, 386
 Пушкин В. Л. 203, 205
 Пушкин Л. С. 275
 Пушкин С. Л. 205
 Пушин И. И. 59, 169, 170, 196—199,
 204, 215, 257
 Пушин Н. И. 126
 Пушин П. С. 204, 205
 Пыпин А. Н. 64
 Пятковский А. П. 201

 Радищев А. Н. 11, 48, 100—120, 153,
 222
 Радищев Н. А. 48
 Радищева Ф. С., урожд. Аргамач-
 кова 48
 Раевские 66
 Раевский А. Н. 198
 Раевский В. Ф. 9, 64, 98, 105, 196,
 198, 204, 215, 277, 321, 357, 358
 Раевский Н. Н., старший 49, 50, 66
 Раевский Н. Н., младший 49, 197
 Раич С. Е. 247
 Рамбург 67
 Растопчин Ф. В. 82
 Рафаэль Санти 186, 229, 273
 Рейзов Б. Г. 91, 151
 Рейналь Г.-Т. 107, 114, 115
 Рейхель К. Я. 359
 Реньяр Ж.-Ф. 168
 Репин И. Е. 72
 Рёскин Д. 379

 Ржевский Г. П. 311
 Ризнич А. 199—201
 Робеспьер М.-М.-И. 54, 95, 196
 Розальон-Сошальский В. 96
 Розен (Rosen) А. Е. 171, 290, 364,
 374, 379
 Розенблюм Н. Г. 274
 Романовы 92, 159
 Росsetти Д.-Г. 378
 Росsetти У. 371, 375, 378
 Россини Ж. 186
 Рубановская Е. В. 48
 Румянцев-Задунайский П. А. («Ру-
 мянцевы») 12
 Руперт В. Я. 368
 Руссо Ж.-Ж. 54, 97, 107, 160
 Рылеев К. Ф. 4, 9, 13, 15, 22, 23, 27,
 31—33, 40, 49, 50, 56, 57, 63, 65,
 66, 69, 71, 74, 93, 96—98, 105, 114,
 121—141, 160, 169, 170, 196, 198—
 200, 208, 210, 221, 244, 245, 262,
 266, 278, 347, 349, 371, 372, 379—381
 Рылеева А. М., урожд. Эссен 69

 Саблуков Н. А. 88, 89
 Савари К.-Э. 269
 Сагайдачный П. К. 132, 136
 Садиков П. А. 321
 Сазерланд-Эдвардс (Sutherland-Ed-
 wards) Г. 374, 375, 380
 Салтыков С. П. 112
 Салтыков-Щедрин М. Е. 234, 235,
 245, 388
 Самусь Иванович 137, 138
 Санглен Я. де 78, 80
 Сахаров Д. В. 114
 Свербеев А. Д. 383
 Свешников 300
 Свешников А. К. 269
 Святополк I Владимирович (Окаян-
 ный) 125, 127
 Святослав Игоревич 98
 Сегюр Л.-Ф. де 165
 Семевский М. И. 299, 356
 Семенов А. В. 253
 Семенов Е. И. 238, 241
 Семенов С. М. 169
 Семенов (Блак) М. И. 389
 Семенова Е. С. 268
 Сен-Жюльен (Saint-Julien) III. 167,
 184—186
 Сен-Пьер, аббат 276
 Сервантес де Сааведра М. 256
 Сердюков 154
 Середкина Е. М. 358
 Серман И. З. 3, 222
 Серно-Соловьевич Н. А. 43
 Сеян 97
 Сивков К. В. 76
 Сийес Э.-Ж. 196

- Скотт В. 161, 187
 Словацкий Ю. 181
 Словцов П. А. 64
 Слонимский А. Л. 195
 Смирдин А. Ф. 295—300
 Смирнов Д. А. 304, 306
 Смирнова А. О., урожд. Россет 185
 Смолян О. А. 81
 Соболевский С. А. 201
 Соколов А. Н. 123
 Соловьева О. С. 198
 Сомов (Somov) О. М. 121, 266, 269, 270
 Сорокин В. В. 61, 146, 347
 Сперанский М. М. 64, 182, 232
 Сталь А.-Л.-Ж. де 166, 167
 Станкевич А. В. 351
 Старицына З. А. 276
 Стахович А. А. 303
 Степанов В. П. 3
 Степняк-Кравчинский С. 375, 381
 Столпянский П. Н. 166
 Строганов 352
 Строгановы 154
 Строев П. И. 144
 Струков 268
 Суворов-Рымникский А. В. 12, 84, 95
 Сукин А. Я. 324
 Сумароков А. П. 88, 106
 Сусанин И. 141
 Сутгоф А. Н. 70
 Сухово-Кобылин А. В. 36
 Сухозанет 190
 Сыроечковский Б. Е. 252
 Сыромятников Б. И. 145
 Сю Э. 192

 Талейран Ш.-М. 352
 Тамерлан 373
 Тарасевич Э. К. 171
 Тассо Торквато 191
 Татаринов 361
 Татаринов, купец 184
 Татариновец А. Г. 153
 Тацит Публий Корнелий 69, 81, 96, 101, 104, 143, 256
 Тейтель Я. Л. 382, 383
 Теплова В. А. 92
 Теплова С. С. 348, 349
 Терещина Р. Е. 198
 Тиберий Клавдий Нерон 97
 Тиблен П. 308
 Тизенгаузен Ф. И. 48
 Тиртей 39
 Тиссо П.-Ф. 270
 Титов А. 83
 Тихомиров Л. 375
 Толстая-Сухотина Т. Л. 72, 73
 Толстой Л. Н. 35, 54, 72, 73
 Толстой Ф. А. 79

 Толстой Ф. П. 167
 Толстой Я. Н. 57
 Толь К. Ф. 369
 Томашевский Б. В. 57, 58, 97, 145, 155, 196, 197, 200, 260, 272, 284, 321
 Томич 83
 Томсон (Thomson) Дж. 375, 378
 Тон К. А. 193
 Трубецкая Е. И., урожд. Лаваль 166, 169—184, 187—194, 360, 367
 Трубецкие 180, 193, 367
 Трубецкой С. П. 28, 59, 169—181, 187, 196—198, 204, 205, 252, 254, 359, 364, 367, 368
 Туманская А. И., урожд. Вишне-ская 267
 Туманская О. И., в замужестве Са-тина 267
 Туманская С. Г. 267
 Туманская У. Г. 267
 Туманские 267
 Туманский Василий И. 5, 261, 262, 265—279
 Туманский Владимир И. 267
 Туманский В. О. 267
 Туманский И. Г. 267
 Туманский М. И. 267
 Тургенев Александр И. 31, 115, 168, 169, 262, 263, 271, 296
 Тургенев Андрей И. 112, 254
 Тургенев И. С. 30, 41, 226, 227
 Тургенев Н. И. 27, 28, 31, 32, 44, 57, 58, 61, 62, 146, 148, 149, 152, 180, 181, 262—265, 271, 272
 Тургенев С. И. 32, 61, 62, 262, 271
 Тургеневы 58, 262, 264, 272
 Турнерелли (Turnerelly) Э. 372, 373, 380
 Тучков С. А. 110, 111
 Тынянов Ю. Н. 42, 43, 106, 266, 270
 Тьерри О. 151, 152, 155
 Тютчев Ф. И. 146

 Уайльд О. 375
 Уваров С. С. 297
 Улыбышев А. Д. 7
 Ульянов А. И. 383—385
 Ульянова-Елизарова А. И. 385, 389
 Ульяновы 383
 Ушаков В. А. 190
 Ушаков Ф. В. 103
 Ушакова Екатерина Н. 212

 Фан-дер-Флит А. Т. 329
 Фан-дер-Флит Татьяна Ф. 326, 340
 Фан-дер-Флит Тимофей Е. 325—331, 334, 340
 Федоров Б. К. 261
 Ферран А.-Ф.-К. 272

- Фет А. А. 73
 Фикельмон Д. Ф. 185
 Фок М. Я., фон 306, 325, 342
 Фокс Ч.-Д. 104
 Фон-Ведель 83
 Фонвизин Д. И. 11, 83, 103, 153, 189
 Фонвизин М. А. 61, 88, 89, 92, 94,
 252, 347
 Франц I 274
 Фридлендер Г. М. 241
 Фридрих II 76, 77, 111
 Фрост (Frost) Т. 371, 381
- Хаит Г. Е. 382
 Хардин А. Н. 383
 Хемницер И. И. 208
 Хеннингсен (Henningsen) Ч. 372, 380
 Херасков М. М. 90
 Хилл (Hill) С. 372, 380
 Хитрово Е. М., урожд. Кутузова,
 в первом браке Тизенгаузен 48
 Хмельницкий Б.-З. 122, 131, 132, 136,
 140, 141
 Ходоров А. Е. 4
 Хомяков А. С. 201
 Хомяков Ф. С. 178
 Христиани В. Х. 250
 Хрусталева 300
- Цезарь Гай Юлий («Кесарь») 39,
 41, 96, 97, 373
 Цейдлер И. Б. 176, 178, 182, 183
 Цейтлин А. Г. 124, 140
 Цертелев Н. А. 121, 139, 269, 270
 Цинна Люций Корнелий 94
 Циперон Марк Туллий 97, 103, 104,
 256
 Цшокке И.-Г.-Д. 82
 Цынский Л. М. 352
 Цявловская Т. Г. 5, 196, 199, 200,
 204, 209, 215
 Цявловский М. А. 44, 168, 197, 201—
 203
- Чаадаев П. Я. 10, 27, 41—47, 57, 64,
 71, 238, 255, 347, 350—353
 Чарторижский А. 76, 78, 89
 Ченцов Н. М. 370
 Черепанов С. И. 360
 Черкасов А. И. 303
 Чернов С. Н. 67, 252, 328
 Чернышев 361
 Чернышевский (Tschernyschewskij)
 Н. Г. 30, 156, 221, 224, 232, 375, 388
 Чехов А. П. 36
 Чириков Г. С. 386
 Чичагов П. В. 314, 323
- Шадури В. С. 304
 Шаликов П. П. 280
- Шатобриан Ф.-Р. 185
 Шаховские 179, 180
 Шаховской А. А. 78
 Шаховской Ф. А. 61, 347
 Шебунин А. Н. 272
 Шевырев С. П. 201
 Шекспир В. 34
 Шелковников, купец 184
 Шено 92
 Шенье А. 209, 211, 212
 Шереметьев Б. П. 50
 Шидловский А. Р. 269
 Шиллер (Schiller) Ф. 33, 43—47, 54,
 338
 Шильдер Н. К. 45, 82
 Ширяев А. С. 299, 300
 Шишков А. С. 78, 79, 90, 119, 120,
 255, 258
 Шкуринов П. С. 351
 Штейнгель В. И. 78, 364
 Штранге М. М. 92, 107
 Штукенберг А. И. (Антоний Круто-
 гор) 5, 354—370
 Штукенберг И. Ф. 355, 379
 Штукенберги, семья 357
 Шумигорский Е. С. 76
- Щеголев П. Е. 49, 56
 Щербатов М. М. 145, 153
 Щербатов М. М. 42
 Щербатов П. П. 269
 Щербатова А. М. 41—43.
 Щербинин А. 67
- Эдемс (Adams) Ф. 376
 Эдип 286, 287, 289
 Эйдельман Н. Я. 5, 314, 321
 Эймонтова Р. Г. 370
 Экарт (Eckardt) Ю. 375
 Эллис Х. 375, 378
 Энгельгардт Е. А. 199
 Энно Ж. 92
 Эристов Д. Г. 303
 Эспронседа Х. 371
 Эстре Ф.-А., де 189
 Этьенн Ш.-Г. 270
 Эфрос А. М. 196, 198, 203, 206
- Ювенал 33
 Юрьев Ф. Ф. 57, 198, 199, 210
 Юшневская М. К., урожд. Рейхель
 359, 360
 Юшневский А. П. 198, 359
- Ядринцев Н. М. (Сибиряк) 355
 Языков Н. М. 59, 94
 Яковлев М. Л. 261
 Яковлев Н. Л. 261
 Яковлев П. Л. 261

- Якубович А. И. 5, 198, 359, 362, 365—
368
Якубовский И. А. 54
Якушкин В. Е. 195, 301
Якушкин Е. Е. 387
Якушкин Е. И. 323
Якушкин И. Д. 53, 62, 63, 96, 233,
247, 252, 256, 257, 364
Ястребцев Е. 356
Яшвилъ В. М. 89, 90
- Fairfax Tailor Ed. 375
Frost T., см. Фрост Т.
- Galard J. 73
Gleason J. H. 373
- Harder M.-B. 43, 46
Hyndman H. M. 375
- Jones E. 371
Joynes J. L. 375
- Lipman R. T. 375
- Mildway E. 374
Morton E. 372
- Saint-Julien C., см. Сен-Жюльен Ш.
Shaw T. B. 372
- Touchard J. 271, 274
-

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДЕКАБРИСТОВ

Утверждено к печати

Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР

Редактор издательства К. К. Троицкая

Художник М. И. Разулевич

Технический редактор Н. Ф. Виноградова

Корректоры Р. Г. Гершинская, А. И. Кац, Н. З. Петрова
и Л. В. Субботина

Сдано в набор 5/VI 1975 г. Подписано к печати 11/IX 1975 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага
№ 3. Печ. л. 25=25 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,46. Изд. № 5858. Тип. зак. № 168. М-04424.

Тираж 23500. Цена 1 р. 95 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1

1-л тип. издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д.12

